

8 февраля
1910

Дорогой Друг!

Мамако не попустила Ва
и пишу подь его своде
иель. Я не радду
в Мамако. Напр
сташ. Ска
Неужели
ишь
и

Г.Н. Потанин, М.Г. Васильева

**“Мне хочется служить Вам,
одеть Вас своей любовью”**

Переписка

Дорогой Друг! !

1910 г.

Мамко кхэ полумила Вамше таша
и тинцу подд ея евожшия вножати
нїемь. Я же раддумана перекожа
вз Томшюв мertaю абх
атамь. ! С фурналов.
Кеужем нїа м нса в
са гомо идетс,
и буду амуру.
воста и как
литера гучи
губица редерда
зачишт ея а Петровъ,
воста тунъ и гманнса
Кол, Томская гучиъ куда нїма.
ресине Барнаубскъ - сравнїт
нїабуъ ! Еси я мertaма и рдн.
нїабуъ фурналов, то это воста таша.
ко таша - пока... Не оставиши,



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Г.Н. Потанин, М.Г. Васильева

**«Мне хочется служить Вам,
одеть Вас своей любовью»**

Переписка



Издательство
Томского университета
2004

УДК 908(571/.5)

ББК ТЗ(2)52-8

П 64

Г.Н. Потанин, М.Г. Васильева.

«Мне хочется служить Вам, одеть Вас своей любовью»:
П64 Переписка / Сост. Н.В. Васенькин, Г.И. Колосова. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004. – 418 с. (Серия «Сибирский архив». Т. 2)

ISBN 5-7511-1787-5

Публикуемая переписка Г.Н. Потанина и М.Г. Васильевой – это новый источник к пониманию личности великого сибиряка: во многом она проливает свет на его интересы, поведение, быт, среду, в которой он живет, дает представление о его взглядах на общественную, политическую и культурную жизнь Томска в начале XX в. Представляет интерес для всех занимающихся историей, литературой и культурой Сибири.

УДК 908(571/.5)

ББК ТЗ(2)52-8

Редационный совет серии «Сибирский архив»:

А.П. Казаркин, Г.И. Колосова, Н.В. Моравский (США),
Н.В. Серебрянников (председатель), А.Т. Топчий

Редационный совет тома:

Н.В. Васенькин, В.А. Есипова,
Г.И. Колосова (отв. редактор), А. Т. Топчий

Работа является победителем городского конкурса
«Научные издания к 400-летию г. Томска»

Издание осуществляется при финансовой поддержке мэрии г. Томска и РГНФ (проект № 01-01-00302а). Редационный совет выражает благодарность Н.Б. Гречихиной за финансовую поддержку.

ISBN 5-7511-1787-5

© Томский государственный университет, 2004

© Н.В. Васенькин, Г.И. Колосова, составление, 2004

© В.А. Есипова, В.П. Зиновьев, Г.И. Колосова, предисловие, 2004

ЭПИСТОЛЯРНОЕ НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКОГО СИБИРЯКА

Имя Григория Николаевича Потанина (1835–1920) известно широкой общественности в первую очередь в связи с его исследованиями как естествоиспытателя и путешественника. Действительно, именно силами П.П. Семенова-Тян-Шанского, Н.М. Пржевальского, М.В. Певцова, П.К. Козлова, Г.Н. Потанина в конце XIX – начале XX вв. была, по выражению В.А. Обручева, «создана основная канва географического лика внутренней Азии»¹. Все выдающиеся ученые этой плеяды были универсалами, и Григорий Николаевич Потанин – не исключение. Ему удалось обогатить не только географическую науку, но и существенно пополнить новыми сведениями ботанику, зоологию, геологию, историю, лингвистику, фольклористику средней и восточной Азии.

Г.Н. Потанин был не только сотрудником Русского Географического Общества, но и писателем, журналистом, общественным деятелем, и если его научное наследие, в основном, изучено и даже популяризировано, то остальные грани деятельности и личности великого сибиряка его земляки открывают для себя заново только в последние десятилетия. Так, новосибирскими исследователями была предпринята публикация части мемуарного наследия Г.Н. Потанина², опубликованы некоторые его литературные произведения³. В первом томе серии «Сибирский архив» представлены документы знаменитого «дела сибирских сепаратистов», что дало прочную источниковую базу для изучения явления сибирского областничества⁴.

Особое значение для характеристики личности имеет, конечно, переписка. Эпистолярное наследие Г.Н. Потанина огромно и, по всей видимости, окончательно еще не выявлено. В последние десятилетия началась его публикация и изучение. Так, в 1987–1992 гг. иркутскими исследователями были подготовлены и изданы 662 письма ученого в пяти томах⁵. Значение этих публикаций трудно переоценить. Как справедливо заметил С.Ф. Коваль, «только следст-

вием слабой изученности литературно-публицистической и в особенности общественно-политической практики ученого и путешественника можно объяснить разноречивые оценки и толкования роли Г.Н. Потанина в общественно-политическом движении России... Диаметрально противоположные концепции могли возникнуть и так долго существовать только на узкой источниковой базе»⁶.

Научная библиотека Томского университета, принявшая в свои фонды многочисленные частные книжные собрания, библиотеки и архивы различных учреждений, организаций, обществ, по праву гордится тем, что с 1920 г. в её фондах хранится архив Григория Николаевича Потанина. История поступления архива и библиотеки Г.Н. Потанина в Научную библиотеку ТГУ оказалась неожиданным образом связана с историей и судьбой Института исследования Сибири, о котором широкому кругу исследователей и краеведов мало что известно.

Первое заседание учредительного съезда по организации Института исследования Сибири (далее – Институт) состоялось 15 января 1919 г. благодаря инициативе ряда томских профессоров – Б.П. Вейнберга, В.В. Сапожникова и М.А. Усова. Основной задачей, которую предполагалось решать создаваемому Институту, было научно-практическое изучение природы, жизни и населения Сибири в целях наиболее рационального использования естественных богатств, ориентированное на научное и культурно-экономическое развитие края. Следует отметить, что эта цель не потеряла своей актуальности и в наши дни.

При Институте предполагалась организация архива, музея и библиотеки, при этом основной задачей этих подразделений было создание специальных фондов – книг, периодических изданий, а также различных материалов, раскрывающих все стороны истории и жизни Сибири. Особо ставилась задача формирования фонда документов видных деятелей Сибири, куда были бы собраны рукописи, переписка, портреты, а также предметы, относящиеся к их труду, поэтому по решению Бюро съезда были разосланы письма частным лицам и учреждениям, обществам с предложением присылать в Институт свои труды или любой другой материал о Сибири.

Представители сибирской интеллигенции охотно откликнулись на это предложение, и в адрес Института начали поступать не только предложения о приобретении целых книжных собраний или отдельных книг, но стали присылать книги, брошюры, отдельные оттиски

своих статей, журналы, газеты и пр. Среди тех, кто передал свои труды в библиотеку, были томские профессора В.В. Сапожников, М.Г. Курлов, Б.П. Вейнберг, Б.П. Денике, а также Н.Н. Бакай, В.Я. Нагнибеда, М.К. Азадовский, П.И. Макушин, А.Н. Шипицын и многие другие. Не только частные лица поддержали инициативу Института, но и различные учреждения, общества и организации, среди которых можно назвать Томскую бесплатную народную библиотеку, Общество любителей исследования Алтая, Тобольский губернский музей и др. Эти организации передали в адрес библиотеки целые партии книг, журналов и газет.

В числе первых, кто откликнулся на предложение Бюро съезда, был и Г.Н. Потанин. Вероятно, что вопрос о приобретении у Г.Н. Потанина его библиотеки и архива был поднят его друзьями, поскольку состояние здоровья учёного в этот период было крайне тяжёлым. В начале января 1920 г. в библиотечную комиссию Института, в которую входили главный библиотекарь библиотеки Томского университета А.И. Милютин, В.Ф. Смолин и профессор Э.В. Диль, был передан список книг, имеющихся в библиотеке учёного. На ближайшем заседании комиссии, которое состоялось 20 января, специально рассматривался вопрос о приобретении книг и архива Г.Н. Потанина и было принято решение о передаче списка книг М.К. Азадовскому для более детального его изучения. На заседании комиссии, состоявшемся уже 17 февраля, было заслушано подготовленное М.К. Азадовским совместно с А.И. Милютиным сообщение, в котором они предлагали приобрести книги и архив учёного за 40 тыс. рублей для библиотеки Института.

В библиотеке и архиве Г.Н. Потанина, по предварительным данным, имелось 1487 номеров книг, брошюр, отдельных оттисков, книжек журналов, годовых пачек газет, а также 180 пачек (10643 листа) рукописей; 12 пачек (644 листа) рисунков, фотографий, портретов и пр. Как только наследие учёного поступило в распоряжение библиотеки Института, его разместили отдельно от других фондов, и была начата работа по обработке и систематизации материалов архива. На всех архивных документах учёного полистно рубрикаторм были проставлены порядковые номера; была составлена опись, которая сохранилась до наших дней. На книгах, принадлежащих Г.Н. Потанину, был проставлен четырёхугольный штамп библиотеки Института исследования Сибири, около шифра книги ставили две согласные буквы – «Пт.». По этим шифрам в настоящее

время и удаётся выявлять книги при работе по восстановлению библиотеки учёного. Весь книжный фонд Г.Н. Потанина был записан в четырёх небольших по объёму инвентарных рукописных книгах, которые в настоящее время хранятся в отделе рукописей и книжных памятников библиотеки университета.

Казалось бы, что постепенно начинает налаживаться работа Института, уже организуются экспедиции, издаются первые тома «Трудов», формируется фонд библиотеки, но события, происходящие в стране в этот период, не могли не отразиться на деятельности Института. С установлением советской власти на территории Сибири Институт был объявлен оплотом колчаковщины и вся его деятельность была признана вредной. По постановлению Сибревкома от 5 июня 1920 г. Институт объявлялся закрытым с 1 июля 1920 г. и все дела Института, его имущество, предприятия и денежные ассигнования, отпущенные по смете для него, передавались Объединённым научным секциям университета и технологического института. Вероятно, Советом университета и технологического института было принято решение о передаче библиотеки Института именно в Фундаментальную библиотеку Томского университета.

Передача книг и библиотечного имущества продолжалась в течение нескольких месяцев. В архиве библиотеки университета сохранился документ, в котором указано, что «21 декабря 1920 года закончена перевозка библиотеки бывшего Института исследования Сибири из здания Технологического института в Библиотеку Томского университета». Согласно данным отчёта от 15 октября 1920 г., который был подготовлен П.М. Дмитриевым, исполнявшим в то время обязанности библиотекаря Института, всего в библиотеке состояло «3210 названий книг и периодических изданий, а также 12811 листов рукописей и 644 листа рисунков, фотографий и пр.»

Следует отметить, что в конце 1922 г. в библиотеку университета были переданы ещё и материалы Сибирского научного кружка им. Г.Н. Потанина, которые значительно пополнили «сибирским материалом» не только Потанинский фонд, поступивший из Института, но непосредственно фонд библиотеки университета. Кроме 1273 единиц книг «исключительно по сибиреведению», были переданы «портреты сибирских литературных и общественных деятелей, картины, карты и т. д., а также комната Г.Н. Потанина: рукописи, портреты, картины, заметки, письма, адреса, газеты и др. вещи, принадлежавшие Г.Н. Потанину». В своём обращении к руководству библиотечной комиссии

университета правление Сибирского кружка высказало пожелание об организации при библиотеке «комнаты Г.Н. Потанина».

А.И. Милютин, главный библиотекарь университета, ставил задачу несколько шире и предлагал организовать при библиотеке Отдел сибирских деятелей. Многие томские учёные обращались в управление университета с предложениями о создании комнаты Г.Н. Потанина. Так, 2 января 1925 г., правда, после запроса председателя губернского музея о кабинете Г.Н. Потанина, вышло даже постановление ректора Томского университета о создании кабинета непосредственно в здании библиотеки, для чего должно быть выделено помещение рядом с актовым залом. Однако ни кабинет, ни комната так и не были созданы.

В то время, когда ставился и решался вопрос о создании кабинета им. Г.Н. Потанина, материалы архива учёного перемещали с одного места на другое. Несколько раз создавались различные комиссии, которые должны были разобрать материалы учёного, но только в 1931 г. наконец-то удалось это сделать. Согласно приказу директора (ректора) университета от 12 апреля 1931 г. была создана комиссия, в состав которой вошли: директор библиотеки проф. Н.И. Ефимов, П.П. Славнин, В.Н. Наумова-Широких и два студента с педагогического факультета университета – Раков и Михайлов.

В период с 13 по 17 апреля комиссия, в задачи которой входило провести разбор архивных материалов и дать свои предложения о судьбе той или иной группы материалов, предметов и вещей, принадлежавших Г.Н. Потанину, пять раз собиралась в кабинете директора библиотеки. Там же находилась большая часть архивных материалов. В своём заключительном акте члены комиссии отметили, что застали архив в кабинете директора библиотеки в невероятно хаотическом состоянии. Значительная часть переписки валялась просто на полу, в углу, а другая была сброшена в корзину также в полном беспорядке.

Члены комиссии разобрали все материалы и сгруппировали их по 28 разделам. Все рукописи, письма, научный, этнографический, фольклорный материал, газеты, рисунки были оставлены в фонде библиотеки университета. Чемодан с фотографиями, портретами, картинами, бюст Г.Н. Потанина и его антропологический циркуль решено было передать в этнолого-археологический музей университета (в настоящее время Музей археологии и этнографии Сибири), а корзину с немногочисленными домашними вещами – в Краевой музей. Насколько все решения комиссии были выполнены, сказать те-

перь трудно, но небольшая часть фотографий, портрет Г.Н. Потанина, выполненный художницей М.А. Мокиевской, а также «Черневая татарка (Алтайка)» Л.П. Базановой, «Нечаевская улица» И.В. Ароновой всё же остались в библиотеке университета.

Архив Г.Н. Потанина, хранящийся в настоящее время в Научной библиотеке, чрезвычайно обширен и насчитывает более 12000 листов. Все документы разделены на три части. Первая часть включает черновики статей по истории, географии, этнографии, рецензии Потанина, путевые дневники (1876–1877, 1879, 1884, 1892), автобиографические материалы, а также часть переписки. Во вторую часть архива отнесены фотографии, изобразительный материал, большая часть переписки. Третья часть содержит документы, письма, фотографии, визитные карточки, небольшое число творческих рукописей Потанина, не пронумерованных и поэтому не числящихся в списках и описях архива.

В 60-е гг. XX в. был составлен «Алфавитный указатель корреспондентов», что значительно облегчило работу по выдаче материалов этой группы для исследователей. В конце 70-х гг. XX в. вся переписка, сгруппированная ранее формально (в порядке инвентарных номеров), была перегруппирована по корреспондентам. Удалось из необработанной части архива определить более 100 писем, среди корреспондентов которых оказались, например, Н.М. Ядринцев, В.М. Крутовский, А.В. Адрианов и др., а также 24 письма Г.Н. Потанина к А.Н. Седельникову, относящиеся к 10-м гг. XX в.

Судя по составу всего архива, Григорий Николаевич Потанин был человеком очень бережливым по природе, он хранил не только свои рукописи, дневники экспедиций, письма, но и старые записные книжки, квартирные книжки, визитные карточки, сохранились даже старые чековые книжки, вырезки из газет, конверты и пр. Чрезвычайно велико количество заметок, выписок и конспектов, сделанных им по прочтении книг из своей библиотеки, которая насчитывает более 3 тыс. томов и находится также в библиотеке университета. В дальнейшем представляется чрезвычайно перспективным исследование архива Г.Н. Потанина как комплексного источника, позволяющего не только более полно охарактеризовать его как человека и учёного, но и реконструировать бытовые реалии начала XX в., показать повседневную жизнь самого Г.Н. Потанина и его ближайшего окружения. Это позволило бы получить новые, совершенно уникальные

данные из жизни провинциального университетского города начала XX в., проследить формирование сибирской интеллигенции.

Исторически сложилось так, что материалы архива Г.Н. Потанина, хранящиеся в НБ ТГУ, до сих пор оставались за пределами публикаций. Введение хотя бы части этих документов в научный оборот позволило бы исследователям существенно расширить представления в первую очередь о личности великого сибиряка. Второй том серии «Сибирский архив» предлагает вниманию читателя обширный фрагмент эпистолярного наследия Г.Н. Потанина. Это переписка с известной сибирской поэтессой М.Г. Васильевой (1863–1943), с 1911–1917 гг. его второй женой, дающая возможность с необычной стороны увидеть частные моменты его биографии и его личную жизнь.

Всего в библиотеке хранится 251 письмо Г.Н. Потанина и М.Г. Васильевой. Первое письмо было послано Г.Н. Потаниным в Барнаул 3 января 1901 г. из Петербурга, а последнее – 9 августа 1914 г. из Томска. Переписка носит глубоко интимный характер и раскрывает нам все особенности необычного «романа в письмах». Строки писем полны внимания, заботы и теплоты, большой человечности и любви, в них также нашла своё отражение общественная, политическая и культурная жизнь не только Томска, но и Сибири в целом, поскольку есть письма, посланные Г.Н. Потаниным из Красноярска, Бийска, Онгудая, Аноса и др. По сути, они являются свидетельством духовной и материальной жизни сибиряков начала XX в., что делает их ценнейшим памятником сибирской истории.

Переписка между Г.Н. Потаниным и М.Г. Васильевой – это новый источник к пониманию личности великого сибиряка, она является своеобразной летописью последних лет жизни Г.Н. Потанина. Во многом она проливает свет на его интересы, поведение, быт, среду, в которой он живёт, очерчивает круг людей, с которыми он общается, даёт представление о его взглядах на общественную, политическую и культурную жизнь Томска в этот период.

Письма воспроизводятся по автографам, которые хранятся в фонде Научной библиотеки Томского государственного университета. Текст передан по правилам современной орфографии и пунктуации с сохранением некоторых авторских особенностей. Редакторские конъектуры даются в квадратных скобках. Явные описки исправлены без оговорок, даты даны по оригиналу (по старому стилю).

Сведения об упомянутых в письмах лицах приводятся в именном указателе.

Н.А. Есипова, В.П. Зиновьев, Г.И. Колосова

¹ *Обручев В.А.* Люди русской науки. М.; Л., 1948. Т.1. С. 566.

² Литературное наследие Сибири. Т. 6–7. Новосибирск, 1983–1986.

³ *Потанин Г.Н.* Тайжане. Историко-литературные материалы. Томск, 1997.

⁴ Дело об отделении Сибири от России. Томск, 2002.

⁵ Письма Г.Н. Потанина. Т. 1–5. Иркутск, 1987–1992.

⁶ Там же. Т. 1. С. 6.

ПЕРЕПИСКА Г.Н. ПОТАНИНА с М.Г. ВАСИЛЬЕВОЙ

№ 1

3 янв[аря] 1901 г.

[Санкт-Петербург], Гусев [переулок], 4

Дорогая поэтесса,

К сожалению, не могу Вас порадовать новым известием о Вашей книжке; еще не был в типографии, но решил поехать завтра в пятницу утром и немедленно Вам напишу уже по адресу в Барнаул.

Многие из моих знакомых после Вашего отъезда жалеют, что им не удалось с Вами познакомиться. Из Лесного О.Н. Тиблен хотела даже телеграфировать мне просьбу привезти Вас, но подумала, что уже поздно, и действительно телеграмма была бы получена, когда Вы были уже в дороге. Мне тоже очень жаль, что не удалось Вас ввести в дома, в которых меня искренно любят. Вы нашли в Петербурге в нескольких домах теплое участие, но это были Ваши барнаульские друзья. А мне бы хотелось бы, чтоб Вы такое же радушие испытали и в домах настоящих петербуржцев. Может быть, Вы в такой же восторг пришли бы и от моих друзей, как от Самохваловых.

Мендельсон, вероятно, потому не явился к Вам, что подобно Вашему студенту, вероятно, уехал на праздники из Москвы.

Спешу отнести письмо в почтовый ящик, и потому остальные новости оставляю до следующего письма, которое не замедлю написать.

Желаю Вам весело провести конец зимы.

Искренно преданный Григорий Потанин.

[P.S.] Вчера сюда приехала г-жа Попова, жена редактора «Вост[очного] обозрения». Она говорит, что нужно Вас уговорить переселиться в Иркутск.

№ 2

5 января 1901 г.

[Санкт-Петербург], Гусев [переулок], 4

Я вчера получил Ваше письмо из Москвы, Марья Георгиевна, и был польщен такой Вашей любезностью в такой степени, что весь

день вчера, да и сегодня по этому случаю нахожусь в самом приятном расположении духа; душа моя улыбается. Это хороший знак, что Вы не намерены забыть искреннего почитателя Вашего таланта.

После Вашего отъезда я еще не успел перейти к тому настроению, которое у меня было до Вашего приезда. Это потому, что дух мой окрыляется надеждой, что Вы решитесь на переезд в Иркутск. Мы об этом говорили с Ольгой Ник[олаевной] Тиблен; она как будто за Томск, или вернее за то, чтоб оставить Вас при ремингтоне; она говорит, что литератора не нужно привлекать к журнальной срочной работе, для него будет плодотворнее и здоровее, если он будет зарабатывать кусок хлеба нелитературным трудом. В Томске, конечно, Вы будете иметь интеллигентное знакомство, и газеты, и их издатели будут у Вас также под рукой. Только в этом случае, если Вы выберете Томск, а не Иркутск, проиграю я; признаюсь, я как будто влюбился в роль друга Вашей литературной деятельности, и если Ваши дарования развернутся независимо от моего участия, мне будет обидно за себя!

Сегодня я был в типографии Тиле, видел Круковского и фактора типографии. Они мне сказали, что на празднике они не приступали к печатанию потому, что наборщики пьянствовали; обещали на следующей неделе, т.е. после 7 янв[аря] начать печатание; оно продлится две недели; так что книжка будет отпечатана не ранее 20 января.

Будьте здоровы и веселы, искренно преданный Г. Потанин.

№ 3

12 января 1901 г.

Санкт-Петербург, Гусев переулок, 4, кв[артир]а 19

Многоуважаемая Марья Георгиевна!

Сегодня пятница, 12 января; я съездил в типографию Тиле и узнал, что 10 листов уже отпечатано начисто; два листа будут отпечатаны к воскресенью. На следующей неделе отпечатают предисловие и обложку и сброшюруют; затем экземпляры будут сданы в склад г-жи О. Поповой. Мне в удостоверение, что печатание началось, дали шесть листов, отпечатанных на хорошей бумаге. Виньетки вышли хорошо, четко.

Всего будет отпечатано 1200 экзempl[яров], цена будет выставлена на задней странице обложки 1 рубль. Я ехал в типографию, признаться, без надежды получить благоприятное известие, и очень теперь рад, что конец близок.

Валериан Евгеньевич до сей поры не доставил мне Вашей карточки для г-на Кобычева; может быть, он не знает моего адреса, а я не знаю его и потому сам сходить к нему не могу. Сообщите мне его адрес.

Сюда приехал мой приятель П.В. Вологодский, который будет издавать новую газету в Томске. Он хвалит Ваши стихотворения, они ему нравятся. Это меня ободряет; не все критики отнесутся, надеюсь, отрицательно к Вашей книге; найдутся и дружелюбные критики. Сибирский читатель, я рассчитываю, поддержит нас, и в Сибири книга будет расходиться. Нельзя ли будет устроить распродажу ее в Барнауле при книжном складе общества попечения о народном образовании?

Жду с нетерпением Вашего письма из Барнаула. Неужели ли все те тревоги, которые переживала Ваша душа здесь, те внушения, которые Вам делала петербургская жизнь, уже сменились безвозвратно барнаульской резиньяцией?

В.А. Поповой, которая была здесь и уже уехала, я дал слово приехать в Иркутск. Она настаивает, чтоб я ехал в марте, но я едва ли соберусь так скоро; вероятно, дотяну здесь до мая и тогда летом непременно буду у Вас в Барнауле.

Передайте мой привет Вас[илию] Конс[тантиновичу] Штильке и Дм[итрию]Ив[ановичу] Звереву.

Желаю Вам здоровья и творческого настроения.

Искренно преданный Григорий Потанин.

[P.S.] Сборник в честь Михайловского все еще лежит в цензуре. Миролубова с Вашего отъезда не видал и потому не знаю, когда он напечатает Ваше стихотворение.

Если будете продавать по рублю без уступок за комиссию, то Вам останется остаток в 400 р[ублей]; если же пожелаете распродать скорее и сделать уступку книгопродавцу в 35%, то получите менее (200 рублей). Как только будут экземпляры переданы в склад Поповой – тотчас же зайду в склад и скажу там, что дальнейшие распоряжения об экз[емплярах] и деньгах должны зависеть от Вас.

№ 4

28 янв[аря] 1901 г.

[Санкт-Петербург], Гусев [переулок], 4, кв[ртира] 19

Многоуважаемая Марья Георгиевна,

Несколько дней тому назад я Вам послал совершенно чистый экземпляр (т.е. один из 1200 экз[емпляров], которые все уже отпечатаны), но без обложки и предисловия, которые в типографии мне не

дали. Пока эти 1200 экземпляров еще не сброшюрованы; не везет нам, опять задержка, на этот раз из-за цензуры. Дело в том, что добавленные Вами строфы нужно было провести через цензуру; все, до Вашего приезда набранное, было уже пропущено тем цензором, которому поручен надзор за изданием типографии Табурно, где Ваша книжка набиралась. Потом издание было перенесено в типографию Тиле. Прежде чем посылать непропущенные еще цензурой добавленные Вами строфы тому цензору, которому поручен надзор за изданиями типографии Тиле, надо было вытребовать у Табурно все корректурные листы, подписанные уже цензором, но типография Табурно закрывается и работы в ней прекратились, почему и произошла проволочка. В понедельник или вторник я вновь поеду в типографию Тиле и надеюсь получить сброшюрованный экземпляр, который и не замедлю выслать. Хотя посланный экземпляр не сброшюрован и без обложки, но я не стал дожидаться, пока получу обложку и послал Вам в том неполном виде, в каком получил, думая, что и в этом виде получение его доставит Вам удовольствие.

Получил Ваше письмо из Томска и был обрадован, что петербургские впечатления доехали до Томска не развеявшись. Но что-то напишете из Барнаула? Дай Бог, чтобы барнаульское было такое же милое, как томское. Возлагание надежды на мою готовность служить Вам очень приятно на меня действует. Готов служить Вам всеми силами своей души. «Я здесь, Инезилья, с гитарой и шпагой стою под окном!» Впечатление от этого томского письма могу сравнить с тем, которое получаешь, когда идешь по улице ранней весной в морозное утро; вчерашняя топкая грязь и лужи подмерзли, идешь сухой ногой, не замочив подошвы, не загрязнив носка сапога, в воздухе свежо, тихо, светло и на душе подметено и прибрано. Ваше письмо приподняло меня над тем, что Вы называете «тиной человек[еской] жизни».

Непреренно Вам нужно пожить в большом городе, повертеться в кругу литераторов, хотя бы и провинциальных, собратьев по творчеству, поглощенных интересами областными, национальными и общественными, и, может быть, Вы подарите сибирскую публику новой серией стихотворений, которые отразят Ваше нежное сердце в новом преломлении.

С большим нетерпением буду ждать Вашего письма из Барнаула. Кланяйтесь моим друзьям в Барнауле Д.И. Звереву, которому напишу отдельное письмо, и В.К. Штильке.

Карточку свою пришлю Вам, когда приобрету, а приобрету, когда получу свой гонорар за статью в «Журнале для всех». Миролюбова доктора угнали за границу на 6 месяцев.

Преданный Вам глубоко Григорий Потанин.

№ 5

6 февраля 1901 г.

[Санкт-Петербург], Гусев переулок, 4, кв[артира]19

Многоуважаемая Марья Георгиевна,

Посылаю Вам свое предисловие. Эти дни я усиленно действовал и подгонял Вашу книжку, ездил в типографию Табурно, доставал корректурные процензуированные листы, отвозил их к цензору на просмотр, гонялся за цензором по городу, был в его доме, и, наконец, возвратился в типографию Тиле с экземпляром, вполне пропущенном цензурой; и Ваши последние вставки, и мое предисловие подписаны; в субботу я сдал все это в типографию; в понедельник и вторник будут брошюровать. В среду я опять поеду в типографию Тиле, возьму 10 экземпляров, которые по закону следует представить в Ценз[урный] комитет, свезу в типографию Табурно, возьму от них записку, с которой поеду к цензору, получу у него билет на выпуск и конец. Тогда останется только, чтобы типография Тиле перевезла все издание в склад г-жи Поповой.

Неделю назад я послал Вам начисто напечатанный экземпляр «Песен сибирячки». Получили ли?

Прилагаемая карточка не из лучших; впрочем, фотограф, исполнивший ее, остался доволен ею; другие тоже говорят, что она исполнена более художественно, чем мои другие. Но мне кажется, она не передает настоящий подлинник; на ней я моложе и благообразнее, чем на самом деле. Моя приятельница, живущая в Лесном, на днях сказала мне, что я похож на лешего, и в этом я вскоре сам убедился; другая девица, к которой я зашел по делу, отворив мне дверь своей комнаты и увидев меня в полутемном коридоре, так обомлела от ужаса, что ей нужно было время, чтобы успокоиться. Когда получу деньги за статью, напечатанную в «Журнале для всех», куплю другую карточку у Левицкого, на которой природа лешего отразилась яснее.

Доверчивость, с которою вы отнеслись ко мне в прошлом письме, меня чрезвычайно подкупает и очаровывает. Мысль моя вытащить Вас из Барнаула, не только не ослабевает, но постоянно креп-

нет. Хочется жить с Вами в одном городе, переживать одни и те же события, одни и те же чувства, думать вместе. Сибирская жизнь еще не все получила от Вас, что может получить. Еще поработаем на благо родины, не правда ли? Может быть, удастся составить в Иркутске кружок артистов, м[ожет] б[ыть], найдется там местный патриот – художник, дружественно настроенный музыкант, композитор и т.п. и удастся зажечь маленький костерчик местного творчества. Знакомство с Вами самое дорогое знакомство, сделанное мною за эту зиму. Вы теперь для меня такое дорогое существо, что я сделался болезненно чувствительным к отзывам о Вашей поэзии. Только услышу, что говорят о Вас или о Ваших стихотворениях и сейчас же испытываю трепет испуга (я не эстетик, и к поэзии, музыке и живописи прежде всего отношусь как публицист). Можете ли после этого сомневаться, что я не заеду в Барнаул? Или что я непременно постараюсь еще раз увидиться с Вами? Если мое переселение в Иркутск не удастся, специально для Вас поеду в Барнаул, если Вы этого пожелаете.

Искренно преданный Г. Потанин.

№ 6

18 февр[аля] 1901 г.

Санкт-Петербург, Гусев пер[еулок], 4, кв[а]ртира 19

Ну, милая поэтесса, трепещите!

Все издание перевезено уже в склад О.Н. Поповой (Невский, 54) и уже распродается из магазина. Я один экземпляр уже купил в магазине для одного моего знакомого из Омска. Вероятно, на днях будут разосланы из магазина экземпляры по редакциям для отзыва и немного позже начнут появляться убийственные рецензии. Караульте журналы и газеты сами и попросите друзей караулить.

Всего отпечатано, оказалось, 2000 экз[емпляров], в склад сдано 1999 экз[емпляров]. Один экземпляр, должен быть, вычли; это тот, который я себе взял бесплатно для пользования. Я распорядился, чтобы книжн[ый] склад О.Н. Поповой выслал и раздал:

50 экземпляров Вам (20 даровых, 30 для распродажи).

Ал[ександру] Ал[ександровичу] Кобычеву 5 экземпляров.

По одному экземпляру:

Дм[итрию] Мих[айловичу] Головачеву (Красноярск),

Петру Мих[айловичу] Головачеву (Москва),

Ник[олаю] Мих[айловичу] Мендельсону (Москва),

Вл[адимиру] Гал[актионовичу] Короленко (Полтава),
[Петру Филипповичу] Якубовичу (Удельная),
Дм[итрию] Петр[овичу] Першину (Иркутск),
Вероятно, книж[ный] магаз[ин] сам отошлет в редакции
«Сиб[ирской] жизни», «Сиб[ирского] листка» и «Вост[очного] обо-
зрения».

Вы, конечно, ничего не имеете против рассылки этим лицам? Першин, «всеобщий друг» в Иркутске, отличный чтец стихотворений. Послать ему экземпляр – это реклама лучше, чем пропечатание объявления в «Вост[очном] об[озрении]». Я ему напишу письмо, чтобы он некоторые из Ваших произведений прочитал публично в литерат[урно]-музыкальном обществе на их субботних журфиксах.

Марье Ник[олаевне] Костюриной (в Тобольск), Петру Ив[ановичу] Макушину (в Томск) и Ив[ану] Ив[ановичу] Попову (в Иркутск) сегодня отсылаю письма с просьбой напечатать даром объявление о выходе книжки.

Свой экземпляр я давал Марье Валент[иновне] Ватсон, а потом отвез Ольге Ник[олаевне] Тиблен. М[арья] В[алентиновна] по моему указанию прочла несколько стихотворений, которые я счел за характерные для Вас: «Тишина», «Гудят колокола», «Молитва», «Под чарами природы» и др[угие]. Она нашла, что у Вас талант есть, но что Вы пишете под сильным влиянием Надсона; слишком слышен этот учитель в Ваших стихах. Значит, Вы должны продолжать, но постараться освободиться от манеры Надсона. Отзыв Ольги Ник[олаевны] услышу только в будущую пятницу; при свидании же в минувшую пятницу она прочла при мне только два стихотворения: «Темницы» и еще одно; оба ей понравились, и она нашла, что они написаны «мило».

Вы просите 1) справиться о стихотворениях в «Ж[урнал] для всех», 2) сказать свое мнение о стихотворении, присланном в письме, и 3) напечатать опечатки. Письмо Ваше с указанием опечаток пришло тогда, когда 1999 экз[емпляров] уже были отвезены в склад О.Н. Поповой, они уже опоздали. Миролубов уехал за границу; по газетн[ым] извест[иям] он теперь в Ялте, вероятно, вернется только, когда в Петербурге кончится весенняя слякоть. До его приезда, пока заправляют редакцией незнакомые лица, мне не хочется идти в редакцию. Но все-таки как-нибудь соберусь и узнаю.

Новое стихотворение недурно; в техничesk[ом] отношении хочется заметить, что после строчки «И позабыть бы про тяжкую до-

лю» как будто следующая строчка нуждается в указателе, что это параллельная фраза, что она повторяет или поясняет, в чем состоит «тяжкая доля». Было бы лучше, если бы было сказано: «про тяжкую долю, про ряд невозвратно загубленных дней». Без этого повторения предлога про у читателя выходит заминка; ему не сразу дается понятие, что ряд загубленных дней это и есть тяжкая доля. Без про прочитаешь строчку и начнешь искать, что нужно сделать с этим «рядом загуб[ленных] дней», и только обратившись к началу предшествующей строчки, догадаешься, что их хотелось бы «позабить».

Но простой вставке предлога про противится размер; если начать строчку с про, то слово «нѣвозвратнѣ» нужно заменить другим одинакового размера:

Прѣ ѡб-ѡб-о зѣгублѣннѣх дней.

Затем мне кажется лишней строка «Мыслью свободной сознательно, смело... »

Она ничего не прибавляет и кажется вставленной ради рифмы к слову «дела». Если «смело» относится к предыдущей строке, то это разбавление слов «всею душою», растягивающее фразу; если к последней, то выходит странный призыв: «сознательно, смело бросить бы мрачную эту тюрьму». Нельзя ли на этом месте высказать мысль: «на защиту правды выступить смело», или «начать новую жизнь и смело разорвать с прошлым, бросить бы мрачную эту тюрьму». Исправьте это стихотворение и отошлем в «Вост[очное] обозр[ение]».

Друг, к которому Вы обращаетесь в этом стихотворении, это кто же? Если это собирательное, то, с моей стороны, не будет нескромным, если я зачислю себя в число этих друзей, на которых возлагается надежда, что они помогут вырваться на волю. Пожалуйста, не смущайтесь, если иногда Ваши расчеты на получение письма с ожидаемой почтой не оправдаются. Не думайте, что, расставшись с Вами, я с меньшей горячностью стал относиться к Вашей судьбе. Из писем моих Вы видите, что я усиленно хлопочу о Ваших интересах (пока, конечно, дело ограничивается книгой), об этом свидетельствуют не одни письма, а и осязательные результаты хлопот (т.е. выпуск книжки). Если человек кому что дарит, он начинает питать доброжелательные чувства к тому, кому подарил; если кто кому оказал услуги, тот начинает любить того, кому оказана услуга. Вот и в данном случае с Вами. Чем более хлопочу о Ваших делах и чем более забочусь о Вас, тем Вы становитесь милее мне. Я теперь больше всего занят вопросом, как Вы далее будете жить, думать и писать, а

Вы меня спрашиваете: «Или Вам не нашлось о чем написать?» Когда было напечатано первое Ваше стихотворение, то была эпоха в Вашей жизни; издание собрания Ваших стихотворений – это вторая эпоха. Как это отразится на содержании Вашей поэзии? Об этом я вел бы с Вами длинные разговоры, и здесь, наедине, об этом много думаю. Мне хотелось бы, чтобы Вы остались нашей сибирской поэтессой; не хочется отдавать Вас столице. Даже более, мне хотелось бы сделать Вас своей, т.е. не просто освободить из барнаульской тюрьмы, а увезти туда, где я сам буду, и сделать Вас одной веры со мной и одних стремлений.

Вас может испугать мысль, что я хочу совершить насилие над Вашей душой, но этот страх напрасен, потому что я прежде всего ценю в Вашей поэзии искренность и потому совращать Вас на путь искусственных возбуждений, навязывать Вам чувства и темы, сознаю, было бы с моей стороны преступлением. Это было бы равносильно подрезыванию корня у растения, которое собирается цвести. Я должен еще послужить своей области и мне было бы весело и легко работать, если бы я в Вас нашел сотрудника. Напишите, как Вы относитесь к моей мечте.

Сюда приехал Петр Мих[айлович] Головачев и рассказал, как они готовились устроить вечер, на котором рассчитывали видеть Вас, и ошиблись в расчете. Они были огорчены и даже приняли за обиду, что Вы в Москве не показались сибирской колонии. Вина во всем я; мне надо было дать Вам адрес Головачева (который я затерял, но если б поискать, он, вероятно, нашелся бы) и просить Вас на второй же день по приезде поехать прямо к Головачеву.

Искренно преданный Г. Потанин.

№ 7

11 марта 1901 г.

[Санкт-Петербург], Гусев [переулок], 4

Милая и дорогая Марья Георгиевна,

Если мои письма доставляют Вам удовольствие, то Ваши меня очаровывают, приводят в состояние, которое не умею описать; чувствую, что я что-то обязан для Вас сделать, что-то много сделать, бесконечно благодарить Вас за Ваше милостивое отношение ко мне; сердце мое наполняется гордостью от мысли, что я заслужил доброе расположение милой сибирской поэтессы. Вместо того чтобы писать письмо, хотелось бы лично говорить с Вами. Хотелось бы сократить

это время пребывания в Петербурге, скорее бы приехать в Барнаул, и потом вместе переселиться в Иркутск, чтобы жить там общими духовными интересами, делиться чувствами и мыслями. Какие-то изменения в Вашей поэзии вызовут новые условия, в которых Вам придется жить? Будут ли продолжаться такие прелестные приливы лирики вроде таких строк, как, напр[имер], «Тихой бы пристани! Тихого счастья»? Или такие струны замолкнут? Не возрастет ли эпический материал? Меня сильно занимает этот вопрос о росте и развитии нашего милого сибирского поэта.

Я получил телеграмму и письмо из Троицкосавска. Старый издатель «Байкала» извещает, что 23 февраля он послал прошение в Главн[ое] упр[авление] по делам печати об утверждении меня редактором, при этом просит, чтобы я со своей стороны принял меры ускорить разрешение этого дела так, чтобы с 1-го апреля «Байкал» начал выходить уже с моей подписью. Это, однако, невозможно устроить так скоро; вопросы подобные разрешаются в Гл[авном] упр[авлении] по делам печати не ранее трех месяцев после подачи прошения, поэтому моего утверждения редактором можно ожидать не ранее 1 июня. Во-вторых, я еще не сдал свою рукопись, описание поездки в Хинган, хотя в ней уже осталось немного дополнять. К концу марта я надеюсь покончить с этой работой.

Мое предложение, сделанное Вам, принять участие в составлении номеров «Байкала» остается без изменения. Если Вы не раздумаете к тому времени, то я с величайшей радостью увезу Вас в Иркутск. Я до такой степени свыкся с этой мыслью, что для меня было бы большим огорчением, если бы мне пришлось из Барнаула уехать в Иркутск одиноким. Не знаю только, в какой мере с моей стороны будет легкомысленно увезти Вас, заручившись только обещанием будущего издателя «Байкала», что редактор будет получать 50 р[ублей] ежемесячно. Если в самом деле мне будут давать эти деньги, то я уступлю их Вам. Рискнете ли Вы, положась на это мое обещание, ехать в Иркутск? Я не думаю, чтобы издатель не исполнил своего обещания. Во всяком случае весь мой кошелек к Вашим услугам. Или Вы, может быть, предпочли бы, чтобы я сначала уехал в Иркутск один, все бы устроил и тогда бы вызвал Вас. Во мне горит желание, однако, везти Вас сейчас же, немедленно.

Вы мне простите, что я по получении Вашего письма не сейчас ответил, а только через несколько дней. Такое бурное время переживает столица, что трудно выделить или уловить момент спокойного состояния духа, чтобы засесть за письмо.

В магазине Поповой мне сказали, что Вам отослано 50 экземпляров, получили ли их? Получили ли официальное извещение магазина, что им принято в склад 1999 экземпляров Вашей книги?

Буря политическая, несущаяся теперь через столицу, совсем нам с Вами не ко времени. Все так занято уличными событиями, что мирная жизнь невозможна. Статьи не пишутся, книжка Ваша едва ли здесь теперь раскупается. В журналах и газетах до сей поры нигде отзывов я не встречал.

Ольга Ник[олаевна] Тиблен возвратила мне Вашу книжку без замечаний, которые обещала изложить письменно. Все по той же причине. Куда в общество не придешь, только и разговоров, что о событии на Казанской площади.

Вчера Ваш кузен доставил мне Ваш портрет для А.А. Кобычева, которому я и передам его сегодня.

Хотя я на этот раз провинился, не ответил в тот же день, как получил Ваше письмо, но на этот раз простите, а в следующий раз я буду аккуратнее. Пожалуйста, не нарушайте принятого Вами правила отвечать не далее, как на второй день. Я считаю дни, и когда пройдет по расчету двадцать четыре дня после отправления моего письма (Ваше письмо приходит иногда через 10, иногда через 12 дней), я начинаю волноваться и смущаться Вашим молчанием. Впрочем, последнее Ваше письмо было написано так ласково, что я верю теперь в прочность Вашей дружбы.

Целую Вашу руку, искренно преданный Григорий Потанин.

[P.S.] Ольга Ник[олаевна] одобрила Вашу книжку, и хотя она имеет нечто возразить по поводу некоторых мест и не находит, чтобы все стихотворения были выдержаны, но говорит, есть много отдельных строк истинно поэтических. Я очень порадован этим отзывом. Особенно ей нравятся некоторые окончания: "А выход один — умереть!", "Позабиться бы!.. Заснуть!.. Зарыдать!..", "Тихой бы пристани!.. Тихого счастья!"

И мне страсть как нравятся эти концы! Она говорит, что тут есть искры поэзии; тут действительно вырвалось наружу чувство.

№ 8

19 марта 1901 г.

[Санкт-Петербург], Гусев [переулок], 4

Дорогая Мария Георгиевна,

Очень часто размышляю о том, что как мы с Вами будем сообща работать в сибирской журналистике, друг другу помогая и друг дру-

га вдохновляя и поощряя, к сожалению, общественная жизнь выдвигает свои тучи и страх берет, смущает вопрос, удастся ли осуществить свои мечты.

Под свежим впечатлением события 4-го марта группа литераторов написала протест против действий полиции, под которым и я подписался. Хотя письмо это не было напечатано в русских газетах, но оно разошлось в рукописных списках в столичной публике и попало в немецкие газеты за границей. Есть опасение, что участие мое в этом протесте будет принято во внимание при решении вопроса о допущении меня к редакторским занятиям в "Байкале". Если департамент полиции не найдет возможным допустить меня к этим занятиям, то, может быть, мне удастся устроиться в "Байкале"; издатель может не согласиться допустить меня к занятиям в качестве негласного редактора.

А как нетерпеливо я жду возможности перейти в это новое положение совместного труда с Вами. По отношению к Вам, я сознаю, моя роль будет маленькая; моя обязанность будет состоять в заботе доставить Вам возможность жить в более культурном городе, чем Барнаул, с более разносторонними потребностями. Одаренная Ваша натура сама найдет новый ход под новыми восприятиями, а я буду вознагражден тем наслаждением, которое буду испытывать, наблюдая видоизменения Вашего творчества, Вашей поэтической физиономии, "ряд волшебных изменений милого лица".

Кстати, о Вашем физическом облике. Вы обещаете мне новую фотографическую карточку, спрашиваете, дать ли? Конечно дать. Желая иметь Ваш портрет во всяких видах, во всяких прическах, чем больше, тем приятнее.

Карточку Кобычеву я передал в тот же день, как писал Вам предыдущее письмо.

Конечно, принести такую жертву ради Вас, поселиться в Барнауле, для меня было бы трудно, но если бы Вы потребовали этого, я бы не сказал, что Вы не заслуживаете такой жертвы. Отчего же не пожертвовать собой, если это нужно для девицы?

Я Вам послал номер "Сиб[ирской] жизни" с рецензией П.М. Головачева на Вашу книгу. Здесь эта рецензия произвела неприятное впечатление, увидели рекламу во фразах о желании, чтобы книжка явилась во втором издании; фразы эти были повторены в конце заметки. В действительности рекламы тут нет, но это похоже на рекламу. И эти

фразы бестактны. Они ослабляют, обесценивают тот сочувственный отзыв о Вашей поэзии, который сделан автором рецензии.

Получили ли 50 экземпляров? 50 экз[емпляров] отправлено для продажи в Красноярский книжный склад.

Григорий Потанин.

№ 9

29 марта 1901 г.

[Санкт-Петербург], Гусев [переулок], 4

Что это с Вами, милая, дорогая наша поэтесса? Грусть, апатия – откуда это пришло к Вам, что случилось? Надеюсь, что это временное настроение. Вероятно, что-нибудь кто-нибудь несочувственное сказал Вам относительно Вашей книжки, вот Вы и упали духом и загрустили. Вы, кажется, честолюбивы и, кажется, немножко в излишке. Что Ваша поэзия не всем нравится, это само собою разумеется. Если столичная пресса отнесется к Вашей книжке безучастно, не заметит ее, меня это не огорчит. Я даже, пожалуй, буду рад этому; это будет залог, что Вы останетесь нашей сибирской поэтессой, что столица, эта загребательница всего хорошего, что появится в провинции, не отнимет Вас у нас. А в Сибири-то я уже неоднократно убеждался, Вас любят и читают. Если действительно Вас расстроил какой-нибудь глупый отзыв, то постарайтесь приучить себя не обращать большого внимания на эти отзывы, но если причина Вашей грусти другая, то это меня беспокоит. Как, в то время, как мы с Вами строим радужные перспективы, Вас обуяла апатия? Не значит ли это, что планы наши о будущей работе теряют для Вас временами свой приятный вкус? Это и на меня напускает грусть. Впрочем, мне понравилось, что Вы обратились ко мне с откровенным признанием о Вашей слабости. Пожалуйста, и впредь, как только почувствуете себя в дурном расположении духа, делитесь со мной своим горем. Во мне Вы всегда найдете человека, который от всей души пожелает, чтобы подобное настроение поскорее прекратилось и как можно реже набегало на Вас.

Конечно, если вы распродадите высланные Вам экземпляры в Барнауле, то Попова придет Вам новые. Имейте в виду только, что первая выручка за продажу должна пойти издателю, по крайней мере часть ее. Может быть, следует так сделать – делать хоть по третям года расчет, треть отдавать в возврат издателю, треть в магазин за комиссию и треть Вам. Об этом, может быть, Вы найдете возможным списаться с Александром Александр[овичем] Кобычевым

(СПб., Исаакиевская площадь, 7) и с магазином О.Н. Поповой (адрес на обложке Вашей книжки).

Когда буду в Томске, непременно буду у Козловой; знаю, как ее зовут по имени, не знаю по отчеству.

Новое Ваше стихотворение теперь совершенно гладко и прилично.

Анучину Вашу книжку магазин Поповой сам послал без моего предложения, по личному знакомству. Я его давно не видел, да вряд ли и увижу. Он был взят 4 марта на площади Казанск[ого] собора и, вероятно, уже выслан из Петербурга.

И на меня иногда набегают тучки сомнения и грусти, но в настоящее время именно только "иногда"; господствующее же настроение веселое, здоровое и в этом, кажется, в значительной степени виноваты Вы. Я очень часто мечтаю о Вас и Иркутске вместе, строю разные планы, но я боюсь об этом распространяться, потому что и Вам могу показаться мечтателем, да и сам, чувствую, что иногда хватаю через край. Наприм[ер], я все мечтаю составить в Иркутске артистическ[ий] кружок из местных литераторов, художников, музыкантов, актеров, мечтаю об объединении этих местных сил с целью положить начало местному творчеству. В Сибири должна возникнуть своя оригинальная школа в искусстве, своя литературная школа, своя школа живописи, своя музыка. Но наперед нужно еще попасть в Иркутск.

Пишите. Буду ждать Вашего письма, а пока целую Вашу руку.

Искренно преданный Григорий Потанин.

№ 10

[Апрель 1901 г.

Санкт-Петербург, Гусев переулок, 4, квартира 19]

Дорогая Марья Георгиевна,

Благодарю Вас за книжку с Вашим факсимиле и за письмо, посланное одновременно с нею. Письмо это меня смутило. В последних Ваших письмах появились ноты, которых прежде не было. В одном из них Вы сообщаете о грустном настроении и апатии, а в самом последнем поражают Ваша нерешительность и колебание. Грусть дело неизбежное; это чувство здоровое, оно свойственно здоровому организму, но апатия это болезнь. Мне хотелось бы верить больше в то, что это слово Вы употребили не на месте. Нерешительность Ваша меня больше заботит. Вы говорите, что Вы, может быть, на мой призыв ответите "никогда"! Теперешняя моя мысль никак этого допустить не может. Мне скучно становится, если я от Вас долго не получаю письма; мне хотелось бы получать их еженедель-

но, хотелось бы, вместо сношений по почте, говорить с Вами, видеть Вас, иметь перед своими глазами; когда пишу Вам письмо, голова горит как у влюбленного, мимолетная ласка, замеченная в Вашем письме, вызывает в душе наплыв чувств благодарности. Что меня так околдовало? Божок сибирской поэзии, который в Вас сидит? Конечно, этот божок не вся Вы, и я не знаю той оправы, в которой он заключен; может быть, в этой оправе есть шероховатости, но жемчужина так хороша, что с оправой, какая бы она ни была, можно примириться. Есть такие хорошенькие женские личики, к которым очень идут модные шляпки, но они милы и в деревенском платочке. Вы, я думаю, в этом роде; Вы милы и в дни вдохновения, и в будни. Вы скажете, что я приукрашиваю Вас, как это делают фотографы. Но это истекает из моего доброжелательного чувства к Вам; хочется, чтобы Вы были хороши во всех отношениях. Кстати, фотографическая Ваша карточка вделана мною в рамку и повешена на стене для того, чтобы я мог ежедневно подходить к ней и восстанавливать в памяти Ваше лицо. Часто я люблюсь на это прелестное личико, но все-таки берет досада, отчего передо мною не живой оригинал. Глаза не мигают, голова не поворачивается в профиль, на губах не бегает улыбка. А мне нравилось смотреть на Вас в Союзе [писателей], когда Вы сидели на стуле и смотрели вперед, мне приходилось видеть Ваше лицо в профиль, и ресницы, или потому что они длинные, или такой у них наклон, придавали Вашему лицу выражение "утомленной мысли".

Жить вдвоем в Иркутске с Вами это для меня было бы счастье. Теперь я одинок со своими книгами, со своим фольклором, жить для абстрактного человечества, не ведая, действительно ли приносишь ему пользу своими трудами, не то, что жить для живого человека, который на твое чувство сейчас откликается своим чувством. Конечно, у меня есть и другие хорошие женщины, но Вы особенная. С первого свидания Вы выказали очень дружеское доверие ко мне и сразу подкупили меня. Теперь я Ваш преданный слуга и почитатель. Так неужели же может случиться это "никогда"? Вам не будет жалко меня? Я знаю, Вы девица робкая, трусите жизни и свободы, энергия у Вас небольшая, но, может быть, если я приеду в Барнаул, в Вас прибудет бодрости. Я не оставляю надежды, что мне удастся увезти Вас или в Иркутск, или в Петербург. Мне кажется, Вы преувеличиваете беспомощность Вашей мамы, если Вы с ней расстанетесь, в особенности если временно.

Деньги советую пока не тратить и откладывать. Я зайду в магазин Поповой и переговорю с ней, а также побываю у А.А. Кобычева. А Вы и сама в свою очередь спишитесь с ними.

"Никогда"? А мне так вот хочется взять Вас за руку и больше уже не отпускать. И хочется целовать, целовать ее, чтобы размягнуть Ваше сердце; может быть, Вы и не совершите такой жестокости.

Преданный Вам Григорий Потанин.

№ 11

[20 или 21 апреля 1901 г.

Санкт-Петербург, Гусев переулок, 4, квартира 19]

Мы здесь переживаем тяжелые дни. В воскресенье 22 апреля ожидается в Петербурге большая демонстрация рабочих, так называемая "маевка рабочих". За границей она бывает 1 мая, которое приходится на 18 апр[еля] стар[ого] стиля; маевка отнесена с этого будничного дня на ближайшее следующее воскресенье (22). Такие же демонстрации должны произойти и в других городах, Москве, Киеве и др. Рабочие, по слухам, пойдут на Невский с оружием; они не намерены начинать драки, они хотят ограничиться мирной демонстрацией, но если полиция начнет их бить, они хотят защищаться. Население со смущением ждет этого дня; никто не знает, чем это кончится.

Департаментом полиции приняты некоторые меры. По слухам, Зволянский, дир[екто]р департамента, созвал на совещание фабричных инспекторов и открыл заседание речью, в которой с документами в руках доказывал, что движение рабочих с колеи марксистской сошло на народовольческую, т.е. переменяло программу, будет преследовать не экономические, а политические интересы. Он просил их помочь ему. На это инспектора ответили ему, что они имели дело только с экономическими интересами рабочих, ведали только отношения рабочих к хозяевам, и только в этой области считают себя компетентными, в политическом же движении рабочих они не в курсе дела, тут они не сведущи, не подготовлены, бессильны.

В ночь с 17-го на 18 апреля в городе было сделано по последним известиям до 50 арестов и множество обысков; все это населением столицы ставится в связь с заботами о предупреждении демонстрации 22 апреля. Арестованы: Ангел Богданович, два брата Беренштама, Мякотин, г-жа Сабина, Муринов, Бальмонт, Поссе, Горюшин.

Обыски произведены, кроме поименованных лиц, у г-жи Калмыковой, у Пантелеевой, у Лесевича, Диксона, Кранихфельда, у Марьи Валент[иновны] Ватсон, Коломенкиной, у Розы Брагинской, у Пешехонова, у Рубакина, Лесгафта, у Верещагина, генерала Миклашевского. Лесгафт под домашним арестом. Сейчас мне сказали, что всего в два-три дня с 17 апр[еля] по сей день арестовано в Петербурге 800 человек, в том числе 300 рабочих. Арестованные из разных слоев и званий; студенты, инженеры, чиновники, служащие на фабрике и проч. Арестована одна тайная типография, но новые листки не перестают являться, значит, другие типографии продолжают работать. Много листков появилось из-за границы.

НА ЗАКРЫТИЕ СОЮЗА

Наш Союз закрыт, друзья!
Пять сочленов в тесных узах...
Грустно мне, но верю я –
Сила все-таки в союзах.
В тех союзах смелых душ,
Что не гнутся перед роком,
Что несут в родную глушь
Жизнь стремительным потоком.
Наш Союз скромнее был,
Он далек был от геройства,
Но и в нем порою жил
Дух святого беспокойства.
Этот дух заговорит
Нынче всюду – в споре, в музах,
Этот дух и возродит
Наш Союз в других союзах.

Этот листок покажите Д. И. Звереву и уничтожьте.

№ 12

1 мая 1901 г.

[Санкт-Петербург], Гусев [переулок], 4, кв[артира] 19

Дорогая Марья Георгиевна,

В прошлом письме я писал Вам, что зайду в магазин О.Н. Поповой, но раздумал. Дело вот в чем.

Книга "Песни сибирячки" есть Ваша литературная собственность. Хотя надпись на ней: "Издание А.А. Кобычева" как бы указывает, что собственник ее г. Кобычев, но это моя оплошность; я бы мог написать на книжке "издано на средства г. Кобычева", и тогда смысл был бы не тот. Г. Кобычев дал только 400 руб[лей] на издание, с тем, чтобы эти деньги были возвращены из выручки; всей же остальной прибылью распоряжаетесь Вы. Конечно, я позволил себе

вмешаться в это дело, не снесшись с Вами, поместил книжки в магазин О.Н. Поповой; это объясняется моим желанием поскорее раздаться с типографией и поскорее видеть книгу на рынке. Вы недовольны тем, что книга сдана в магазин Поповой, но меня уверили, что если она берет лишний %, зато искуснее или добросовестнее пропагандирует и рекламирует книгу. Ну Вы, конечно, не особенно сильно меня браните за это распоряжение? Не правда ли?

Теперь Вы вот что сделайте. Напишите письмо в магазин О.Н. Поповой, через какой срок издатель по принятому в магазине обычаю может потребовать отчета о распродаже экземпляров. Я сделал другую оплошность, не выговорил права требовать отчета ранее установившегося обычая, а если при сдаче издания договора не было, то отчет магазин дает только через год. Вы хозяйка книжки, вступайте же в свои права. Магазин может из выручки только удерживать комиссионные проценты, а затем все остальные деньги он должен сдать Вам или, по крайней мере, поступить с ними так, как Вы прикажете. Поэтому такое обращение с запросом, какое Вы сделали в предыдущем письме, не резонно. Вы обращаетесь ко мне с вопросом, имеете ли Вы право распоряжаться деньгами, вырученными за книжки, как будто не Вы хозяйка книги, а кто-то другой, находящийся в Петербурге. Кроме Вас, нет теперь другого хозяина; Вы хозяин, но на Вас лежат две обязанности: расплатиться с ссудившим деньгами г. Кобычевым и с магазином О.Н. Поповой. Я не хочу сказать, что я устраниюсь совершенно от всяких разговоров об дальнейшей судьбе Вашей книжки; обращайтесь ко мне, когда найдете нужным, но имейте в виду, что мои слова могут иметь только значение советов.

Мое положение еще не вырешилось. Мне, однако, конфиденциально передали, что надеяться на утверждение редактором после письма 44 литераторов нельзя. Я написал издателю, согласится ли он на мой приезд в качестве негласного редактора. Ответ на этот запрос я могу ждать только около 10 мая. До тех пор я буду сидеть в Петербурге. Если меня не пригласят в Иркутск на этом условии, то мне незачем будет ехать в Иркутск. Мне хотелось бы только съездить в Барнаул, чтобы повидаться с Вами, и затем, опять устроиться в Петербурге и Вас перевезти туда, что Вам, кажется, больше нравится, чем переселение в Иркутск.

Большое спасибо Вам за Ваши письма. Мне очень нравится получать их, они все более и более привязывают меня к Вам. Как я бо-

юсь потерять Вас и Ваше расположение! Желание быть вместе становится непреодолимым; Вы, вероятно, не испытываете этого. Или, может быть, и Вам до страсти хочется дожить до того момента, но в наших мотивах есть разница – я хочу этого нового положения ради только Вашего соседства, Вы краса этого нового положения; для Вас же наше сотрудничество интересно только потому, что с этим связана новая среда, новые знакомства, новая деятельность.

Боюсь потерять Ваше расположение. Мне приходит иногда в голову вопрос, не преувеличиваете ли Вы хорошие стороны во мне? Иногда я настраиваюсь на очень хороший, пожалуй, возвышенный лад, но иногда делаюсь таким низменным человеком... А Вы в это время мне: Мой дорогой друг! Это выходит такой мучительный диссонанс. Заслуживаю ли такое название?

Иногда я задумываюсь о том союзе, который мы проектируем в своем воображении. Во имя чего союз? Во имя общего дела? Да, наши вкусы, кажется, не разнятся, мы любим одно и то же, насколько мы познали друг друга, можем надеяться, что мы будем друг к другу терпимы. Во имя личных симпатий? Кажется, Вы заметили сами, что пока Вы были в Петербурге, мои симпатии все росли к Вам и теперь продолжают расти.

Мне становится временами страшно. А если придется разлучиться после того, как сильно привяжешься. Ведь Вы не должны себя обманывать, одной дружбой Вы не удовлетворитесь и Вам захочется счастья. Иногда мне кажется, что лучше бы Вы теперь же, пока я еще без сильной боли могу оторваться от Вас, устранили бы меня, прогнали бы от себя. Впрочем, это, может быть, праздные мысли, которые потому приходят, что я не вижу Вас воочию, а только мысленно представляю.

Вы меня называете Вашим другом. И мне очень хочется заслужить это имя. Я не заметил, однако, чтобы Вы в своих письмах где-нибудь себя назвали моим другом. А мне бы этого хотелось. Именно, чтобы Вы были равноправный друг. Чтобы Вы смело указывали мне на мои промахи и грехи против кодекса нравственности. У женщины чувство нравственности выше, чем у мужчины, и союз с женщиной для мужчины необходим именно потому, что женщина лучше видит его ошибки, и далее – мужчина легче выслушивает выговор от уважаемой женщины, чем от мужчины приятеля.

Очень меня интересует, какое это Вы написали новое стихотворение? Вы хотите его уничтожить, если оно не вытанцует? А мне

бы хотелось видеть его и не в доношенном виде! Если стихи не доставят наслаждение, то мотив все-таки для меня интересен уже потому, что он родился в Вашей голове.

Чарующая черта в Вашей духовной физиономии – жажда любви. Так ее много, так она энергично обнаруживается, не стесняясь ни местом, ни обществом, и в храме, и под открытым небом, и в четырех стенах, что так и тянет навстречу. Вы мне простите, что если и я поддаюсь этому обаянию, несмотря на солидные лета и на сознание, что не имею права в этом признаваться, Все это пишу, потому что мне кажется, это надо знать вперед; а то Вы, может быть, думаете обо мне не так, как следует думать, преувеличивая мои духовные силы. Вы начертите программу наших отношений, какие Вы пределы поставите, в тех я и буду вращаться. А если выйду из них, поступите со мной, как неумолимый судия.

На днях в Петербурге был Серошевский, увидел Вашу карточку, спросил, кто это, и узнав, что это Вы, сказал мне: "Это Ваш лучший сибирский поэт". Развращаю я Вас, сообщая Вам это? Ну да Вы не маленькая! Ну, прощайте, милый и даже грациозный медвежонок. Будьте здоровы, веселы, вдохновенны, любящи и томимы жаждой любви на славу и счастье нашей родины и ласковы к Вашему почитателю и, как вы называете, Вашему другу.

Григорий Потанин.

№ 13

21 мая 1901 г.

Санкт-Петербург, [Гусев переулок, 4, квартира 19]

Дорогая Мария Георгиевна.

Я получил от Ив[ана] Ив[ановича] Попова окончательный ответ; он приглашает в Иркутск; уже и деньги перевел на дорогу. Денег я еще не получил, но уже все свои книги в пяти ящиках и большой чемодан отправил в Иркутск. На днях и сам туда выеду, жду только приезда из Парижа г-жи Фарафоновой. По дороге остановлюсь в Москве и Самаре, заеду в село Большое в Ряз[анской] губ[ернии], чтобы увидеть Лиду Ядринцеву, и в Омск, а затем явлюсь в Барнаул непременно.

Долго что-то я не имею от Вас писем. Это меня беспокоит. Или Вы нездоровы? Или уехали куда-нибудь? Или Вас смутило какое-нибудь неуместное выражение в моих письмах и Вы возмутились?

Искренно преданный Григорий Потанин.

[P.S.] Я теперь в хлопотах и беготне; заканчиваю "расчеты с берегом", как выражаются офицеры-ревизоры на военных кораблях, а потому не мог собраться написать Вам ранее сегодняшнего числа.

№ 14

14 июня 1901 г.
Самара

Дорогая Марья Георгиевна,

Я выехал из Петербурга 2 июня, 8 я был уже в Самаре, отъезд из Самары еще не решен, но пробуду здесь не более 5 дней, отсюда возьму билет прямого сообщения до ст[анции] Обь, на пути на сутки, на двое заверну в Омск, а в Оби сяду на пароход и буду в Барнауле. Застану ли я Вас в этом городе?

Письмо Ваше получил. Поговорим о том, что оно возбудило во мне, при личном свидании. В нем два стихотворения; одно на старую тему; оно если не отмечено особенным блеском, то все-таки содержательно и не лишне в общем составе Вашей поэзии. Но другое, вызванное, очевидно, совершившимися недавно событиями, на мой взгляд, риторично. По поводу первого хочется сказать Вам: нельзя же любить только прошлое, что уже не существует, быть Ленорой Бюргера. Это не нормально, не здорово.

Выезжаю из Самары в ночь на 14-15 июня в 4 часа, сажусь в пассажирский № 6-й поезд. Хочу заехать в Омск, где проведу одни или двое суток, может быть, остановлюсь на сутки в селе Берском, куда должна выехать моя двоюродная сестра с ее дочерьми. Из этих данных Вы сообразите, в какой срок я явлюсь в Барнаул.

Искренно преданный Григорий Потанин.

№ 15

5 июля 1901 г.
Томск

Дорогая Марья Георгиевна,

Виделся я в Томске и с Елизаветой Митрофановной и с Сапожниковым, а сегодня иду к ней обедать в 4, от нее в 8 часов к Сапожникову провести вечер. Елиз[авета] Митроф[ановна] благословляет меня и сильно поддерживает в намерении переселить Вас в Иркутск; она Вас любит, из разговоров ее ясно видно, что она к Вам очень неравнодушна, и мне показалось, что ее совет увезти Вас в Иркутск подсаживается этой любовью. Пуще прежнего я нахожу, что это мой гражданский долг, одно только меня беспокоит, о чем я говорил

уже в Барнауле – как создать Вам надлежащую материальную обстановку в Иркутске.

Томск чрезвычайно похорошел сравнительно с тем, каким я его видел ранее. Множество прибыло больших трехэтажных каменных, и бесчисленное количество новых деревянных; весь город точно с иголки, так много новых домов. Если действительно мой план относительно Вас удастся, пожалуй, к другим разочарованиям присоединится еще сожаление, что придется жить не в таком блестящем городе.

П. И. Макушин сказал мне, что "Песни сибирячки" расходятся медленно, что можно рассчитывать на продажу в Сибири не более 500 экз[емпляров]. Остальные, значит, лягут. Он не советует понижать плату, от этого выигрыша будто бы никакого не последует, но советует увеличить комиссионные книгопродавцу с требованием усилить рекламу. К этому средству будто бы с успехом обращаются и залежалый товар быстро сбывают.

Рецензию П. Головачева в Томске в редакции я уже не нашел; по требованию автора она уже отослана в Иркутск на мое имя. Макушин говорит, что она написана сурово. Если "Байкал" будет в моем распоряжении, то я напечатаю ее без пропусков, потому что иначе, пожалуй, выйдет похожим на лицепрятие – до такой степени я себя чувствую связанным с этой книжкой.

Протест Толстого против отлучения (т.е. против синодс[кого] постановления), говорят, напечатан в последнем номере "Миссионерского обозрения".

Искренно преданный Григорий Потанин.

№ 16

*12 июля 1901 г.
Красноярск*

Дорогая Марья Георгиевна,

Живу в Красноярске у Крутовских, верите, на их даче даже в 13 верстах от города. Что за прелесть! Дача, окруженная цветниками и загороженным лесом, переименованным в "сад", находится на берегу большой реки (Енисея); с веранд, которыми окружен дом, видна река, а на той стороне монастырь, окруженный дачами; плесо реки длинное и даль видна далеко и вниз, и вверх по реке. Каждый день маленький пароходик делает рейсы по дачам по 4 раза в день. Над дачей поднимаются две горы, одна с остроконечной вершиной;

обе горы курчавые от покрывающего их леса, который состоит из берез, елей, сосен и лиственниц.

Как только в газетах появилось объявление о Вашей книжке, она была выписана в здешний книжный склад в числе 10 экз[емпляров], а потом по просьбе г. Григорьева г-жа Попова прислала еще в склад 50 экз[емпляров]. "Песни сибирячки" выставлены на окне магазина для рекламы, но раскупается медленно. Пока распродано не более 10 экземпляров. Лидия Симоновна Крутовская советует похлопотать в учебном ведомстве о том, чтобы "Песни сибирячки" были разрешены для школьных и народных библиотек и читален; это увеличило бы сбыт книжки. В Иркутске я увижусь с учебными властями и переговорю с ними, узнаю, как это сделать, напишу Вам об этом и, может быть, Вы подадите об этом прошение.

Пожалуйста, не унывайте! Мне кажется, Вы после моего посещения Барнаула, стали меньше в меня и в мои намерения верить. Перестаньте так думать. Увидевши Вас в барнаульской обстановке, а также наслушавшись рассказов Елизаветы Митрофановны, мне сильнее прежнего захотелось вывезти Вас из Вашего города. Как представляю Вас сомневающеюся, мучимую недоверием и безнадежностью, так и защемят сердце. Возможность бы, так вот сейчас бы вытащил Вас отсюда.

Следующее письмо напишу из Иркутска. Надеюсь, что Вы напишете мне туда; адресуйте в редакцию "Вост[очного] обоз[рения]" для передачи мне.

Искренно преданный Григорий Потанин.

№ 17

*1 августа 1901 г.
Иркутск*

Дорогая Марья Георгиевна,

Получил я Ваше письмо с двумя стихотворениями: "Буря" и "Соловей" с поправкой. Последней я не доволен. Было: "Туда больно взглянуть", Вы поправили: "Нет возврата ему... прежних радостей нет..." Размер выправлен, но получилось повторение, пот[ому] что "нет возврата ему" это та же самая мысль, что и "прежних радостей нет"; строчка вышла вялая, тогда как в старой редакции, в словах "туда больно взглянуть" заключалось описание нового ощущения, и это было хорошо. Раньше сказано, что прожитые дни были счастливы, свет этого счастья был ослепителен; хотелось бы так взглянуть

на прошлое, но страшно, глазам больно, сердцу жутко. Нет, уж лучше не глядеть. И этот мотив вы выкинули! Нельзя ли этим двум строчкам дать такой вид:

Ослепителен счастья минувшего свет:
Больно, жутко взглянуть!..
Прежних радостей нет...

Или вместо: «больно, жутко взглянуть!..» – поставить: «О, как больно взглянуть!..»

При этой редакции не ясна мысль, что больно взглянуть назад, на старое минувшее счастье. Уж очень тесно; нужно всего одно слово из двух слогов с ударением на первый слог, которое заключало бы в себе смысл, что больно взглянуть на старое, минувшее.

В стихотворении "Из летних воспоминаний" нужно одну строчку изменить, стихи скандируются так:

Здѣсь в садѹ, пѳд пѳкрѳвѳм нѳчнѳй тѣмнѳтѳ
Нѣжнѳ шѣпчѳт дрѳг дрѳгѳ ѳ счѣстьѣ цвѣтѳ
...
Нѳ мѣня лѳ ѳбманѣт ѣѣ тишйнѣ

Вы видите тут два хорея, два амфибрахия и ямба; так во всех строчках, но вот в одной это не так:

Знѣѳ ѳ ѣти рѣчи, что шѣпчет она!

Тут "эти" лишнее. Было бы глаже такая редакция:

Знѣѳ рѣчѳ, чтѳ шѣпчѣт ѳнѣ!

Но в этой редакции недостает одного амфибрахия; следовало бы дополнить:

Знѣѳ рѣчи, чтѳ шѣпчѣт у-у ѳнѣ!

В стихотворении "Буря" нельзя ли строчку: "Огонь любви в крови моей пылал" – заменить. Очень нескромная строчка. Остальное хорошо.

В Иркутске г. Посохин, управляющий книжным магазином Макушина, сообщил мне, что в его магазине распродано до 40 экземпляров "Песен сибирячки".

Один мой здешний приятель купил на днях Вашу книжку и подарил своей дочери в день ее ангела. Именинница и ее сестра увлеклись Вашей поэзией, и одна из них села за рояль и пыталась петь некоторые из них.

Мое положение здесь неопределенное. Подано прошение в Главное управление по делам печати об утверждении в звании изда-

теля и редактора г. Казанцева, но до сих пор решения не получено. Ив[ан] Ив[анович] Попов не решается начать издание без разрешения этой просьбы, под флагом старого издателя и редактора. А потому я сижу пока без дела и только мечтаю о будущей деятельности. Когда кончится это неопределенное положение, Бог весть; вопросы о журналах и книгах решаются в России медленнее, чем какие-либо другие, и нужно тут ждать не месяцами, а целыми годами. Поэтому, если вопрос о Вашем переселении сюда ставить в зависимость от участи "Байкала", то придется долго ждать.

Вы тоскуете в Барнауле, может быть, Вам было бы менее тоскливо в Иркутске. Я тоже здесь скучаю, и в значительной степени от того, что мое желание иметь Вас подле себя в одном городе не удовлетворяется. Если бы Вы были посмелее, не такая трусиха! Очень трудно пристроить здесь лицо, не живущее здесь. Откроется вакантное подходящее место, положим, заведующей библиотекой; сейчас же найдутся местные претендентки, а дело не терпит, требует, чтобы должность сейчас же была замещена. Если бы можно было перевезти Вас сюда без места, чтобы Вы пожили здесь месяц, два, в ожидании места, устроить Вас было бы легче. Если бы Вы рискнули? Здесь у меня много друзей, не такие, как в Красноярске, но зато многочисленные. Мы бы Вас устроили на временную квартиру, пока что, и прокормили бы. Вручили бы мне Вашу судьбу для пробы хоть на шесть месяцев, чтобы убедиться в моей преданности и любви? Написали бы, сколько Вам нужно на проезд?

Хотя мои дела не продвигаются ни на шаг, я продолжаю надеяться, что около "Байкала" сгруппируется кружок сибиряков-литераторов, воодушевленных любовью к своей родине, и что Вы будете украшением этого кружка.

Живу я в квартире консерватора музея; в окна квартиры видно здание музея, очень хорошенькое, в мавританском стиле, а также Ангару и так называемый "канареечный дом", т.е. дом генерал-губернатора, окрашенный палевой краской. Дома только пью чай, а завтракать и обедать ухожу к редактору "Вост[очного] об[озрения]", где нахожу вороха газет, как столичных, так и со всех концов России. Таким образом, ежедневно au courant [в курсе] всех политических новостей. Все это сильно, наркотически возбуждает, подмывает писать на возникающие темы, хочется делиться с сотрудниками темами, как вот в эти моменты захочется, чтобы Вы были тут, захочется поговорить с Вами, привлечь Вас на помощь.

На днях г. Казанцев, издатель "Байкала" выехал из Кяхты в Иркутск. Когда придет, вероятно, здесь устроится совещание о нашей газете.

По газетным известиям кн[язь] Шаховской вернулся из своей поездки по юго-восточной России, и когда придет в Петербург, может быть, вырешит вопрос о г. Казанцеве.

Искренно преданный Григорий Потанин.

[P.S.] Под бандеролью Вам посланы 100 № "Восточного обозрения" со стихотворением "Вырваться бы" и еще один № из последних тоже с Вашим стихотворением. "Полев[ые] цветы" и "Из летн[их] воспоминаний" я еще не отдавал.

№ 18

*4 октября 1901 г.
[Иркутск]*

Дорогая Марья Георгиевна,

Давно получил Ваше письмо с поправками к стихотворениям, а потом и следующее письмо. Долго не отвечал на первое действительно потому, что охвачен здешней общественной жизнью и, хотя не упускал из виду обязанности ответить, но не находил такого длинного досужего времени, которого было бы достаточно, чтобы сосредоточиться мыслями для письма; кроме того, выжидал, не сложатся ли обстоятельства, благоприятные для Вашего переселения, чтобы письмо вышло деловое.

Недавно сюда приехал из отпуска мой давний знакомый, занимающий важную должность в акцизном управлении. Я имел с ним разговор об Вас, и третьего дня он сообщил мне, что он может предложить Вам место под его начальством писать на ремингтоне; жалованье в месяц 35 рублей, месяца через три можно будет поднять до 40; к большим праздникам наградных до 30 [рублей] каждый раз. Вчера он должен был справиться, не найдется ли в Управлении 40 рублей на проезд Вам до Иркутска, но я вчера опоздал к нему зайти, и пришел, когда его уже не было дома. Сегодня надеюсь увидеть его, и что он скажет, припишу в конце письма.

Мне предложили занять до выборов место правителя дел в Восточно-сибирском отделе Географ[ического] Общества и к прежнему жалованию прибавили 30 руб[лей] на писаря или переписчика. Я взял на себя эти обязанности только в расчете, что эти 30 рублей буду отдавать Вам за переписку. Этот прибавочный расход разрешен

только на три месяца (октябрь, ноябрь и декабрь) ввиду большой переписки к юбилею. Но, вероятно, этот расход утвердится и на будущее время, хотя и не в том размере. Кроме того, здесь затевается сельскохозяйственная и промышленная выставка; тут потребуются и ремингтон и вообще работа. Решайте сами, ехать или нет. Лучше этих условий едва ли я сумею выждать и выгадать.

Что касается до "Байкала", то его дела не важны. Издатель берется только печатать и давать бумагу, и подписные деньги будут все уходить в типографию и за бумагу. Кроме того, он дает мне 50 рублей в месяц за редакцию, а конторское дело берет на себя.

Я выписал себе одну помощницу г-жу Фарафонову, но издатель отказывается ей платить, так что она должна зарабатывать себе на стороне. Поэтому Вы видите, что я не в таком положении, чтобы создать сейчас место при "Байкале" для второго еще лица.

Мой приятель сейчас занес мне 40 рублей Вам на дорогу. Он желал бы, чтобы Вы возможно скорее приехали, чтобы с 20 числа Вам уже можно было получать жалование. О Вашем решении не можете ли по получении этого письма телеграфировать? Деньги можете взять в Барнауле в долг и ехать, чтобы не задерживаться в Барнауле в ожидании денег; я же могу их тотчас отправить тому лицу, на которое Вы укажете или письмом, или телеграммой.

Отсылаю письмо не дописанным, тороплюсь, чтобы оно сегодня же попало на почту. Очень бы желал видеть Вас в Иркутске. Принятие Вас на службу на 35 руб[лей] дело решенное. Когда поживете здесь зиму, Вы пообглядитесь, и к Вам присмотрятся, может быть, найдется для Вас и другая, более по душе работа. Сразу попасть на желательное место, сидя в Барнауле, нет возможности. Нужно жить в Иркутске и подкарауливать. Но дело и заработок всегда найдутся. Вот, например, друг мой приятель говорил, что будет нуждаться в писце или писице на 25 р[ублей] в месяц, а его сослуживец также в свою очередь, и что они могут сговориться, нанять одно лицо за 50 р[ублей] в месяц.

Жму Вашу руку, искренно
преданный и любящий Григорий Потанин.

[P.S.] Адрес мой: Иркутск, Харлампиевск[ая] ул., д[ом] Сукачева, в типографию г-жи Витковской.

Если поедете, в Томске, конечно, отдохнете в объятиях Елизаветы Митрофановны; она Вас проводит на вокзал. Потом в Красноярске остановитесь на день отдохнуть у доктора Крутовского. Я напи-

шу об Вас его жене Лидии Симоновне. Она любит Ваши стихотворения, и если Елиз[авета] Митр[офановна] пошлет ей телеграмму о Вашем выезде из Томска, то Лидия Симоновна встретит на вокзале и потом проводит и посадит; останется Вам два дня ехать в одиночестве или в незнакомом обществе.

17 ноября здесь готовится юбилей Восточно-сибир[ского] отдела Географ[ического] Общества.

№ 19

*[24 октября 1901 г.
Иркутск]*

Дорогая Марья Георгиевна,

Простите, что огорчил Вас своим молчанием; я все поджидал, не наклонится ли что-нибудь положительное, и дотянул до приезда г. Левина, который предложил работу на ремингтоне. Я получил Ваше письмо, а на другой день телеграмму. Последняя напугала нас. Пожалуйста, сообщите, что за болезнь, которой Вы заболели? И в каком положении Ваше здоровье – идет ли к лучшему?

Как это я забыл, что Вы так чувствительны! Пожалуйста, вперед всегда мое молчание объясняйте моей ленью, увлечением работой и проч[им], а никак не изменением моих отношений к Вам. Нет, я все так же предан Вам, как прежде, и люблю Вас, уважаю Ваш талант и верю в его жизненность, все время мечтал, что Вы будете в Иркутске, будете принадлежать к нашему кружку, будете служить ему украшением, будете "соловьем" Байкала. Неужели всему этому не суждено исполниться? Как хотелось бы теперь быть в Барнауле и убедиться лично, что болезнь Ваша не серьезна. Ваше последнее письмо шло от Барнаула до Иркутска 14 дней, это ужасно! Если Вы вместе с телеграммой послали письмо, то значит, я получу его через 14 дней, т.е. 7 ноября, а на это письмо только через 28 дней, т.е. 21 ноября. Что-то я должен сделать, но что, не знаю!

Сейчас меня оторвал от письма господин, приехавший из Харбина, и я не дописываю письма, отсылаю его, чтобы Вы вновь не пришли в отчаяние от моего молчания. На днях снова сяду за письмо к Вам.

Ободритесь, будьте здоровы нам на утешение. Крепко жму Вашу руку, целую ее. Ничего так не желаю, чтобы Вы выздоровели и приехали в Иркутск. Мы все будем Вас здесь любить, ласкать и лелеять.

Искренно любящий Григорий Потанин.

[P.S.] После Вашего отказа от предложенного Вам места оно будет, конечно, отдано другому лицу. Но не унывайте, найдется другое.

№ 20

26 окт[ября] 1901 г.
Иркутск

Дорогая Мария Георгиевна,

Пожалуйста, пишите о Вашем здоровье, а если Вам это трудно, то просите Вашу маму написать. Я надеюсь и горячо желаю, чтобы Вы поскорее поправились. Все мои мечты Ваша болезнь разбила. Я думал, что Вы у нас в Иркутске будете 17 ноября, т.е. будете присутствовать на юбилее нашего отдела. А Вы вдруг обманули мои надежды и захворали.

Мои знакомые убеждают меня не волноваться, думают, что болезнь Ваша временная. Конечно, место для Вас найдется у того же г. Левина, и потом, когда Ваше здоровье позволит Вам переселиться в Иркутск. Кроме этого места, может быть, найдется и другое.

На днях приезжал сюда мой родственник, женатый на племяннице моей покойной жены. Он занимает должность инспектора страхового общества и ведает всю Восточную Сибирь; выехав из Владивостока в г. Иркутск, он снова уехал в Харбин, через месяц вернется и проедет прямо в Петербург, оттуда через месяц возвратится в Иркутск и тут оснуется на постоянное жительство. Он говорил мне, что с удовольствием примет Вас для работы по его агентуре. Я думаю, что он мог бы обставить Ваше положение очень хорошо.

Если бы были деньги и время, я бы приехал повидаться с Вами в Барнаул, но я теперь так вошел с головой в здешние дела и предприятия, что трудно вырваться. На носу юбилей, приезд гостей, приготовления к выпуску первого № "Байкала", потом идут обсуждения выставки; во всем этом я принимаю деятельное участие, и отъезд мой отзовется на ходе дел.

Любящий Вас Григорий Потанин.

[P.S.] Ваши последние письма заставляют меня волноваться. Я почувствовал, что Вы придаете мне такое важное для Вас значение, что мне остается только этим гордиться, но это и очень меня обязывает. Очень, очень Вам благодарен за Ваше чувство.

7 ноября 1901 г.
Иркутск

Дорогая Марья Георгиевна,

Получил Вашу телеграмму и письмо. Извините, что отвечаю не в тот же день. Ужасно много работы. Юбилей отдела, задуманная в Иркутске выставка, "Байкал" и другие дела, большею частью срочные, неотлагательные, не дают досуга.

Вы просите сведений о часах и стоимости жизни в Иркутске. Работа на ремингтоне будет у Вас отнимать 5 часов в день, иногда 5 1/2. Стоимость жизни: комната поближе к центру 20 рублей, подалее – 12–15 рублей; один мой знакомый, живущий одиноко, проживает в месяц 40 р[ублей], платит за комнату 12 р[ублей], получает от хозяйки за особую плату полуобед, и бывает сыт. Вам, вероятно, потребуется 50–60 в месяц.

Место, которое было назначено для Вас, нельзя было удержать за Вами. Оно не отдано другому, а порешили совсем никого не нанимать. Я, впрочем, думаю, что мой приятель не откажется вновь хлопотать о месте для Вас.

Лучше же всего, если поселится здесь мой родственник Миклашевский. Он агент богатого общества и может располагать большими средствами, но, к сожалению, это отодвигается месяца на два или более.

Ваше стихотворение "Укажи мне дорогу" с небольшими поправками я намерен поместить в первом номере "Байкала". Остальные я также приберегал для "Байкала", но если Вы уже отдали их в "Забайкалье", то нечего делать. Может быть, это лучше, потому что "Байкал" не может хорошо оплачивать. Но впредь не забывайте и меня стихами.

Как пойдет "Байкал", я не знаю. Уверенности нет, чтобы он скоро заправился в денежных делах так, чтобы издание окупилось.

Еще о ценах: хлеб белый 7 коп[еек], франц[узская] булка, сахар 18 1/2 к[опейки] фунт, керосин 6 коп[еек] фунт; извозчики по таксе конец 20 коп[еек] внутри города и 40 на окраину города днем; после 9 час[ов] вечера дороже. Белье моется 5 к[опеек] шт[ука], а мелкие вещи, платки, чулки 3 коп[ейки].

Сам я устроился таким образом. Одна моя старая приятельница, видя, что я не могу найти подходящую квартиру, предложила мне поселиться у нее вместе с девицей Фарафоновой, приехавшей сюда

по моему вызову для занятий при "Байкале". Все мы, и хозяйева, и я с Фарафоновой занимаем целый этаж, в котором 5 комнат, в том числе одна большая зала в 5 окон. Все это расположено так, что в середине зала, в которую выходят двери других комнат; одна дверь в мою спальную, которая не имеет света, без окна; другая в крошечную комнатку г-жи Фарафоновой, третья в комнату хозяйки, четвертая в комнату ее мужа. Зала у нас у всех общая. За это помещение вместе со столом, чаем, сахаром и керосином мы вдвоем с Фарафоновой платим в месяц 60 рублей. Это чрезвычайно по здешним ценам дешево. Комнаты меблированы уютно, но вместо дверей драпировки и вместо стен большею частью перегородки, не доходящие до потолка. Мы живем, как кочевники в юртах, то есть отделены друг от друга не стенами, а воздухом.

Искренно преданный Григорий Потанин.

№ 22

27 ноября 1901 г.
Иркутск

Дорогая Мария Георгиевна,

Я получил два Ваших письма; на первое не успел ответить в свое время, потому что в это время мы были охвачены хлопотами с юбилейными торжествами, которые у нас длились шесть или даже семь дней; потому что когда кончились общие собрания отдела, начался отъезд гостей; уезжали они не сразу, а партиями и в одиночку; почти каждый день происходили проводы на вокзале. Да еще предстоят одни проводы: кяхтинцев. Вероятно, завтра. Видели ли Вы "Вост[очное] об[озрение]" за эти дни, т.е. с 16 по 21 ноября? Праздник вышел импозантный, город был расшевелен. На торжественном собрании 17 ноября театр, вмещающий в себя более 1000 чел[овек], был полон. Тут говорил приветствие француз, профессор Дижонского университета, скромный и задушевный человек; тут была депутация от женщин, толпа молодых девиц, депутаты от бурят в национальном костюме. Музыка проиграла «Марсельезу», публика выслушала ее стоя и заставила три раза повторить. Всего было 40 депутатов. Каждую публика встречала аплодисментами, а за каждым адресом музыка играла туш и опять аплодисменты. Особенно бурными аплодисментами были отмечены адрес иркутян студентов Томского университета и технол[огического] института, речь

француза Легра, появление депутации женщин и, наконец, бурятская депутация. Жаль, что на этом празднике сибирском не было Вас.

Вы, вероятно, составили обо мне не совсем верное представление. Вероятно, я Вам кажусь натурой совершенно уравновешенной, никогда не падающей духом, не малодушничавшей никогда; что, примостившись к такой натуре, другая слабая будет чувствовать себя облокотившейся на дубовый ствол или на каменную скалу. В действительности же я страдаю этим пороком более, чем многие другие лица. Я в этом не сознавался Вам; думал, зачем ронять Ваш и без того удрученный дух. Но приходит и другое соображение, придется же сознаться в этой слабости, и придется, может быть, в момент менее удобный. Ваше же последнее письмо пришло в такое время, когда появившееся вслед за праздником тяжелое, гнетущее настроение достигло высшей меры, и я не могу удержаться, чтобы не обнаружить его перед Вами. Хотелось бы куда-то уйти, в горы, под снежную линию. Может быть, это временное настроение, которое пройдет.

Мучит меня также ответственность за Вас, которую я принял на себя. Ваши нервы расстроены тем душевным разладом, который у Вас вызван необходимостью выбирать или Иркутск, или маму и Барнаул. В этом разладе виноват я; я Вас потянул в Иркутск.

Жаль мне Вас очень. Подождем обстоятельств, может быть, они сложатся благоприятнее и Бог даст нам обоим силы. С "Байкалом" у меня ничего не налаживается, и я уже начинаю сомневаться, буду ли я заведовать его редакцией.

Передайте мою благодарность Вашей маме за письмо. Соберусь ответить ей непременно. Очень, очень ей благодарен.

Искренно преданный Григорий Потанин.

№ 23

*[Середина декабря 1901 г.
Иркутск]*

Дорогая Марья Георгиевна,

Получил оба Ваши письма, одно, в котором Вы говорите, что Вам обещают дать отпуск и Вы приедете в Иркутск, как только выздоровеете, другое со слезами.

Мой родственник уехал в Харбин и хотел вернуться через месяц, но прошло уже полтора месяца, а его все еще нет. То место, которое Вам было обещано, никем не занято, но акцизное управление те-

перь не намерено его никому отдавать, а 1-го января нового года будет решено, упразднить его или оставить, и если решат оставить, то Вы можете рассчитывать получить его. Если бы не эта неуместная Ваша тогда болезнь, Вы были бы здесь и, может быть, прекрасно к настоящему времени устроились бы.

Когда я писал Вам предыдущее письмо, мое настроение было тяжелое. Вслед за написанным письмом я хотел написать Вам другое, в котором хотел Вас просить простить меня, хотел просить Вас забыть, что я Вас звал вместе работать, а сам хотел бежать из Иркутска, бросив свои книги и махнув рукой на все начатые затеи и планы общественной деятельности. Я перестал заниматься ею, или, если что делал, то через силу, а когда меня призывали к деятельности, я раздражался. Ходил мрачный по целым дням по комнате, ничего не делая и ни с кем не разговаривая; вид у меня был такой невыносимый, что m-elle Фарафонтова убежала с утра и приходила только вечером, чтобы не видеть меня. Это было какое-то настроение юродивого; хотел сделать себя жалким, несчастным, возбуждающим к себе жалость в других людях.

Как-то удалось уговорить меня не уезжать из Иркутска, взяли с меня слово, что останусь до 10 января, я согласился; почему до 10, я не знаю. Теперь это чувство не так терпко, но оно не убрано с дороги. Жду рокового 10 января и в будущее смотрю с недоверием. Вот как тут при такой шаткости моего личного настроения призывать Вас оставить любящую маму и приехать в чужой город и к чужим людям, из которых самые благорасположенные к Вам дадут Вам, может быть, только недостаточную дружбу.

Пишу Вам это письмо больной. Шестой день не выхожу из дому. Чувствую себя в нормальном состоянии только по вечерам, а днем испытываю жар и ложусь в постель. За мной ухаживает милая m-elle Фарафонтова, ухаживает так усердно, что мне беспрерывно хочется целовать ее руки.

После 1-го января я Вас извещу, будет ли нужна барышня к ремингтону. Когда выздоровлю, то справлюсь, где мой родственник?

Здесь есть один чиновник землеустроительного отряда, который обещал дать работу, когда Вы приедете.

Пока прощайте. Любящий Г. Потанин.

3 янв[аря] 1902 г.
Красноярск, Узеньк[ая] улица.
д[ом] доктора Крутовского

Дорогая, милая Марья Георгиевна,

С Иркутском мы не сошлись характерами, и я его оставил если не навсегда, то на долгое время, пока он не исправит своего поведения. Он так легкомысленно развил свои привычки к роскоши, что человеку, не имеющему других средств к жизни, кроме небольшой пенсии, жить в нем невозможно. Что же касается до "Байкала", то это какая-то своенравная любовница, которая показывается, прельщает очаровательной улыбкой и ускользает из рук, когда хочешь ее схватить, как призрак. Ваше письмо уже не застало меня в Иркутске; мне переслали его в Красноярск, где я живу уже третью неделю, отдыхая от иркутских задач и фантазий. Куда поеду дальше, я еще не знаю. Словом, я начинаю новую жизнь, вернее – новый эпизод жизни.

Пока я живу в семье доктора Крутовского, самой близкой мне семье. Тут так мирно, хорошо; это настоящее монрепо. Но долго жить в Красноярске вряд ли мне придется. Доктор в настоящее время в Петербурге; в половине февраля он вернется вместе с братом, и тогда в его доме станет тесно, мне придется выселиться на отдельную квартиру, и я волком завою. Я избалован, отвык от одиночества; я не могу без ужаса представить себе, как это я буду проводить дни в комнате один, садиться к самовару и сам буду разливать себе чай.

Вы меня не зовете в Томск. И я не решаюсь мечтать о том, что мы сойдемся с Вами в Томске. Перебирая сибирские города, в которых я мог бы устроиться, конечно, мысль моя чаще всего останавливается на Томске. Мечтать-то я о нем мечтаю, но не думаю об этом с определенностью. Будем пока до выяснения обстоятельств говорить себе: может быть, мы и встретимся в Томске.

Я еще живу иркутскими интересами, я еще связан с ними пуповиной, и из Красноярска не двинусь ранее, чем эта пуповина отгниет. Я так скоропалительно удалился из Иркутска, что бросил в нем свои книги на полках и вещи на столах и стульях. Когда судьба моего имущества устроится, и я не буду иметь нужды переписываться с Иркутском, тогда мы обсудим с Вами, что можем сделать.

Как бы я хотел Вас теперь увидеть. Много в письме не скажешь. Беседа посредством почты имеет свои неудобства; есть вещи, которые можно сообщить только зажмуря глаза или посредством

письма, но есть другие такие сложные, что в письмо их не уложишь; нужно говорить да говорить. И при этом нужно смотреть, что делают глаза у того, кто слушает. Я теперь в ненормальном состоянии духа; я как будто болен душою. Я ничем не могу заняться, кроме машинальных занятий; могу только переписывать или читать. И я читаю; я пьянствую, пью запоем, т.е. читаю с утра до вечера; я обложен книгами и журналами, и если это вино истощается, я начинаю дрожать, как запойный пьяница. Мне кажется, если бы Вы сейчас были подле меня, моя способность к работе вернулась бы ко мне. В этом настроении получить Ваше письмо это было что-то вроде бальзама. Прежде всего, хорошо, что к Вам начинает возвращаться Ваша жизнерадостность. Во-вторых, лично мне было очень приятно найти в нем ласкающий тон, ободривший меня. Точно Вы мне протянули Вашу руку для поцелуев. Теперь я ближе к Барнаулу, почта приходит сюда тремя днями ранее, и мы можем чаще обмениваться письмами. Пишите, пожалуйста, Ваши бальзамы. Если мы будем оба жить в Томске, я умышленно заболел, чтобы доставить Вам удовольствие ухаживать, и главное себе.

Вот если бы Вы в самом деле взяли летний отпуск. И я бы, может быть, приютился около Вас. Я бы ухаживал за Вами. Только не на курорт, потому что там какой же покой. Напишите, какое же место мелькает в Вашем уме?

Не объясняйте моего молчания тем, что Вы мне надоели своими печальными мыслями. Вы не сознаете своих прав! Как это Вы нехорошо обо мне подумали. Если я иногда долго не отвечаю на Ваше письмо, это значит, есть какое-то настроение, препятствующее писать вообще кому бы то ни было, но настроение, не Вами вызванное, Ваша улыбка, глаза, фигура, речи, письма, все это лежит в моей памяти в сохранности и действует на мою душу постоянно. Я Вас люблю, милая Марья Георгиевна, но в моей любви есть много эгоистичного. Боюсь, когда мы будем жить в одном городе, не день, не два, а долее, Вы меня отодвинете и отвернетесь от меня. Может быть, знаете стихотворение Гейне: «Многие женщины набегают на меня из любопытства, но заглянув мне в душу и прочь убегают». Стоит ли ближе сходить, если предстоит разлука? А расставание после образовавшейся привязанности мучительнее одиночества!

Передайте мой привет Агнии Дмитриевне. Берегите ее; говорят после инфлюенции нужно очень беречь больного человека. Прошу у

ней извинения, что я ей не ответил на письмо. В дурном настроении не хотелось. Но я напишу, когда мой дух окончательно выправится.

Будьте здоровы и веселы.

Жму крепко Вашу руку и целую ее.

Искренно любящий Г. Потанин.

№ 25

22 февр[аля] 1902 г.

*Красноярск, Узеньк[ая] ул[ица],
д[ом] доктора Крутовского*

Дорогая Марья Георгиевна,

Какие опьяняющие перспективы Вы рисуете мне? Эдак и сердце, и шпагу положишь к Вашим ногам! И еще спрашиваете, улыбаются ли они мне. Не только улыбаются, но тянут к себе неудержимо! Теперь мне очень хочется в Томск. И ранее, как только я собрался уехать из Иркутска, я подумал, что нет другого города в Сибири, кроме Томска, где я мог найти себе место для деятельности. Но я боялся торопить себя с исполнением этого решения. Дело вот в чем. Я находил смягчение своего одиночества в том обстоятельстве, что возле меня, в одном со мной городе, иногда в одной квартире была женщина, с которой я мог делиться своими невзгодами, вместе обсуждать мои промахи, разделять огорчения. Я всегда предпочитал, чтобы такой друг была женщина, потому что женщина мягче, нежнее, не надсмеется над чувством, скорее простит. В Томске у меня есть, правда, знакомые женщины и, надеюсь, еще завязать новые знакомства, но нет ни одной близкой, с которой бы я переписывался и которую мог бы наметить на роль советника и участника в горе и радости. Вы? Но ведь Вы можете переселиться в Томск только осенью. Следовательно, мне пришлось бы с первых чисел февраля до осени жить в Томске в одиночестве и притом при таком разладе в нервах, с которым я приехал в Красноярск из Иркутска. А теперь другое дело. Во-первых, я прожил у Крутовских почти до марта, окреп; во-вторых, между мартом и осенью вклинивается чреватый надеждами Чемал.

Чемал пришел мне в голову раньше, чем Вы упомянули это имя в своем письме. Имя это я давно знаю; туда ежегодно ездил из Петербурга улалинский талантливый пейзажист Гуркин, чтобы писать этюды, и я видел чемальские виды и в альбоме Гуркина, и на академической выставке. Как только получил Ваше письмо, в котором вы пишете, что доктор рекомендует Вам поездку куда-нибудь и купа-

ные, так мне и пришло сейчас на ум: вот бы вместе на Чемал! Потому что Белокуриха, если еще существует этот курорт, давно должна ополдиться.

На Чемал, так на Чемал! На моей душе все еще остаются иркутские чешуйки, все еще я не окончательно вылинял и нет, нет да и почувствую их на себе. В Чемале они свалятся дочиста. Вы их снимаете своими грациозными прикосновениями.

Вы меня прельщаете чтением вместе. Прекрасно, и сам буду читать Вам, и Вас буду слушать с удовольствием, только вперед предвижу, что я не буду ничего понимать, когда Вы будете читать, потому что буду только смотреть на профиль Ваших ресниц и вслушиваться не в значение слов, а в переливы Вашего голоса и мечтать. Мне еще больше нравится читать ненапечатанную книгу, чем напечатанную. Вы просто меня избаловали подарками; чего только Вы мне не надарили: и таежного медвежонка с золотой шерстью, и обломок яшмового Алтая в виде печатки, собственные автографы пером и кистью; дарили, дарили и, наконец, подарили свои глаза и то, что в них. Вот это будет самая интересная для меня книга! Выслеживать Ваше чувство, впивать в себя Ваши мысли и присваивать их, сливаться с Вами в одном и том же творчестве – это прелесть, это все равно, что пить шампанское! Неужели все это одна фантазия, неужели ни Вы мне ничего не дадите, ни я Вам? Еще недавно одна дама мне говорила: "Сколько у Вас планов, сколько еще в Вас сил, какая еще у Вас молодая душа!" Отзыв, конечно, преувеличенный, но немного правды в нем, вероятно, есть, и этот отзыв ободряет меня и заставляет верить, что чем-нибудь, хоть немного, я буду Вам полезен. Не совсем же моя голова опустела и стала бесплодной, ничего не рождающей; может быть, и поработаем еще с Вами вместе. Вашу руку!

Иногда я задумываюсь: что если бы я отвернулся от Вас, бросил, захотел бы забыть Вас? Какое бы действие на Вас произвело это, какое бы вызвало настроение? Тогда мне представится, что Вы страдаете (ведь это так бы и было, не правда ли?), и я сам так тогда начну страдать! Сердце вдруг сожмется! Нет, говорю я себе, это невозможно, никогда, никогда я этого не сделаю! Вот, думаете Вы, язык развязался у человека. Под лирикой, которою я наполнил это письмо, право же, скрывается искренняя привязанность к Вам.

Мое чувство к Вам вступает в новую фазу. В Петербурге оно было бескорыстное; я сознавал только свои "гражданские обязанно-

сти" перед сибирской поэтессой. Это продолжалось и в Иркутске. Я не чувствовал тогда никакой неловкости, если хлопотал о доставлении Вам места. С каким легким сердцем, не волнуясь и не конфузясь, я говорил, что, прочитав Ваш сборник стихотворений, я влюбился в поэтессу. Теперь не то. Теперь я предчувствую, что если мне придется в Томске хлопотать о месте для Вас, мне будет неловко; мне будет казаться, как будто я хлопочу о собственном интересе. Я буду бояться, что вот-вот кто-нибудь скажет мне: "Знаю, почему ты так стараешься о девице? Тебе нужна разливательница чая! Тебе нужно, чтобы было кому разгонять твою хандру, ухаживать за тобой, когда ты болен". Как-то этот вопрос о том, чтобы устроиться в одном городе, обострился, стал деликатнее, секретнее; я осторожно говорю о Вас, избегаю разговора о Вас и о наших планах, и Ваш портрет, который в Петербурге был вывешен на самом видном месте (сибиряки и сибирячки! смотрите на вашу поэтессу! любуйтесь на ее милое личико!), теперь спрятан подальше от праздных (и, может быть, нечистых) глаз.

Мне очень досадно, что я написал это письмо спустя несколько дней после получения Вашего. Если бы я его написал в тот же день, я мог бы надеяться получить Ваш ответ на него несколькими днями ранее. Некоторые неотложные дела не давали свободного времени, нужного, чтобы оторваться от будней и сосредоточиться на письме к Вам. Ваши письма с каждым разом становятся для меня интереснее и теплее; так приятно и весело их читать; они как будто написаны намагниченными буквами. Прочтешь – и так захочется быть здоровым, веселым, неутомимым; захочется работать, думать, писать и чувствовать подле себя Вас, слышать Ваше дыхание, бой Вашего сердца, видеть Ваши ресницы, следить, как у левого края Вашего рта зарождается улыбка и бежит к правому краю.

Привет Агнии Дмитриевне; целую Ваши пальцы.

Григ[орий] Потанин.

№ 26

27 марта 1902 г.
Красноярск

Вот и напрокудили, сударыня, милая Мария Георгиевна! Я послал телеграмму Агнии Дмитриевне, а ранее написал письмо В.К. Штильке, просил сообщить мне, что означает Ваше молчание, и кроме того, написал Елизавете Митрофановне. Бог знает, что я по-

думал! Не заболели ли Вы вновь? Не случилось ли чего хуже? И только, когда получил телеграмму из Барнаула, отлегло, а когда получил Ваше письмо, возликовал. Слава Богу, все по-старому. И Чемал в перспективе, и Ваша рука в моей руке!

Судебная резолюция по этому делу: Во-первых, принимая во внимание, что девица до получения телеграммы сама признала свое поведение предосудительным, покаялась и склонила голову для заслуженного наказания, во-вторых, принимая во внимание, что всякий палач возле такой девицы преобразуется в кроткого барашка и с покорностью тотчас же пойдет к ней в приятный и желанный плен, решено... что решено, Вы и сами догадаетесь. Словом, история в роде одной буддийской легенды: мары по повелению своего царя стреляют в Будду, хотят убить его, но стрелы вблизи Будды превращаются в цветы, которые располагаются вокруг божественной личности красивыми гирляндами. Такой конец, вероятно, будут иметь все мои карательные мероприятия.

От уголовщины перехожу к гражданскому праву. То есть насчет "Песен сибирячки". Вероятно, я напутал, не всмотрелся в цифру и 1199 принял за 1999, и написал Вам 2000. Или, может быть, конторщик г-жи Поповой в письме ко мне сделал опisku. Теперь при мне этого письма нет, и я не знаю, сохранилось ли оно в моих бумагах. Во всяком случае, если г-жа Попова уверяет, что принято 1199, то значит, так действительно и было. Она не станет искажать цифру. Вы желаете знать, кто сдал книги в магазин и сколько? Вот видите из предыдущих строк, что сколько книг, точно сказать не могу; более вероятной считаю цифру 1199. Сдавал книги, то есть привез в магазин человек из типографии Тиле, а сношения по этому делу с конторой вел я; я лично заходил в контору и видел самое г-жу Попову. Вы не довольны ее отношением к Вам. Может быть, было бы полезно познакомить Валериана Евгеньевича с Александр[ом] Александр[овичем] Кобычевым и попросить их совместно побывать у г-жи Поповой и попросить ее дать те сведения, которые Вас интересуют. Выражение Поповой, что она не сносится с лицами ей не известными, хотя по образованию фразы относятся, действительно, к Вам, но не был ли это с ее стороны только намек Вашему кузену, что она не знает его и с ним вести разговор не желает, чего прямо не решалась высказать? Вы, кажется, сердитесь на меня, что я передал книги в магазин Поповой. Действительно, я, кажется, маху дал. Это я сделал по совету одного присяжного поверенного (г. Ватсона). Ну,

отколотите меня, если хотите, а только потом улыбнитесь... и явится, как светлый божий день!

Когда же это решится вопрос, поедете ли Вы в Чемал? А если Вам не дадут отпуска, тогда как? Теперь мне будет страсть скучно ждать Вашего переселения в Томск. Это ведь до осени и, может быть, дольше. Тогда не разрешите ли мне на лето приехать в Барнаул, чтобы видеть Вас?

Месяц на Чемале – это мало. Надо месяца три или четыре. Зачем месяц назначаете Томску? В городе Томске месяц это хуже, чем в Барнауле. Хлопотать о месте разве нельзя из Барнаула? Ваше последнее письмо меня обескуражило. Я почему-то думал, что поездка в Чемал не может встретить препятствий, и так размечтался! Как бы это хорошо пожить вдаль от общества! Никого кругом, только небо да Вы!

Томск пугает меня своей общественной жизнью. Мне хочется участвовать в ней, и если я поселюсь в Томске, то неизбежно приму самое живое участие в ней, но это для меня может проходить благополучно, может доставить удовольствие только под условием, если и Вы будете тут же. В этом случае непременно нужен подле хороший друг, который бы облегчал жизнь, сглаживал ее шероховатости, покрывал улыбкой огорчения. Потерпишь на арене общественной деятельности фиаско, возвращаешься домой "униженный и оскорбленный", а придешь домой – тут тебя встречает ласковая улыбка, и вот воскресение!

С Иркутском все теперь покончено; книги я получил, пенсионную книжку, которая там была оставлена, тоже. Сидел я в Красноярске за работой, готовил к изданию собрание сибирских русских сказок (штук до 60) с предисловием, но и это все кончил и передал для печати, и могу ехать. Через несколько дней я буду уже в Томске. Как только туда приеду, сейчас же Вас извещу. Если будете отвечать на это письмо, то пишите по адресу: г. Томск, Петру Васильевичу Вологодскому, Нижняя Елань, собств[енный] дом.

Вы хотите, чтобы я Вас любил с дефектами Вашего темперамента, с лицом, которое Вам оставила последняя болезнь. Люблю Вас всякую, растрепанную, неумытую, заспанную! Словом, во всех видах! Какой бы вид Вы ни приняли, Вы будете для меня всегда прелестная картинка, целебное средство от пессимизма. Альпийские поля да Вы – вот для меня теперь только два средства и существуют от скуки жизни. Ну а если будете по временам кисленькая, это будет,

конечно, действовать на меня гнетуще, но ведь это состояние преходяще; буду переживать с томлением души и надеждой на возвращение нормального настроения. И какое тогда ликование, когда снова начнет всходить жизнерадостное светило!

Вы помните тургеневское стихотворение в прозе о воробьях "Еще повоюем!": Когда я представляю себе, что я держу Вашу руку и жму ее, так станет весело, расцветают такие надежды, так хочется жить и воевать! И тогда я все бы Вас благодарил бы, благодарил и благодарил. Сердце разливается потоками и журчит словами благодарности.

А вот только буду ли я для Вас веселый, полезный компаньон? Вознагражу ли я Вас за ту чудотворную силу, посредством которой Вы меня возрождаете?

В воздухе пахнет весной, Чемалом и Вами. Сердце мое звонит во все колокола! Дайте мне Вашу руку, я ее поцелую в ладонь, в самое донышко ручной кисти!

Любящий Вас Г. Потанин.

[P.S.] Я думаю, Вы будете на этот раз благоразумны и ответите на письмо, не откладывая.

№ 27

9 апр[еля] 1902 г.
Томск

Дорогая Мария Георгиевна.

Я получил Ваше письмо, которое Вы написали тотчас по получении Вами телеграммы. Оно сходило в Красноярск и уже оттуда явилось ко мне в Томск. Нечего и рассказывать, что как только я получил предыдущее Ваше письмо, заставшее меня еще в Красноярске, как только увидел из него, что ничего с Вами не случилось, что Вы здоровы и невредимы, как от предшествующего настроения ничего не осталось, все было вытеснено радостью.

Вы напомнили мне, что я тоже провинился как-то перед Вами, не писал Вам из Иркутска целый месяц. Это правда, я тогда непростительно поступил. Ну, теперь я наказан и тоже, как и Вы, думаю, что этого больше не будет. Когда приеду в Барнаул, я Вам расскажу, почему это так случилось и принесу большое покаяние.

Я уже виделся с г-жой Курловой. По ее рассказам, ехать лучше в Эликмонар, чем на Чемал. Чемал селение открытое; лес не близко, пока до лесу доберешься, утомишься; Эликмонар окружен лесом.

Чемал на самом берегу Катуня, Эликмонар на берегу горной речки, но Катунь тоже близко. В Чемал наезжает много гостей, так что там очень шумно; в Эликмонаре меньше, потому что и самое селение меньше. Эликмонар ближе сюда от Чемала на 5 верст. В Эликмонаре есть у г-жи Курловой знакомый крестьянин, который отдает верх хорошего дома за 5 рублей в месяц. Она очень хвалит его; он очень услужливый, любит интеллигентных постояльцев, и т-те Курлова берется написать ему об этом, а она для него авторитет; он ее знает хорошо. Г-жа Курлова наезжала в Чемал и Эликмонар из-за Катуня, т.е. из Черги, которая находится в 30 верстах к западу от Катуня.

Ваше письмо очень коротенькое, так что и облизнуться не хватило. Очень я пожалел и посетовал на его краткость. Надеюсь вскоре получить другое побольше в ответ на мое красноярское, а потом на томское.

Ответом на это поторопитесь, так как надо будет заблаговременно передать г-же Курловой известие, поедет ли мы в Чемал или нет. Она отправится в Чергу, как только гимназистки кончат экзамены.

Г. Потанин.

[P.S.] Никаких отрицательных замечаний о стихах сказать не могу; все прилично. Мне больше других понравилось: "Я сказала б тебе..."

№ 28

*[Вторая половина апреля 1902 г.
Томск]*

Дорогая Мария Георгиевна.

Вот уже две недели живу в Томске, получил здесь одно Ваше письмо, адресованное Вами еще в Красноярск, но это было вскоре по приезде. С того времени я был лишен удовольствия слышать музыку Вашей речи, что сделалось теперь моей потребностью. Но я теперь не волновался, как в прошлый раз, потому что я не один, и все другие, кто имеет сношения с Барнаулом, эти две недели сидели без барнаульских писем. Но сегодня я огорчен; барнаульская почта наконец прорвалась через льды и шугу, мои знакомые получили письма из Барнаула, а я нет. Но я надеюсь получить дня через два, через три эту милую музыку. В Ваших письмах попадают жемчужинки, кусочки Вашего сердца, которые имеют способность прищипывать мое чувство, и вот я занят мыслью, какими-то жемчу-

жинками Вы облагодетельствуете меня в письме, которое я так нетерпеливо жду.

Вы в одном письме говорите, что без любви нельзя. Это в особенности верно относительно меня. Кажется, мое сердце старое должно бы давно уже научиться вдохновляться идеалами в отвлеченном виде, не требуя, чтобы они были воплощены в образе прелестной женщины. А между тем, я не могу жить с сердцем, не наполненным чувством, безнаказанно; я не могу идти по пустыне, как еврейский народ, без руководящего ангела; если я не вижу его впереди, то я становлюсь прозаичен, вульгарен, даже пошл; вот-вот поклонюсь золотому тельцу и Астарте; но если я вижу впереди ангела, атмосфера вокруг меня очищается, воздух становится свеж и благоуханен, небо чисто, цвет его глубже. Теперь таким источником света, тепла и радости стали Вы. Вы не даёте мне наставлений, как вести себя и о чем думать, но когда я сделаю поступок или мысли примут иное направление, я опомнюсь и подумаю: А не похвалит меня за поступок милая поэтесса! Или: А ведь без краски в лице мне не выразить бы своих мыслей вслух в присутствии Марии Георгиевны! Следовало бы Вам понять, какую цену имеют для меня Ваши письма. Подогревая мое чувство к Вам и успокаивая надеждой на Вашу любовь, Вы поддерживаете во мне добрые наклонности. А потому следовало бы Вам поставить себе в обязанность, во-первых, быть в переписке аккуратнее, писать почаще, а во-вторых, писать подлиннее, чтобы мое наслаждение, которое я испытываю, пробегая Ваши строчки, длилось бы дольше.

Такое действие от Ваших писем. А что же, когда я увижу Вас самих, прелестную, светлую? От Вашей лучезарности все гадкое, что есть в моей душе, спрячется в самых глубоких, в самых темных уголках моего душевного организма. А если оно и в Вашем присутствии вынырнет, тогда мне придется казнить себя.

Это письмо было начато вчера, но закончить мне его не удалось; нужно было пойти в магазин Макушина. Я хотел продолжить его сегодня утром; а утром принесли Ваше письмо. Как я был им обрадован; оно сделало из сегодняшнего дня праздник. Благодарю Вас за него горячо. Только огорчило меня, что оно коротенькое. Мне кажется, Вы все становитесь кратче и кратче. Одно средство – приехать в Барнаул. Господи, удастся ли увезти Вас в Томск, чтобы устроиться там, чтобы видаться каждый день. Кажется, ввек бы не наговорился.

Я называю Вас лучезарной? Но я допускаю, что среди этих лучей есть кое-что темненькое. И мне ужасно хочется узнать, в чем заключается это темненькое. Может быть, Вы сами же мне поведаете о нем. Если я буду знать все, что есть в Вас темненького, и если Вы не будете за него стыдиться передо мной, потому что я, узнав его, ведь прошу его и даже горячее поцелую Ваши руки, – то Ваше темненькое тогда сделается как бы и моим, Ваш грех будет моим грехом. Итак, все темненькое пополам! И мне хотелось бы покаяться в своих грехах перед Вами. Потребность каяться – это потребность всякого человека, не одного только христианина. У меня темного накопилось немало. Перед кем же я могу исповедаться, как не перед Вами только!

В Томске меня ничто не задерживает, и когда станет теплее, поеду в Барнаул. Напишите, когда же Вы подадите прошение об отпуске, когда этот вопрос решится?

Стихотворения Ваши я получил. "Я сказала бы тебе" мне очень нравится по мысли. Изменение последней строчки одобряю. Так будет совсем хорошо... А то и рифма была несовершенна, и смысл расплывчатый. Стихотворение мне нравится по гуманности. Оно признало право на Ваше сердце и других домогающихся. Может быть, оно мне нравится по эгоистическим соображениям; будь я Вашим сверстником по годам и встретиться во времена Вашей молодости, и я стоял бы в рядах если не мечтавших сделаться Вашим избранником, то на верное в рядах, завидовавших Вашему избраннику.

Любящий Вас Григ[орий] Потанин.

№ 29

29 апре[ля] 1902 г.

Томск

Вот удовольствие так удовольствие!

Третьего дня я получил Ваше письмо и перецеловал его, потому что оно было первое после перерыва в две недели вследствие бездорожницы. Я был очень обрадован и на другой же день ответил, сам опустил свое письмо в ящик у почтамта, а сегодня вновь получаю Ваше письмо. Какая милая, славная, дорогая девица! Это был совсем сюрприз, и какой сюрприз, что за письмо! Прочитал и подумал, что-то очень хорошее ждет меня в Барнауле! В двух предшествующих письмах было бедновато местами, которые заставляют чувство разгораться, а это было такое, что порох вспыхнул, и я чуть не улетел на небо.

Любовь не терпит мертвого покоя; она всегда движется, развивается, преобразуется, усложняется, и нет конца ее метаморфозам, и нет предела ее росту. Моя любовь к Вам тоже выросла, и настоящий ее вид далеко не тот, как было ранее. Помните, я говорил Вам в Петербурге, что когда я прочел тетрадку Ваших стихотворений, я влюбился в поэтессу; это была смелая шутка, но и тогда уже, в действительности, я был охвачен ароматом любви; он был очень тонкий и едва ощутимый, так что не оцепенял моего чувства, которое оставалось свободным в своем выборе. Потом эта ароматическая атмосфера стала становиться гуще, я стал проходить шкалу ароматов от розы и фиалки по направлению к мучительному мускусу. В Барнауле аромат стал погуще, любовь подросла, но если я и уехал военнопленным, то все-таки военнопленным, отпущенным на волю. Потом живу в Иркутске; помните, я одно время не писал Вам писем. Вы написали мне одно или два тревожных письма, я ответил и получил от Вас, в свою очередь, ответ. Вот это Ваше последнее письмо было смертельным, или вернее, животворным выстрелом. С этого времени музыка пошла другая. С каждым новым Вашим письмом я чувствовал, будто какая-то властная рука забирает меня и мое сердце по частям (ну, а Вы в это самое время не чувствовали, что равным образом я забираю Ваше сердце? Нет?), и вот теперь я чувствую себя опутанным кругом нежной сетью, которую так приятно носить на себе.

Боже мой, когда же это я увезу Вас из Барнаула? "Увезти" появилось у нас на устах, конечно, Вы помните, еще в Петербурге. Тогда это для меня значило нечто другое, чем теперь. Тогда я думал, что это нужно сделать для Сибири, теперь, что это нужно для меня самого. "Увезти Вас" это стало для меня синонимом отобрать Вас у кого-то, присвоить, овладеть Вашим сердцем, кровью, нервами, мыслями, всем, что в Вас живет, движется и пульсирует. Откуда такая самонадеянность у безобразного сибирского лешего? Господи, как я в этом отношении обижен, боюсь в зеркало взглянуть, чтобы не испугаться, а между тем, вот подите же, о чем мечтает сибирский леший, когда он будет в Барнауле. Я мечтаю, что Вы мне позволите хоть один только разик прижать мои губы к Вашей руке, это где-нибудь наедине, в темном уголке, где никто не увидел бы, как безобразие прикоснулось к Вашему телу. Милая, дорогая! Ведь Вы сами подвязываете мне крылья любви (на прозаическом языке это зна-

чит пароход Эдельштейна или там кого), чтобы лететь в Барнаул. Ах, скорее бы Ваши глаза, Ваши глаза!

Вы мне грозите: "Не смейте!" Этот повелительный тон Ваш привел меня в истинное умиление. Вы не со вчерашнего дня стали властительницей моих дум и теперь окончательно входите в роль. Чем туже будете подтягивать повод, тем более мне захочется любить Вас.

Томское мое настроение, Вы правы, временное; я это сознаю. Когда-то я был в него влюблен, и отчасти эта любовь когда-то меня заставляла принимать участие в полемике о месте для сибирского университета, и я ратовал за Томск. Потом мне мало довелось жить в Томске, а в Иркутске я провел несколько лет, принимал участие в его жизни и привык к нему до того, что начал считать его своим родным городом и завидовал умственным и культурным успехам Томска. Но, я надеюсь, что прежняя моя любовь к Томску вновь отрыгнется, это первое; а потом и то – живая просветительная деятельность здешней интеллигенции, более живая, чем в Иркутске, надеюсь втянет меня в томскую жизнь и овладеет мной. Но, я думаю, что все это случится только под условием, если подле меня будете Вы. Как Вы думаете, хорошо мне будет подле Вас?

Я думаю, что необыкновенно! Почему это будет так, никак этого ясно растолковать себе не могу, а только сужу по тому, что как только представляю Вас подле себя, что-то такое со мной сейчас делается, точно я вот-вот выскочу из себя.

В Вашем стихотворении "Я сказала бы" одна строчка неудовлетворительна, именно: "Что в душе берегу я так свято..." Что берегу? Читатель недоумевает. Если это "что" с ударением, поставленным автором, параллельно три строчки выше находящемуся "что": "что не мог ты один...", тогда эта строчка, кончающаяся многоточием, кажется недоконченной. То есть если понять Вашу мысль так: Я сказала б тебе, что то-то и то-то, а так же что в душе берегу я так свято... невольно хочется спросить, что же Вы бережете? Потому что за этой строчкой новое "что", за которым следует новый период, а эта строчка как будто оборвана. Но можно и так понять, будто Вы хотели сказать: "Не ты мог один ярким солнцем сиять мне когда-то, что в душе берегу я так свято..." И мне кажется, Вы это хотели сказать; в таком случае надо было бы яснее и подробнее выразиться: не ты мог один сиять мне когда-то, – память об этом я в душе берегу свято... Тут у Вас четыре "что", из которых три параллельны, каждое

начинает собой четверостишие, а это четвертое не параллельно, поэтому Вы и сами отметили его ударением. Нужно строчку эту изменить.

Это стихотворение хорошее; оно не придумано, оно выхвачено из истории тоскующего сердца.

На страстной неделе меня повезли вечером в гости к профессору Курлову; я поехал в осеннем пальто, а не в шубе (будь бы Вы подле меня, Вы бы не пустили бы меня без шубы?), да кроме того, дорогой я говорил с дамой, с которой ехал, и схватил форменную инфлюэнцию с воспалением горла, с щипотой в зеве, с кровавым насморком, с воспаленным состоянием глаз и с ревматической болью в позвоночнике, и потому две недели сидел, никуда не ходил. Отсиделся, теперь совершенно здоров, но так как то время потеряно для визитов, я должен теперь наверстывать. И как только оббегаю всех, да дождусь более теплого времени (здесь все холодно и даже вот сегодня до обеда шел снег), так и полечу в Барнаул к своей милой потессе. Вы как-то писали, что я буду Вас чему-то учить, когда будем вместе жить. Да, да, непременно буду учить и, кажется, уже начал это делать, – учить Вас, как меня поработить. Ученица, кажется, толковая; делает успехи. Натягивайте ту же поводка, Марья Георгиевна, славная, милая!

Весь Ваш Григ[орий] Потанин.

[P.S.] А что же ни слова по делу? Когда решится вопрос об отпуске? М-ме Курлова ждет, чтобы написать в Эликмонар г-ну Балину.

Привесок к письму. Я расписался. Из моего сердца течет по направлению к Барнаулу целая река любви из отверстия, пробитого в нём Вашим последним письмом. Эта река и принесет меня к Вам.

Вы играли на сцене? Играли может быть роль *jeune première*? Молодой человек обнимал Вас, целовал Ваши руки? Я завидую ему и ревную его к Вам. А я-то? За какое бы счастье я почел, если б мне было позволено поцеловать только Ваш башмак.

Напишите мне, пожалуйста: Первое – позволяете ли Вы мне в письмах называть Вас милою, и сколько раз позволяется употребить это слово на странице? Потому что если Вы разрешите употреблять его без ограничения, то я на всей странице только и буду писать «милая» и никакого другого слова.

Второе – у какого-то дикого племени был обряд для выражения покорности, побежденный ставил ногу победителя на свое темя. Мне хотелось бы совершить этот обряд, поставить Вашу ногу на свою голову, чтобы испытать священный трепет от прилива верно-подданического чувства. Напишите, могу ли я надеяться по приезду в Барнаул получить разрешение в знак верноподданичества поцеловать башмак на Вашей ноге?

Все я шалю и шучу с Вами. Верите ли Вы в мою любовь? Замечаете ли ее в этом потоке шаловливых речей?

Я с удовольствием иногда и с интересом перелистываю Ваши старые письма и припоминаю наши разговоры, словом, восстанавливаю историю нашего знакомства, чтобы понять, что меня поработило. Менее всего то, что Вы хорошенькая, хотя это тоже на меня очень сильно действует; не главная причина и Ваша поэзия, хотя впечатление, произведенное ею на меня, было замечательное; девица страстно хочет любить и всенародно об этом заявляет, как якутка в одном рассказе Серошевского; это меня подкупило и затуманило у меня в мозгу. Главное же то, что Вы с первых же шагов нашего знакомства оценили мое дружественное к Вам расположение во всю его величину. Как только Вы вошли в комнату в Гусевом переулке, Вы как будто сразу подумали, вот человек, которому я могу довериться, которого могу сделать своим близким другом, который отдаст мне свое сердце и душу, который все мне простит, все от меня стерпит, все во мне одобрит. Я всегда был разнорабочим за право отдельной личности на личное счастье, и враг сухой радикальной рахметовщины, всегда отстаивал право молодежи на шалости любви, всегда был за ранний брак и готов был снисходительно смотреть на временное забвение молодежью гражданских обязанностей. Вы сразу поняли меня и взглянули на меня, как на оправдание своей грешной мечты. В этом совпадении взглядов обаятельная сила, которая поработила меня Вам.

Я Ваш друг, неправда ли? А между тем я знаю о Вас только одно, что Вы тоскуете о взаимности в любви; о них Вы мне подробно не писали и не рассказывали. Конечно, Вы не находили в этом потребности, потому что у Вас есть еще мама, которой Вы можете жаловаться. Я готов встать перед Вами на колени и просить прощения, что, изображая себя влюбленным в поэтессу, я до сей поры не заводил об этом речи. Оправданием мне служит то соображение, что об этом письмам неудобно доверять свои мысли; но когда я приеду в

Барнаул, Вы мне все расскажете, не так ли? Ничего не скроете, не жалуетесь всласть. Мне бы хотелось вышарить в Вашей душе все уголки, всё знать. Мою мечту о том, как мы будем жить, я фигурально могу так описать: приставить бы наши сердца одно к другому плотно, проделать в каждом дырочку и дырочки приладить одну к другой так, чтобы из Вашего сердца кровь лилась в мое сердце, а из моего в Ваше.

Ещё раз спрашиваю Вас, как Вы думаете, хорошо ли мне будет подле Вас?

Натягивайте ту же повода, не давайте мне уклоняться ни вправо, ни влево, заставляйте идти прямо, прямо – в Барнаул.

Как хотелось бы до отъезда отсюда получить от Вас ответ на это письмо. Не поторопитесь ли, не ответите ли тотчас, как его получите? Я бы просил Вас об этом.

У Елиз[аветы] Митр[офановны] давно не был. Ведь я выхожу всего три дня только.

№ 30

13 мая 1902 г.

Томск

Дорогая и, с дозволения начальства, милая Марья Георгиевна!

Получил я Ваше премилое письмо и захлебываюсь от счастья! В нем есть все, чего ждет мужчина от друга женщины. Ждет он, во-первых, от нее, чтобы она была для него Марией (в отличие о мнозе пекущейся Марфы); и действительно, по Вашему письму разлита любовь. В нем не высказано прямо, но дается ясно понять, что мне разрешается любить Вас, и что это даже составляет Ваше желание. Признание Ваше, что любовь моя Вас греет, что Вам приятно нежиться под ее лучами, наполняет мое сердце гордостью, от которой оно как бы не лопнуло. Вы ведь не просто женщина, а певица любви. Значит, любовь Ваша будет сложная, изобретательная, сочная, и мне предстоит длинное наслаждение бродить с интересом по извилинам лабиринта Вашей души. Сколько тут встретится осложнений, которые нужно будет распутать, сколько загадок, которые придется разгадывать. А когда Вы расскажете мне о своих недостатках, вот когда я влюблюсь-то в Вас! Ведь эти Ваши недостатки – какие они, должно быть, хорошенькие? Ну а если они скверные и если Вы состоите из одних недостатков, тогда как? Черт возьми! А все-таки и тогда я бы любил Вас! Что же такое любовь? Где ее источник? Не потому ли

только любишь, что сам любим? Вот Вы любите меня, и меня не-
удержимо тянет любить Вас.

Во-вторых, мужчине нужна Марфа. В предыдущих письмах Вы уже делали мне намеки, что я найду в Вас свою добрую Марфу; да и в последнем письме есть подобный намек.

Наконец, в-третьих, мужчина нуждается в критической способности женщины разбираться в нравственных вопросах. Вы делаете мне несколько замечаний и запросов, когда свидимся, поговорим об них; в одних случаях я буду обвинять Вас в придирчивости, в других, может быть, придется смириться и признать себя прижатым к стене. Это мне очень нравится; значит, мы будем спорить, сражаться, и наша совместная жизнь будет содержательная. В последнем Вашем письме я почувствовал Ваше превосходство над собой в области морали; это залог, что я буду Вам верен; Вы вечно будете господствовать надо мной. Вы спрашиваете, в каком грехе я Вас подозреваю. Я уже успел забыть фразу и по одному слову, выхваченному из фразы, не могу припомнить, что я хотел сказать.

Елизавета Митрофановна пригласила меня как-то на вечер, и я познакомился тут с Петром Петровичем и Анной Сергеевной; был продолжительный разговор о "Маничкиной поэзии". Анна Сергеевна долго журила меня за то, что я выкинул из напечатанного сборника Ваши гражданские стихи.

Сегодня уехал в Барнаул Порфирий Николаевич, а я остался дожидаться 14 мая, когда, во-1-х, будет акт в учительских женских курсах (меня пригласили), во-2-х, приедет директор Технологическ[ого] института г. Зубашев (м-те Зубашева просила меня навес-
тить их дом, когда приедет ее муж). Числа 16 или 17 я сяду на пароход, высажусь в селе Берском, съезжу в деревню Койнову, где у меня есть племянница учительница, а потом в Барнаул. Я сержусь на свою лень и нерасторопность; я мог бы несколькими днями раньше выехать отсюда. Хочется поскорее увидеть головку с пепельными волосами, с косыми лучами ресниц. Свидание с Вами для меня имеет значение духовного возрождения.

Я и Вы, мы люди различные; Вы наивная девица, настроение Ваше девственное, Вы смотрите на явления через очки поэзии и поэтизируете их; я натура прозаическая. Поэтому на один и тот же факт мы смотрим различно, я вижу в нем то, чего Вы не видите, и наоборот. Например, мне очень нравится Ваше стихотворение, где Вы описываете, как Вы молитесь в храме, и душа Ваша смущена

тем, что молитва Ваша, может быть, неуместна в храме. Это неуместное, очень вероятно, я представляю себе совсем не в том роде, как Вы. Это мне не пришло в голову, когда я писал Вам в прошлом письме о грешных мыслях. В одном стихотворении, кажется, не напечатанном, Вы изображаете себя вдвоем с своим другом, который охватил Ваш стан и держит Вашу руку, и "огонь любви пылает" в Вашей груди. В параллель этой картине я представляю себя, будто я держу руку женщины и обнимаю ее стан. Ваше воображение создает картины из истории Вашей любви, и мое также. Вы их представляете себе в некотором тумане, в неопределенных очертаниях, и они не смущают Вас; мое испорченное воображение рисует картины не столь наивные, и я устыжусь описывать их. Итак, Ваши грезы и мои очень не сходны, но то состояние организма, которое Вы называете "огнем любви в груди", т.е. особенное состояние нервов, вызывающее особое ощущение, и в Вас, и во мне одно и то же. Вы не отделяете Ваших грез от этого состояния нервов и говорите: "Это чувство чистое, святое". Я тоже мыслю о состоянии нервов слитно с рисуемыми воображением картинами; не только на картины, но и на это состояние нервов смотрю с неодобрением. Когда я писал предыдущее письмо, мне не пришло в голову провести это различие между моим мышлением и Вашим. Я верю, что нечистое воображение под действием девственной женской души может исчезнуть, и, кажется, в романах описывались такие преобразования.

Что касается до меня лично, то ни обстановка моего детства, ни товарищество в мои юношеские годы не благоприятствовали к тому, чтобы сделать из меня органически нравственный тип. И если моя нравственная физиономия не вызывает отвращения у девственных натур, то не потому, что это моей натуре природно; я создаю свой портрет усиленной внутренней борьбой. Мне приходилось проходить по опасным горным карнизам нравственности, над пропастью грехопадения, и мне это нравилось, и я справлялся с собой своими личными усилиями. А теперь Вы подле меня! В опасные минуты Ваша рука удержит меня от опасного направления; достаточно будет, если Вы мне пригрозите Вашим милым пальчиком, который мне сейчас страсть как захотелось крепко, крепко поцеловать, как будто он уже спас меня от смертельной опасности.

Как-то Вы будете, милая Мария Георгиевна, командовать надо мною? Имейте в виду, у меня глаз завидуший. Сколько мне ни давайте, мне все мало. Вот Вы рисуете наше будущее в таком виде: Вы

будете приходиться ко мне по вечерам и разливать чай. "Если хотите, прибавляете Вы, то каждый день". Каждый день! Вы как будто хотите сказать: "Смотрите, какая я славная! Каждый вечер я буду доставлять Вам наслаждение любоваться моим хорошеньким личиком". Но эта перспектива мне мало улыбается; мне хочется изломать эти условия и расширить свои права. Вы обещаете давать мне по столовой ложке в день любовного напитка. Сударыня! В сутках двадцать четыре часа, давайте и двадцать четыре ложки любви в сутки. Любовь не терпит ограничений; мне хочется забрать Вас в свои руки совсем, во всей Вашей целостности! Каждый час, каждая минута Вашего существования чтобы были мои! Когда я утром просыпаюсь, чтобы первым впечатлением светлого дня были пепельные волосы, когда наступает ночь, чтобы последним впечатлением прожитого дня, впечатлением, с которым я закутываюсь в одеяло, были косые ресницы! Но как же сделать, чтобы блаженство покрыло весь мой день во всю его длину и ширину?

Вы хотите за мной ухаживать, когда я буду болен. Но ведь и я хотел бы за Вами ухаживать, когда Вы будете больны. Представьте, мы живем в Томске. Вы не пришли ко мне в урочный час. Я пропускаю день, думаю, не удалось почему-нибудь, пошли к кому-нибудь в гости, не все же только ко мне да ко мне. Но и на третий день Вас нет; надо проведать, не больны ли? А на дворе дождь и грязь. Вы ведь знаете томские условия: вместо мостовых зыбуны, а вместо тротуаров вертикальные и горизонтальные зигзаги. Так не хочется идти! Чешу затылок и проклинаю любовь с ее обязанностями. Любовь не может преодолеть страха перед зыбунами и скользкими тротуарами, но долг преодолевает. Иду; в одном из томских зыбунов увязаю ногой и теряю калошу, спешу на тротуар, скольжу и падаю; я упатрался в грязи с головы до ног. Прихожу к Вам; горничная встречает меня докладом: "Барышня больны, лежат в постели и не могут принять!" Неужели это так будет?

Я опять сегодня разболтался! Вон какое длинное письмо вышло! Это не святыня, как Вы называете мои письма, а простыня. Не знаю, доставит ли оно Вам такое удовольствие, как прежние. А хотелось бы, чтобы доставило. Мне так приятно воображать, что Вы его читаете, довольны, улыбаетесь, внутри Вас временами что-то зажигается, вспыхивает и разгорается! Я образно представляю этот дуэт чувств в таком виде: я стою с протянутыми вперед руками, на моих руках лежите Вы, и я поддерживаю Ваше тело в воздухе в горизон-

тальном положении, как это делают с дамами на морских купаниях "человеки" или porteur'ы (не знаю, как их там называют). Вам так сладко валяться! Поворачиваетесь на левый бок, ай как хорошо! Поворачиваетесь на правый, того лучше! Верите ли, как бы мне хотелось сделать Вам "хорошо"! Милая, милая! У меня сердце облилось сплошной радостью, когда я прочитал в Вашем письме слова: "А мне подле Вас хорошо"!

Я выскочил, кажется, из бюджета, но я даю Вам обещание в следующих письмах не употреблять слова "милая" больше двух раз в письме, а так как я не могу ограничить свой экстаз только двумя моментами на письмо, то вместо "милая" с необузданной расточительностью буду употреблять слова: чудесная, славная, великолепная, ослепительная и т.п. А иногда: несносная или противная! Например, прошлое письмо Вы закончили фразой "Жму Вашу руку"! Отчего Вы, противная, не написали с важностью королевы: "Протягиваю Вам руку для поцелуя!" Ведь Вы королева моего сердца и должны по-королевски жестикулировать.

Простите, славная, добрая Марья Георгиевна, за мою болтовню. До свиданья в Барнауле. Пепельные волосы и косые ресницы, скоро я Вас увижу! Хотя мне и не разрешено, но совершаю насилие – целую каждый пальчик в брюшко на особицу, и один общий поцелуй разом во все клавиши.

Преданный Вам до последней фибры сердца Григорий Потанин.

№ 31

20 мая 1902 г.
Томск

Дорогая Марья Георгиевна

К 17 мая мне не удалось собраться; собрался я только к 20-му, т.е. сегодня; чемоданы уложены и сегодня к 5 часам вечера я должен быть на пристани, чтобы сесть на плотниковский пароход "Михаил". Как я Вам писал, в Берском я высажусь, чтобы съездить в Койново, а потом в Барнаул.

Припоминаю, как много лет тому назад я попал в Барнаул в первый раз; тогда я приехал в Барнаул, чтобы отправиться оттуда с золотым караваном в Петербург; я ехал в университет. Я приехал в Барнаул за неделю до отправления; пришлось ждать и волноваться; а ну, как что-нибудь помешает моему помещению на возке каравана. А впереди у меня была такая перспектива: столица и свидание с

подругой детства красавицей Лидией Эллизен, с которой мы когда-то спали в общей детской, а потом не виделись десять лет. И вдруг бы скандал, после мечтаний увидиться я бы остался в Сибири. Но вот настал назначенный для отъезда день; 18-ть возков готовы на дворе Горн[ого] правления, где теперь сад Народн[ого] дома, золото уложено, мы, пассажиры, на своих местах, первый возок тронулся и выехал за ворота, за ним второй, третий и т.д. и, наконец, восемнадцатый, в котором сижу я, выезжает за ворота, и я думаю: теперь только месяц, и буду стоять перед хорошенькой Лидией Эллизен. Так и теперь, только с разницей той, что тогда я ехал из Барнаула и в конце пути город, в котором Лидия Эллизен, теперь я выезжаю из Томска, и Барнаул в конце и в нем-то дорогая женщина, моя новая Лидия Эллизен. Через неделю я буду стоять перед Вами, буду видеть Вашу милую улыбку, слышать Ваш ласкающий голос, смотреть в Ваши глаза. Как это весело жить, когда имеешь любимую женщину, для которой хочется служить. Чувство приливает в обилии, когда подумаешь, что тебя ждет женщина. Мои нервы и фибры точно намагничены, натерты именем Марии Георгиевны. Иногда стоит только мысленно произнести это имя, как накатывается чувство, которое заставляет дрожать все эти фибры. Иногда достаточно, чтобы я увидел только лежащую на столе рукопись с Вашим почерком, чтобы в сердце начало шаять. И такие это приятные минуты, я в это время превращаюсь в влюбленного глупца, ни о чем не думаю, только прислушиваюсь, как тепло любви разливается и распространяется по организму.

По этим минутам я сужу о тех наслаждениях, которые Вы мне доставите при личном свидании. Как мне захочется, когда я приеду в Барнаул, поскорее очутиться наедине с Вами, чтобы сделать первую пробу чтения в Ваших глазах. Вы ведь не будете меня мучить и не замедлите доставить мне это наслаждение, не правда ли? Воображаю, что это будет за удовольствие! Буду опускаться в Ваши глаза до самого их дна! На дне-то и главная сладость!

А пока моя любовь питается еще только перечитыванием Ваших писем. Какой это прекрасный язык – русский, на котором можно говорить такие прелести: "Летите (повелит[ельное] наклонение) на крыльях любви ко мне", "Мне подле Вас хорошо" и пр.! Первобытному дикарю, который избрал этот язык, я поставил бы статую в пантеоне русских знаменитостей. Какая сила, в самом деле, у человеческого слова! Ведь развитие нашего чувства обязано слову, пере-

даваемому почтой. Во мне оно выросло под действием писанных жемчужин.

Какими же словами я подстегну Ваше чувство в последнем моем перед свиданием письме? Какой придумать Вам новый опьяняющий эпитет? Я думаю о Вашем чувстве ко мне, взвешиваю, что такое Вы и что такое я, и убеждаюсь, что я эгоист, а Вы удивительно доброе существо, жалостливое сердце. Вы добренькая! Когда перебираю эти свои мысли о Вашей доброте, внутри моего организма что-то начинает шевелиться, тоже доброе, хорошее, что-то плывет, подступает к чувствительным местам, уходит куда-то глубоко-глубоко, и я теряю и мысль, и речь, и сохраняю одну способность твердить: милая, милая! Странно, в это время мне хочется украсть Вас.

На этот раз я Ваше приказание исполнил, не злоупотребил словом "милая". Но все-таки я должен выразить прилив необузданного чувства. Представляли ли Вы себе какого-нибудь виртуоза колокольного звона; поводки у него пропущены сквозь все промежутки между пальцами, обе руки заняты, поводки привязаны и к ногам, и он действует всеми конечностями и пляшет. Так и я, держу в руках целую систему поводков и звоню на всю Сибирь: славная, единственная, несравненная, поэтическая Мария Георгиевна!

Ваш, Ваш и Ваш Г. Потанин.

№ 32

*[Декабрь 1902 г.
Томск]*

Дорогая и милая Мария Георгиевна.

Сегодня получил Ваше письмо и сегодня же отвечаю. Девять дней прошло после Вашего отъезда; мы с Елиз[аветой] Митрофановой рассчитывали, что Вы раньше приедете в Барнаул и что почта скорее придет из Барнаула, чем она пришла в действительности, поэтому я начал беспокоиться и думать, или что Вы вновь заболели, или в Барнауле у Вас отошла охота получать мои письма и писать свои. Я не сочиняю, что очень беспокоился. Днем в занятиях и хлопотах я еще забывал о том, что я осиротел, но как только оставался один, нестерпимо жутко становилось. Все, что я делал днем, казалось таким непрочным; зачем все это я делаю, думал я, если, может быть, весной придется бежать за тридевять земель. Но наконец пришло Ваше письмо, и я вновь начал надеяться на свое счастье.

Все эти дни были у меня заняты хлопотами о лекциях Кулябки-Корецкого, сношениями с Барнаулом, Красноярском и Иркутском. Решено, если лекции в этих городах будут дозволены, Кулябко поедет сначала в Иркутск и уже оттуда явится в Барнаул. Здесь он прочитал уже 7 лекций в бесплатной библиотеке и завтра читает последнюю 8-ю в Общ[ественном] собрании. Несмотря на то, что лекции читались ежедневно и что иногда была ветреная погода, публика к ним не охладевала; последние лекции были так же многолюдны, как и первые. Завтра ему готовятся овации, ему подносят подарки и адреса 1) от Школьного общества и 2) от посетителей. Впечатление на город лекции имели громадное; вот что значит трибуна, свободное слово с кафедры! Все, что он говорил, можно вычитать в книгах, и нас, конечно, он своими лекциями не переделал, мы уже оформились, но и на нас все-таки его речь действовала. А что делалось с молодыми людьми, или с людьми, не тронутыми политическими веяниями. Не одна голова в этот день почувствовала в себе радикальный переворот. Громадная разница в действии на чувство книги и свободной речи с кафедры. Хлопоча о Барнауле, я в значительной степени заботился о Вас, чтобы Вам удалось испытать то удовольствие, какое испытали мы. Конечно, его речи не создают людей, но они учат быть гражданами.

Вышла прекрасная книга свящ[енника] о[тца] Петрова "Школа и жизнь" Прочтите! Я читал о ней рецензию в "Вестнике Европы".

Тороплюсь сейчас к Елизавете Митрофановне. К ней приехал гость, доктор Сокольников, якут. Хочу его видеть. Поэтому письмо спешу закончить.

Томская наша жизнь вышла бледнее барнаульской. Я боялся посещать Ваш дом часто, думая, что мои визиты доставляют досаду Агнии Евгеньевне. Меня беспокоило предположение, что, по ее мнению, мои посещения волнуют Вас и что Ваше выздоровление ими замедляется. Господи, когда же это кончится? Меня и теперь угнетает мысль, что Агния Евгеньевна увезла Вас с надеждой, что, расставшись с городом, в котором я живу, и не видя меня, Вы меня потихоньку позабудете, привыкнете обходиться без меня, согласно с Вашей любимой франц[узской] пословицей хотя и пр[очее], и дело кончится, наконец, нашей вечной разлукой, к удовольствию враждебно ко мне настроенных.

Никак не могу понять, какие соображения заставили Вас уехать отсюда в Барнаул. Совсем это было не надо. То есть для Вас это было не надо. Для Ваших разве родных? Это может быть. Но это само-

пожертвование, великое самопожертвование, причем это принесение жертвы отхватило порядочный кусок и моего сердца.

Как я проживу эти четыре месяца, не видя Вас? Не имея удовольствия чувствовать в своей руке Вашу руку? Все эти дни я живо вспоминаю те минуты, когда мы шли с Вами из будуара Ел[изаветы] Митр[офановны] в столовую, и по пути Вы вложили свою милую руку в мою. Так и хотелось бы, чтобы вновь испытать вот сейчас это наслаждение.

Меня страх берет, ну что если цензор прочтет мое письмо раньше Вас, скажет, что оно взволнует не совсем выздоровевшую, и мое письмо не дойдет до Ваших рук. Как это жестоко, что Вы оставили меня одного здесь. Как жаль, что Вам не дано было такого провидения, которое дает возможность читать в чужой душе, в чужой голове мысли, как в книге. Вы бы тогда знали, какие тяжелые дни я переживал. Как только Вы кликнете: "Приезжайте в Барнаул!" в один час соберусь и покачу.

Завтра последняя лекция Кулябки с овацией, и в тот же вечер в юридическом обществе реферат профессора Малиновского о роли аристократии в истории древней Руси, который вызовет, вероятно, интересные дебаты, и, наконец, все одновременно, первый камерный концерт в музыкальном обществе. Всюду бы я Вас водил!

Обедал у Зубашевой, после чего мы с ней поехали к Вознесенской и здесь пили чай.

Хочу как-нибудь до праздников побывать у Курловых.

Особенно было неприятно пробуждаться по утрам! Первая мысль приходившая была – М[ария] Г[еоргиевна] уехала, и это, может быть, конец. Сердце так съезится, почувствовав эту горечь существования. Но теперь я получил письмо, и ночи будут спокойны. Буду ждать большого письма.

Любящий Вас Г. Потанин.

[P.S.] Зубашева спросила меня: "С какой это барышней Вы меня познакомили на балу? Вы говорите, она пишет стихи? Она их печатала где-нибудь?" Я сказал, что издан целый сборник.

№ 33

*[Середина января 1903 г.
Томск]*

Дорогая Мария Георгиевна.

Постараюсь исполнить Ваше требование, буду спокойно ждать весны и не буду больше тревожить Вас волнующими письмами. Я

сам чувствовал, что мне не следовало бы писать такие письма, но не мог заставить себя не выдавать своих и волнений и сомнений. Простите, дорогая! Даю Вам слово, что буду в следующих письмах осторожнее. Буду терпеливо ждать весны, и тогда да будет Ваша воля. Тем более надеюсь, что сдержу слово, что по временам у меня является уверенность, что весна принесет мне счастье. Вы примете в расчет, что моя вина имеет смягчающие обстоятельства – ведь так хочется поскорее захватить свое счастье, чтобы не уплыло из рук.

Недавно здесь в суде дама, работавшая на машинке, оставила службу, и мои друзья пожалели, что Вас не было в городе; на это место можно было бы устроить Вас, а жалованья на нем 40 р[ублей] в месяц. Вот если весной Вам предложат место в 25 р[ублей], не отказывайтесь и приезжайте.

Мы здесь заняты полемикой Рейснера с Чадовым. В обществе идут толки; на вечерних частных собраниях только об этом разговору. Студенты волнуются, составляют сходки, судят о студенческой чести. Тут замешалась целая толпа народу: и профессорский персонал, который недолго любит Рейснера, и ректор университета Судачков, и студенты, и обе томские газеты. Все вооружаются и готовятся к битве. Неизвестно, чем кончится это дело: третейским или коронным судом. Обе стороны боятся роковых последствий.

Другое дело, интересующее в настоящее время, – процесс о[тца] Беневоленского. Омская с[удебная] палата утвердила приговор томского окружного суда. Завтра я еду познакомиться с учительницей Греховой, которая меня заинтересовала своей борьбой с о[тцом] Беневоленским. Мне особенно понравилось это показание о[тца] Беневоленского, что когда он приходил с крестом в квартиру Греховых, учительница Грехова не выходила ко кресту. Все меры употреблял служитель церкви, чтобы подвести учительницу и лишить ее права заниматься в школе.

У Елизаветы Митрофановны давно не был, потому что начал получать Ваши письма, успокоился, а то все бегал к ней узнать, нет ли у Вас вестей от Вас и чтобы поговорить об Вас.

Сейчас на этих строках меня прервал визит Всеволода Георгиевича. Вечером сегодня пойду к Елизавете Митрофановне.

Итак, до весеннего свидания! Надеюсь, что встретимся такими же друзьями, какими расстались. По крайней мере, за свои дружеские и любовные чувства ручаюсь.

Любящий Вас Г. Потанин.

[P.S.] Ел[изавета] Митр[офановна] ведет светскую жизнь. У ней всегда гости, так что наедине поговорить о Вас не удастся.

№ 34

30 янв[аря] 1903 г.
[Томск]. Миллионная, 33

Дорогая Марья Георгиевна.

Вот отчет о моих подвигах за время после последнего моего письма. Был в концерте, который был организован г. Медлиным в пользу вечерних курсов. Но мне больше понравился исторический концерт в музыкальных классах, хотя тут исполнителем явился в течение всего вечера один только г. Медлин. 1-го и 8-го февраля еще будут историч[еские] концерты. Цель их познакомить с выдающимися европейскими композиторами. Несмотря на то, что в этот день был первый концерт новинки для Томска г-жи Гинкуловой, на историческом концерте зала была полна. Журфиксы мои перенесены на вторники. Долго они не ладились; приходило все только по двое; один раз Швецов и Проскурякова, в другой – мать и дочь Окулич, в третий – m-elle Вознесенская и Головачев; но в последний вторник собралось 12 персон, в том числе шесть девиц и между прочим О.М. Андреевская, очень милая девица, всеми здесь любимая. К ней все питают симпатии, и кроме похвал, об ней другого отзыва не услышите. Я к ней заехал утром, не застал, оставил записку с приглашением, и она два вторника пропустила. Это меня смущало; я начал думать, что я ее как-нибудь нечаянно, мож[ет] быть, оскорбил. В ее положении – она только что потеряла мать – бывает такая повышенная чувствительность, что оскорбительным является многое такое, что при обыкновенных условиях вовсе не оскорбляет. Оскорбляет, например, официальная жалость. И я был очень обрадован ее приходом. Посещает меня также другая учительница, Беспалова, которую здесь я начинаю более ценить, чем в Петербурге, где я ее, впрочем, очень редко встречал. Хочу еще несколько других учительниц пригласить на мои журфиксы, например, Калерию Всеволодовну Воложанину. Хотелось бы также залучить на них здешних беллетристов Николая Степняка (Олигера) и г-жу Мирскую (жену священника).

Значительная часть моего времени занята писанием рецензий и статей для "Сиб[ирской] жизни". Сегодня отправил одну работу в Москву в "Этногр[афическое] обозрение". Она состоит всего из четырех глав; одна глава была отослана ранее, и появится в первой книжке

за этот год; вторая, которую только что отослал, вероятно, будет напечатана к марту. В марте пошлю третью главу, а в мае или июне четвертую. Здесь же в типографию Макушина я передал собрание бурятских сказок Хангалова; к Пасхе выпустим книжку в 10 листов; буду корректуру держать; эта механическая работа, надеюсь, подействует на меня отрезвляющим и умиротворяющим образом; к собранию сказок мною уже написано (еще в Барнауле) предисловие. Кроме того, копится у меня маленький материал для книжки "Известия" Красноярского Геогр[афического] отдела, состоящий тоже из сказок.

Был в татарской школе, в которой русский язык преподает русская учительница. Хочу заняться вопросом, каким образом вовлечь татар в европейские интересы.

Новость о Кулябко-Корецком Вы, вероятно, слышали. В Иркутске на последней его лекции молодежь устроила демонстрацию, раздавались нелегальные возгласы, вся зала шумела и была осыпана прокламациями. По телеграмме из Иркутска Кулябко-Корецкий был, по приезде в Красноярск, арестован и под конвоем отправлен в Петербург.

Может быть, Вам это письмо покажется скучным, но я затем представил Вам этот обстоятельный отчет, чтобы Вы судили, как я поглощен местной деятельностью.

От Вас давно не имею письма. Начинаю скучать без писем. Пожалуйста, пишите. Надеюсь, что Вы здоровы?

Я заказал полки для книг и в Красноярск написал письмо, чтобы выслали мои книги. Когда придут книги, вместе с ним придет и Ваша фотографическая карточка. Я так по ней тосковал, что хотел было просить Елизавету Митрофановну уступить мне ее временно, до получения моего собственного экземпляра, тот экземпляр, который у ней стоит в зале на угловом столе.

Вчера Елиз[авета] М[итрофановна] сидела у меня вечером; в воскресенье иду к ней обедать.

В городе нашлась книга Герцена "С того берега".

Желаю Вам здоровья и спокойствия. Ваш Григорий Потанин.

[P.S.] Письмо это было уже положено в конверт и только не заклеено, как почтальон принес Ваше письмо, которое меня обрадовало, так как я увидел из него, что Вы здоровы и чувства Ваши неизменны.

Грехова со своим братом была у меня; это очень скромная девушка, совсем не то, что большинство представляет о ней по процессу; в

ней нет никакого задору; она не охотница до борьбы и тяготится тем, что ей выпала роль обличительницы нахального батюшки.

№ 35

1903 г., февраль 15.
[Томск], Миллионная, 33

Дорогая Мария Георгиевна.

Давно уже нет писем от Вас; я очень бы беспокоился, если бы Елизавета Митрофановна не получила от Вас письма, свидетельствующего, что вы в известной степени здоровы.

На днях я получил из Красноярска свои книги, и с ними вместе прибыли медвежонок, который теперь красуется на первом плане на письменном столе, и Ваша фотография. Я повесил ее на стену и теперь Вы постоянно так ласково смотрите из-за стеклышка. Очень бы хотелось мне видеть Вас счастливой и хотя бы в малой доле быть творцом Вашего счастья.

Я познакомился с профессорами Базановым, Малиновским и Кащенко и с их женами. Л. П. Базанова познакомила меня со своими работами и пригласила на свои художественные вечера. Иду к ней на первой неделе "великого поста", веду к ней скульптора г. Гэйэра, который приехал с Рейснером из Дюссельдорфа. На этих пятницах бывают жена профессора Капустина, тоже художница, и художник Ракачинский (хорошо фамилию не знаю). Может быть, решусь в этом обществе возбудить вопрос об условиях возникновения местной сибирской школы живописи. Лидия Павловна показала мне свою "Мечту", о которой легенду я слышал еще ранее, будто это портрет m-me Климентовой. По словам Л[идии] П[авловны] картина задумана ею после пьесы "Лебедь", которую сыграл Медлин на скрипке. Вот плетение жизни из артистических элементов: музыка, красивое тело, наука, живопись! Климентова, Медлин, Базанова!

В понедельник на этой неделе посетили меня восемь курсисток; это будущие сельские учительницы. Они хотят ходить ко мне, чтобы получить наставление, как собирать растения, составлять коллекции и пр[очее]. Я надеюсь приобрести в их среде одну или двух собирающих сказок, былин, загадок и пр.

В четверг я до четырех часов ночи пробыл на декадентском вечере. Была Елиз[авета] Митр[офановна], но Ал[ександра] Мак[аровна] Самохвалова не пришла. Зала была набита битком. Я прово-

жал на вечер молоденькую даму, жену местного беллетриста, пишущего под псевдонимом "Николай Степняк".

Завтра иду к художнику Гэйэру, буду позировать; он лепит мой бюст.

Искренно преданный Григорий Потанин.

№ 36

25 февр[аля] 1903 г.
[Томск], Миллионная, 33

Дорогая Мария Георгиевна.

Я получил Ваше письмо 16 февр[аля], но отвечаю только сегодня, и то спешу. Тороплюсь приготовить к отсылке одну из четырех глав своей большой статьи, написанной для "Этн[ографического] обозрения" в Москве. Меня просили прислать ее к 1-му марта, а едва-едва к 1-му марта приготовил ее к отсылке.

О главном событии томской жизни Вы, конечно, уже слышали. Производить следствие едет сюда товарищ министра фон Валь. Событие такое серьезное, поглощающее все внимание общества, так что о себе теперь стыдно писать.

Мои журфиксы падают; на первом было 12, на втором 9, на третьем 8, на четвертом только три посетительницы. На одном из вечеров в Общ[ественном] собрании ко мне подошла г-жа Фридман и просила позволения прийти во вторник. Но ведь ей будет скучно. Должно быть, мои вечера скучны; любая посетительница придет, посмотрит, познакомится, увидит, что ничего умного и блестящего нет, и на другой вечер калачом на заманишь. Надо выходить в отставку, ликвидировать свои замыслы и удаляться в неизвестность. Спина и глаза мои все в том же положении, но я привык к моим болезням. И к здоровью, и к счастью чувство притупело.

Что это за вопрос, не думаю ли остаться в Томске во всяком случае? Вы подчеркнули эти слова, чтобы обратить на них особенное внимание. Меня этот вопрос тревожит.

Нет творчества, нет политической свободы; праздничное настроение только у пьяниц и взяточников! На чем остановить глаза, чтобы они отдохнули?

Любящий Вас Г. Потанин.

Дорогая Мария Георгиевна.

Сейчас получил Ваше письмо и успокоился; а то я и Елиз[авета] Митрофановна начали опять тревожиться, долго не получая от Вас писем. Последнее письмо Ваше было получено мною чуть не месяц назад. Я начал думать, либо Вы больны, либо Агния Евгеньевна. Хотел было опять беспокоить просьбой Альбина Николаевича, от которого одно любезное письмо уже получил. Ну, очень рад, что Вы здоровы (по крайней мере, Ваше здоровье не хуже того, надеюсь, какое Вы увезли из Томска).

У Елиз[аветы] Митрофановны я не был более недели; заехал к ней как-то, но она не могла меня принять, была сильно больна. Я хотел дня через три навеститься к ней, но сам заболел инфлюенцией, целую неделю никуда не выходил и теперь еще не совсем отделался от кашля и саднения в груди.

История беспорядков вкратце такая. Ходили слухи, что в Петербурге 19 февр[аля] готовится демонстрация и что в Томске тоже будет. Полиция приготовилась и составила, по-видимому, план не препятствовать толпе пройти по Почтамтской и Набереж[ной] Ушайки до Думского моста, а тут, заградив вход в улицы Магистратскую и Обруб, втиснуть толпу во двор пожарного депо, которое находится вблизи Думского моста, и переписать всех участников. Но демонстрация совершенно случайно произошла 18-го вместо 19-го.

Студент Соловкин, которого студенты заподозрили в шпионстве, подал жалобу мировому судье на одного гимназиста, который будто бы в каком-то обществе отзывался о нем как о шпионе. На заседание в камеру явились студенты. Судья оправдал гимназиста; студенты проводили гимназиста аплодисментами и хотели разойтись. Но они были остановлены полицией, которая приготовилась переписывать их. Тогда, узнав об этом, из университета и института еще прибыли студенты; образовалась на Бульварной улице, на которой камера судьи, толпа, которая, не позволив переписывать себя, двинулась по Бульварной с песнями, а выйдя на Садовую, повернула в Почтамтскую; раздавались песни и возгласы: "Долой самодержавие!", принадлежавшие, вероятно, отдельным голосам. Полиция базисом своих действий выбрала площадь между Думским мостом и Пожарным депо. Входы в Магистратскую улицу и на Обруб были перегороже-

ны рядами пожарных и уставленными в ряд санями легковых извозчиков. Когда демонстрирующая толпа перешла через Думск[ий] мост, на нее набросились полицейские и пожарные. Они стали выхватывать из толпы отдельных лиц и отводить в ворота пожарного депо; арестовываемые стали отбиваться, произошла драка; избитых оказалось довольно, но никто не умер. На другой день все профессора университета без малейшего разногласия подписали телеграмму министру народн[ого] просвещения, прося назначить строгое расследование, кто виновник истории, в противном случае слагали с себя ответственность за беспорядки, которые последуют. Подобная же телеграмма была послана и от института; тут было несколько человек возражающих, но все-таки телеграмма была подписана всеми. Присяжные поверенные подали протест министру юстиции, под которым подписался весь наличный их состав. Доктора устроили совещание в одной из гостиниц, но оттянули время, и потом пыл простыл.

19-е прошло спокойно, но 20-го были сходки в университете и в институте; студенты вышли на Садовую улицу и с песнями пошли на Соборную площадь, дошли до дома губернатора, но здесь им преградил дорогу отряд солдат с ружьями наперевес и стал теснить их к университету; другие отряды загородили дорогу в Почтамтскую. Постепенно толпа студентов была придвинута вплоть к университету. Тут перед ней собрались представители губернской администрации и профессора университета и института. Побоев не было. Постепенно толпа студентов обрела, и демонстрация окончилась.

Много потом передавалось в преувеличенном виде, но верно, что в числе побитых оказались один присяжный поверенный и один седой старичок доктор Штехер, который вздумал протестовать против побоев.

Кроме полицейских солдат в побоище участвовали ломовые извозчики и добровольцы из приказчиков, но один очевидец, наблюдавший сцену с начала до конца, уверял меня, что посторонних бивших было не более десяти.

Следствие производить приезжал прокурор Омской суд[ебной] палаты Соболев, брат здешнего профессора. Он, говорят, отнесся к студентам снисходительно; демонстрации 18 февраля он не придал политическ[ого] значения; но демонстрация 20-го имела преступный характер, и за нее, может быть, некоторые ответят. Кроме этого, и в других взглядах Соболев не сошелся с ф[он] Валем.

Валь уехал в Иркутск. Кухтерин и другие поили его шампанским. Кухтерин агитировал, чтобы ему был устроен обед от города, но некоторые гласные запротестовали, потребовали, чтобы вопрос был проведен через думу, но через думу побоялись проводить, испугались скандала. Поэтому решили на частном совещании устроить завтрак, послав приглашение от городского головы, председателя биржевого комитета и купеческого старосты. Оппозиция хвалится, что обед от города не состоялся, но завтрак все-таки прощальный устроился, и, вероятно, на этом завтраке было большинство гласных. Все-таки Валь остался Томском недоволен и теперь едет по Сиб[ирской] ж[елезной] дороге и грозит ему кулаком. Он пообещал настоять на закрытии здешнего Общества попечения о начальном образовании, будто в нем сосредоточивается вся крамола. Но едва ли ему поверят в Петербурге; этим людям несносно всякое просветительное учреждение.

Тот самый поезд, который отвозил из Межениновки ф[он] Валья, увез профессора Рейснера в Берлин. Профессор оставил Томск навсегда, или, вернее, его заставили оставить. История рассказывается так. Осенью, вернувшись из-за границы, очарованный западно-европ[ейской] свободой, он свою вступительную лекцию посвятил сопоставлению нашей русской жизни с заграничной. Лекция произвела сенсацию на студентов. Студент Маклеон написал отчет о ней для "Сиб[ирской] жизни" и предварительно показал Рейснеру. Тот остался недоволен передачей, написал сам и дал Маклеону, чтобы он, переписав, отдал в "Сиб[ирскую] ж[изнь]", как свою статью. Маклеон не переписал, а отдал рукопись профессора в редакцию. Из "Сиб[ирской] ж[изни]" ее перепечатали во многих газетах в Евр[опейской] России. Министерство запросило университет, признает ли г. Рейснер газетный отчет соответствующим тому, что он говорил с кафедры. Рейснер отписал, что заметка не соответствует его лекции и что вообще на отзывы сибирских газет полагаться в подобн[ых] случаях нельзя. Ректор Судаков, всегда враждебно относившийся к Рейснеру, запросил П.И. Макушина. Городская молва обвиняет теперь Макушина, что он выдал или показал рукопись Рейснера. И вот Рейснер получил из Министерства предложение в трехдневный срок подать в отставку, так как в Министерстве имеются документальные доказательства, что заметка в "Сиб[ирской] ж[изни]" писана им самим. Теперь передо мной встает тяжелый вопрос – порвать связи с "Сиб[ирской] ж[изнью]", Ваш совет?

Ваш Григ[орий] Потанин.

№ 38

19 марта 1903 г.
[Томск], Миллионная, 33

Дорогая Марья Георгиевна,

Начинается весна, дорога чернеет, снег сбежал с крыши; все это заставляет задумываться о ближайшем будущем, неопределенность которого набрасывает грустный оттенок на мысли. И подчиняясь внутреннему влечению, я пишу письмо, хотя предыдущее отправил всего только семь дней назад.

Начинает у меня отпадать вкус к томской жизни. Все, что ждал от этой жизни, не получил; мечты не осуществились. До настоящего времени я находил спасение от черных мыслей в Вашей любви. Если барнаульский эпизод не был даже полсчастьем, если он был только четвертью счастья, все-таки это было очень хорошее время, и Вы доставили мне много счастливых минут. Но теперь Вы, как будто, охладели ко мне. Нет прежних нот в Ваших письмах. Не нахожу уже, как прежде, утешения и в разговорах с Елизаветой Митрофановной. Все наталкивает меня на безнадежные мысли. Ваш вопрос: не думаю ли я остаться в Томске во всяком случае? я понял не в тревожном для Вас смысле: "Неужели Вы так привыкли к Томску, что не приедете в Барнаул, если я потребую, чтобы Вы переселились в Барнаул навсегда?", а в смысле зондирования, не настолько ли я втянулся в томскую жизнь, что можно меня оставить и обратиться к прежнему одиночеству, не рискуя меня обидеть.

Елиз[авета] Митр[офановна] сделала мне предложение поехать с ней с первыми пароходами в Барнаул. Не знаю, серьезно она это говорила или шутя. Я сначала принял ее слова в настоящем смысле.

Очень скучно так жить, не видя Вас. Хотелось бы иметь Вас перед глазами. Хочется активной любви, чтобы оказывать Вам услуги и видеть Ваше улыбающееся личико.

Мучит вопрос, в какой же день Вы скажете мне, что испытание, которому Вы подвергли Вашу любовь ко мне, кончилось.

Искренно, горячо любящий Григ[орий] Потанин.

№ 39

17 апр[еля] 1903 г.
[Томск], Миллионная, 33

Дорогая Марья Георгиевна.

Никогда я не получал Вашего письма с такой радостью, как последнее. Вы долго молчали; это молчание я пытался объяснить от-

части новой болезнью Агнии Евгеньевны, как это и оказалось, но приходило в голову и другое соображение. Предыдущее мое письмо было в таком роде написано, что я по временам думал, не взволновало ли оно Вас, как другие, и не заболели ли Вы сами опять, как тогда. Мне и хотелось узнать о Вашем здоровье, и не смел писать, как бы более напортить. Иногда мне внутренний голос говорил, что я все-таки должен Вам написать, несмотря на Ваше молчание. Но вот Вы сделали сами почин к продолжению переписки.

Сердце надрывается, когда читаешь Ваше письмо. Когда же кончится Ваша печальная обстановка? Совестно становится, когда сравнишь Ваше скучное прозябание с томской жизнью. Хотя мое душевное состояние и подавлено неизвестностью будущего, все-таки общественная жизнь отвлекает мысли в сторону и временами забываешь недовольство личной жизнью.

Здесь каждую неделю что-нибудь случится, что займет внимание и возбудит рассуждения. Недавно сюда приезжал из Красноярска Шольн, сделал два сообщения в юридическом обществе о правовом состоянии крестьян и о необходимости введения в Сибири земских учреждений.

Профессора здешнего университета возражали ему и возражали неудачно. Они оказались узкими, не смелыми; Шольн победоносно ниспровергал всякое их возражение. Присутствовавшая публика была на стороне смелого красноярского иностранца, каждую его отповедь профессорам она подчеркивала дружными и продолжительными аплодисментами и с трудом воздерживалась, чтобы не ошибать профессоров.

Потом мы были заняты инцидентом в здешнем Школьном обществе. В зале его предполагалось устроить литерат[урный] вечер; интересная программа была уже утверждена. Тут предполагалось прочесть много пьес, которые обыкновенно не пропускались, как на-прим[ер], "Утес". Тут было одно стихотворение Омурлевского, стихотворение в прозе Короленко: "Огоньки", Чехова "Человек в футляре", две какие-то вещи Горького, "Будда" Мережковского. Но администрация Общества узнала, что молодежь хочет устроить на этом вечере демонстрацию, и вечер был отменен.

Теперь город занят судьбищем между редактором П.И. Макушиным и присяжн[ым] поверенным Вейсманом.

Кроме того, часто приходится слышать о продуктах подпольной литературы, которые частью привозятся на нашу родину извне, частью самодельные.

Пишите, пожалуйста, почаще. Сообщите о своем здоровье. Жду обещанного ответа.

Григорий Потанин.

№ 40

10 мая 1903 г.

Томск, Миллионная, 33

Дорогая Мария Георгиевна.

Наконец, Вы высказали Ваше решение; я подчиняюсь ему.

Душевное успокоение для себя я нахожу в надежде, что с окончанием неопределенности, в которой Вы жили до последнего момента, исчезнет повод к Вашим заболеваниям и Вы выздоровеете окончательно. Это облегчит и мое положение, освободит от сознания, что я причастен к причинам Вашего нездоровья.

Меня занимает вопрос о географическом расстоянии. Может быть, мне не следует напоминать Вам о себе, не проезжать через Барнаул, может быть, следует удалиться из Томска? Простите мне, что я ворвался в Ваш духовный мир, нарушил его спокойствие и создал такой длинный мучительный эпизод в Вашей жизни.

Извините, что я затянул с ответом на Ваше письмо.

Сердечно жму Вашу руку. Григорий Потанин.

№ 41

19 июня 1903 г.

Томск, Благовещенский переулок, д. 15

Дорогая Марья Георгиевна.

Вы меня очень обрадовали Вашим письмом. Я не ожидал его и думал, что после предыдущего Вашего письма я уже не увижу более ни одной Вашей строчки. Рад я также и тому, что я могу оставаться в Томске. Несмотря на Ваше решение в пользу разлуки, мне все-таки хотелось бы находиться невдалеке от Барнаула, чтобы иметь сведения о Вашем здоровье.

Я не знаю, впрочем, как понять значение Вашего последнего письма. Все-таки это конец нашей переписки или мы можем ее возобновить, не в духе, конечно, последних писем, а, например, вроде той переписки, которую я вел с Вами из Иркутска или Петербурга, когда главное, что меня в Вас интересовало, было то, что Вы сибирская стихотворица?

Одна фраза в Вашем предыдущем письме дает мне повод думать, что Вы желали бы, чтобы я остался Вашим другом. И, конечно, дея-

тельным другом. Поэтому питаю надежду, что Вы позволите мне переписываться с Вами, думать о Ваших умственных интересах и оказывать Вам нравственную поддержку в случаях, когда у Вас собственных сил не хватает.

С 1-го мая я принимаю с Алекс[андром] Мих[айловичем] Головачевым деятельное участие в составлении воскресных прибавлений к "Сибирск[ой] жизни". Еженедельно мы собирались в квартире Елиз[аветы] Петр[овны] Макушиной, пока она не уехала за границу; приходил сюда и ее отец П[етр] И[ванович]. Вот вчетвером мы формировали недельный номер, выбирали картинки, назначали, кому написать текст. Эта работа меня увлекает, потому что ею отчасти выполняется моя мечта создать орган, в котором отражалась бы артистическая жизнь Томска. Жаль, что Вы не можете принять участие в нашем издании.

В этом издании предполагаем давать портреты известных сибиряков и посторонних лиц, послуживших Сибири, их биографии, снимки с картин художников, сюжеты которых взяты из сибирской природы или сибирской жизни, виды Сибири, типы сибирского населения, образцы внешнего быта в Сибири, а также картины и сцены из жизни города Томска, так как это умственная столица Сибири. Виды будем стараться выбирать, которые красивые, чтобы развивать вкус. Хотелось бы избежать по возможности снимков с фотографий; они мертвенны, лишены экспрессии. Но достать рисунки от руки очень здесь трудно; рисование и живопись в Сибири мало еще распространены. Руководящая нами идея – воспитать вкус к изящному в сибирском населении, возбудить интерес к артистической деятельности. Похоже ли на то, что мы хоть сколько-нибудь выполняем намеченную задачу, – хотелось бы очень знать.

Кроме этого издания здесь предстоит другое, не новое, а преобразованное, "Сиб[ирский] вестник" будет издаваться под новой редакцией, куда тоже меня пригласили участвовать.

Как видите, для литератора здесь работы и приглашений довольно. А в будущем еще будет больше спрос на литературный труд.

Агния Евгеньевна высказала Порфирию Николаевичу мнение, что для Вашего здоровья лучше было бы уехать в Томск. Если этот переезд возможен только под условием моего отъезда из Томска, я готов немедленно уехать. Если же я могу остаться и даже принять участие в отыскании места или заработка для Вас, то я готов употребить все свои силы на то, чтобы устроить Вас здесь.

Искренно преданный Вам Григорий Потанин.

№ 42

5 окт[ября] 1903 г.
Томск, Бульварная, 7

Дорогая Марья Георгиевна.

После двухмесячного перерыва я зашел к Елизавете Митрофановне, и она, с Вашего разрешения, дала мне прочесть Ваше письмо к ней, в котором Вы говорите, что намерены писать мне. Сначала я подумал, что мне неудобно первому писать Вам после промежутка, что я должен подождать Вашего письма, и я сказал Марье Георгиевне, что я буду ждать Вашего письма. Но потом мысль, что Елиз[авета] Митр[офановна] может затянуть, не скоро соберется, я решил предупредить событие.

Я буду Вам очень благодарен, если Вы мне напишите. Опишите, как Вы провели лето. Что вынесли из своей поездки на Алтай? Посещает ли Вас вдохновение?

Я все время просидел в Томске, увлекался журналистикой, в ней находя средство забывать свои огорчения от ударов судьбы.

Мои чувства к Вам несколько не изменились, и я буду очень рад, если Вы по-прежнему будете меня благодетельствовать Вашими милыми письмами.

Преданный Вам Григорий Потанин.

№ 43

20 ноября 1903 г.
Томск, Бульварная, 7

Дорогая, милая Марья Георгиевна.

Как я Вам благодарен за Ваше письмо! Так бы и расцеловал Ваши руки! Очень ценю то, что Вы написали мне первому, и делаю невольный вывод: как будто возвращается мое прежнее счастье. Когда Вы писали свое письмо, Вы, конечно, знали, что доставите мне им большое удовольствие, но все-таки Вы, я думаю, не вполне представляете разницу в моем настроении, вызванную Вашим письмом. Целый год я не имел от Вас известий, любил Вас, думал о Вас постоянно, но не знал, что же делать, как понять Ваше молчание. Я жил воспоминаниями о Ваших ласках, жил прошлым, боясь думать о будущем. От думы о будущем я старался заслониться настоящим, я опьянял себя журнальной работой, но дух мой становился все более и более беспокойным. Если я и забывался в работе, все-таки разные инциденты то и дело будили меня и приводили к сознанию печальной действительности. Особенно меня каждый день раздражало по

утрам появление почтальона; горничная подает пачку газет и писем, и я должен всякий раз брать их без всякой надежды увидеть адрес, написанный милым почерком, увидеть конверт с наклеенным этикетом: "Барнаул". Ваше письмо сразу все изменило: все кругом меня похорошело, просветлело. Почтальон превратился из досадного человека в благодетеля, с удовольствием рекрутирую девиц для своих журфиксов, пишу статьи для иллюстрир[ованного] приложения без гнусного осадка в душе; хорошо бы теперь Вас увидеть!

Первое известие о Вашем падении на катке я узнал от одного знакомого, который получил письмо из Барнаула. Хотя в нем не было лишнего, но оно давало повод к преувеличенным в дурную сторону предположениям. Я тотчас же отправился к Елизавете Митрофановне. Она уже знала новость от Ваших родственников, но дошедшие до нее известия были менее запугивающие. Но то, что я принес ей, напугало и ее, и она отправила телеграмму в Барнаул. Потом пришли успокоительные письма, а главное успокоительная телеграмма. Наконец, Ваше письмо еще более обрадовало нас. А для меня оно еще тем радостнее, что с настоящего момента начинается новый порядок в моей личной жизни (или, вернее, восстанавливается старый): я буду записывать в записную книжку, что вот такого-то числа отправил письмо в Барнаул и через известный срок буду ждать конверт из Барнаула, надписанный милой рукой, знакомым почерком.

Наши журфиксы начались; вчера в среду был первый. Был В. В. Сапожников, были друзья Швецова, сотрудники "Сиб[ирского] вестника" и несколько девиц, между прочим, была одна недавно переселившаяся сюда красная, бывшая курсистка, и одна немочка. Особенно интересна курсистка; тонкие длинные пальцы, напоминавшие мне другие дорогие; нежный женский голос, но какой контраст, содержание речи – идеи она высказывает мужественные; в женском теле мужское сердце, у лица недостает только бакенбардов и бороды, чтобы назвать его мужским. Есть здесь еще одна девица, которая своим видом очаровывает меня, но я еще не залучил ее на наши журфиксы, но надеюсь залучить. Это не красавица, но у нее заразная жизнерадостность в лице.

Я без журфиксов не могу, они гонят из моей головы сознание о моем одиночестве, но они раздражали бы меня, если б не было Вашего последнего письма. Я бы и сквозь журфиксы чувствовал голод своего сердца, но теперь другое дело.

Журнальная работа отнимает у меня немало времени. Следующий номер уже организован; в нем идет Ст. И. Гуляев. Следующий за ним будет посвящен Технологич[ескому] институту, затем Нау-мову (10 дек[абря] память), а номер 14 дек[абря] – Батенькову.

Кажется, это я о Паскале читал, что он страдал головными болями и забывал о болях в занятиях математикой, но эти занятия-то и расстраивали здоровье его мозга и он еще больше страдал. В таком роде и я – в журнальной работе забываю об обстоятельстве, которое меня раздражает, но сознание, что работа меня только отвлекает от печальной мысли, а не устраняет ее окончательно, еще более меня раздражает. Так это в то время, когда я не чувствовал лучей Вашей дружбы. Но теперь, после Вашего письма, я надеюсь весело работать.

Буду ждать от Вас следующего письма. Все Ваши письма я берегу; они лежат в кучке. Прежде я имел обыкновение время от времени перечитывать, но в течение этого лета так грустно было увидеть Ваш почерк, а вчитываться в них – это было бы растравливанием раны. Поэтому я их не читал. А теперь я опять получил способность штудировать их, сосать каждое их слово.

Целую Вашу руку. Г. Потанин.

[P.S.] Почти круглый год Вы выдержали меня в карантине, а я Вас не разлюбил ни вот на столечко. Люблю Вас с юношеским жаром. Милая моя девочка!

№ 44

*7 дек[абря] 1903 г.
Томск, Бульварная, 7*

Дорогая Мария Георгиевна.

Вот Вы верно сказали, что мы достаточно теперь друг друга знаем, чтобы уже более на забывать друг друга. Дорогое признание. Я давно знаю силу этого условия, знаю, на чем основывается любовь к какой-либо личности. Временами я сравниваю с Вами других знакомых мне женщин, вникаю, почему я предпочитаю Вас всем другим. Отчего Вы мне кажетесь такою милой? Отчего прежде я был равнодушен к пепельному цвету волос, не всматривался, тонкие или толстые пальцы, а теперь, если что-нибудь мне напомнит о Вас, сходная нота в голосе или сходный жест, у меня всегда сердце взиграет от радости, так делается весело. Мне представляется, что есть в Вашей душе такие интимные уголки, куда Вы никого не пускаете, но куда

допустили Вашего друга. Так приятно помечтать об этом интимном, которое нас связывает так прочно. Однако как утомительно жить вдали от Вас. Когда прервется эта разлука? Вы об этом в своем письме ни слова не пишете! Как мне хочется благодарить Вас за это допущение в уголки! Когда взвешиваю эти особо мне присвоенные права, то начинаю о себе много думать. Чёрт возьми, и я шишка в мире! Пусть читатель, прочитав мою статью в журнале, скажет: какой дурак, или какой невежда! Мне наплевать; у меня есть кто-то, кто вложит в мою руку теплые длинные пальцы, чтобы я поднял их к своим губам.

Предыдущее письмо было написано в ровном, так сказать, целомудренном тоне (ни слова о тонких пальцах); я написал его, вложил в конверт, сделал адрес, положил письмо на письменный стол и лег спать. На другой день утром под влиянием прилившего нежного чувства я приписал три строчки и отнес письмо на почту. Но потом я испугался, начал думать, что эту приписку не следовало делать, побежал к Ел[изавете] Митр[офановне] и пожаловался на себя, что я лишил себя Вашего благоволения. И вот я снова начал раздражаться, когда приносили почту, но без письма из Барнаула. Я думал, что Вы мне не ответите. Слава Богу! Вы милая, бесценная, вновь по-прежнему с удовольствием прислушиваетесь к журчанию моих любовных речей. Вот только пугают меня некоторые намеки в ваших стихотворениях, которые я перечитываю. Мне кажется, подобно тому, как вы не позволяли мне целовать Вашу руку выше пуговицы, которую застегнут рукав, так и в стихах, которые я по догадке считал адресованными мне, Вы как будто иногда хотели внушить мне, что можно только до сих пор, а дальше этого Вы свои надежды простираť не можете! Но, может быть, это только моя болезненная мнительность.

Пожалуйста, продолжайте сообщать о Ваших шалостях и подвигах. Это очень интересно и восстанавливает вживе Ваш образ перед моими глазами.

Отчего Вы направляете Ваше стихотворение "Под шум реки" в "Вост[очное] об[озрение]", почему не хотите отдать мне в воскресное приложение "Сиб[ирской] жизни". Только я бы отбросил начало; это проза. И напечатал бы в таком виде.

Под шум реки
(Из воспоминаний об Алтае)
Под шум ритмической реки

Ступает лошадь осторожно
Между камней... И далеки
Страданья дни, как призрак ложный.
Обрыв... Внизу шумит волна...
Тропинка горная опасна –
Неверный шаг, и смерть верна!
Но жизнь и смерть равно прекрасны! (1)
Волшебна ночь!.. Луна взошла,
Засеребрила лес и горы,
Картину (2) светом залила,
Заворожила ум и взоры,
Как хорошо!.. Под шум реки
Долиной быстрой мчатся кони,
Село мелькает (3)... огоньки...
Летим мы словно от погони.
Да, от погони грустных дум
Навстречу ласке и участью...
Забудем все под звучный шум,
Всему поверим, даже счастьем!

1) Не лучше ли так: Но смерть, как жизнь, равно прекрасна. В этом последнем случае точнее рифма.

2) "Картина" уже включает лес и горы, и поэтому эта строчка повторяет мысль первой и ослабляет энергию стиха. Нельзя ли "картину" заменить другим представлением?

3) Не лучше ли: Село, – мелькают огоньки!..

В этих рамках стихотворение выигрывает в силе. Разрешите напечатать его в нашей Сибирской иллюстрации.

На третий журфикс к нам пожаловала Елизавета Митрофановна, но не удачно. Журфикс был плохой; было всего 10 человек, да и то половина пришла только в конце вечера, а сначала сидели только 5 дам, которые порядочно, кажется, поскучали. Была, между прочим, одна интересная девица Карпова, приехавшая в начале зимы из Кургана искать заработка. Она нашла хороший урок в частной женской гимназии г-жи Миркович, познакомилась с Алек[сандрой] Макаро[вной] Самохваловой и они, кажется, друзья. Ее лицо, несмотря на то, что не красивое, очень располагает в ее пользу. Она очень всем понравилась своими речами и мнениями, и, кажется, Елиз[авета] Митр[офановна] пригласила ее к себе бывать.

Теперь я опять счастлив. Как немного нужно было Вам сделать, написать одну ласковую фразу, чтобы переменить мое настроение! Спасибо, спасибо!

Вы спрашиваете о моем здоровье? Благодарю. Глаза более не беспокоят. В спине боль не проходит, изредка чувствую ее, но не мешает мне ни ходить, ни жить, ни любить. Говорят, эта болезнь очень неприятная и мучительная, но не опасная; а у меня ее вид даже не особенно мучительный. Главное, были бы Вы здоровы и веселы, буду и я!

Г. Потанин.

№ 45

*29 дек[абря] 1903 г.
[Томск], Бульварная, 7*

Дорогая Мария Георгиевна.

Недавно я перечитал все собрание писем, которые Вы мне написали, за одним залпом и впечатление было такое, как будто я прослушал концерт; так они показались мне музыкальны. Это чтение вызвало во мне грустное настроение, если я перед тем не получил Вашего последнего письма, в котором я увидел намеки на надежду, но под действием этого письма результат вышел иной; я некоторое время чувствовал себя в мажорном тоне, но теперь я опять впал в минорный. Этому несколько причин.

Первое обстоятельство. Ел[изавета] Митр[офановна] дала мне прочесть письмо, которое Вы ей написали. В нем изложен план распределения Вашего времени на целый год; летом Вы едете в Алтай, а в Томск зимой ехать не хотите. О желании свидеться со мной ни слова. Я начинаю ревновать Вас к Алтаю. В последнем письме Вы говорите, что Вы с удовольствием будете вновь читать мои письма. Писатель будет пописывать, а читатель почитать. Хочется чего-то более существенного.

Второе обстоятельство. Приехала сюда дама, кончившая В[ысшие] ж[енские] к[урсы]; я взялся устроить ей заработок; во-1-х, дал ей работу в музее, во-2-х, посодействовал устроить ее на железн[ой] дороге; ее приняли на "службу сборов" за 30 р[ублей] в месяц. Когда она получила место, я подумал, как легко было бы устроить и Вас, если б Вы захотели.

Оплакиваю свою судьбу. Я должен устраивать мало знакомую женщину и не могу устроить любимую женщину.

Третье. Одна моя приятельница прислала мне приглашение приехать к ней погостить на праздники на станцию ж[елезной] д[ороги] около Омска. В Омск приглашают, а в Барнаул нельзя. Я даже озлился на судьбу, которая создает для меня такие комбинации обстоятельств. Накануне этого приглашения у меня томскими морозами прихватило горло, я придрался к этому и отказался от поездки. Мне было бы полезно съездить при моем настоящем настроении чтобы рассеяться, но я не захотел, чтобы это маленькое невинное развлечение заставило меня на время забыть барнаульские удары.

Безобразно провожу время, ничего не делаю, никуда не хожу, за исключением, когда велит какой-нибудь долг, по целым часам хожу по комнате и только думаю о Вас, рисую в воображении картину встречи с Вами, сочиняю разговоры с Вами и чувствую себя глубоко одиноким. Не бежать ли мне из Сибири?

По получении Вашего письма я написал Вам ответ, и от Вас нет отклика вот уже 22 дня. Неужели Вы не получили моего письма? Тоска!

Григ[орий] Потанин.

№ 46

*30 дек[абря] 1903 г.
Т[омск], Бульварная, 7*

Марья Георгиевна, милая Вы, дорогая! Вы своим тонким чутьем угадали, что Ваше молчание заставит меня тревожиться. И в самом деле я долго ждал, волновался, потерял охоту к деятельности и, наконец, написал Вам письмо, которое отправил накануне получения от Вас *carte postale*. Я дошел до такого состояния, которое можно сравнить только с состоянием курильщиков опия. До такой степени потерял энергию. Ваше письмо снова подняло меня на ноги.

Вчера я разволновался по поводу вопроса, как провести новый год. С этим днем соединяется идея о личном счастье; как же должен отозваться обряд нового года в моем сердце при том настроении, которое у меня было! А меня начали усиленно звать в одну компанию. Я не желал огорчить их, да и в их компанию идти не хотел. Наستاивания их меня только раздражали. Но теперь я могу спокойно идти в их большое общество.

Надеюсь, что за этим трехстрочным письмом получу большое и очень ласковое. А когда же я увижу Вас самих, это милое создание, шедевр божеского творчества? Думать, что такая женщина любит

меня, было бы с моей стороны большим самомнением, если бы это не было несколько раз засвидетельствовано Вашей собственной рукой и собственными устами. А какая сладкая истома думать так!

Пожалуйста, устраивайтесь подле меня, залезайте в маленький уголок моего сердца, давно для Вас оклеенный новыми обоями, уставленный мягкой мебелью, основательно протопленный; нет в нем ни коварной сырости, ни декадентского угара, Вам тут будет уютно, хорошо, тепло!

Наступит ли, наконец, это счастье? Каждый день совершаю обряд, вместо молитвы беру в руки Ваш портрет. Вот то самое ухо, которое я когда-то надрал, а вот милые губки, которые так и остались для меня неприкосновенными. Таким же неприкосновенным остался и Ваш стан, а перецелованные пальчики отсутствуют на портрете, к сожалению, как у Венеры Милосской.

Как хочется заласкать Вас до изнеможения.

Григ[орий] Потанин.

№ 47

*16 янв[аря] 1904 г.
[Томск, Бульварная, 7]*

Простите, добрая Мария Георгиевна, что тоном своих писем я оскорбил Ваше чувство. Бывает, иногда в увлечении незаметно для себя перешагнешь за пределы позволительного. Пожалуйста, простите!

Вы предвидели, когда писали, что Ваше письмо принесет мне разочарование. Сначала я принял это слово в самом глубоком смысле. Что это, подумал я, неужели начало разрыва? Но на другой день я пришел к предположению, что, может быть, я преувеличил значение этого слова. Поэтому решил помедлить ответом на Ваше письмо. Теперь я многое передумал, но все-таки недоразумеваю, в каком роде, чему – помимо манеры выразаться – должно меня наставить Ваше письмо?

Меня волнует неопределенность будущего и мне очень хотелось бы изложить перед Вами ясную, без туманных намеков программу наших будущих отношений, но я останавливаюсь перед вопросом, насколько такая декларация будет безвредна или вредна для состояния Ваших нервов.

Вы пишете, что любите меня, но любовь, как и вера, без дел мертва. Вы желаете мне счастья; что же Вы намерены предпринять, что-

бы доставить мне счастье? Или Вы предпринять ничего не намерены, и хотите ограничиться только одним желанием, чтобы счастье привалило мне откуда-то.

Если бы Вы сами изложили в ясных словах, какие могут сбыться мои надежды?

В летние июньские жары Вы написали мне ледяное письмо, в котором говорили, что для Вас нет счастья, и что мы можем остаться только друзьями. Но это письмо писалось, когда Вы были в угнетенном настроении, а теперь к Вам возвратилась жизнерадостность. Может быть, и взгляд Ваш на возможность счастья изменился? Или Вы по-прежнему думаете, что мы должны ограничиться только званием друзей? Вот так, как у меня с Фарафоновой! Но у меня с ней теперь отношения только джентльменские. Я делаю ей услуги, когда она обращается за ними, но не испытываю никакой тоскливой потребности видеть ее, и если б она прекратила обращаться ко мне с письмами, я бы не почувствовал, что мне чего-то не достает. Могут установиться и с Вами такие отношения, но пока теперь мне этого не хотелось бы, чувство мое становится на дыбы.

Если Вы вернулись к Вашим прежним чувствам, то в них должно быть более, чем одна дружба. Я помню, как Вы меня упрекали в измене. Дружить можно ведь разом со многими женщинами, но любить полагается одну, и только эта одна имеет право упрекать в измене.

Увижу ли я Вас? Неужели нет? Я был бы очень рад, если б Вы приехали в Томск. Это было бы удобнее, чем мне ехать в Барнаул. На Вашего отца я не обижаюсь. Конечно, мне неприятно сознавать, что есть кто-то, который относится ко мне недружелюбно. Я не из той породы людей, которые задирчивы и любят вражду и свару.

Ел[изавета] Митр[офановна] получила Ваше письмо и говорила мне, что Вы собираетесь в Томск. По-видимому, она прибавила немного от себя.

Ваше стихотворение "У водопада" надумано умно, но в нем есть два клякса, один логический, другой метрический. Последний в третьей строчке с конца: "Дразня улыбкой своей". Все строчки начинаются хореем, т.е. ударение на первый слог, поэтому для коданса надо прочесть дразня́, что противоречит обычному произношению; мы говорим всегда: дразня. Второй промах в 6 строке с начала: "К холоду камня волна". Дело было летом, в жару, днем, т.е. когда камни нагреты солнцем и когда волна холоднее камня. Логичнее было

бы сказать: волна несется и ласкается к горячему камню, т.е. наоборот, чем сказано в стихотворении. Да и в самом стихотворении далее говорится о волне, как о вечно холодной.

Но кто же эта волна? Кого Вы разумеете? На меня это стихотворение производит впечатление, как будто это протест против страсти, которая сжигает наше сердце, и славословие какой-то холодной персоны, бесстрастной и бесчувственной, но соблазняющей своей красотой и мимолетными поцелуями.

Тут есть одна строчка, которую я рекомендовал бы Вам, как руководство к жизни. Волна мчится вперед, назад не оглянется, а Вы все обращаете свои взоры в свое прошлое, а вперед не мчитесь.

Жизнь делается ценною только когда работаешь для будущего, а это – для меня, по крайней мере, – возможно только при наличии хотя бы небольшого личного счастья. Когда же это крошечное счастье мешают Вам получить злые люди, эгоисты, – бывает скверно, становишься мизантропом и мизогиним и хочется куда-то убежать от человеческого общества.

Любящий Вас Г. П[отанин].

№ 48

*10 февр[аля] 1904 г.
[Томск], Бульварная, 7*

Дорогая Мария Георгиевна.

Вы высказываете твердое, по-видимому, убеждение, что жениться не следует, что Вы не намерены выходить замуж. Перевести на ясный язык, Вы отказываете мне в Вашей руке. Так что ли?

Год тому назад я никак не помирился бы с этим решением. Теперь, когда память о ласках и выражениях Вашей привязанности, которыми я пользовался в Барнауле летом 1902 г., после длинной разлуки и Вашего молчания круглый год утратила свою свежесть и возбуждательную силу, я рассуждаю: я стар и мне не к лицу бы думать о женитьбе, а тем паче воображать, что моя любовь может доставить счастье женщине, которая меня значительно моложе.

А между тем Вы страшно жаждете счастья! Конечно, выйдя за меня замуж, Вы не будете удовлетворены и останетесь по-прежнему голодной, по-прежнему каждую новую весну будете оплакивать, разочарованная.

Или, может быть, я неправильно понял смысл Вашего письма?

Я не хочу тревожить Вашу совесть дальнейшими рассуждениями, но не могу отказать себе в праве обратиться к Вам с одной просьбой. Если Вы мне не скажете определенно и ясно, что Вы отказываетесь дать мне свою руку, я буду находиться в мучительно неопределенном положении и буду думать, если последует прекращение наших прежних отношений, что это я их оборвал, что они заремли или изменились по моей вине.

Вы хотите, чтобы мы говорили друг другу всю правду. Это можно делать только с интимным другом. У меня интимных друзей среди мужчин не было; единственный интимный друг у меня была жена. О себе можно всю правду говорить и небольшому другу, но когда тут замешано другое лицо, нужна известная мера интимности. Интимному другу в ином случае будешь чувствовать не только потребность, но долг рассказать, но в том же случае при интимности не в надлежащей мере, рассказав, почувствуешь, что оскорбил лицо, о котором рассказал.

Агнию Евгеньевну видел только раз, встретился случайно у Е[лизаветы] М[итрофановны]. Сразу не узнал, во-первых, войдя с улицы, снял очки, чтобы стереть с них снег, во-вторых, Агния Евгеньевна сидела, свет падал на нее сзади, и ее лицо было в тени. Она передала мне Ваш поклон. Мне хотелось бы увидеть ее наедине и узнать, как она ко мне относится после всего, что случилось и что мы пережили, но она остановилась у Васильевых, а в этот дом я не пойду ни за что. Я не могу равнодушно видеть лицемерную Анну Сергеевну, к которой у меня гадливое чувство явилось еще в Барнауле.

Любящий Вас по-прежнему Г. П.[отанин].

№ 49

*1 марта 1904 г.
Томск, Бульварная, 7*

Дорогая Мария Георгиевна.

Еще спрашиваете? Разумеется, как только Вы пригласите, так и поеду в Барнаул. Разве мои письма не наполнены жалобами на тоску, что я не вижу Вас перед собою? По крайней мере, безнадежная мысль, что я, может быть, никогда больше Вас не увижу, постоянно давит меня. Но мне придется, по-видимому, употребить особенное усилие, чтобы осуществить поездку в Барнаул. Будут ли у меня деньги? Мои денежные дела пришли в некоторый упадок. Причин

этому несколько. Первая, – мы заняли большую квартиру, каждый имеет по две комнаты, и кроме них две большие комнаты – одна столовая, другая гостиная. Платим за нее 1000 р[ублей] в год; кроме того, электричество, так что мне обходится в месяц в этом году почти вдвое дороже, чем в прошлом.

Во-вторых, такое обстоятельство. Одна дама наслала на меня девочку; это крошечная дама, молоденькая и хорошенькая, но болезненный ребенок, не способный зарабатывать, не приспособленный ни к какому труду. Сначала я не догадывался, зачем она сюда приехала из своего родного города; теперь стало ясно. У нее родилась дочка. С ней бывают нередко припадки; падает в обморок, через несколько часов приходит в себя, но в течение полусуток лежит лишнюю языку. При всем своем желании я никак не мог ограничить свое милосердие одной нравственной поддержкой. Из моего кошелька вывалилось нечто вроде безвозвратной ссуды.

Наконец, у меня неладно с комодом, и боюсь, чтоб не потребовались к лету затраты на его пополнение.

Но я постараюсь преодолеть все затруднения, потому что очень хочу свидания с Вами и непрестанно об этом думаю. Может быть, Вы сами соберетесь в гости к Елиз[авете] Митрофановне? Это было бы удобнее. Территориальные условия для свиданий в Томске лучше, чем в Барнауле.

Вы думаете, что я и Ваша мама сошлись на одинаковой мысли, что Вы не будете удовлетворены союзом со мною. Не знаю, одно ли и то же я и Ваша мама разумею тут под словом "неудовлетворенность". Когда я писал, я думал вот что. Вы жадно хотите счастья, любви, но это счастье Вам представляется в виде героя Вашей первой весны, т.е. мужчины ослепительной красоты. Конечно, Вы будете неудовлетворены, имея вместо того перед собою карикатуру на человеческий образ. Мне теперь становится даже стыдно, что я думаю о союзе с женщиной, и даже смешно. Прежде я думал, что духовная красота может покрывать какое угодно физическое безобразие, – впрочем, думаю это и теперь – и если я сам не отличался особенной духовной красотой, то все же таки воображал, что обладаю, по крайней мере, духовной благопристойностью. Я думаю, что Вы именно человек, который духовную сторону ставит выше физической, и если Вы поспешно вынимаете свою руку из моей, то ясно, что с моей духовной природой неблагополучно. Пересматриваю внутреннего самого себя и нахожу, что я гадкий. Бежать бы, но не-

куда. В пустыню – нужны великие духовные силы; в толпу – там грязь.

Будете ли Вы "удовлетворены", об этом ни я, ни Ваша мама судить не можем, если она это слово употребляет в том же смысле, как я. Можете судить только Вы.

Болезнь моя была пустая – легкая инфлюенция, и теперь я уже бегаю по городу и хлопочу по разным вопросам.

Я был обрадован Вашим письмом так же, как Вы моим. Я тоже думал, что Вы мне не ответите и замолчите. Вследствие появившейся, может быть, неосновательной мнительности мне казалось, что предыдущими письмами Вы хотели приготовить меня к прекращению переписки. Но, перечитывая Ваши письма, я находил в них места, которые казались точками светлой надежды. Особенно последнее письмо ободрило меня; Вы и писем моих хотите, и хотите свидания. Хотя и в этом письме есть признаки моего уныния, но я надеюсь, что я воскресну, если увижусь с Вами.

Вы называете мои письма сердитыми. Но я вовсе не сержусь на то, что Вы беспрестанно возвращаетесь своим воображением к Вашей весне. Это вполне естественно; всякому дороги его молодость с ее здоровьем и радостями жизни. Пожалуйста, вспоминайте; я нисколько не буду волноваться, даже буду любоваться этими Вашими воспоминаниями, как поэтическими настроениями, если только они не будут иметь вид угрозы нашей взаимной дружбы, а следовательно, и моему счастью.

Я не думаю, чтобы Ваша мама потому только против нашего союза, что боится, что Вы не будете удовлетворены моей любовью. Причина глубже. Тут скрывается духовное столкновение непримиримых различий. Хотя я хорошо знаю, что в действительности никакого у меня демонического ореола нет, но я замечал, что я в известной среде возбуждал к себе мистический страх, что уже раз в моей жизни имело для меня роковое значение. Эту пропасть делает различие в воспитании, которое, конечно, не менее и у Вас с мамой, но в Вас она с детства привыкла видеть милого человека. Она, кажется, ропщет на Бога, который попустил Вам совершить поездку в Петербург, которая для меня была лучом счастья, разросшимся в Барнауле в целое солнце.

Я Вас люблю и готов на жертвы; если для любимой Вами мамы лучше, если б я удалился и притупил свое чувство к Вам – забыть Вас я не буду в состоянии, – то я удалюсь и постараюсь свое чувство завалить каким-нибудь балластом, но мне кажется, Вы сами этого не

хотите. Вам хочется быть "любимой"; к моему великому огорчению Вы не прибавили "любимой Григорием Николаевичем". Если Вам нравится это состояние "мною любимой", и Вам не хотелось бы его прекратить, я готов всеми силами поддерживать это милое состояние даже при условии безнадежности улучшения нашего положения.

Вы "дали слово" и Вы не можете его нарушить, но ведь мама может разрешить наложенные Вами на себя узы.

Удовольствие от свидания с Вами я стараюсь удерживать в неопределенных, смутных представлениях, не давая им принять ясные формы и стараюсь заглушить в себе работу чувства, если вдруг зазвербит непреодолимое желание поиграть Вашими милыми пальчиками.

Г. Потанин.

№ 50

*22 марта 1904 г.
[Томск], Бульварная, 7*

Дорогая Мария Георгиевна.

Двадцать дней, как от Вас нет письма. Не заболели ли Вы или Ваша мама? Пожалуйста, напишите.

Любящий Вас Г. Потанин.

№ 51

*25 мая 1904 г.
Томск, Бульварная, 7*

Дорогая Мария Георгиевна.

Рад бы радехонек любить Вас только как поэтессу и не любить как женщину, но никак мне этого не сделать. Такая уж животная у меня натура. Конечно, мне знакома и чистая любовь; я иногда поднимаюсь на альпийскую высоту нравственности; тогда становится на душе так легко, как будто вес тела уменьшается до миллиграмма; чувствуешь, что разросшийся дух не ответствен за содеянные грехи, как будто они совершены кем-то другим, и грешные мысли, которые приходили в голову, не вменяемы духу, преобразованному в этом разреженном воздухе моральных альпийских высот. В эти моменты доходишь до того, что появляется гадливость к телесному. Но как только появилась гадливость, как сейчас же мое язычество делает реакцию и торжествует над романтическим полетом. Мне претит монах, враг жизни; аскетизм мне противен, хотя это не мешает некоторым дамам впадать в заблуждение и считать меня аскетом и ду-

мать, что я никогда не был женат. Языческое мышление гонит меня с альпийских высот; я беспрекословно и охотно спускаюсь в чувственные долины. Случается, что здесь иногда почувствуешь, будто стоишь на какой-то ужасной тропинке, ведущей в какой-то мрак, может быть, в вертеп. Тогда содрогаешься и бежишь прочь, и в этом бегстве поддерживает любовь к Вам. Если б в это время мое сердце не было занято любовью к известной женщине, я не знаю, что было бы со мною. Конечно, меня могла бы спасти какая-нибудь и другая женщина, но так как в настоящий момент моя голова наполнена мыслями только о Вас, то Вас я называю своей спасительницей. Подобно тому, как верующий ободряет себя, обращая свои глаза на образ Мадонны, так я смотрю на Ваш образ. А Вы хотите лишиться этой поддержки и говорите, чтобы я любил в Вас только поэтессу. Это странно! Какой толк любить поэтессу? Не Вы одна поэтесса; есть и другие, и Вы, конечно, не станете спорить, что найдутся поэтессы лучше Вас. Что же я должен сделать, встретивши лучшую, чем Вы? Разве не должен признать ее превосходство над Вами? Говоря Вашим жаргоном, не должен ли я полюбить ее больше, чем Вас? Поэтессе я могу изменить, а женщине с длинными пальцами, с пепельными волосами не могу, или могу, но с большим трудом. Где я найду другую такую, а главное, где найду другую, которая бы любила меня?

Эти чередующиеся залетания в высокие сферы разреженного воздуха и ниспадания в мглу долин замечались только до моего брака и во время вдовства, а во время женатой жизни таких чередований не было. Жизнь текла ровно, тело и дух в равновесии; я не затруднялся вопросом, где истинная жизнь, на альпах или в долине, и работал в своем кабинете спокойно и упорно. Теперь не то. Когда смотрю на Вас с верою, работаю; когда появится тревожное сомнение, наступают лень и апатия. И как много тратится времени на эту апатию!

Простите меня за сегодняшнюю откровенность. Вы ведь писали, что мы должны знать все друг о друге и все высказать. Иногда так нестерпимо хочется поделиться с кем-нибудь интимным сведением о моем чувстве к Вам, но кому же передать эту тайну? Некому, кроме Вас, потому что Вы самое близкое сердце, в Вас я верю и надеюсь, что Вы сбережете эту тайну. Сколько уже таких тайн я выболтал Вам! Между ними есть и такое, что говорится мужчиной только жене. Еще раз спрошу Вас, где я найду другую женщину, как Вы? Т.е. знающую обо мне столько обыкновенно скрываемого мною. Вы

тоже как-то писали, что нам трудно будет забыть друга друга, потому что мы много знаем друг о друге. Не помню, договаривали ли Вы, что нам трудно поэтому и разойтись без боли. Крепкой цепочкой, не материальной, а духовной я привязан к Вам.

Вы просите оставить мучительный вопрос и поговорить о Вашей поэзии, но Вы представить не можете, как мне не хочется оторваться от этого мучительного вопроса. Так бы еще и спорил с Вами до бесконечности!

Против двух Ваших стихотворений ничего сказать не могу. Стих везде гладок. Может быть, Вы разрешите поместить их в воскресном иллюстрированном приложении к "Сиб[ирской] жизни"? Впрочем, второе о войне и весне едва ли цензор пропустит. Не можете ли разрешить также напечатать Ваш "Водопад". Согласен даже без замены слова: "дрáзнь". Я бы в случае согласия попросил бы позволения напечатать и фотографию, которую я видел у Лиз[аветы] Митр[офановны] и на задке которой оно переписано.

Вам нравится, что я живу в Томске и не уезжаю. "Так мы ближе друг к другу..." Это голос любви и, разумеется, я здесь останусь. В своем письме я хотел только сказать, что если я остаюсь в Томске, то только потому, что буду находиться в этом городе ближе к Вам.

Но так хочется прекратить это безнадежное положение. Однако и Вы страдаете. Имею ли я право думать о прекращении своих мучений, когда и Вы тоже мучаетесь? И кто из нас более страдает, Вы или я? Может быть, Вы более?

Как все это удивительно! Если я любим Вами, то я редкостный счастливец на земле, и в то же время мученик.

Ужасно хотелось бы увидеть Вас. Я готов приехать в Барнаул на один день, чтоб только устроить хоть одно свидание с Вами. Но мне не кажется удобным это теперь, когда Ваша семья находится в таком тревожном состоянии. Вы, впрочем, лучше об этом можете судить...

Пожалуйста, пишите, чтоб я мог идти за Вашей жизнью по горячим следам. С увлечением целую Ваши пальцы.

Любящий Григ[орий] Потанин.

№ 52

17 июня 1904 г.
[Томск], ул. Бульварная, 7

Дорогая Марья Георгиевна.

Я отправил Вам письмо 25 мая; теперь прошло двадцать с лишком дней, но от Вас ответа нет. Или что случилось в Вашей семье? Здоровы ли Вы сами?

С родителем Порфирия Николаевича я послал Вам посылку – работу Ек[атерины] Ив[ановны] Бересневич. Получили ли Вы ее?

Любящий Вас Г. Потанин.

№ 53

25 сент[ября] 1904 г.
[Томск], Бульварная, 7

Дорогая, милая Марья Георгиевна.

На днях у меня была Елизавета Митрофановна и дала мне прочесть письмо, которое Вы написали ей. Вы выздоровели, снова можете переписываться, и это возрождает и меня. Откуда у Вас такие ложные сведения обо мне, будто я ездил в Алтай и уехал в Петербург? Никуда я не ездил из Томска; кроме двухнедельной поездки в Красноярск, я все время жил в Томске, попеременно переходя от отчаянной мысли, что между нами все кончено и что я больше Вас не увижу и не услышу к надежде, что Вы вновь откликнетесь и позовете меня, – и обратно. Вера моя получила награду.

Я не писал Вам все это время из опасения причинить Вам лишнюю тревогу. Мне приходило в голову соображение, что Вы молчите затем, чтобы молчанием этим постепенно удалить меня от себя; понимая таким образом Ваше молчание, я находил неудобным напоминать о себе, навязываться.

И теперь еще я не свободен от угнетения этой мыслью. Я спрашиваю себя: если б Вы получили от Ел[изаветы] Митр[офановны] ответ, что я действительно уехал навсегда из Томска в Европейск[ую] Россию, не оказался ли бы этот ответ тем самым, какой Вам желателен?

Если нет, то, пожалуйста, не замедлите рассеять окончательно мои сомнения и окончательно возродите меня. Напишите.

Как бы мне хотелось, чтоб наша переписка возобновилась снова и чтобы я опять периодически начал получать строки милого почерка! Буду ждать Вашего ответа на это письмо с нетерпением.

Не нахожу нужным уверять Вас, что мои отношения к Вам все те же, что я люблю Вас прежнюю горячею любовью.

Весь Ваш Григ[орий] Потанин.

№ 54

21 окт[ября] 1904 г.
[Томск], Бульварная, 7

Дорогая Марья Георгиевна.

Какое драматическое положение! Ваш отец говорит, где он родился и жил, там он и умрет. Я бы желал, чтобы всякий сибиряк го-

ворил так. Это любовь к родине, хотя и узкая, но искренняя. Это чувство сродни тому, которое во мне коренится и которое в других я защищаю и культивирую. И вот это-то чувство, развитие и осмысление которого составляет цель всей моей жизни и моей литературной деятельности, – является главной помехой моему личному счастью.

Ведь это ужасно грустно! Выходит, что мы с Вами не увидимся, пока Вы всей семьей не переедете в Томск. А когда же это будет? Может быть, только тогда, когда умрет Ваш отец. Это ужасно! Чувствуешь, что тебя начинает обнимать атмосфера террора. Любовь Вашего отца к своему родному городу для меня почтенна; я желал бы, чтобы это чувство было распространено у всех жителей Сибири, но я бы вырвал его из сердца Вашего отца, если б мог.

Свидание отодвинется на неопределенное время, а как жить вдали от Вас, иметь друга, а в часы огорчений и отчаяния не иметь возможности получить от этого друга поддержку? Вот в настоящий момент – как бы мне хотелось, чтобы Вы были подле меня. Макушин с нового года прекращает издание иллюстрированного приложения; я до такой степени втянулся в это дело, до такой степени сросся с этим изданием, так много отдавал ему своих сил и своего времени, всю душу вкладывал в него и жил его успехами и неудачами, что прекращение издания его хозяином я принял как неуважение к моей личности. Хозяин предприятия прекратил дело с таким же легким сердцем, как барин, раздумавший держать выездную лошадь, продает лошадь и экипаж. У меня была масса планов задумана на целый год деятельности и часть их приводилась в исполнение; несколько статей собственных было уже готово, до десяти статей были в проекте в голове, несколько статей чужих было в портфеле, ряд статей был заказан. И предприниматель одним словом разбил вдребезги все мои замыслы. До сей поры не могу примириться с этим упразднением моей общественной службы.

Как в этот момент хотелось чувствовать на себе ласковый взгляд барнаульского друга, иметь в своей руке его теплую руку! Когда же мы соединимся и станем так близко, что в горькие минуты тотчас же можно было получать дружескую поддержку.

И это все случилось в такое время, когда газеты приносят надежду на новую жизнь, когда объявлен новый курс внутренней политики, в воздухе слышен барабанный бой свободы! А я без места в сибирской прессе, и вдали от любимого друга!

"Алтайцы" Ваши напечатаны в "В[осточном] о[бозрении]". Вырезку прилагаю. Пошлю и Ваше стихотворение "То был недуг" под бандеролью.

Пишите, пожалуйста, чаще. Ужасно хотелось бы, чтобы Вы, наконец, сделали какой-нибудь решительный шаг. Нельзя же всю жизнь только ждать и ждать. Такое терпение может привести в ад. Если я еще не очутился в аду, то, по крайней мере, уже теперь испытываю адские мучения.

Целую Ваши милые руки.

Григорий Потанин.

№ 55

*25 окт[ября] 1904 г.
[Томск], Бульварная, 7*

Милая Марья Георгиевна.

Последнее Ваше письмо я дал прочесть Елизавете Митрофановне. Прочитала и сказала: зовите ее сюда! Я только мог горько улыбнуться. Разве я Вас не звал многократно? Разве Вы и без зова не знаете, как я был бы рад Вашему переселению сюда?

Вы не знаете, какие Вы испытания на меня налагаете! Я одинок; что одиноко мое сердце, это Вы знаете, но Вы не знаете, что одинока и моя голова. Я Вам писал о моем недавнем крахе в сибирской журналистике. По своим убеждениям и стремлениям я не имею единомышленников. Я встречаюсь часто с здешними журналистами и передовыми людьми, но я не солидарен с их программами или солидарен только в немногих пунктах. Это чувство пустыни мучительно, и я поневоле ищу любящее женское сердце, которое, не вникая, прав ли я или не прав, обнаружит живой интерес к моему горю. Благодарение Богу, такие женщины находятся, и я не могу, когда на мне останавливается взгляд жалости или когда слышу ободряющее слово, не чувствовать к ним благодарности. Но за приливом этого благодарного чувства всегда следует укол совести; почувствуешь, будто совершаешь измену милой, бедной барнаулке. Рядом человек в такой непосредственной близости, что чувствуешь на себе его дыхание, кажется, слышишь запах его тела, видишь его глаза, которые разделяют твою горе, слышишь его участливую речь и не смеешь отозваться благодарной фразой на его сострадание. Внутренний голос говорит, что все твои чувства принадлежат Барнаулу, а от барнаульского друга только в шесть месяцев раз письмо, из которого видно,

что этот друг ничего не знает о моей внутренней жизни за эти месяцы. Я вижу руку, которая порывается покровительственно лечь на мое плечо, в голосе звучит теплое участие, которое задевает за струны моей души, а я должен застегивать сюртук на все пуговицы, рискуя навлечь упрек в черствости. Ведь это крик отчаяния на краю гибели любви!

Конечно, не Вы виноваты в этом, виновата судьба. Отчего природа не дала Вам более решительный характер? Должны же Вы, наконец, положить конец этому мучительному положению. Скажите, можете ли быть моей женой или нет? Решайтесь на переселение в Томск. Я начну хлопотать о месте. Сначала Вы можете прекрасно устроиться с братом, а место, я думаю, найти легко. И Вам будет хорошо в большом городе, где столько наслаждений для интеллигентного человека, и мне будет хорошо.

Мама Ваша человек с сильным характером, и если останется одна, то справится со своими чувствами. Да останется она не одна, а с любимым человеком. А надо же Вам попробовать, может быть, я и самою доставить Вам счастье.

Или мне оставить всякую надежду?

Григ[орий] Потанин.

№ 56

*9 ноября 1904 г.
Томск, Бульварная, 7*

Милая Марья Георгиевна.

Вот наконец зазвучал в Ваших письмах старый милый тон, зазвенели старые милые мотивы. Неописуемо рад, что Вы ожили и заговорили по-прежнему. Вам захотелось снова жить и, конечно, быть любимой. Ваше "музыкальное" письмо разнежило меня и заставило меня пофилософствовать по психологии чувства.

Вы утешаете меня обещанием прислать свою новую фотогр[афическую] карточку. Я наслаждаюсь прелестью Вашего наивного чувства. Вы думаете, что Ваш подарок произведет на меня такое же действие, какое августейший портрет производит на подданного. Милая моя королева! Я совершенно разделяю Ваше высокое мнение о Вас и о чудодейственной силе черт Вашего лица. Чем больше топчусь на одном пункте, т.е. чем дольше думаю об этом месте Вашего письма, тем более мне нравится Ваша вера в свою обаятельность и во власти надо мной. И однако мне еще более понравилось бы, если

бы вместо портрета Вы доставили сюда самое себя с головой, руками, ногами и дорогими пальчиками.

Другой затяжной узел, который Вы набросили на мое сердце, это Ваше предложение вообразить, что Вы вкладываете свою руку в мою. В самом деле, мне всегда доставляло великое удовольствие, когда Вы брали на себя инициативу в деле любви и клали свою руку в мою. Это действие такое сильное впечатление производило, так прочно это впечатление засело во мне, что стоило Вам двумя словами напомнить об нем, как я почувствовал то самое ощущение, которое испытывал, когда в самом деле Ваша рука лежала в моей; где-то начиналось тепло и разливалось волной по телу. Вот и теперь я почувствовал приятное тепло и сейчас же страсть как захотелось, чтобы Вы были здесь около меня или чтоб я перенесся в Барнаул, чтобы я мог видеть Ваши ресницы, Вашу улыбку, овладеть пальчиками и обнять Ваш стан. Какой Вы ловкий и милый стрелок! Ваша стрела попала в самую чувствительную точку моего сердца.

Какими-то новыми жемчужинками Вы взволнуете меня в следующем письме? Какою-то теплой водой участия обольете мое замерзшее сердце, чтоб оно начало таять? А оно замерзло и оледенело от Вашего продолжительного молчания. Я смотрел вглубь его и с ужасом спрашивал: что такое то, что там осталось? Любовь ли это или только жалость к Вам? Ведь до такой степени от разлуки побледнели Ваши черты в моей памяти, что я напрягал усилия и не мог вызвать в своей голове музыку Вашего голоса, не мог восстановить Вашего взгляда из-под элегически опущенных ресниц, которыми я так любовался в Союзе писателей в Петербурге, и любовь моя к Вам мне представлялась такой картиной, как будто я держу в объятиях привидение, призрак, а не живое существо. А в это время около меня стоит женское тело, полное жизни, внутренний же голос предостерегает: ты принадлежишь другой! Такая любовь не в моей натуре. Я предпочитаю барнаульские пальчики крыльям небесного ангела. А то пахнет кельей томского преосвященного Макария и монастырским кладбищем.

Отрываюсь на несколько мгновений от пальчиков ради вульгарных вопросов. Кто-то Вас ввел в заблуждение, уверив Вас, будто я принимаю деятельное участие в "Сибирск[ом] вестнике". Я иногда давал туда коротенькие известия, но можно сказать, что я в нем почти не участвовал. Не знаю, буду ли и в будущем, потому что откры-

венно развернуть в нем свои идеи я едва ли буду в состоянии; я с редакцией не схожусь в некоторых, важных для меня, пунктах.

Макушин не прекратил издания, а только реформирует его. Приложение с 1 янв[аря] будет издаваться отдельно от "Сиб[ирской] ж[изни]" за особую плату 3 р[убля] в год, а для подписчиков "С[ибирской] ж[изни]" по 2 р[убля]. Но при разговоре со мной об этом он не упомянул; разговор вышел из-за помещения в приложении рекламы магазина Зингера. Я попросил его впредь советоваться в подобных случаях с сотрудниками Приложения; Макушин увидел в этом оскорбительное для издателя вмешательство сотрудника в его финансовые дела, вспыхнул и круто объявил, что на сотрудниках остался труд организовать только 6 номеров, так как с нового года издание прекращается. Итак, Сибирь без иллюстрации не останется, но мои связи с изданием совершенно прерваны, а потому говорить с П.И. Макушиным на счет помещения Ваших стихотворе[ни]й мне не придется. Но если хотите, присылайте их мне, и я буду проводить их в "Сибирск[ом] вестн[ике]", который издается если не моими единомышленниками, то все же друзьями.

Опять о пальчиках! Хотелось бы жить в мире творчества, среди цветов, музыки, поэзии, красивых женщин, в атмосфере нарождающихся, назревающих и накапливающих общественных идей, в сутолоке общественных сил, и хотелось бы вместе с этим иметь возле себя друга женщину, которая бы слышала бой твоего сердца и сейчас же отзывалась на каждый удар его. Но где же она? Извольте сноситься с нею почтой, когда письмо идет 15 дней. Мне завтра идти на передовые позиции, а она в Барнауле! Нет, Вы должны быть тут, а то нет у меня счастья. Я изнываю от этого одиночества, от этой бесконечной и беспросветной разлуки. Вот и Порф[ирий] Ник[олаевич] Соб[олев] говорит, надо Вам сюда приехать; можно бы Вас здесь пристроить, по той же службе кабинетской. Вы его увидите вскоре в Барнауле. Дайте мне хоть каплю надежды, что вы приедете в Томск.

Моя любовь поддерживалась во время Вашего молчания все более и более бледнеющими воспоминаниями. Это была любовь к какой-то галлюцинации, а не к конкретному существу. Любовь теоретическая, абстрактная; я соображал, что долг обязывает меня любить Вас, что если я брошу Вас, Вас это огорчит, создаст Вам продолжительное недоброе настроение, и я буду мучиться угрызениями совести... А есть совсем другая любовь. Вот Вы мысленно вложили свою руку в мою, и я бросился к Вам навстречу с такой стремительно-

стью, что может быть наступил на чье-то бедное сердце, растоптал чье-то честное имя, и не думаю об этом. Конечно, избави Бог от этих зверских поступков, но побывать в состоянии ослепленного любовью обязательно. Вот Вы не знаете ведь, как вкусны барнаульские пальчики, т.е. поцелуи, которые на них лепишь, а если б побывали на моем месте, да испытали их сладость, то давно бы передали их в мое непрерывное пользование. Любить – синоним слова сердиться. Я постоял сегодня перед Вами на коленях, наговорил три короба чепухи, которая плодится в поглупевшей голове влюбленного, а теперь хочу оскалить зубы и порычать. Ваши строки согрели меня, но в то же время мне показалось, будто Вы хотите держать термометр на градусе гигиенической прохлады и не допускать, чтобы ртутный столб поднялся до точки кипения воды. Вам нравится испытывать волнения, причиняемые моими письмами, но мой горячий бред никогда не доводит Вашего волнения до какой-нибудь решимости. И смертельно боюсь, что не доведет. Неужели так до конца дней Вы будете только "мысленно" вкладывать свою руку в мою?

Прилипаю губами к милым пальчикам, целую указательный палец, потом средний, потом безымянный, потом мизинец, потом попарно безымянный и мизинец, указательный с средним, потом: "Барыня требует весь туалет!"

Г. Потанин.

№ 57

*18 ноября 1904 г.
[Томск], Бульварная, 7*

Я получил Ваш выговор (а может быть, это приговор). Стыжусь и каюсь. Простите, если я оскорбил Ваше чувство! Прочитав Ваше письмо, я сконфузился, как будто я разлетелся в будуар дамы в неприличном костюме или будто прочитал воровски чужое любовное письмо. Принимаю кару как заслуженную, но кроме этой казни в Вашем письме и еще есть нечто, приносящее более сильное огорчение. В месте, где Вы говорите о свободе любви, где Вы разрешаете мне полюбить другую, я чувствую намек, что я должен оставить Вас и удалиться. На то же самое, мне кажется, Вы намекаете и там, где убеждаете меня, что сердце Ваше мне не принадлежит и не будет никогда принадлежать, а если Вы и дали мне какую-то надежду, то это была Ваша ошибка, затмение.

Я понял Ваше письмо так: Вы желаете, чтоб я вычеркнул из своей жизни два года и сделался бы тем Григ[орием] Николаевичем, каким был в Петербурге, когда занимался изданием и редактированием Вашего сборника. Но возможно ли это после того, что я после того передумал и профантазировал?

Мое письмо вызвало у Вас такой отпор, а вслед за этим письмом я послал другое в таком же тоне. Какая же судьба его постигла? Может быть, Вы изорвали его в клочки? Я чувствую себя растерянным, и, признавая себя недостойным Вашего уважения, не знаю, как примириться с своей совестью. Думаю и так и этак, может быть, Вы в претензии только на манеру выражений и т.п., и постоянно прихожу к одному заключению, что героический выход один: уйти от Вас в толпу, унеся с собой чувство благодарности за приятные дни.

Вы думали, что Ваше письмо должно рассердить меня. Нет, Вы не рассердили, а страх нагнали.

В чем вопрос относительно издания? Или как сделать, чтобы оно раскупалось? Или как оправдаться перед г. Кобычевым? Если последнее, то я думаю особенно мучиться Вам нечего. Г. Кобычев не плачет, конечно об этих деньгах. Но если хотите, можно будет спросить его, может быть он согласится взять на себя заботу об этом. Я думаю, что он мало нуждается в деньгах и может раздарить издание по сибирским библиотекам или обществам попечения о начальном образовании.

Ваши стихотворения проводить могу только в "Сиб[ирский] вестник", а не в "Сиб[ирскую] жизнь", с которой сношения я прекратил.

Виньетки никому пока не показывал, не собрался. Энергию девицы одобряю. Готов подписаться на 20 экземпляров.

Г. Потанин.

№ 58

*25 декабря 1904 г.
Томск, Бульварная, 7*

Ваше стихотворение "Истина" Порф[ирий] Ник[олаевич] передал мне только неделю назад; стихотворение очень хорошее, сезонное, и жаль, что Вы не разрешили распорядиться им, а только прислали мне на просмотр, как сообщил П[орфирий] Н[иколаевич]. Но так как политическая погода может измениться, а Вы гнев переменили на милость, то я решил без Вашей санкции передать его для печати в "Сибирск[ом] вестнике". Вы не в претензии?

Вы спрашиваете, что я, или рассердился, или огорчен? Конечно, был огорчен. Сердце что? Раскаялся, исправился и снова мир. Тут было более страшное положение. Вы хотите, чтоб я Вас любил только той любовью, которою Вы любите меня; Вы можете любить и другую любовью, но эта любовь принадлежит не мне, а другому. А мне как быть, если и я хочу другой любви. Как тут наладить равенство в чувствах? Разве так: я Вас люблю той же любовью, какую Вы меня любите, но за другой любовью я иду к другой женщине. Если бы я осуществил это, мой внутренний голос был бы против меня. Или устроить так, чтоб я ограничился только одной любовью; тогда это было бы неравенство, мучительное для меня, или, по крайней мере, состояние, которое, я не ручаюсь, чтобы мой организм вынес.

Я истолковал Ваше письмо в смысле желания оттолкнуть меня от себя. В этой мысли меня укрепило и то, что Вы, написав письмо, два месяца молчали. За это время я старался примирить себя с этим разрывом; для этого я старался представлять себе картины будущего в таком роде, что Вы вышли замуж за Миролюбова, и что я встретил Вас вдвоем и разговариваю с Вашим мужем без тревоги и т.п.

Ранее меня мало беспокоили Ваши возвращения к герою Вашей первой весны. Я смотрел на них, как на безопасные для меня впадения в романтизм. Но в Вашем предыдущем письме есть нехорошее местечко, где Вы оправдываетесь, что сделали невольную ошибку, приняли свою любовь ко мне за другую любовь; это была убийственная для меня новость. Это была ошибка, ложное настроение, не коренившееся в Вашем духовном организме, и со временем, как внешняя наклейка, она благополучно соскочила с Вас, не потрясая Вашего организма. Но моя любовь к Вам не была заблуждением, она пускала глубокие корни в мой организм и так благополучно отделиться от него не могла и не может. Как же мне было не огорчиться Вашим признанием? Я думал, что то было последнее Ваше письмо, и переписка наша должна прекратиться, но... оказалось, что Вы без моих писем и без моей ласки жить не можете.

Я получил Ваше письмо и бешено рад, что прелестная моя девочка вернулась ко мне. Даю Вам слово, что буду воздерживаться от вакхических выходок в своих письмах; это Вас не в меру волнует и это Вам вредно. Постараюсь писать в тихом романтическом стиле.

Вы недовольны, что я свое письмо начал без обращения. Но как было начать? "Марья Георгиевна" без эпитета "дорогая" означало бы опалу, а написать "дорогая", поняв Ваше письмо как указ на отстав-

ку, мне казалось неуместным. А ведь я был уверен в моей отставке; в этом убеждал меня выдержанный тон Вашего письма от первой до последней строчки, и только кокетливое окончание: прощайте, нехороший! смущало и заставляло догадываться, что под сердитой оболочкой, может быть, теплится что-то другое.

Отказываться от переписки с Вами я, конечно, не намерен. Вам без моих писем скучно. А мне без Ваших разве не скучно? Мне более чем скучно, мне без Ваших писем вредно. Осыпaeмый Вашими благодетельными письмами, зная, что имеешь преданное барнаульское сердце, ходишь неуязвимо среди здешних женщин, застрахованный от ядовитых впечатлений. Но когда у меня нет в руках Вашего письма, на меня начинает действовать яд жизни. Нечаянно сорвавшееся слово, несоразмерный свободный жест, все это начинает интриговать, силишься найти в этом сокровенный смысл и в непреднамеренном открываешь тайное намерение. Получается пытка, которой Вы, может быть, не испытываете, потому что Вы женщина. Я только тогда и бываю душевно спокоен и душевно нормален, когда мое сердце волнуется любовью к Вам, когда Ваша любовь наполняет мое сердце жизнью.

Вы требуете от меня ответа, ценю ли я Вашу любовь, то нежное чувство, которое живет в Вашем сердце? И хочу ли я обладать этим чистым и нежным чувством? Неужели Вы сомневаетесь? Неужели Вы думаете, что во мне сидит только сатир и более ничего? Конечно, я ценю это Ваше чистое чувство и хочу им наслаждаться, и мне кажется, я и сам платил Вам таким же чистым чувством, и не иногда только, а большею частью.

Вы мне поставили условия для сдачи крепости, я принимаю их и сдаю свою крепость. Это Ваше последнее письмо только и говорит, что о чистоте да о чистоте чувства, а вот ни одно из Ваших писем не наполнило мое сердце такой гордостью, таким самомнением. От гордости сердце пухнет, как бочка. Я еще никогда не получал от Вас такого яркого признания в любви, как это письмо. Как чудесно действует на душу сознание, что есть там в Барнауле сильно любящее тебя сердце, которое иногда и потиранишь, а безнаказанно. Какое, в самом деле, дорогое я сделал завоевание! Я переживаю счастье завоевателя! И в то же время я военнопленный!

Вам сильно захотелось свидеться со мной летом. Милая, дорогая, мое сердце бьется одним пульсом с Вашим. Спасибо, спасибо! И мне хочется увидеть Вас до смерти, увидеть во что бы то ни стало.

Ваше письмо пришло за два дня до праздника, и местечко этого письма, это подчеркнутое словечко непременно лучший подарок на рождественскую елку, которую устроила вчера наша коммуна. Не странно ли, это милое, прелестное письмо, наполненное так искренней тревогой Вашей любви ко мне, написано непосредственно после другого, в котором только и было одно ласковое словечко: "нехороший"? До навигации у меня только и помыслов будет, как бы устроить это свидание. Для меня лучше было бы, конечно, если б Вы приехали в Томск; здесь нам не мешало бы присутствие Вашего отца. Боюсь, что мне будет совестно, когда мы увидимся – как мало я дам Вам взамен того, что Вы мне дадите. А Вы мне дадите, во-первых, удовольствие бродить глазами по Вашему красивому лицу. Ведь я любитель художественных произведений. Во-вторых, любоваться на Вашу душевную красоту. Я удивляюсь Вашей феноменальности; вокруг Вас ангелов не было; среди неблагоприятных условий какое такое было одно, которое позволило вырасти такой исключительности, как Вы? Скульптор Гейэр с которым Вы познакомились, приходил в восторг от сибирского снега; его восхищал момент, когда снег вдруг покроет весь уличный мусор безукоризненным белым покровом. Вроде этого перед Вашим девственным зрением грязь человеческой жизни всегда девственно завуалена. Помните нашу полемику по поводу одного Вашего стихотворения, в котором Вы рассказываете о своей молитве в храме; я был в восхищении от этого стихотворения и назвал Вашу молитву грешной, а Вы спорили со мной, что она не грешная. беру свои слова назад. Я не в состоянии был попасть на Вашу точку зрения, не понял, какими чистыми глазами Вы смотрите на божий мир. Ваша молитва очаровывает своим наивным чувством так же, как в рассказе Андерсена молитва крошки-девочки, уже уложенной в кроватку спать и читающей "Отче наш" и вставляющей после слов "даждь нам хлеб насущный" свои слова: "И к нему маслица немножко". У меня осталась в памяти одна китайская сцена; солнце заливает светом постоянный двор, на середине которого кучи свежих шаров, положенных мулами. Краски этого навоза были красивы, гармония тонов действовала на нервы умиротворяюще и вызывала настроение покоя и тишины. Никакого отвращения! Вот и перед Вашим наивным зрением, детски чистым, всякий мусор жизни, освещенный лучами Вашего любящего сердца, дает только одни благородные эффекты. Вы правы, я "нехороший", и тем не менее, я думаю, что я вправе рассчитывать на Вашу любовь,

потому что сознаю, что во мне достаточно для того и хорошего; оно и не скрылось от верного детского чутья Вашего сердца. И вот после бичей (я думал, что этими бичами меня изгоняют из рая. Слава Богу, это было только дисциплинарное наказание) предыдущего письма Вы прислали мне другое, в котором обнаружили такое жадное желание, чтобы я Вас любил. Люблю Вас искренно, горячо люблю Вас, милая, дорогая, бесценная Марья Георгиевна. Вот Вам ответ на вопрос, который Вы от меня требуете: ценю Ваше чистое чувство и даю Вам обещание довольствоваться Вашей чистой любовью. Поверите ли Вы, что "нехороший" Вас не обманет? Я буду надеяться, что в Вашей любви я обрету благодать, которая спасет меня от яда жизни и обеззаразит воздух вокруг меня.

А знаете что? Я называю Вас Марьей Георгиевной, а Вы для меня давно не Марья Георгиевна, а Маня. Когда я пишу Марья Георгиевна, это имя не охватывает того представления, которое носится в уме. Маня – это родное, близкое, ближе чего к моему сердцу нет ничего. Правда, я и мысленно наедине не разрешаю себе называть Вас этим именем, но оно носится в воздухе, толчется в мозге, и мне хочется сменить официальную Марью Георгиевну на интимную Манию. Когда я читал Ваше последнее письмо, в особенности передо мной стояла Маня и Маничка. Маня тем хорошо, что может превращаться в другие более нежные уменьшительные под давлением чувства, а "Марья Георгиевна" не поддается капризам любви.

Прощайте, славная, хорошая! Не затягивайте с письмами; чем длиннее период Вашего молчания, тем сильнее риск моего падения и превращения в "нехорошего". И не изгоняйте из рая. Чувствую в своей руке вложенную Вашу руку и целую ее.

Любящий Вас Г. Потанин.

№ 59

27 дек[абря] 1904 г.
[Томск], Бульварная, 7

Милая Марья Георгиевна.

Только было отправил Вам большое письмо, как получил Вашу открытку с упреком в забвении. Эта милая тревога дает мне повод написать Вам еще несколько строк, дорогой, милый мой друг.

В своем "дисциплинарном взыскании" т.е. в ноябрьском письме Вы обижаетесь представлением, что я люблю в Вас только женщину и забыл о поэтессе, и тем, что если б мне было предложено на вы-

бор – или отнять у Вас дар поэзии и оставить одну Марию Георгиевну и отдать ее мне, или оставить при Вас этот дар, но не отдавать Вас мне, – я бы предпочел первое. Мне кажется, Вам следовало бы расчленить свой организм не на две, а на три части: женщина, человек и поэтесса. Самая ценная часть – человек, и я, разумеется, люблю в Вас более человека, чем поэтессу. Если б мне предложили на выбор или человека без поэзии или поэзию без человека, я, конечно, предпочел бы человека без поэзии.

Но ведь поэзия должна отражать человека; поэзия, в которой не виден человек, – автор, пустая версификация. Как у подлинного поэта, у Вас поэзия срослась с Вашей личностью. Как только я прочитал Вашу тетрадку, так я и влюбился в Вас. Я увидел перед собой образ человека с жаждой любви, который в наивной форме изображает свой душевный голод. Мне захотелось пойти ему навстречу, захотелось, чтоб он влюбился в меня, как я в него.

В сношениях с женщиной с задатками мужчина обнаруживается скорее при первой встрече, чем впоследствии. Сначала он знакомится с хорошеньким личиком, а потом уже очаровывается душевной красотой. Так было и со мной при нашей первой встрече. Оно обнаружилось даже ранее, скажу откровенно, при первом чтении Вашей тетрадки. Я стал расспрашивать барнаульцев, хорошенькая ли Васильева. Одни говорили, не дурненькая, другие – ничего особенного! Первые ответы удручали меня, вторые радовали. Красавицы не для меня цветут, думал я; дурнушку, соображал я, никто не хочет полюбить, хотя, судя по тетрадке, это прелестное сердце. Но эти "мужские" мысли мелькали отдельными точками, не сливаясь в одну линию; непрерывной линией была мысль явиться Вашим покровителем-писателем; господствовало намерение выставить на всю Сибирь даровитую барнаулочку в полном наряде ее поэзии.

Прежде всего я в Вас люблю человека, потом поэтессу и потом женщину.

Читаете ли Вы "Нашу жизнь"? Видели ли №№-ра "Сына Отечества"? Читали статьи в "Праве" кн[язя] Трубецкого (Война и бюрократия), Петрушкевича, Пешехонова (Война и отечество)? Резолюции съезда земцев, состоявшегося в Петербурге 6, 7 и 8 ноября? Ответ профессоров Киевск[ого] политехникума на вопрос министра о мерах к прекращению академических беспорядков?

Вы легко можете представить, как мне хочется поскорее Вас увидеть и услышать. Когда Ваша стройная фигура проходила перед

моими глазами, я чувствовал душевное удовлетворение, хотя бы Вы проходили молча. И мне хотелось молчать и нежиться в этом душевном покое. Чувствовали ли Вы тогда, что Вы одним шелестом своего платья создавали человеку рай? Сколько месяцев я был лишен этого земного счастья, не слышал Вашего голоса, не видел Ваших глаз? Неужели, когда я приеду в Барнаул, я должен буду истолковать Ваши слова, что Вы ошиблись, приняв свою любовь ко мне за другую любовь, истолковать в таком смысле, что я уже не должен рассчитывать получить те формы ласки, которыми Вы меня баловали в тот приезд в Барнаул?

Поддерживайте мой бранный дух своими письмами, милая, дорогая.

Любящий Г. Потанин.

№ 60

*15 янв[аря] 1905 г.
[Томск], Бульварная, 7*

Милая Марья Георгиевна.

Какими великолепными письмами Вы начали меня дарить! Прелесть! Мне сладостно-приятно от того, что Вы заговорили со мной "просто и откровенно". Мне понятно Ваше желание, чтобы Ваше откровенное признание осталось моей тайной, чтобы чей-нибудь нечистый глаз не взглянул на тот уголок, который Вы раскрыли только мне. Во мне поднимается гордое чувство, что Вы верили мне эту тайну. Вы не видите ничего грешного и стыдного в этом чувстве, это само собой разумеется, если понимать так, что Вы не чувствуете стыда за него перед своей совестью. Я, однако, не истребил Вашего письма, потому что там есть другой дорогой для меня подарок: "любящая Маня". Я только вырезал место с откровенным признанием и только его обратил в клочки, а начало и конец с "любящей Маней" оставил. Это последнее выражение, – не правда ли? – дает мне право называть Вас впредь Маней. Мне все-таки жаль этого места. Подобно тому как Ваше личико, каким бы неуклюжим головным убором ни обрамлять его, всегда будет прелестно, так и всякое помышление Ваше, какая бы ни была его основа, всегда обладает чарующей чистотой.

П.Н. Соболев нисколько не виноват в помещении Вашего стихотворения в "Сиб[ирском] вестнике". Я поступил так из боязни, что не поторопись я, оно совсем запоздает. Никто не знает, как долго

продержится новый курс внутренней политики; может быть, пропусти недели две, и будет негде его напечатать. Я не нашел в нем ничего, что следовало бы изменить. Помещение его в "Сибир[ском] вестнике" не помешает отсылке его в "Русск[ое] богатство", потому что Вы можете сослаться на то, что провинциальная цензура исказила Ваше стихотворение, выбросив из него восемь существеннейших строк. Вы прибавите, что стихотворение высылаете в восстановленном и переработанном виде. Простите мне, милая Маня, новое преступление! Надеюсь на Ваше великодушие и на то, что Ваше честолюбие будет удовлетворено.

Вы вновь осаживаете меня уверением, что не можете меня любить обоими родами любви, а только одним. Действительно, для другого рода я не пригоден. Сейчас мне давали зеркало, чтоб я увидел себя. Боже, что за старческое безобразие. Требовать от Вас другой любви значило бы требовать непомерного с Вашей стороны самопожертвования. Не следовало ли мне оставить Вас и совершенно забыть? Когда я получу Ваше письмо с Вашим стараньем истребить во мне несимпатичное Вам стремление и с вашими очаровательными психическими подарками, у меня в душе разгорается бездымный пламень, и я даю себе обет остаться влюбленным аскетом. Но непосредственно вслед за этим является сомнение в прочности обета. Чувствую, что эта другая любовь существенное топливо, что только она создает беззаветную преданность Вам. Хочется быть Вашим слугой и, конечно, чтоб Вы были моя не в смысле, чтобы обладать Вами, как женщиной, а в смысле, что с той силой любви, с которой я Вас люблю, я не должен любить другую женщину. А возможно ли это, если Вы не позволяете любить Вас обоими родами любви? Интимная духовная связь пары из мужчины и женщины имеет такую власть, что она отгораживает эту пару от среды, в которой она вращается. Вот Вы сделали признание, от которого Вы сами пришли в восторг, что оно сказалось так просто и откровенно. Мне это доставило еще более наслаждения, чем Вам, и могу ли я, получив это наслаждение, полюбить другую женщину, которая мне таких наслаждений не доставляет.

Сообщу Вам о двух событиях, одно квартирное, другое городское.

К нашей квартире на крыльцо подбросили девочку с запиской, что она крещена и зовут ее Викторией. Мы решили оставить ее у нас и кормить. Девочка нормальная, по отзывам докторов, никаких наследственных пороков у нее нет, грудная клетка отлично сложена,

но ребенок был истощен плохим питанием, отчего живот был вздут, тверд как камень и синего цвета. Теперь желудок направляется, но появилась какая-то болезнь в ушах, которая и день и ночь мучит ребенка. Все мы теперь в квартире заняты мыслью, поднимем ли мы этого ребенка на ноги.

12 января здесь состоялся Татьянин вечер, но необычным порядком. Участников было до 700 человек. Было сказано несколько революционных речей, прочитана революционная резолюция. Так как я председательствовал, то администрация готовится привлечь меня к ответственности за допущение речей подобного содержания. За все время сорокалетнего существования судебных уставов я никак ни разу не собрался посмотреть на процедуру гласного суда, а теперь сам буду сидеть на скамейке подсудимого. Впрочем, если меня будут судить, то при закрытых дверях.

Не адресуйте пока своих писем на мое имя, а пишите на имя Елизаветы Митрофановны без фразы "для передачи Г.Н.П."

Жму Вашу руку.

Г. Потанин.

[P.S.] "Сибирский вестник" может платить за стихотворения только по 5 коп[еек] за строчку, так что я Вас нагрел. Простите. Гонорар, когда выхлопочу, пришлю.

№ 61

*11 февр[аля] 1905 г.
[Томск], Бульварная, 7*

Милая Маня.

Прежде чем писать о томских происшествиях между прошлым моим письмом и этим, прежде всего хочется сказать об удовольствии, с которым я прочел Ваше разрешение называть Вас Маней. Как это хорошо, как мне приятно было официальное признание за мной этого права. Как чиновник, получивший "Анну", любит себя и самодовольно говорит: Ай да и я, добился-таки Анны! Так и я в восторге, что добился "милой Мани". С каким удовольствием я выписываю, медленно смакуя, стараясь длительнее сделать наслаждение, эти два дорогие слова. Но за этим наслаждением уже грезится в будущем новое, когда я, взяв Ваши руки и смотря в упор в Ваши глаза, произнесу: "Милая Маня!" Ну, конечно, я буду позволять себе это только наедине; без этого условия тут не было бы поэзии; чем мы будем богаче вещами, которые говорятся только наедине, тем наша

связь будет крепче; эти вещи цемент любви. Пишу Вам и думаю, не смущает ли Вас обстоятельство, что я так долго останавливаюсь на таком, казалось бы, пустом любовном завоевании? Или, читая эти строки, Вы тоже испытываете удовольствие, что были в состоянии доставить другому несколько сладких ощущений? А действительно конец Вашего письма сладко волнует меня, сердце мое расширяется от удовольствия и наполняется гордостью.

Последствием Татьянина вечера был мой арест. Меня отвезли в тюрьму на Воскресенской горе и продержали в одиночном заключении 12 дней, но теперь я опять на свободе, потому что убедились, что я никакой солидарности не имел с той группой публики, которая господствовала на вечере и произносила горячие речи. Дело в том, что устроители вечера хотели ограничить участие на вечере списком участников, выработанным баллотировкой в устроительной комиссии, но толпа молодежи около 200 человек ворвалась в залу силой и придала собранию окраску, которая не входила в расчет устроителей банкета. Теперь я состою под особым полицейским надзором, вероятно, меня обяжут подпиской о невыезде из Томска до окончания дела, и если судить будут в сентябре, а не в марте, то мне нельзя будет приехать нынешним летом в Барнаул, а мне так хотелось испробовать, хватит ли у меня смелости духа сказать Вам "милая Маня", смотря Вам в глаза. Пока еще неизвестно, будет ли суд, а если и будет, то юристы уверяют, что ко мне применят самую малую меру наказания, какая полагается по той статье, под которую меня подвела прокуратура, подвела неправильно, потому что статья относится к лицу, которое заведомо устроило революционное собрание и руководило им. Между тем в моем деле этой заведомости не было. Двенадцать дней я провел в тюрьме без всякого ущерба для себя. Я там прочел одну интересную книгу с увлечением, и еще с большим увлечением начал писать очерк Монголии для народного чтения. Каждый день я вспоминал Вас и на думы об Маничке тратил иногда часы; иногда грустил от мысли, что свиданье наше далеко отсрочится. Теперь тоже думаю ежедневно, но верю в скорое свидание и приятно мечтаю об нем.

Бедная девочка Виктория прожила у нас двенадцать дней и умерла. Она досталась нам сильно заморенною, и поэтому, как мы ни ухаживали за ней, мы не могли спасти ее. Наша горничная женщина очень полюбила девочку и возилась с ней с истинной материнской любовью. Девочка жила в комнате Екатерины Вас[ильевны]

Проскуряковой, которая много тратила на девочку и труда и денег. Но так нам и не удалось осуществить свою мечту вырастить девочку. А она была очень хорошенький ребенок.

Вашим стихотворением, присланным в письме, я очень доволен. Я рад, что Ваш гражданский голос крепчает; мне оно показалось прочувствованным. Из этого стихотворения заключаю, что Вас захватило волнующее Россию движение. Конечно, вы не сердитесь на меня за то, что я попал в тюрьму. Ваше намерение писать прозой очень одобряю, попробуйте. Это необходимо. Верный успех предсказать не берусь, но думаю, что шансы есть. Кто пишет стихи, у того, конечно, есть дар излагать мысли не только в прозе, а и в более невыгодных условиях, чем проза. Следовательно, о стиле нечего и заботиться. Остается вопрос о содержании. Но ведь Вы умная женщина и имеете верное понятие о духовных интересах Ваших будущих читателей.

Когда у меня производили обыск перед тем, как меня арестовать, когда перешаривали мои книги и переворачивали мои рукописи, откуда-то, из каких-то темных углов моего книгохранилища выскочила на свет Божий Ваша повесть, так что значит дней четырнадцать назад я имел случай видеть ее и убедиться, что она существует, но вслед за тем она опять скрылась в тайники моей библиотеки. Несомненно, конечно, что ее при желании всегда можно будет найти. Не бойтесь, она будет цела.

Меня смутили Ваши извинения за Вашу открытку. Что Вы выразили свое неудовольствие, неужели это такое важное преступление любимой женщины, что нужно казнить себя, целую страницу тратить на извинения, воображать, что Вы так меня обидели этой открыткой, что я должен рассердиться на Вас. Вы даже просите ответить скорее, не сержусь ли я и люблю ли Вас по-прежнему. Вы меня пугаете. Ведь это значит, что дешево цените мою любовь, не считаете ее серьезною. Вот так любовь, получил открытку с выговором от любимой женщины за своевольное распоряжение с чужой авторской собственностью и уже перестал любить по-прежнему. Да, я серьезно был бы озабочен этим обстоятельством, если б мне не пришла в голову такая догадка, что эту фразу Вы написали и даже подчеркнули свой вопрос, по-прежнему ли Вас люблю, движимые к этому желанием лишний раз услышать от меня уверение, что я Вас люблю. Люблю свою Маню не по-прежнему, а пуще прежнего, потому что она с каждым письмом становится милее, очаровательнее и ласковее.

Справлюсь со своей ленью и пошлю Вам денег с просьбой при-
слать пачку виньеток той девицы, которой Вы хотели бы оказать
протекцию.

Какие-то частные лица собирают точные сведения о томском по-
боище; постараюсь достать и послать Вам. Пока известно только две
смерти; в тот же день или на другой умерли от ран наборщик и ученик
ремесленного училища; боялись за жизнь гимназистки, сестры
одного учителя, шедшей из гимназии домой, ей срезали саблей часть
 черепа, но она осталась живой; но думают, потеряет умственные
способности. В больницах, по рассказам, было сделано около 30 пе-
ревязок, а много еще лечилось на домах. Избитых больше в постор-
онней публике, чем в среде демонстрантов; эти с первого натиска
разбежались и попрятались, а непричастная публика не спешила бе-
жать, ее-то и исполосовали.

Когда Вы сердитесь на меня, это выходит мило и доставляет удо-
вольствие. Значит, Вы чувствуете себя, как моя начальница (а очень
приятно иметь хорошенькую начальницу!); если Вы ругаете, значит,
чувствуете свою власть, если бьете, значит уверены, что мир сейчас
же восстановится. Может быть, и Вам приятно, если я сержусь на
Вас? А я сержусь. Неужели верность моей любви еще не заслужила
награды? Если бы в Тире и Сидоне были явлены такие силы любви,
уверяю Вас, Маня, и они бы пошли навстречу. Правда, Вы мне
писали, что непреренно устроите свидание и что Вы не в силах
более терпеть. А если б Вы знали, как я не в силах. Каждый день
думаю о свидании с Вами и о печальной действительности, и
чувствую, как сердце истекает от тоски неисполняющихся желаний.
И вот я сержусь не на Вас собственно, а на тын, который меня отго-
раживает от Вас. Но люблю иногда и на Вас перенести это сердце.
Ведь это любовь сердится? Боже мой, Боже мой, милая дорогая Ма-
ня, когда же Вы отнесетесь гуманнее к так горячо любящему Вас
сердцу и освободите меня из моего мучительного положения. Для
меня разлука с Вами просто вредна; я чувствую себя, будто я совер-
шаю преступления. Когда я не был вдов, я был как горная река с
прозрачной водой; теперь я мутный поток, по которому плывут
скорлупа, шелуха, волосы, лохмотья...

Маня, дайте мне взглянуть в Ваши светлые глазки!

Г. Потанин.

3 марта 1905 г.
[Томск], Бульварная, 7

Милая Марья Георгиевна.

Скучаю. Пришел срок получить Ваше письмо, а его нет. Обычно я получаю от Вас письма через 14 дней после того, как сам напишу Вам. Я Вам отправил письмо 11 января, сегодня 28, следовательно, уже 17 дней. Что это значит? Здоровы ли Вы? Или Вы чем не довольны и хотите меня наказать своим молчанием?

Слыхали ли Вы о страдающих запоем? У них бывают моменты, когда их охватывает нестерпимая жажда опьянения. Такой запойный не сладит с наступившей тоской и закрутит. Покрутит, покрутит и вновь перейдет в нормальное положение. Так и я. Когда пишу Вам письмо, я в таком возбуждении, как будто я опьянел; я не могу ничего другого делать, как только писать письмо, ни о чем думать, кроме как о письме и о Вас; лицо горит, особенно уши, я точно в болезненном жару. Нервы бунтуются; я и сержусь на Вас, и молюсь на Вас как пророк Иона на Бога. Но письмо кончено; я еще раза два или три перечитываю его, чтобы еще раз, другой насладиться ощущениями, которые испытывал, когда писал письмо, и опускаю его в почтовый ящик. Сознание, что теперь жди, не жди, терпи спокойно или бесись от нетерпения, все равно ранее 15 дней не получишь Вашего ответа, прекращает смятение нервов, и я быстро вхожу в норму, т.е. бросаю в сутолоку жизни университетского города. А потом опять проходит 15 дней и начинается тоска и жажда этой нервной бури. Опытные люди говорят, что не надо препятствовать ходу нервной бури у запойных людей, а может быть, не следует мешать и наступлению ее; будто это вызывает в организме запойцы реакцию, которая может иметь роковой конец.

Я хотел бы, чтоб Вы приняли это во внимание и не особенно оттягивали бы антракты между письмами, если позволяет Ваше здоровье, и почаще дарили бы меня минутами наслаждения, которые мне доставляют Ваши милые строки.

Вы не можете себе представить, как мне хочется получить Ваше письмо. А еще более, видеть Вас самое. Нечего и сравнивать письмо с личным свиданием. Сколько уже времени, как я живу только воспоминаниями, пробуждая в памяти барнаульские впечатления. Я вновь оживляю то ощущение, которое испытывал, когда Вы по собственной инициативе вкладывали свою руку в мою, когда Ваши ми-

лые нежные пальчики плавно въезжали в мою сжатую ладонь. Сколько таких даров я получил от Вас, которыми Вы осыпали мою жизнь активно. А пассивно еще более. Когда Вы сидели в Союзе писателей в Петербурге с устремленным взглядом на кафедру, Вы не чувствовали, что возле Вас сидел человек и млел, а я в это время облизывал Ваше лицо сбоку лучами своих глаз. И теперь я иногда вызываю в своей памяти это мление – стоит мне только вообразить Ваши ресницы в профиль. Если искать начало моей любви к Вам, то, может быть, нужно поехать в Петербург; уже тогда, когда я смотрел на Ваши ресницы в первый еще раз, она уже начиналась, и, может быть, тогда уже душу мою молниями прорезали смутные неумеренные надежды... Спасибо Вам за все эти прелестные дары, но дары возбуждают аппетит и хочется новых даяний.

Одна у меня теперь неотвязная мысль – состоится ли наше свидание? Вы обещали летом приехать в Томск. Швецов на три месяца (апр[ель], май, июнь) уезжает за границу, и если наша квартирная коммуна не разрушится, то в нашем доме нашлось бы почти отдельное помещение. Сообщите, какие есть шансы на осуществление надежды увидеть Вас в Томске?

Елиз[авета] Митроф[ановна] показывала мне открытое [письмо], в котором Вы заботитесь о любящем Вас узнике, чтобы поскорее снять с него узы охраны и вновь наложить узы любви, в которых ему так приятно. Спасибо Вам за эти заботы.

Каким бы словом Вас ужалить, чтоб Вы сейчас же схватились за перо и своими милыми пальчиками начали выводить "Дорогой Григорий Николаевич" и т.д.

Милая Маня, Ваш Г. П[отанин].

№ 63

*17 марта 1905 г.
[Томск], Бульварная, 7*

Помучили Вы меня, месяц с лишком не было от Вас письма, а все-таки Вы милая. Стоило Вам прислать небольшое письмо, и снова в моей душе спокойствие и довольство.

Сначала я досадовал на Ваше молчание; сердился; я думал, что Вы мало входите в интересы моего сердца. Потом я одумался; подумал, может быть, Вы нездоровы, или, может быть, заболела Ваша мама. И напугался. Стал рассчитывать на Елиз[авету] Митр[офановну], не напишет ли она в Барнаул, но она сказала, что недавно видела Вашего брата, и он ничего дурного не рассказывал. На некоторое время я

успокоился, но потом меня опять начал занимать вопрос, почему Вы не отвечаете и на второе письмо. Хотел уже писать третье, как получаю наконец Ваше письмо и с дозой аромата любви. Слава Богу, все, значит, по-прежнему, и Вы здоровы, и любовь благоухает!

"Дорогой мой", которым Вы начинаете свое письмо, конечно, освящает и для меня право называть Вас "своей Маней". Это право звать Вас "моей Маней" льстит мне. "Дорогой мой"! Как эта музыка ласкает мое ухо. Сознательно или бессознательно начато так письмо, все равно хорошо. Если бессознательно, то значит, любовь в Вашем сердце так кипит, что ласковые слова сами слетают с языка; если сознательно, тем более торжествую, и мне в этом случае хочется читать те мысли, которые кружились в Вашей милой головке, когда Вы это писали, и так хочется приспособиться, приладиться под эту ласку; если она для меня велика, то хочется духовно растолстеть, чтоб она была впору.

За что я Вас люблю? Этим вопросом я и сам люблю заниматься; тут у меня целая аргументация, которую я люблю перелистывать, как в этом Вы и сами могли убедиться из моих писем. Пепельные волосы и ресницы, конечно, не главное, но я не скажу, чтоб они не имели никакого значения. Во-1-х, милая Маня обиделась бы, если сказать, что ее красота на мужчин не действует, во-2-х, я бы солгал, если б сказал, что ресницы и пепельный волос производят во мне ничтожное брожение. А люблю я Вас больше всего за то, что нами пережито и высказано только вдвоем, в тени и в уединении, тщательно скрывая от посторонних глаз и ушей. В этом достоянии, которое только мое и только Ваше, и ничье больше, самый крепкий залог нашей связи. В это святая святых я не допускаю даже Елиз[авету] Митрофановну, я не даю ей читать Ваши письма, хотя она дает мне, которые от Вас получает. Мне и совестно, а не даю, хотя знаю, что она нашла бы большое наслаждение следить за развитием нашего чувства, перечитывая наши секреты. Собрание Ваших писем, дорогой мой "Завет" я предусмотрительно поместил в безопасном месте и вообще постарался, чтоб не только какая-нибудь Ваша записка не попала на глаза полиц[ейских] ищеек, но чтоб даже Ваше имя им не встретилось.

Так и у Вас остался в памяти памятный для меня вечер в Союзе писателей? И Вы тогда почувствовали уже, что воцаряетесь как будто в моем сердце. Но то еще не была любовь к Вам, и Ваша фраза, что тогда моя любовь к Вам была не прочна, не приложима; то было

неопределенное чувство, которое, казалось мне, меня ни к чему еще не обязывало, или, по крайней мере, обязывало не более, как и по отношению к Фарафонтовой. Тогда еще не было того багажа, который связывает теперь нас, меня и Вас. В тяжелые для меня и для Вас иркутские дни я чувствовал себя преступником; я чувствовал уже, что люблю Вас, но в равной мере я любил и Фарафонтову. Я звал Вас в Иркутск, обрекая себя на мучительную роль влюбленного в двух без надежды связать свою судьбу с одной которой-нибудь; я считал себя в силах, может быть, и самонадеянно, любить и ту и другую даму, как любили рыцари. Но так как Фарафонтова была не только в одном городе со мной, но даже в одной квартире, то любовь к ней перевешивала. И вот в это-то время мне казалось, что я поступаю преступно, сдерживая развитие своей любви к Вам. Но я не думал, не имел твердой уверенности тогда, что Вы меня любите; я создал, что Вы что-то питаете ко мне и стремитесь ко мне, но полагал, что Вы смотрите на меня, как на покровителя поэтического таланта, не более. Я считал себя преступником только перед своей совестью, а не перед Вами. Если человек почувствовал любовь к женщине, и если он хотя бы не подал ей вида в том, взял да и влюбился в другую, он все-таки преступник, изменник своему чувству. Вот в таком роде чувствовал я себя изменником.

Фарафонтова вышла из этой истории с честью. У ней характер сильный; видя, что я по слабости характера колеблюсь, она высидила меня из Иркутска. Я, разбитый духовно, выехал в Красноярск, а Вы сюда выслали по почте "Крылья любви", на которых я и полетел в Барнаул.

Неужели Вы думаете, что и теперь я могу Вас оставить или, по крайней мере, поколебаться в выборе между Вами и другой женщиной? Теперь, когда я для Вас: "дорогой мой", когда Вы для меня: "моя Маня"?

Вам было приятно, когда я любовался Вами в Союзе писателей. А помните вечер в клубном саду? Вы усадили меня в аллее перед электрическим фонарем, который обдавал Вас своим светом. Не хотели ли Вы тогда доставить мне удовольствие, предоставляя мне свободу любоваться на озаренное Ваше личико? Не знаю достоверно, был ли тут с Вашей стороны такой великодушный умысел или нет, но я был доволен Вашим лучезарным видом. К сожалению, Вы замерзли; Ваша грудь была прикрыта только редким тюлем. Я запомнил эту деталь. Потом, помню, мы пошли с Вами по темной ули-

це, по Вашему предложению, под руку. "Так теплее!" – Вы сказали. Не помню, было ли теплее телу, но на душе стало очень тепло. Не можете ли, дорогая, устроить, чтобы в подобных теплых условиях протекла вся наша жизнь?

Наша жизнь устроилась ненормально. Получишь письмо, несколько дней эпистолярного жара, а потом целый месяц холод и озноб. Газеты теперь кричат о государственной жизни: Так жить нельзя! И нам двоим тоже так жить нельзя. Нужно съехаться, посоветоваться и решить. Или мы должны жить вместе, или прекратить эту жизнь, которая похожа скорее на игру в жизнь, чем на действительную, полную жизнь. Неужели Вам не хочется полной жизни? Мне хочется быть любимым, и никакой другой женщиной, как милой Маней, мне хочется Ваших ласк!

Ваша выдумка устроить свидание в читальне, в саду народного дома, мне кажется столь же остроумной, как попытка страуса спрятаться от врага, уткнув голову в куст. Неужели Вы думаете, что наши регулярные посещения сада скроются от наблюдений? Мы будем постоянно настороже, чтоб кто-нибудь нас не накрыл. Ведь это нам не к лицу в наши-то лета, особенно в мои. Удобнее бы всего Вам приехать в Томск. Здесь Вы могли бы часто приходиться ко мне; мы бы могли уединяться в моих комнатах. Тут я чувствовал бы себя совершенно свободно, и со спокойным духом шалил бы с Вашими пальчиками. Мне не хочется, чтобы проявления моей любви были стеснены чем-либо, например предполагаемыми подсматриваниями. Я допускаю одно ограничение – Вашу волю. Если Вы скажете мне: "Мизинец можете поцеловать, а безымянный нет", Ваше приказание будет исполнено свято. Я, конечно, буду стараться делать завоевания, но не иначе, как с Вашего соизволения. С такой ограниченной монархией я совершенно мирюсь.

Неужели Ваша мама и теперь против нашего союза? Ведь уже она могла бы достаточно убедиться, что ее дочь сильно любит и что в этой любви ее будущее, она же наполняет и ее настоящую жизнь. Не правда ли?

Стихотворение Ваше я показал одному здешнему поэту. Он сказал, что Вы сильнее этих стихов еще не писали. Он сейчас же попросил позволения списать; я позволил под условием, чтоб они не попали в печать. Относительно печатания Вы не дали никаких распоряжений.

Я послал Вам рубль. Вышлите виньетки покровительствуемой Вами художницы.

Мне очень нравится эпитет "нехороший", который Вы мне даете; он звучит, как всепрощение. А потому подписываюсь с удовольствием: Любящий Вас амнистированный Нехороший.

Я не отказываю Вам в праве упрекать меня за иркутскую историю. Когда я вспомню ее и представлю, что Вы в то время переживали, мне становится очень жаль Вас, и я краснею от угрызений совести. Но ведь Вы простили мне это, и когда пишете "нехороший", по тону контекста выходит как будто "милый". А если простили, то не будете меня наказывать своим молчанием.

Вы, моя милая, тогда страдали, а теперь мое сердце наполняется гордостью от мысли, что я заставил страдать такую хорошенькую женщину, такую талантливую девушку, поэтессу, такое нежное сердце! И почему-то мне кажется, что боль, которую я Вам причинил, дает мне право называть Вас "моей". Не потому ли, что Ваше страдание вошло в мое сознание, как следствие Вашего решения принадлежать мне, сделаться моей, или, как Вы иногда мило выражались, "устроиться около меня".

Добрая мама, побив своего ребенка, всегда потом приласкает, приговаривая: "Ну ты ведь мой, мой!"

Милая, дорогая, пепельноволосая Маня, можете немного оттянуть, но не оттягивайте, пожалуйста, сильно, напишите поскорее и разрешите своей властью называть Вас "моей Маней". Ведь Вы моя? Ведь я давно Ваш, и когда Вы написали "дорогой мой", это так было естественно, что я сразу не обратил на это внимание и только потом сообразил, что это новость в Ваших письмах.

Милая Маня! Как Вас любит Ваш друг! Как ему, в свою очередь, нестерпимо хочется "устроить Вас около себя", чтобы видеть свою Маню ежечасно, ежеминутно, любоваться на ее личико, заглядывать в ее глаза, слышать ее голос, слышать благоухание ее присутствия. Давайте же устраивать Вас около меня.

Как тяжело вести эту полужизнь!

Теперь Вы можете писать мне прямо, по-прежнему на Бульварную, 7.

№ 64

25 марта 1905 г.
[Томск], Бульварная, 7

Милая Маня.

Вы хотели бы, чтоб я высказался на счет Вашего последнего стихотворения. Оно мне нравится, только в первых восьми строках, мне

кажется, чувство менее слышно из-за фразы. Искусственность построения, что ли, или это нанизывание прилагательных на одно существительное, не образующих повышающуюся гамму (смелая мысль, мощная мысль, радостная песня, звучная песня, чудная песня), я не разберу, в чем тут дело, но только темп этого восьмистишия медленный, вялый и далеко уступает следующим строкам. Но от слов: "Ты угас" стихи – один восторг. Темп идет живо, мысли выражены сильно, всякое слово уместно, и нет ни одного слова лишнего. Я в восторге и целую Вас в лоб!

Две строчки имеют для меня субъективное значение:
То, о чем лишь с немногими ты говорил,
Стало вмиг достоянием многих...

Потомки могут подумать, что я у Вас украл эту мысль, начавши свою речь на банкете словами, что, как некогда Христос говорил апостолам, что я теперь говорю Вам по секрету, Вы будете потом возглашать с крыш, так теперь русская литература получила возможность в публичных собраниях говорить то, что говорилось только тайком в кабинетах.

Вы скажете, это совпадение от того, что одинаковы веяния в воздухе в Томске и Барнауле и повсюду, а я так думаю, что Бог любви устроил беспроводный телефон между Вашим и моим сердцами.

Это уже третье Ваше стихотворение по поводу совершающихся событий. Они так грандиозны, что эта дань историческому моменту совершенно понятна. Вы напоминаете ту барабанщицу, которая барабанным боем призывала народ к пробуждению во время Великой французской революции, расхаживая по парижскому рынку. Прекрасная барабанщица! Милая барабанщица. Сейчас я взял Ваш портрет, чтобы посмотреть на него, и в течение 10 минут не мог оторваться от него. Какое милое лицо! И от темени до пят молнией пробежало по моему телу желание видеть Вас сейчас живую, чтобы следить за мигающими Вашими ресницами, чтобы наблюдать зарождение улыбки на Ваших устах, чтоб чувствовать себя в атмосфере, окружающей Вас!

Какая детская написана на нем чистота помыслов! Не приходит в голову, что под этой кожицей в жилах течет "не молоко, а кровь". А если Вы посмотрите на меня, то с трудом допустите, что этому человеку доступна жажда святой, неземной любви. А между тем, уверяю Вас, на меня это иногда находит, бывают такие припадки, вдруг за-

хочется увлечь Вас в какой-то неземной край, в мир поэзий и небесной музыки, где поцелуи заменяются дифирамбами. Но не надолго, и я с этих небесных полатей снова начинаю с завистью смотреть на Землю и, как сыну неба (или медведю) северно-азиатской легенды, мне снова захочется земного счастья, снова захочется на землю.

Оправдываю свое мышление и поведение тем, что Вы, милая Маня, существо божественно-земное.

Как мне хочется осыпать Вас горячими ласками, приголубить, согреть, сесть у Ваших ног, вычитывать в Ваших глазах повеление и амнистию, и в то же время хочется помучить Вас немного, испытать Ваше терпение, посердить крошечку, даже причинить боль. Щенки, когда ласкаются, кусаются. Вы и рассерженная, конечно, мила. А если Вы властным голосом призовете меня к порядку, значит, дадите почувствовать свою власть, а так хочется чувствовать над собой Вашу власть, и в то же время самому хочется быть властителем Ваших дум.

Какие дерзкие претензии я к Вам предъявляю, а это потому, что я верю в Вашу всепрощающую, все допускающую любовь. Я удивляюсь своему счастью. Я избранник Божий, я какой-то баловень Господа Бога. Чем я заслужил его милость, что он присушил Вас ко мне, Вас, одно из лучших своих созданий? Милая, милая! Когда я вновь Вас увижу, я застону от громадного, подавляющего счастья.

Отчего бы, моя дорогая, Вам не поделиться со мной рассказом о тех обстоятельствах, которые создают Вам дурные настроения, о которых Вы говорите в начале прошлого письма, как о причине Вашего месячного молчания. Я догадываюсь, что Вы разумеете тут какие-то нелады с сестрой. Расскажите; уверяю Вас, я на нее посержусь ничуть не в меньшей дозе, чем Вы. Мне было бы так приятно разделить и Ваши неприятные минуты, хотелось бы с Вами "голос в голос, волос в волос" поволноваться по одному и тому же поводу, посердиться на одного и того же обидчика или на одну и ту же обидчицу. Если Вы страдаете от оскорбления, то пусть и я пострадаю от того же самого оскорбления. Пусть бич, который стегает Вас, задевает и меня.

Ваша сестра, кажется, эгоистка. Как это хватает духовных сил оставаться в этой тяжелой среде, как Вы давно не вырвались из нее? Ведь такое сосуществование вредно отзывается на интеллекте и характере. Характер – потому что вечный спор, несовпадение убеждений раздражает и делает под конец раздражительным; интеллект – потому что если Вы читаете постоянно "Новое время", и хотя бун-

туетесь и оспариваете каждую строчку, а пройдет несколько лет и окажется, что все-таки осадок скверности лег на Вашу душу и так прилип к ней, что иногда, независимо от Вашего собственного желания и совершенно неожиданно для себя, воспользуетесь аргументами из нововременского арсенала.

Вы просили увезти Вас из Барнаула и не даетесь! Скверная девочка! Вот и Вам хотелось бы устроить так, чтоб можно было видеться каждый день. А я давно Вам высказываю свое желание не только видеться каждый день на несколько часов, а жить вместе постоянно, чтоб постоянно следить за Вашим творчеством в речах, в интонации, в жестах, взглядах.

"Одежды теплым дышат ароматом" переводит русский переводчик из Шелли, который это говорит о любимой им женщине. Совершенно то же я говорю себе о Вас. Я хотел бы непрерывно сидеть в этой ароматической бане около Вас.

Нехороший.

P.S. Я послал Вам рубль на виньетки.

№ 65

*5 апр[еля] 1905 г.
[Томск, Бульварная, 7]*

Я убедился, что какие бы усилия ни употреблял, я не в состоянии достичь того, что Вы требуете – любить Вас по-иному, чем я люблю. Любить Вас как отец или брат я не могу. Бесполезно еще раз пытаться сократить разросшееся чувство; я вижу, что, дав Вам новые обещания направить его по другому руслу, я вновь обману и Ваши, и свои надежды. Мы должны оставить друг друга, разойтись. Забыть друг друга совсем, конечно, нам будет невозможно, но мы можем постараться не напоминать друг другу о себе. Может быть, время и продолжительное отсутствие переписки установят у нас другие отношения друг к другу.

Полагаю, что в таком решении нет ничего для Вас обидного. Вполне сознаю, что Вы заслуживаете глубокой любви отца или брата, но мои скверные нервы мешают мне осуществить эту идеальную любовь.

Жестоко оставлять Вас при Вашем одиночестве в Вашей семье, мне мучительно жаль Вас, но я не знаю, как устранить эту жестокость.

Искренно говорю Вам, не преувеличивая, ухожу от Вас с глубокой благодарностью к Вам за то культурное значение для моего сердца, которое имел этот эпизод моего знакомства с Вами.

Каюсь перед Вами в своей недобропорядочности и прошу Вас простить мне те мучительные дни и минуты, которые Вам создал мой эгоизм.

Настоящий момент, Вы согласны, так многозначителен для меня, что длинноты в письме неуместны, и Вы найдете, конечно, естественную краткость моего письма, хотя оно и последнее.

Любящий Вас и благодарный Г. Потанин.

№ 66

9 мая 1905 г.
Т[омск], Бульварная, 7

Что мне делать, не знаю. Ваше кроткое письмо, милая Маня, победило меня. Вы сбили меня с позиции, которую я было занял, и поставили меня на прежнее место. И вот я вновь называю Вас "милой Маней", и эти слова в кавычках по-прежнему взволновали меня и дали быстро, сейчас же, как я их написал, почувствовать, что я Вас люблю и мне невозможно Вас оставить одинокою. Но что же дальше? Вы не можете меня понять, а я не могу понять Вас. И не могу понять, почему Вы меня не понимаете. Судите сами. Вы написали мне письмо, которое заключает в себе от первой строки до последней непрерывный протест против моего желания иметь Вас женой, как будто это желание есть необычайное сомнение, которое глубоко оскорбляет Вас. И вслед за тем Вы заявляете, что Вам скучно без моей ласки, что Вам хочется слышать речи "влюбленного в богиню жреца", Вам хочется видеть его, чтобы насладиться, конечно, его "влюбленным взглядом". Вы браните меня за эти письма и в то же время жаждете их – как разгадать, чего Вы хотите. Вы хотите, чтоб я был влюблен в Вас, но чтобы я вырвал из своего тела свои нервы, которые Вам кажутся погаными. Но ведь если б у меня были другие, не эти нервы, разве б я любил Вас так липко? Если Вам нужна моя любовь, то берите ее такую, какую диктуют ее мои нервы. Если же я буду слушаться не голоса нервов, то чем мои письма будут отличаться от любовных писем, скопированных с образцов, данных в "Письмовнике"? Вы должны отдать им справедливость, что они искренны, и это потому, что они действительно пишутся "соком нервов".

Конечно, и мне грустно не менее, чем Вам, расстаться с Вами, мои надежды, что, слив свою судьбу с Вашей, я положу конец моему одиночеству, рушатся, и я опять увижу себя безнадежно стоящим перед пустым пространством, так как взамен Вас не предвидится

другой любящей женщины. Вы подчеркиваете любящая; верю Вам, что Вы любите меня, но любите Вы не полной любовью. Вы советуетесь с мамой, меряете и взвешиваете ее доводы, которые кажутся Вам "вескими". Не в первый раз Вы говорите мне, что эти доводы вески, но что это за доводы, не объясняете. Объясните, пожалуйста. Сколько я ни думаю, не могу догадаться. Внешность моя? Об этом, конечно, не мне судить, но Вы любите меня, и она не мешает. Но, может быть, в ней-то вся и причина?. Внутренние качества – их я лучше знаю, чем кто другой, и если б я там видел что-нибудь, не стал бы скрывать от Вас и обманывать Вас. Решительно недоумеваю. Остается предположить, что что-то есть такое, чего я сам не осознаю. Может быть, эгоистическое чувство мешает мне видеть то, что видно со стороны. Но от чего же не находит во мне того же, что Вы видите с мамой, Елизавета Митрофановна? По крайней мере, она ни на какие доводы мне не намекала.

Да если б и были веские доводы, разве они могут служить руководством там, где должна царствовать вера. Кто же в деле любви весит и мерит? Кто же в деле любви, справляется с доводами рассудка, а не с желаниями сердца и нервов? Особенно странно слышать о доводах рассудка от поэтессы. Я эти страхи Ваши не приписываю Вам. Они навеяны Вашей мамой. Это она навязывает Вам употребление мещанской мерки в деле любви. Ей это извинительно; она посторонний до некоторой степени зритель. Не она меня любит, а Вы. Она работает поэтому не сердцем, а только рассудком, и рассуждает, что случится с ее дочкой, не случится ли того-то и пр.?

Ваши мысли приняли новый курс, Вы перешли бесповоротно в новую веру, Ваша мысль готова пойти рядом с моей. Хорошо бы, если б и сердце Ваше также? За Вами дело. Если Вы не будете топириться ершом, примиритесь с моими нервами, признаете за ними право бунтоваться и делать бурю при встрече с Вашей красотой, если Вы напишете, что отдаете мне свою руку и сердце без остатка, дарите мне любовь без ограничений и разрешаете мне "увезти" Вас из засосавшей Вас среды, то я приеду в Барнаул. И как бы чудесно пошли бы мы с Вами рядом по одной дорожке.

Для меня лучше бы было, если бы не я в Барнаул, а Вы бы приехали в Томск. К сожалению, Елиз[авета] Митрофановна около 15 мая уезжает с Иван[ом] Савельичем на Кавказ в Ессентуки; у Ив[ана] Сав[ельевича] заболел бок и доктора посылают его на воды, где они

пробудут до августа. А без нее Вы, пожалуй, не решитесь сюда приехать.

Кастрировать свое чувство к Вам и превратиться в евнуха-друга одним велением своего ума я не могу, нужно, чтоб независимо от моей воли во мне произошел процесс, который преобразил бы мою природу. Это может случиться, если Ваш образ будет вытеснен другим. Это будет совершаться медленно и во все время этого процесса не буду ли я чувствовать, что я изменяю Вам? И Вы не будете ли то же самое думать обо мне? Или Вы пребудете совершенно равнодушны? Конечно, нужно ожидать последнее, если только Вы от меня ничего не желаете, как одной только дружбы. Но зачем же тогда деликатные беседы с мамой и обсуждение "веских доводов"? А впрочем, может быть, и в самом деле я вскружил Вам голову своими письмами и ввел Вас в обман относительно Вас самих и Вы сообразили, что питаете ко мне какое-то чувство, хотя в глубине души его у Вас не было? Тогда это свинство с моей стороны, и его нужно заглаживать; но так как я по природе своей не могу же писать Вам теперь иначе, как с глупостями, то не обязывает ли это положение вещей, чтобы я прекратил глупую переписку? А Вы жалеете, что не будете получать этих глупых писем. Сколько противоречий!!

Если хотите иметь мою дружбу теперь же, то берите меня с моим неокарненным чувством; а если такого меня не желаете, то погодите – я, может быть, полюблю другую, и когда она мне разрешит любить ее как женщину, то я приду к Вам с чистой дружбой.

Жду от Вас решения и приготовился выслушать суровый приговор.

Г. П[отанин].

[Приложение к письму]

Резолюция, принятая общим собранием членов О[бществ]а поления о нач[альном] образ[овании] в г.Томске 30 апр[еля] 1905 г.

Признавая, что коренное зло современной России, народное невежество, искусственно поддерживается самовластной и подозрительной бюрократией, стремящейся захватить всецело в свои руки народное образование, что в этих видах создана церковно-приходская школа наряду с земской и в ущерб последней, а органы самоуправления отстранены от заведования учебной частью в содержимых ими же школах, что из рядов учителей, чтецов и библиотекарей систематически изгоняются дискреционной властью администрации все живые элементы, преданные делу народного образования, что

тою же властью создаются нередко непреодолимые препятствия устройству народных чтений и открытию бесплатных библиотек, а к обращению в последних допускается лишь самое ограниченное число книг и периодических изданий, тенденциозно подобранных, и что инициативе частных лиц и просветительных обществ администрация ставит преграды, с одной стороны, суживая просветительную деятельность их непосредственно, с другой – ограничивая приток денежных средств в кассу этих предприятий, Томское Общество попечения о начальном образовании полагает, что в интересах народа вообще и его просвещения в особенности существующий бюрократический режим должен уступить место правовому порядку, которым была бы обеспечена полная свобода совести, слова, печати, собраний, союзов, а равно неприкосновенность личности граждан, их жилищ и корреспонденции, кроме случаев судебного преследования, и при котором, наконец, законодательная власть, право утверждения бюджета и контроль за управлением были бы возложены на народных представителей, свободно избранных всеобщей, независимо от пола, национальности и вероисповедания, равной, тайной и прямой подачей голосов. Для осуществления всех требований, изложенных выше, необходим созыв Учредительного Собрания, избранного путем всеобщей, равной, прямой и тайной подачи голосов при условии немедленной отмены всех исключительных законов и административных распоряжений, реабилитации всех пострадавших за религиозные и политические убеждения при полной гарантии предвыборной агитации.

№ 67

13 мая 1907 г.

Томск, Почтамтская, 13

Дорогая Мария Георгиевна.

Вы делаете меня поверенным Ваших литературных дел, но я не имею для этого ни научной подготовки, ни природного чутья. Но так как это единственная почва, на которой будет прозябать наша захудалая дружба – такое, кажется, Ваше желание? – то надо не молчать. Объективно отнестись к Вашей поэзии не могу. Могу высказать только субъективный взгляд, который едва ли другие со мной разделят. Я к гражданской поэзии всегда относился недоверчиво, а теперь мое недоверие еще более. Поэтому три гражданских стихотворения, присланные Вами, меня не затронули. Мысли хорошие, благород-

ные; выписаны стихотворения тщательно. Я заметил одну только шероховатость, или небрежность, но я думаю, что это что-то вроде простой описки. В стихотворении "Прощание с матерью", которое больше всего понравилось Елизавете Митрофановне, пятая строка: Нет меры злу, позору, преступленьям..., с этой строкой рифмуется другая: Но день придет, желанный день отмщенья.

"Кошмар", это "Прощанье" и "Колыбельная песня" – все это прекрасными чувствами проникнутые стихотворения, современные, очень пригодные для помещения в самом боевом журнале, но в них ничего нет оригинального, ни одной строчки. Если б это были первые стихотворения, которые пришлось мне прочесть – я бы не влюбился в Вас. Четвертое стихотворение ярко свидетельствует, что Вы обладаете завидной способностью чувствовать природу. В нем Вы пантеистически сливаетесь с душой природы. Какая хорошенькая строчка вырвалась из Ваших уст:

И астры ей сыплет на грудь!

Тут замечается и наблюдение над природой; астры – осенние цветы. Эта строчка вспугивает ум, который лениво и бессмысленно смотрел в пространство; он пробуждается и обращает глаза на живущую кругом природу. Эти астры – те кофты и накладки, которыми Вы любите разукрашивать Вашу старенькую маму. Эта строчка – поцелуй, который Вы с чувством вклеили в лицо природы. Я бы желал, чтобы пантеистическое чувство разрасталось в Вас. Конечно, я не против того, чтоб Вы писали гражданские стихотворения; пишите в обоих родах, но не придавайте гражданским мотивам преувеличенного значения. Гражданские Ваши стихотворения - дань времени, а "Прощальная песнь" – богослужение.

Кто это Вам сказал, будто бы я кого-то люблю и мне отвечают. Есть одна женщина, которую я люблю очень и она мне отвечает тем же, это Елизавета Митрофановна, но ведь это не та любовь, которую Вы подразумеваете. За время с прекращения переписки я любил не одну, а многих, но ответа ни одной не имел. Только одна дама, которой теперь здесь нет, сказала мне в разное время две, три фразы, которые меня взволновали; это была измена Вам; но ввиду того, что Вы дали моему чувству полную отставку, а также от того, что если б я повторил эти фразы при Вас, то Вы увидели бы, что они были очень невинные, сравнительно с тем, что я от Вас слышал, ввиду всего этого тут о каком-нибудь преступлении не может быть и речи.

Уверяю Вас, что ни одна женщина не позволила мне заглянуть в свою душу так глубоко, как позволили Вы в Вашу.

Если какая-то дама сообщила Вам эти известия, то значит за мной общество следит. Вот неудобство от стояния на виду у всех. Я не стыжусь, что во мне сидит зверь, и мне хотелось бы, чтоб знали, что он сидит во мне. Меня раздражает, когда мне приходится убедиться, что меня представляют не тем, что я есть. Одна дама удивилась, что я был женат; не было предела ее изумлению, когда она узнала это. Она думала, что я аскет.

В Ваше масло я не верю. Едва ли потечет все, как по маслу. Во-первых, как это? – Вы будете моим другом и в то же время Вы не будете в состоянии забыть, что в Вашем друге сидит зверь на цепи, кощей бессмертный на 12 цепях, злоумышляющий увезти и похитить даму Русую Русую? Это испытание сердцу, способному на нежное чувство. Во-вторых, борьба со зверем, сидящим внутри, требует душевных сил, а если их не хватит? Непосильная жертва может вырастить в сердце недружелюбное чувство, которое обратится, пожалуй, и в ненависть.

Если отец имеет беспутного, неисправимого сына, то, побившись с ним и убедившись в бесплодности своих стараний, решается потерять его и забыть о нем. Не знаю, способны ли на это также и женщины.

Г. П[отанин].

№ 68

*[Лето 1907 г.
Томск]*

Дорогая Мария Георгиевна.

На днях собираюсь выехать из Томска, буду искать Вас в Сарасе. Запоздал вследствие непредвиденных обстоятельств.

Пишу, волнуясь от мысли о предстоящем свидании. Сознаю свою обязанность держать свое чувство в строгой дисциплине, но одолею ли свой инстинкт, который может взять верх и ниспровергнуть все постановления ума?

Хорошо бы установить дружеские отношения, о которых Вы мечтаете, иметь дружескую поддержку во время невзгоды, жить одними умственными и общественными интересами, помогать друг другу. Для меня приобрести другом такого милого человека, с таким нежным сердцем, большой соблазн. Клад! И в то же время я могу

создать себе такого друга только из другой какой-нибудь женщины, а не из Вас, потому что Вы имеете для меня свою историю, свою традицию.

Я замуровал свое чувство, вернее, оно замуровалось в скорлупу благодаря нашей разлуке и прекращению переписки, но я должен помнить, что под этой скорлупой таится влюбленный человек.

Чтобы примирить мою любовь с Вашими требованиями, я должен кастрировать себя.

Не в состоянии!

Полагая свое положение безнадежным, все-таки еду в Сарасу – не затем, чтобы попытаться осуществить эти Ваши мечты о дружбе, а невольно подчиняясь инстинктивному желанию видеть Вас. Хочется видеть Вас и больше ничего. Чем грозит мне это свидание, не знаю и боюсь догадываться об этом. Может быть, все удовольствие от этой поездки ограничится только теми биениями сердца, которые я буду ощущать, подъезжая к Сарасе, подобные тем, которые прежде всегда вызывала во мне любовь и память о Вас и которые я так любил и за которые благодарил Вас. Может быть, придется уехать из Сарасы с захолонувшим сердцем. Заранее стягиваю все свои душевные силы, чтобы мужественно встретить это несчастье.

Г. П[отанин].

№ 69

[лето 1907]

Милая Марья Георгиевна.

Александра Федоровна говорит, что если она и надумает идти на вечер в Школьный сад, то не ранее, как к 9 часам, следовательно, если вы приедете в 5 часов, то проведете с ней 4 часа, и почему бы после 9 часов Вам не остаться еще до 10 со мной, если и Александра Федоровна и Марья Федоровна уедут в 9.

Меня мучает вопрос, если вы не приедете в воскресенье, то когда же мы увидимся? Ведь Вы не назначили мне дня на случай, если в воскресенье будет дурная погода. Позаботьтесь прекратить тревогу моих нервов!

За вчерашний вечер большое Вам "спасибо"! Сначала тон вечера был такой, что я начал бояться, что настроившееся трудолюбие вновь пропадет, начнется лень и апатия и ничегонеделание. Но под конец вечера Вы все исправили, и я вернулся домой веселый, ободренный и утром встал во всеоружии кабинетного прилежания и за-

сел за переписку. Вчера, ложась спать, окружил себя милыми призраками, длинными пальцами, пепельными завитками хохолка и утонул в блаженном, скоро наступившем сне. А сегодня тотчас же, как проснулся, сел за работу. И как спорится она под веянием Вашей любви.

Любящий Вас, целующий кончики пальцев.

Григорий Потанин.

№ 70

21 авг[уста] 1907 г.

Томск

Дорогая Мария Георгиевна.

Несмотря на непротивление злу, которое Вы выказали при последнем расставании в воротах при ночной темноте, и на великодушные, с которым Вы оценили мой голод, я уехал из Барнаула несколько не ободренный; в сердце сонное чувство, душа в болезненной дремоте; в голове колебание, нерешительность. Не знаю, что я должен сделать. Ваша мама любит Вас и старается обставить Вас удобствами жизни. Не обязан ли и я то же самое делать? Да это и не рассуждение только холодного рассудка. Как только раздумаешься о Вашей болезни, то, что представлялось долгом, обращается в инстинктивное влечение. Чтобы удовлетворить этому влечению, нужно направить жизнь по другому руслу, переехать в Барнаул. Но здесь университет, молодежь, областная интеллигенция, которая постепенно прибывает, газета, зародыш, может быть, областного искусства. Примирить это можно только переездом Вашей семьи в Томск, но можно ли об этом говорить и думать серьезно?

Напишите о Вашем здоровье, пришлите Ваше стихотворение, которое Вы читали мне в саду и Вашу последнюю фотограф[афическую] карточку, если располагаете лишним экземпляром.

Искренно преданный Григорий Потанин.

№ 71

2 окт[ября] 1908 г.

Томск, Преображенская, 6

Извините, дорогая Марья Георгиевна, что я так запоздал с ответом на Вашу "Осень". Не ослепляемым уже рассудком отлично сознаю, что оно не по моему адресу написано; вернее всего, что оно показывает, что и Вы, наконец, начинаете смотреть на свой возраст как на приближение осени, которая для меня уже давно наступила.

Но хотя прошлая история чувства забыта и раны зарубцевались, но все-таки история не совсем забыта, кое-какие отголоски иногда слышатся, и потому, получив Вашу открытку, я не избежал того, чтобы передо мной не мелькнуло подозрение, что когда Вы посылали открытку, Вами руководило не простое желание сказать, что Вы продолжаете писать стихи, а что Вы хотели этим напомнить мне о том мотиве в Вашей поэзии, который преследовал Вас вплоть до Вашей наступающей осени, о жажде весны с полнотою ее чар, которою Вы вечно страдали. Это знакомый мне мотив; эта жажда в Вас всегда мне так нравилась и залегла в моей памяти неизгладимым отпечатком, так что теперь, когда эта нота вновь зазвучала в строчках Вашего стихотворения, на меня пахнуло прошлым, приятным прошлым, как и от эпитета "нехороший", которым Вы меня обозвали в Вашем последнем письме к Елиз[авете] Митрофановне. Это меня убеждает, а Вас также, что нежное чувство, когда-то оживлявшее мое сердце, не совсем выдохлось, что оно еще во мне осталось, хотя и тщательно профильтрованное годами и разлукой. Хотя перед моими старческими глазами тускнеют краски жизни, но и старческими устами я, подобно патмосскому изгнаннику, шамкаю: "люблю". Мне кажется, что даже и тогда, когда я умру, я буду выскакивать из гроба, чтобы брать ружье "на караул" и рапортовать Вам, что я командирован быть Вашим ординарцем.

Я не писал Вам, потому что писал большую статью о Соломоне. Целый месяц писал. И во все это время думал о Вас, что Вы сердитесь на мою невежливость, брал лист почтовой бумаги, брал перо, но писал "Соломона". Все мои мозги были поглощены этой работой; я редко выходил из дома, уйдя, стремился поскорее домой к "Соломону", забыл совершенно интересы сердца и все протесты его оставлял без последствий. Могло ли подобное случиться года три тому назад, когда вслед за получением письма сейчас же немедленно следовал и ответ. Вот какая подлая измена сердца! Но в нашей ли власти, чтоб мускулы нашего сердца не уплотнялись и не становились тяжелыми на подъем. Я стареюсь и грущу. Все у меня в моем жилье разрушается; комод покрылся кружками от ставленных стаканов с горячим чаем; ширмы, расписанные цветами, исцарапаны, точно покрылись морщинами; точеные украшения письменного стола обломались; шторы, те совсем куда-то потерялись. Весь инвентарь приходит в безнадежное состояние русских финансов. Сердце износилось и ходит в ветхом рубище и потому не может по-прежнему реагировать

на чувство другого человека. И только пользуется молодым здоровьем и свежестью один "Соломон".

Однако не подумайте, чтоб я сделался совсем таким серьезным старцем, думающим только о книгах и совсем не думающим о чужих сердцах. А потому я был разочарован, получивши вместо "большого письма", обещанного в письме к Елиз[авете] Митрофановне, стихотворение, как я полагаю не ослепляемым более рассудком, адресованное не ко мне, а к человечеству. Представьте себе, приходит почтальон, приносит письмо; почерк на пакете знакомый, сразу узнаваемый. "А вот оно, обещанное-то, большое", – думаю. Распечатываю, вот тебе раз, не мне! Я в положении того глупого казака в рассказах на "Хуторе близ Диканьки" Гоголя, который поднес на вилке ко рту кусок, но кусок с вилки исчез, а за спиной казака чавкает черт. В таком же точно смешном положении очутился и я – стою с распечатанным конвертом и разинутым ртом, а за моей спиной чавкает человечество.

Если б не это разочарование, может быть, и "Соломон" не в такой уж степени помешал мне сразу ответить на Ваш стихотворный подарок. Может быть, Вы исполните обещание, данное в письме к Елиз[авете] Митрофановне, и напишите мне прозу, рассказ о Вашей жизни, ограниченный более тесными рамками в пространстве и времени, чтоб действие происходило не в саду, который походит на всякий сад, а в доме на Пушкинской улице, и не осенью неизвестного года, а такого-то октября 1908 года. Этим Вы доставите мне удовольствие.

Григорий Потанин.

№ 72

*7 окт[ября] 1908 г.
Т[омск], Преображенская, 6*

Дорогая Марья Георгиевна.

Получил я, наконец, и письмо Ваше, обещанное в письме к Елиз[авете] Митрофановне. За несколько дней до его получения я отправил Вам свое послание, вызванное получением Вашей открытки со стихами "Осень"; в нем я отчасти уже дал ответы на вопросы, которые Вы задаете в своем письме. Вы угадали, что "Осень" только пробудила аппетит, и я был сильно огорчен, что получил вместо ожидаемого письма стихотворение. Из предыдущего же письма Вы должны узнать, что Елиз[авета] М[итрофановна] получила Ваше поздравление с днем ангела. Спасибо Вам за письмо; после получе-

ния у меня стало весело на душе. Я рад и тому, что Вы вновь начинаете писать мне письма, и тому, что чувствуете себя здоровой и жизнерадостной, и тому, что возобновилась Ваша литературная деятельность, вернулось творчество.

Предполагать, что Вы от меня сбежали, с умыслом замедлили свое возвращение, чтобы не встретиться со мной, я никак не мог, так как Вам не был точно известен день моего приезда в Барнаул. А мне хотелось очень увидеть Вас, и я, живя в Аносе, все время мечтал прожить в Барнауле дня два, чтобы можно было устроить не одно свидание. В последнюю встречу с Вами Вы показались мне ласковою. Вы спросили, не сержусь ли я на Вас? Это мне показало, что Вы не желали бы, чтобы я был к Вам равнодушен. Но я вез для Томского общества садоводства десять кустов алтайского рододендрона. Пантеистическое чувство, от которого я не мог всю дорогу отделаться, заставляло меня видеть в этих кустах живые существа, одаренные мышлением и чувствами, и меня грызло сознание, что я везу их из милого им юга на чужой север, в холодный, грязный и туманный Томск, будто я совершаю насилие, как будто я тюремщик, этапный офицер, сопровождающий партию ссыльных, не воришек и не убийц, а людей, не совершавших никаких преступлений, более того, людей лучших, ссылаемых за хорошие идеи, отрываемые от родной почвы за то, что они красиво цвели, покрывались цветами от вершины до подола куста и украшали собою алтайские долины, в которых росли. Ящик с кустами, когда я плыл по Оби, ставили обыкновенно на корме парохода, и когда мокрый ветер трепал их ветви, мне казалось, что они стонут и посылают мне проклятия. В Барнауле я должен был ждать другого парохода; я оставил кусты на пароходной пристани, нанял матроса поливать их и каждый день два раза навещал их утром и вечером. Меня мучила мысль, а ну они посохнут прежде, чем доедут до Томска. Уже семь или восемь дней растения были в ненормальных условиях; земля с корней от тележной тряски вытрусилась, спасал их только мох. Я с нетерпением ждал парохода и с облегченным сердцем вновь сел на пароход. В Томск я послал телеграмму, что везу рододендроны, и на томской пристани меня встретил садовник Общества сад[овод]ства, который и принял ящик с кустами. Он поступил с ними, как истинный тюремщик; он и не подумал спросить себя, не грустят ли они о том, что им уже не доведется видеть, как красивые алтайские облака лазят по вершинам гор. В Черемошниках пассажиров пересадили на паровой катер, который медленно пота-

шил нас в город. Я долго смотрел на кусты на оставленном пароходе (пароход скрылся за мысом), а кусты все еще не были сняты на берег. Чего медлил садовник? Я дорожил в пути каждой минутой, лишил себя свидания с любимой девицей, а он медлит. По всей вероятности, этот черствый человек бросил ящик на ломовик, сам уехал в пролетке и предоставил кусты на произвол невежественного ломовика! Это ужас! Но в еще больший ужас я пришел, когда узнал потом, что садовник продержал кусты еще четыре дня не зарытыми в землю! Потом, впрочем, интеллигентные садоводы успокоили меня заверением, что это кустам несколько не повредит, и в самом деле кусты не погибли, принялись и пустили новые листики. Пантеизм лопнул мыльным пузырем. Так красивые фантастические чувства делают нас мучениками! Или долг перед обществом лишает нас минут личного счастья! Что Вы скажете об этой появившейся у меня способности приносить такие жертвы?

Ваши стихотворения на другой же день я захватил с собой на большой концерт 4 окт[ября] и передал г. Вяткину; он просматривает стихи, присылаемые в "С[ибирскую] ж[изнь]". Я прочитал их только по одному разу, версификация показалась мне безукоризненною, но от содержания осталось только бледное впечатление, чуть что ни одни названия. Как это называется Ваше стихотворение в Вашем сборнике? Вы стоите в церкви во время богослужения и молитесь Богу, чтобы он из рога изобилия посыпал на Вас поцелуями, объятиями и другими земными ласками. Хотя это стихотворение также личное, как и два вновь присланные, но кто прочтет его, оно надолго вьется в его память. Оно грациозно и опасно; прочитавший его может влюбиться в автора. Вот в этих новых стихотворениях нет такого сразу въедающегося в память содержания. Они имеют биографическое значение; и с этой стороны, как не придуманы, а нажитые Вами, они заслуживают и общего внимания. Когда я буду уже в могиле, может быть, найдется другой такой же поклонник или почитатель Вас, как и я, который вздумает написать Вашу биографию и воспользуется этими стихотворениями. Они будут украшениями его текста. А биография выйдет интересная. Девушка, одаренная организацией, жаждущей любви, осталась в течение всей жизни обездоленной; только раз в ее молодости перед ней явился человек, который сказал: "Аз есмь бог твой и не будут тебе бози разве мене". И она ему сказала: "Кроме тебя не будет у меня другого бога". И этот неосторожно данный обет повис с той поры над ее судьбой на всю ее

жизнь. Ею очаровывались другие, но она не шла им навстречу, тот, который пробудил ее первую любовь, оставил ее, а она хочет, чтоб он снова явился и никто, кроме него. Жажда ее не умолкает с годами, каждую весну она встречает надеждою вновь обрести того, которого избрало ее сердце в ту далекую весну, но надежда обманывает, потому что если бы явился тот самый человек, это не был бы человек той весны, и она не узнала бы его. Она любит какого-то бесплотного духа, который не существует и, может быть, и не существовал, а если и существовал, то только в ее воображении. Может быть, образ, который она видела, который очаровал ее, был создан ее преувеличением. В ее голову закрадывается сомнение: "Любил ли он?" Ее сердце в течении всей жизни питалось не реальной любовью, а песнями о любви, которые она сама создавала или которые создавали другие в честь ее. У девицы есть свой бог. "Вот мой бог!" – говорит она. Так она называет того, кто вызывает в ней песенное настроение. Этот бог пожирает все ее существо и нам, смертным, не оставляет ничего.

Как ни грустно, но нам ничего не остается, как тоже преклонить колени перед этим жестоким к нам, но все-таки благородным, возвышенно настроенным богом.

Два месяца на Алтае (в Аносе) я провел с большим удовольствием. И еще бы не испытать удовольствия! Ведь два месяца я был в обществе благородных алтайских богов. Но об этом надо писать новое большое письмо.

Григ[орий] Потанин.

[P.S.] Вы продолжаете адресовать на Бульварную, на которой я уже два года как не живу.

№ 73

27 окт[ября] 1908 г.
[Томск], Преображенская, 6

Дорогая Марья Георгиевна.

Поступаю так же, как и Вы, – сегодня получил Ваше письмо, сегодня же и отвечаю. Никогда, кажется, Вы еще не были так милы, как в этом письме. Торжествую Ваш разрыв с Вашим "давнопрошедшим", ликую и кричу: доволен! доволен! Это ответ на Ваш милый вопрос: Довольны ли Вы?, в котором для меня звучит, может быть, независимо от Вашей воли, приятная нота. Вы питаете милую уверенность, что совершавшаяся с Вами перемена больше представляет радости для

меня, чем для Вас. И это верно. Я радехонек, что в Вашем сердце образовалась пустота и, так как жизнь не любит пустоты, она, как вода, встретив пустоту, если не зальется, то просочится в нее, – я не могу удержаться от дерзкой мысли юркнуть в эту пустоту и расположиться там по-домашнему. Но, судя по опыту прежних лет, Вы меня туда не пустите. Последует неприятный окрик.

Впрочем, все Ваше письмо внушает мне мысль, что Вы смотрите на этот инцидент, как на мое личное дело, т.е. на дело, которое и меня касается в сильной степени. И в самом деле, это очень до меня касается. Я очень не любил этого Вашего, как Вы его называете, "смертного бога". Не любил его потому, что вообще неприятный для меня тип, а главное, должен признаться, потому, что он был мой соперник. Он осквернил Ваше тело своим объятием. И каждое резкое выражение Ваше, которым Вы в своем письме клеймите его, я встречал, читая, с ликующим чувством. Так сладко было читать эти строки, что мне хотелось броситься вперед и поцеловать руку богоубийцы. Вы предлагаете прислать карточку. Пришлите! Пусть довершится до конца зверское наслаждение – погляжу, торжествуя, на труп убитого соперника.

При каких это подходящих условиях могла бы наполниться пустота Вашего сердца? Меня это заинтриговало! Не откроете ли секрет Вашему другу?

Ваши два стихотворения находятся у Вяткина. Он уехал на несколько дней в Омск, до отъезда мне не удалось его видеть. Когда вернется, спрошу его. Я в редакции уже спрашивал, но другие члены редакции не знают, потому что судьба стихотворе[ни]й зависит только от Вяткина. О цене сообщить не забыл; но при слове "десять копеек" пожимают плечами. Настаивать не смею. Слишком близкий мне человек – автор!

У Елизаветы Митрофановны действительно давно не был. Она хотела ко мне захватить по первому санному пути и действительно приезжала, но меня не застала; куда-то я вышел, а я выхожу только в магазин, в котором продаются писчая бумага, чернила и клей. Дописываю «Соломона». Осталось немного, такой каприз – никуда не хочу выходить, пока не доведу рукопись до конца. И никому писем не пишу; единственное исключение для Барнаула. По этой же причине придется отложить на неделю поиски Вашей рукописи. Тут для поисков особое затруднение; она, вероятно, в бумагах, к которым

проникнуть можно, разобрав наперед баррикаду, устроенную против щенка моего хозяина, который грызет мои книги и мебель.

За карточку благодарю! И за надпись на ней также! Три раза Вы звеличали меня в письме ревнивцем. Сказал бы, постараюсь получше оправдать это звание, да нечего и стараться. Само собой это случится.

Чудесно бы, если б Вы приехали в Томск. Нельзя ли на Рождество? Почему-то после Вашего последнего письма мне особенно тоже захотелось Вас видеть. Может быть, возросла моя ревность? Может быть, это Ваше письмо разбудило мою ревность? Это даже несомненно!

Любящий Вас Г. Потанин.

№ 74

20 ноябр[я] 1908 г.

[Томск], Преображенск[ая], 6

Милая Маня.

Я только что отправил Вам письмо с возвращаемой карточкой, но снова пишу, потому что не могу удержаться от удовольствия вывести в начале письма эти милые слова. В том письме я не знал, как начать! Начать "Дорогая Марья Георгиевна" значило бы игнорировать дарованную прерогативу, а начать "дорогая Маня" и потом вдруг неприятное известие о судьбе стихотворений – диссонанс. Поэтому я начал письмо без титула и только в конце письма немного потрубил в трубы и поколотил в литавры, чтобы отметить праздничное настроение.

Литавры еще гремят в душе, впечатление еще не прошло, и я не мог удержаться, чтоб в догонку за первым письмом, в котором как будто событию было мало дано труб и литавр, не послать другое. Ведь это эра! Демаркационная линия в истории нашей любви! Мы будем говорить: "Это было до Мани!" "Это было после Мани!" "Марья Георгиевна" и "Маня" это два совсем разных человека. Что можно проделать с Маней, какие слова сказать ей, какие откровенные мысли передать, того перед "дорогой Марьей Георгиевной" ни, ни! Право называть Вас Маней я приобрел год назад, но тогда это вышло иначе; тогда я первый заговорил о разрешении этого титула. Меня стало удивлять, что Елиз[авета] Митрофановна называет Вас Маней, а я не смею, хотя между мною и Вами произошел такой интимный разговор, который давал на это право. И я заметил, что у себя дома в своих мыслях я уже называю Вас Маней что "дорогая Марья Георгиевна" в моих представлениях давно уже изменилась в

"милую Маню", так что недоставало только санкции с Вашей стороны, и санкция была дарована.

На этот раз инициатива принадлежит Вам. Вы почувствовали голод по той дружбе, которую я питал к Вам, Вам захотелось, чтобы старый друг опять приблизился к Вам на расстояние, на котором прежде находился, но старый друг оказывается неповоротливым, он медленно поворачивается, боится, как бы не крикнули: "нельзя!", и робеет, не решается встать на ступень близости, на которой прежде стоял. Вы подсадили его.

Вы помните, как мое счастье в ту первую эпоху было скоротечно. Немного я поцарствовал. Только я написал первое письмо с началом: "Милая Маня", как получил такой разнос за "бессмысленные мечтания", что не только не осмелился ответное письмо начать Мани-фестацией, но даже, если не ошибаюсь, и "Дорогая Мария Георгиевна" не вытанцовывалось. А ведь "бессмысленные мечтания" не исчезли из моей души; они несокрушимы и неискоренимы. И Вы это знаете. Я сужу об этом по Вашим последним письмам, в которых Вы называете меня "неисправимым влюбленным стариком". Еще милее в другом письме, где Вы говорите, что "однако, Вы не налагаете veto на мой (разумей "беспутный") язык". И все-таки Ваше письмо закончено Мани-фестацией. Нет Маня не только не Марья Георгиевна, но Маня второй манифестации не похожа на Маню первой.

Эта последняя манифестация вздернула мои чувства так высоко, чуть не на высоту, где сидит неподвижно Полярная звезда. Невозможно не реагировать соответствующей жестикуляцией. Я протягиваю к Вам руки, хочу обнять Вас и немного подушить в своих объятиях. Но Вы, кажется, уже кричите: "нельзя, нельзя, нельзя!" Погодите, погодите. Ведь это еще не в самом деле, ведь это только в письме! Ведь Вас не убудет, если я Вас немножко подушу и пожулькаю в своих руках, а для меня это душевное успокоение, разрешительный аккорд, приведение в равновесие поднявшейся волны. Ведь надо же дать исход моему взбудораженному чувству, надо дать возможность разрешиться хоть в какой-нибудь, хотя бы и небольшой механической работе моим напряженным мускулам и нервам, которые переполнены и дрожат любовью к этой женщине Маничке.

Маня, дорогой дружок! Неужели Вы опять рассердились?

Г. Потанин.

Милая Маня.

Сегодня утром получил Ваше письмо, прочел, потом сбегал по делам (к профессорам Соболеву и Зубашеву), забежал к Елизавете Митрофановне, пообедал у нее и вот дома при свете лампы пишу Вам письмо – исполняю Ваше желание, спешу ответить.

Елизавету Митрофановну действительно во все время болезни до сего дня я не видел: сегодня я вышел из дома первый раз после болезни. Но ей в это время было не до меня; у них в доме случилось неприятное происшествие; квартировавший у них студент убил свою даму. Это так сильно подействовало на всех, что все перетревожились; Ив[ан] Сав[ельевич] был ошеломлен и, как стоял, так и остался на некоторое время на месте, не двигаясь. Елиз[авету] Митрофановну увезли в другой дом и боялись, чтобы с ней не было нервной горячки. Теперь она оправилась и только было сегодня собиралась навестить меня, но я предупредил ее.

Вам ужасно осторожно надо писать. Вы уже заволновались от преувеличений. Теперь я уже выздоровел, да и болезнь была пустая – инфлюенция. Остался только страх перед холодом; когда выхожу на воздух, испытываю некоторую тревогу. Да голос еще остается глухой. А то ничего.

Три дня я пролежал под одеялом. Были боли, кашель, насморк. То в уши начнет кто-то стрелять из пулеметов, то глаза будто начнут пухнуть и лезти на лоб, то в животе две армии секутся мечами и саблями. Не то, чтоб эти боли были невыносимы и вызывали большой страх, нет. Было только очень досадно, что трудовая жизнь вдруг была прервана. Была апатия, писать не хотелось, читать много тоже было нельзя – начиналось и усиливалось головокружение. Но явился доктор (у нас с Елиз[аветой] Митроф[ановной] один – г. Боровков) и начал меня шпиговать ядами, кодеином и орехом *copici* до такой степени, что я начал ощущать, что слюна моя, наконец, становится ядовитой, и я приобретаю самочувствие змеи. На четвертый день я встал и оделся; в этот день "лучшие люди" томск[ого] общества сделали мне овацию; меня посетили ректор университета, бывший директор технол[огического] института, редактор "Сиб[ирской] жизни" и другие все такие почтенные лица, но после этого визита и до сего дня не было никого. Обиднее всего, что я должен был убедиться, что

у меня друзей среди женщин (за исключением Елиз[аветы] Митр[офановны], смягчающие обстоятельства в пользу которой приведены выше), совсем нет. Надо Вам, однако, сказать, что я не был уж так совершенно одинок, как, по-видимому, Вы это представляете. За мной ухаживала хозяйка квартиры; она-то и придвигала стакан к моей кровати. И вот, приходя в умиление от этого внимания, я и написал фразу: "Блажен, кто имеет друга..." В письме слово друг не было подчеркнуто, а надо было подчеркнуть. Я был благодарен руке, придвигавшей ко мне стакан, но это не была рука друга, это была рука хорошего человека, исполнявшего христианскую обязанность, не больше этого. И поэтому в моей фразе все-таки заключается тоска по другу. Должен сознаться, что тогда мне иногда хотелось, чтоб это была Ваша рука, но тогда я был малодушен, был уничижен болезнью, чувствував себя маленьким и несчастным. Теперь же, когда я выздоровел, мне стыдно, что мне хотелось видеть Вас в такой низкой роли. Ужасно совестно, что такая легкая трехдневная болезнь наделала такой тревоги и вызвала в Вас альтруистические порывы, не соответствующие ничтожеству события. Оставим скучное прошлое; мне давно уже хочется перейти к прекрасному настоящему, которое Вы для меня создаете. Какие письма, какой энергетический строй, какое аллегро! Вы жалуете меня званием "соперника прежнего Вашего бога". Горжусь и чванюсь, с закинутой головой прохаживаюсь по комнате. Прежде Вы меня не осчастливливали такими письмами; разве одну "жемчужинку" выудишь в целом письме, а теперь чуть не с первой и до последней строки такая лирика, которая прямо идет в сердце. Вы представляете дело так, будто моя дружба к Вам доставляет равновесие Вашей духовной жизни. Вы наслаждаетесь этим даром судьбы и "благодарите ее за него". Так вот какое значение Вы стали придавать мне в последнее время. Как бы хотелось оправдать Ваши слова!

"Маня" выскочило из-под Вашего пера неожиданно для Вас самих; его подсунило под Ваше перо Ваше подпознавательное я. Эти капризы Вашего дружелюбно настроенного инстинкта мне нравятся, они восхищают меня! А у самого у меня проявления животного инстинкта не бывают так грациозны, как у Вас, и это шокирует Вас. Может быть, мне достанется за предыдущее письмо. Но Вы простите мне, если иногда я разнуздаюсь. Буду стараться держать в дисциплине свой эгоизм, буду довольствоваться только тем счастьем, ко-

торое Вы согласитесь мне дать, не буду требовать того, чего Вы не захотите дать. Да придет царствие Ваше и да будет воля Ваша!

Может быть, на берегу "глубокой и спокойной реки", идущей в полных берегах (скажите, куда эта река впадает и куда она принесет эту ладью?), я буду стоять иногда голодный (помните – ночь, ворота, прощанье, я схватил Вашу руку и поднес куда следует, а Вы, хотя немного противодействовали, но сказали: "Наголодались!"), и все-таки даю зарок не протестовать. Да, потерплю и голод во имя любви к Мане!

Вы говорите, между нами нет ничего неясного, недосказанного; в значительной степени это правда; многое мы сделали своей откровенностью ясным друг для друга, многое мы досказали (даже и то, что было досказано в Вашем письме, которое Вы безжалостно приказали уничтожить). А то, что было недоговорено, то было понято без слов. Что оставалось невысказанным в Вашей мысли, таинственными путями общения прочло в Вашей душе мое подпознавательное я, а Ваше подпознавательное я равным образом читаю то, что бродило в моей душе. Я понял, я знаю, чем голодны Вы, Вы отлично знаете, чем голоден я! В области откровенных признаний мы дошли до пределов; дальше идти некуда. Все открыто. Наши тела покрыты юбками и кофтами, панталонами и сюртуками, но наши души стоят друг против друга обнаженные.

Но вот Вы выдали мне диплом на соперника павшего бога. Теми ли же правами облакаете Вы его, какими облакаю я? Мой эгоизм не увлекает ли меня расширять эти права более, чем Вы бы желали?

Никогда еще, милая Маня, признайтесь, Вы с такою решимостью не шли навстречу мне, как в настоящее время! Никогда меня не баловали так! Вы даровали мне звание соперник, при том, оказывается, я соперник покровительствуемый и поощряемый! Никогда Вы не баловали меня такой частой перепиской! Какие-то новые признания прочту я в следующем письме? Теперь на очереди свидание. Ох, как хочется увидеться! Елизавет[е] Митрофановне понравилась Ваша мысль приехать на Рождество; она говорит, – приютила бы Вас у себя. Вам было бы интересно побывать в Томске на зимних праздниках, посмотрели бы выставку Базановой, услышали бы прекрасные хоры Цветкова, побывали бы на симфоническом концерте. Вы бы сидели в профиль к своему соседу и чувствовали бы удовольствие от сознания, что сосед Ваш любитесь Вашим личиком точь-в-точь, как на заседании в Союзе писателей в Петербурге. Я даже ду-

мал половину дорожных расходов взять на себя. Но, во-первых, убийственная езда на лошадях в зимний мороз и потом каких-нибудь только два, три дня пребывания в Томске, так что не успеешь и облизнуться. Нет, лучше потерпим до лета, а тогда я уже отведу свою душу. Буду смотреть, смотреть и смотреть на Вас, буду, как тень, ходить за Вами, Вы по магазинам, я по магазинам, Вы на кладбище, я на кладбище. Постараюсь, чтоб все мои органы чувств, зрения, слуха, вкуса, обоняния и осязания пресытились впечатлениями Вашего тела. Смотреть, так смотреть, чтоб видеть не только то, что видно в глазах, но и то, что скрывается за глазами. И т.д.

Никогда еще, милая Маня, Вы не были мне так прелестны, как в последнем письме! Никогда я еще не ожидал такого удовольствия, как от ожидаемого свидания. Каждую ночь, ложась в кровать, буду предаваться мечтам о барнаульском блаженстве.

Ваши стихотворения мне понравились. "Тройка" хорошенькое, но легонькое. Особенно хорошо "Слово". Это тема из области, в которую Вы редко заходите. Может быть, с этого момента Вы чаще будете заглядывать в эту серьезную область общественно-философских вопросов. Ваша поэзия здоровая. Это тип додекадентской поэзии, к которой нас приучили Пушкин, Лермонтов, Гете, Гейне. Ваше "Слово" на неделе покажу Вяткину.

У Томашкевича есть, кажется, два негатива. На одном я изображен в Рембрандтовском свете, с скрещенными руками на груди по-наполеоновски, в осанке "соперника" или даже скорее "победителя поверженного бога". Томашкевичу этот снимок не нравится; мало соответствует действительности; он говорит, что в таком ухарском свете снимаются только дамы полусвета. На другом негативе портрет вышел ехидно-правдиво, лоб покрыт скульптурой густых морщин, щеки впали, вместо шевелюры – волосики, борода обдерганная. Томашкевич предпочитает этот снимок; он говорит, что на нем я будто бы имею вид вдохновенного Аполлона, конечно, не из античного мира, а Аполлона шаманского. Он уверяет, что если на подлинник набросить шаманский плащ и на голову надеть шаманский головной убор, то он сейчас же наитием свыше пустится в пляс, начнет бить артистически в бубен и прорицать. Так Вам которую же попросить?

"Соломон" – диссертация в 10 печатных листов. Как же Вас познакомить с нею? Разве вкратце изложить на двух листиках почтовой бумаги? Не будет ли это Вам скучно читать? Кроме того, теперь на-

строение изменилось – "Соломон" заброшен и излагать его нет охоты, а вот все писал бы письма Вам да получал и читал Ваши. Жму Вашу руку и буду ждать ответа, с которым, конечно, не замедлите.

Гордо подняв голову, подписываюсь:

Соперник поверженного бога.

№ 76

5 дек[абря] 1908 г.

[Томск]. Преображ[енская], 6

Всякий раз после отправления к Вам, милая Маня, письма, я боюсь, не покажутся ли некоторые фразы нескромными, оскорбляющими целомудрие, или дерзкими посягательствами, и со страхом ждал ответного письма, но, слава Богу, Вы разрешили "тискать" и мне легче – мне не угрожает теперь прекращение переписки, а если иногда Вы оттаскаете меня за волосы, не беда, помиримся.

Но только в письмах! Я с этим хотя не мирюсь, но охотно этому подчиняюсь. И в молодости я не имел шансов на завоевания среди женщин, а теперь и подавно. Когда мне было 60 лет, Манассеин сказал, что у меня сердце 17-летнего юноши. Я думаю, что у меня внутренности самые красивые, потому что они целы и здоровы; но здоровое дерево покрыто корою в трещинах, так и роговой панцирь у человека не отвечает свежему виду внутренностей. Но после последней болезни как будто старость проникла и внутрь тела. После болезни осталось ощущение, как будто горло, нос и, может быть, жилы уже не трубки, стенки которых состоят из сокращающихся тканей, а простые дудки, выточенные из дерева, вроде лесных дудок – знаете пучки, дети едят, – которые татары называют курай и которые осенью стоят сухие, уже не подают соков на вершину растения, отчего и листья, и цветы, и семена опадают. Тогда башкиры срезают такой стебель, делают недалеко от одного конца две дырочки, называют такой инструмент курай, другой конец вставляют в зубы и артистически высвистывают на нем свои башкирские мелодии. Вот, кажется, и я превратился в такую дудку, годную только для насвистывания. И в самом деле, я свои *evige lieder* (*Гейне*. О твоих чудных глазках я целую уйму "вечных песен" (*evige lieder*) создал. Мало тебе этого, милая?) в честь хорошенькой Мани высвистываю, кажется, тоже артистически? По крайней мере, Маня слушает их с удовольствием, как о том сама сознается.

Припомнив свои года, я делаюсь скромнее в своих желаниях и не предъявляю претензий на тисканье в действительности. Вы учите меня, что такая действительность была бы неудобна для нас обоих. Хотя не могу создать конкретных представлений по поводу Вашей фразы (у Островского старшая сестра говорит младшей: "Ты целуешься с молодым человеком. Это неловко!" младшая отвечает: "Напротив, очень ловко!"), но я прислушиваюсь к Вашему увещанию и к своей собственной совести и сочиняю инструкцию, как мне вести себя в "действительности", инструкцию, которую Вы можете только одобрить. Но это программа кабинета, а исполняет программу жизнь и всегда разбивает ее вдребезги. Буду бороться, конечно, со своими инстинктами.

Вы предвидите, что я буду недоволен тем, что тискать можно только в письмах. Вот видите, Вы уже знаете, что в историю непременно вмешаются мои инстинкты. И я должен сказать, что я действительно недоволен. И огорчен. "Тогда, Вы говорите, и я огорчена таким ответом!" Что ж, пусть Вы будете мной огорчены. "Беспощадная правда все-таки лучше, чем блуждать в потемках!" И несмотря на такое рассуждение, Вы все-таки привлекаете своего друга к сердцу... И вот мы стоим сердце к сердцу, а между тем Вы меня огорчили, а я Вас огорчил. Вот какие смешные положения создает жизнь.

А вот это еще удивительнее. Вы о моем сопернике можете говорить только с гадливостью, а какая мне цена на свете, я могу судить по тому, что Вы меня называете другом, и в моей дружбе видите дар судьбы, которым наслаждаетесь. Справедливо ли это? Может ли это не огорчать меня? Он обнимал Ваш стан с Вашего позволения в действительности, а я могу обнять Вас только в письме.

Становлюсь на колени и молюсь Господу Богу: Боже! Вынь у меня сердце, которое я считал лучшим твоим даром, и дай мне другое, наполненное скверной и нечистотами, возьми мою душу и дай другую, предательскую, подлую, пресмыкающуюся, сделай меня минским Шмидтом, который продавал планы крепостей иностранному государству, сделай меня губернским донжуаном, который лишал девиц девственности и пускал их с прижитыми детьми голодной смертью умирать, сделай меня предателем, прохвостом и бесстыжим человеком, но только дай мне "золотом отливающиеся светлые кудри", дай "черные и красивые тонкие брови над прекрасными темно-синими глазами", дай "длинные загнутые шелковистые черные ресницы"!

Да, я огорчен Вашим последним письмом, но в то же время я в восторге от него. Еще никогда Вы не говорили со мной таким языком. Снисходительная улыбка там, где я ждал выговор. А ведь всякий раз, когда я делал выпад, за который ждал упрека, я думал: "А чтобы Маня приветливо улыбнулась вместо выговора, ведь я бы очутился на седьмом небе". Но такая мечта казалась мне безнадежной. А Вы вот взяли да и улыбнулись. Еще бы не придти в восторг.

Маня привлекает меня к своему сердцу, а я что же? Неужели только поддаюсь привлечению инертно, как бревно, без содействия с своей стороны? Нет, я осторожно, но крепко прижимаю хрупкую Маню к своей груди.

У меня есть маленькая девочка Раечка. Когда она положит в рот ложечку с вареньем или кусочек сладкого пирожного, она зажмурит глазки и, утопая в блаженстве, протянет: "А вкусно-то как!" Мысленно представляю себя привлеченным к сердцу Мани.

А вкусно-то как!

Но ведь это вкусное блюдо только в письме. Вот я рвусь в Барнаул на свиданье. Думаю, там что-то ждет меня хорошее, лучше того, что я получаю из Барнаула здесь по почте. Тут только "в письме", а там в действительности. В Томске я глотаю ложечки с вареньем, а в Барнауле как бы, пожалуй, не получишь кукиш с маслом. Хоть бы какую-нибудь ложечку с вареньем, Маня, допустили Вы в действительности.

И совсем я не согласен с Вами, что в действительности для нас обоих будет нехорошо, что мы "мысленно" представляем себе в письмах. Напротив, "мысленно" представлять и не осуществлять – вот это нехорошо. И не только нехорошо, но даже для нас обоих очень вредно это "пленной мысли раздраженье".

Если не увижу Вяткина сегодня на симфоническом концерте, то напишу ему о гонораре по городской почте и пошлю ему "Слово", которое по содержанию и мысли мне нравится. Хороший смысл придает ему последняя пессимистическая строчка.

Г. П[отанин].

№ 77

24 дек[абря] 1908 г.
[Томск], Преображенск[ая], 6

Дорогая Маня.

Я получил сначала Ваше письмо, в котором Вы говорите, что наш эпизод кончится ничем иным, как смертью, и пока я собирался

ответить на него – пришло другое письмо с суровым выговором и, наконец, открытка с надписью: "Ах, что я сделала!" Пишу Вам коротенькое письмо, чтоб не оттягивать долее и чтобы Вы не волновались. Дня через два или три получите другое, длинное письмо, а пока успокойтесь. Хотя я Вашим письмом и огорчен, но виню в том, что я такого письма удостоился, не Вас, а себя. Я-таки порядочно перепугался, но нет худа без добра – не будь этого инцидента, разве я получил бы такую премилую открытку, разве я испытал бы такое наслаждение от возвращения "потерянного рая"? Вы опять со мной, и я доволен. Постараюсь исполнить Ваше требование, не буду касаться этого деликатного пункта.

Ваш Г. Потанин.

№ 78

26 дек[абря] 1908 г.

[Томск], Преображ[енская], 6

Дорогая Маня.

Со мной перемена в настроении и самочувствии, перемена, которой Вы будете довольны. Это случилось со мной еще до получения Вашего сердитого письма. Перед тем Вы очень кстати напомнили мне о смерти, к которой должна принести нас река жизни. Всякий животный организм имеет какие-нибудь дефекты, которые компенсируются энергией жизни и долго не дают себя чувствовать, но приходит срок и тогда можно точно определить, через сколько дней они положат конец жизни организма и в патологии можно найти страницу, в которой описаны ужасные страдания, которые будут сопровождать этот конец. Звери, говорят, предчувствуют смерть, прячутся. И мне хотелось бы перед смертью убежать в какую-нибудь пещеру, забиться в щель, чтобы наедине пережить предсмертное малодушие. Ведь это беда! Больной человек создает в комнате удушливую атмосферу, изводит домашних своими стонами и, наконец, разгоняет их своим криком. Еще бы не думать о пещере! Но я должен удалиться, чтобы не мучить других, а на самом деле не решусь этого сделать по человеческой слабости. Хотелось бы не уединения, а присутствия ласковой руки, "тепла и уюта". Мне очень хотелось поселиться в доме Елиз[аветы] Митрофановны, но денежные мои средства были всегда наперекор этому желанию, а теперь, думаю, поселиться в ее доме, это значит оказать семье такую же глупую любезность, как тот студент, который убил в их доме свою жену.

Под влиянием подобных размышлений пересматриваю все свои отношения. Самочувствие бесплотного духа! Уже не могу насвистывать тех трелей, которыми еще недавно оглашал в своих письмах к Вам. Если бы, встретившись с Вами, я стал обнимать Вас и целовать, эти объятия и поцелуи были бы для Вас совершенно не опасны. Я задумываюсь над вопросом, что же такое теперь моя любовь к Вам. Любовь требует взаимных услуг, а меня берет отчаяние – не от меня ждать услуг, а мне ждать услуг. Скоро, может быть, мне потребуется бонна, которая должна сначала сметать пыль с комода, складывать в грудочки бумаги на письменном столе, а потом поправлять подушку под моей головой и кормить меня с ложечки и бить меня, когда я буду капризничать и требовать невозможного.

Ощущение "голода" у меня исчезло, так что мне незачем теперь предпринимать предосторожности, отходить от реки прочь иногда. Не надо понимать, однако, что с этим поворотом берега реки стали для меня менее привлекательными. Меня тянет к ним! Сердце мое полно благодарностью, что в конце жизни судьба послала мне Вашу дружбу и присудила мне доканчивать земной путь при блеске солнца и при звуках труб и литавр. Пишу Вам это письмо в веселом настроении, вызванном Вашей открыткой. Эта открытка показала мне, что Вы дорожите моей дружбой. Какое наслаждение может сравниться с тем, которое испытываешь, когда любимый, милый человек, осердившись, спешит тебя, провинившегося, обласкать и пригреть у своего сердца.

Конечно, в этой истории я сильно виноват. Я теперь не помню своих выражений, вызвавших Ваш гнев, но припоминаю, что я задумывался над этим местом, которое у меня вылилось на бумагу как бы неожиданно. Не вычеркнуть ли, не переписать ли его? – я думал. И почему-то не сделал этого.

Кончилось все это, слава Богу, благополучно. Из всего этого вышел только великолепный эпизод, показавший Вас в полном блеске. Моя дерзкая фраза, вставленная в письмо, чтобы щегольнуть изобретательностью изложения, неожиданно сыграла роль пробного камня. Вы отозвались на несчастную эту фразу, как и следовало отозваться. Вы просто прелесть! И Вас следует полюбить, как благородную женщину. Сначала смелая, с риском, защита своей чести, потом прилив альтруистического чувства, жалость к побитому. Как мне выразить подъем моего чувства? Хотя я в полосе смирения, но не нахожу другого средства, как высказать желание задушить Вас в

своих объятиях. Что поделаешь? Это недостаток человеческого языка; человек животное и свои идеальные чувства выражает животными словами. Хотя я и в смирении, но не научился языку бесплотных духов.

Григ[орий] Потанин.

№ 79

*[Январь 1909 г.
Томск]*

Только собирался написать Вам запрос, милая Маня, почему так долго нет от Вас письма, не потому ли, что я опять что-нибудь ляпнул, как получил от Вас и письмо и открытку: "С Новым годом! М...я", – все, значит, благополучно и даже "объятия" пропущены цензурой.

О совместном проведении летних вакаций в каком-нибудь уголке Алтая я мечтал еще до получения Вашего письма, но не успел первый высказать это. Вы как будто предугадали мое желание и пошли ему навстречу и этой предупредительностью привели меня в восхищение. Нужно, однако, заблаговременно сговориться, когда нам съехаться, на какой срок и в каком месте.

Вы все не можете успокоиться и все еще спрашиваете, загладили ли Вы резкость своего письма; значит, Вы не удовлетворены и не успокоены моим последним письмом. Уверяю Вас, я не был оскорблен Вашим письмом, я должен был признаться, что Вы имели право на резкий тон; я был только огорчен Вашим письмом; было досадно, что я нанес Вам обиду, которая может заставить Вас отвернуться от меня. Но Вы простили мне мой грех. Полноте беспокоиться! Я верю Вам, что Вы сделаете мое будущее хорошим и вручаю Вам свою судьбу.

Вам это счастливое для меня будущее представляется в таком виде: мы оба сидим на берегу глубокой, величественно идущей реки и любимся на отражение в ней неба. Уж не русалка ли Вы? Непременно летом надо поехать на Алтай или туда, где Вы, чтобы разрешить эту загадку. Хочу непременно эти обольстительные для меня выражения: "хорошо в Ваших объятиях", "Маня не та, не прежняя, она только улыбается, когда Вы собираетесь ее тискать", не в письмах читать, а слышать из Ваших уст произнесенными тем тембром Вашего голоса, который я не могу равнодушно слышать.

Может быть, Вы меня утопите, утянете на дно этой величественной реки, но я все-таки иду за Вами. Зная мою натуру, Вы поможете мне держаться на той низкой температуре, в которой живут русалки. Ведь на чем-нибудь реальном основана народная вера в русалок. В самом деле, может быть, природа создает таких девиц, которые требуют от мужчины любви или дружбы, "но без прежних тенденций". Оне не нуждаются в этих тенденциях, совсем не нуждаются. Но Вы такая ли? Ведь Вы чувствуете голод.

Вы вводите в состав алтайской компании Лиз[авету] Митр[офанов]ну. Да, это наш общий друг, и Ваш, и мой. Как ей всегда хотелось устроить наш союз! Но как ни полезно было бы ее посредничество и в дальнейших наших сношениях, я не осмелился посвятить ее в нашу интимную жизнь, начавшуюся после возобновления нашей переписки, так что она знает только, что мы вновь переписываемся, но не знает, что Маня в сношениях со мной не та, какую была прежде. Участие ее в наших вакациях было бы и приятно, и полезно, но едва ли осуществимо; с Ив[аном] Сав[ельевичем] все чаще и чаще припадки и Елиз[авета] Митр[офановна] боится даже и в городе надолго оставлять его.

Праздники я провел иначе, чем Вы. Безумного веселья я не видел, да я его и испугался бы. Что Вы веселитесь, я этому радуюсь, хотя в то же время и ревную Вас; наверно, около Вас кавалеры, натасканные в стереотипных комплиментах, и если бы я был тут же, то, угнетенный завистью к их стереотипному остроумию, со злобой отступил бы на задний план. Хорошо, что Вы веселитесь и вертитесь в обществе, а не замыкаетесь в семье, но вот нехорошо то, что Вы ложитесь спать в 4 часа утра и делаете впрыскивания мышьяка.

Я на праздниках тоже был в толпе. Сюда приезжала из Красноярска с гимназистками преподавательница географии в ж[енской] гимназии, чтобы показать им кабинеты универ[сите]та и института. Судьба возложила на меня обязанность устроить это дело. И вот на празднике по утрам я водил эту компанию по кабинетам; профессора и их ассистенты были необыкновенно любезны, что очаровали компанию. Девицы увидели много интересных вещей и, кроме того, послушали специалистов, очень мастерски в несколько минут набросавших перед ними картину органической жизни и образования планеты. По вечерам красноярская гостя приходила ко мне и прочитывала свои записи народных заговоров и загадок и описание обрядов деревенской свадьбы. Так я возился с этой компанией, пока она не

уехала в Красноярск. А потом мое время и досуг поглощали выставки 1) томских художников и 2) Никулина, барнаульского художника. Музыки на праздниках, кроме оперетки, на которую я не хожу, не было. Она начнется после 15 января, когда вернутся из отпуска скрипач Плаксин и пианистка Анджеевская. Зато Вяткин поднес сибирскому обществу рождественский подарок – "Сибирские грезы". Я купил их, прочел и пришлю Вам. В нем много говорится о любви неземной, небесной. Я читал эти стихи одной барышне с необыкновенно широким тазом. Она сказала: "Все это он, противный, врет, как врут и все остальные поэты". Но есть у него два стихотворения, которые написаны под влиянием истинного чувства: "Болезнь греза" и "Два письма". Вяткин на праздники куда-то уехал и потому последнее Ваше стихотворение ему еще не передано.

Вот видите, мы здесь живем в мире искусства. Выработан устав Литературно-художественного общества; устав Общ[еств]а художников уже утвержден. Когда эти общества откроются, артистическ[ая] жизнь в Томске еще поднимется выше. Вот бы и Вам переселиться к нам.

Фотограф обещал напечатать карточку, вероятно, получу не ранее, как кончится выставка картин.

Ваш преданный друг Г. П[отанин].

№ 80

*16 янв[аря] 1909 г.
Т[омск], Преображенская, 6*

Милая дорогая Маня.

Если писать Вам только когда получишь письмо от Вас, то – почта так долго идет – получается большой промежуток между одним Вашим письмом и другим, за ним следующим; промежуток дней в 12–14, это слишком долго. Может случиться, что в это время налетит ураган, какая-нибудь девица сделает многозначительный жест, и сердце будет подстрелено. Чтоб это не могло случиться, мне нужно непрерывно находиться под барнаульским обаянием. Вот почему, не дождавись Вашего письма, которого жду в ответ на свое, я пишу Вам в расчете, что Вы на каждое мое письмо будете отвечать отдельно.

Конечно, землетрясения в моем сердце не случится, колокольни не закачаются, трещин в стенах не окажется; я чувствую себя очень устойчиво после того, как мне обещано хорошее будущее. Но все-таки предостерегающий гул будет возможен. Могут мелькнуть неза-

конные, подлые думки. Что тогда делать? Вы говорите: отходите временно от реки! А я думаю, что в это-то время благоразумие погонит меня к Вам. Я представляю Вас такой чистой, чем-то вроде Мадонны, и это представление поднимает меня над болотом. Вы напоминаете мне один ручей, который я видел в одном китайском городке; чистая водица его быстро катилась по белым известняковым или мраморным валунам, точно по фарфоровой тарелке. Китайки бросают в этот ручей разные кухонные остатки, огрызки капустных листов и т.п., и эти огрызки, лежащие на дне ручья, не нарушают прелести фарфорового дна. Я знаю, что у Вас есть и седалищный нерв и предстательная железа и все прочее, что полагается человеческому организму, но они у Вас действуют иначе, по-благородному. Тот же огрызок да в Вашей ручье картинка, а в моем мутном потоке огрызок так огрызок и есть. И нормально ли это, что Вы приближаете меня к себе, меня, болотное чудовище? Неужели правда, что Вам в этих объятиях хорошо?

Фотографическую карточку (беспощадно правдивую) получил от фотографа, но не знаю, как ее послать. Она широкая, пожалуй, изменится в почтовом чемодане, если послать ее в конверте, как письмо.

Объятия на бумаге разрешены, значит, бумажный поцелуй Вашей руки подавно не составляет уголовного преступления. А мне бы хотелось! Помните, как у ворот на прощанье Вы сказали мне: Наголодались! Вот и теперь наголодался. А если поцелуй руки не разрешается, то целую Ваши башмаки!

Ваш друг Г. П[отанин].

№ 81

26 января 1909 г.
Барнаул

Дорогой Друг!

Получила Ваше последнее письмо в воскресенье. Ответить тотчас же не удалось. Вчера и сегодня было много работы на службе. Итак, сажусь за письмо сегодня вечером. Постараюсь не писать на нелюбимой Вами бумаге (называется она "Успех"). На ней я пишу тогда, когда нет другой, но вот вчера нарочно купила обыкновенную, чтобы Вас не волновало вскрытие такого письма-конверта. Однако, вскрывается он весьма просто, стоит только разрезать ножом заклеенную сторону... Впрочем, довольно об этом: вижу, Вам скучно, Вы хмуритесь. Живо перехожу к другой теме. В день именин

мамы, 21 января, был день Вашего рожденья. Какое совпадение! Обнимаю Вас и целую нежно, нежно, поздравляя с 75-летним юбилеем.

Вы пишете, что живете "вовсю" общественной жизнью. Смотрите, не простудите опять своего горла, чересчур усердно бегая по томским тротуарам.

"Довольна ли я, что Вы меня любите?" Ну, да, конечно, конечно довольна! Горжусь...

День тому назад я отдала в редакцию "Барн[аульского] листка" кусочек своей прозы. Завелся теперь там новый секретарь Борис Алтайский (Вероятно, Вы читали его статьи? Пишет хорошо). Не могу решить – что за господин. Самоуверенность страшная, и судит чужие произведения весьма резко. Проза моя ему понравилась. И когда я зашла узнать, будет ли она напечатана, то он ответил, что сдал уже в набор, с большим, впрочем, сокращением. Я сказала: "Зайду в типографию – сама посмотрю". Вижу, урезал, не скупясь. В одном месте даже смысл пропал. Тут я сделала вставку, не считаясь с его мнением, а на остальное согласилась.... Может быть, это было глупо...

Мама очень жалеет, не довольна, что я позволила выкинуть красивые места и сильные фразы (это только во второй половине), первая же часть осталась нетронутой), а я не знала, могу ли положиться только на свое личное мнение: ведь я так еще неопытна по части прозы! Алтайский же (псевдоним) много и хорошо пишет, хотя его статьи совершенно в другом роде. Как жаль, что нет Вас около меня, мы поговорили бы, посоветовались... И конечно, Ваш голос был бы решающим. Если бы Вы сказали, что сокращать не следует, – не видать бы "Барн[аульскому] листку" моей прозы, как Борису Алтайскому – своих ушей! Он сказал про мою вещицу: "Это – художественная вещь. Она вам очень удалась, и лучше всех Ваших стихов вместе взятых". Я ответила, что мои и Анчарова стихотворения нравятся публике. "Да, знаю, что нравятся, – последовал ответ, – потому мы их и печатаем, но это доказывает только неразвитость вкуса публики".

Видите, какая "откровенность", чтобы не сказать больше, и... какое самомнение!.. Он предложил мне подписать свою фамилию под моей прозой. Я согласилась. Теперь уже раскаиваюсь. Тем более, что печатают у нас ужасно небрежно. Три часа сидела сегодня вечером в типографии, просматривала гранки, – ошибок тьма тьмущая! Исправляла, исправляла, а все-таки остались досадные, глупые ошибки!.. Я устала, изнервничалась.

Интересно, что Вы скажете. Чтобы Вам не искать №, приложу завтра вырезку к своему письму. Благодарю за присылку нового томского журнала. Прочсть прозы еще не удалось. Стихотворения (кроме тачаловского) не нравятся. Борис же Алтайский в восторге от стихотворения Иосифа И[ванова].

Ах, если бы здесь был какой-нибудь хороший журнал! Не льнули бы несчастные барнаульские поэты к "Листку", не мучились бы с его безграмотными, небрежными, но притязательными наборщиками, с его редакторами-сапожниками!

В томских газетах, журналах печатают гораздо добросовестнее. Там я устроюсь где-нибудь. Не могу жить без того, чтобы не писать, писать и печатать. Это становится для меня необходимым, как воздух и пища.

Ну, друг мой! Пора и спать ложиться, 12 часов ночи. Завтра ведь будни, надо в 9 быть на службе. Спокойной ночи!..

Маня.

P.S. Вчера не пришлось сдать письмо. Проза моя еще не напечатана. Забежала в типографию исправить последние ошибки, думаю, что печатание отложено до воскресенья. Сегодня не выхожу – болит голова. Спешу исправить письмо, чтобы Вы не беспокоились, долго не получая ответа. Жму Вашу руку.

№ 82

*4 февр[аля] 1909 г.
[Томск], Преображенская, 6*

Ваше последнее письмо вызвало во мне смену целого ряда настроений; я переходил от оптимистического настроения к пессимистическому и опять к оптимистическому. Одна фраза приносит мне радость бытия, другая, следующая за нею, обдает холодом. Иногда мне кажется, что письмо Ваше вносит в мою жизнь только разрушение. Конечно, я польщен Вашим доверием, которым Вы облекаете меня,веряя мне всю правду о Вашем душевном настроении. Близкое положение к Вам, в которое Вы меня ставите, приводит меня в восхищение, наполняет мое сердце благодарностью. Но оговорки и ограничения вроде недопущения "прежнего настроения", указания на мою неспособность ("не в состоянии удовлетворить") опускают в холодную ванну.

Против "противовеса" протестую елико возможно. Вы находите, что заведи я "противовес", от этого наша дружба не обеднеет и что

Вы были бы этому обогащению моей жизни рады. Что же это такое? А Вы, значит, в свою очередь заводите свой "противовес". Вы очень неправильно оцениваете то чувство, которое я питаю к Вам.

Ваше письмо разъясняет, какую позицию Вы мне назначаете. Вы мне предоставляете место только зрителя, который только наблюдает, как накапливается электричество в его друге, как приближается момент взрыва и как кто-то, пока мне не ведомый, водворяется в Вашем вакантном сердце. У меня хватит великодушия, удалившись в пустыню от этих прекрасных мест, собраться с силами, чтобы не мешать Вашему счастью, не омрачить его и благословить, но у меня недостаточно величия души, чтобы остаться зрителем всего этого в такой интимной близости к Вам, в какой я стою теперь.

Вы не чувствуете себя способной к небесной любви, вы созданы из плоти и крови. А я должен оставаться в чине ангела, хотя с годами моя человеческая кровь не иссякла. Чем более я вдумываюсь в некоторые фразы Вашего письма, тем более развивается во мне центробежное чувство. Большое испытание для меня! Я взвешиваю Ваши права на счастье и наслаждение, но не могу забыть и свои права. И тут наворачивается мысль спастись от Вас. Уйти без досады, напротив – с сердцем, благодарным до бесконечности, но уйти. Но другие строки того же письма пуше прежнего устремляют меня в Барнаул.

"Я кубок с ядом бросила в реку!"

Так начинает Ольга С. одно из своих ненапечатанных стихотворений. У меня рука не поднимается свой кубок бросить в воду. Напротив, Вы своими признаниями сделали меня счастливым носителем Вашей тайны и мне, несмотря на страх перед ожидаемой катастрофой, ничего так не хочется, как новых признаний в том же роде. Вот это и есть те губительные чары, о которых Вы говорите в письме. Поедете Вы в Алтай или нет, но я в Барнаул непременно приеду, – ведь Вы теперь такая интересная.

Но ведь это ужасно, если я верно определил позицию, которая мне предназначена у Вашего трона; в таком случае мой визит в Барнаул будет иметь значение поездки бесстрастного натуралиста, который намерен составить себе представление о женщине, превратившейся в заряженную электрическую батарею.

Эти барнаульские чары очень сильны. Кокетка Маня это знает и наслаждается последствиями применения своих сил. На мой взгляд, это грациозно, мило, но и жутко же!

Последнее Ваше стихотворение показывал Ольге Макара[овне] Самохваловой. Сказала: "Звонкий стих"! Что касается до настроения, то я не могу уловить его характер в последних Ваших стихотворениях. Сравнительно с прежними Ваши новейшие спокойнее; вместо прежнего протеста – равновесие. К лучшему или худшему – вот это пока не могу определить. Впрочем, по четырем стихотворениям нельзя судить об изменении.

На мой запрос о судьбе Ваших двух последних стихотворений г. Вяткин сказал только: "Они у редактора", т.е. у г. Малиновского. Конечно, Вяткин передал ему их с одобрительным отзывом, теперь окончательное решение постановит г. Малиновский, но он только что приехал из Петербурга, на масленице получил портфель редакции, и первый номер, просмотренный им, выйдет только послезавтра, во вторник на 1-й неделе Велик[ого] поста.

Ваш ревнивый и блаженный друг.

№ 83

7 марта 1909 г.

Т[омск]. Преображ[енская], 6

Ваше последнее письмо не устранило моего тревожного настроения. Оно благородно и тепло, но только тепло, а не горячо. Если правда, как Вы думаете о своем предыдущем письме, что оно отравлено, то оставайтесь уже отравительницей и впредь. Яд впущен, и я не могу обходиться без него; я приучился к опиуму Ваших писем, сделался неисправимым опиумопийцей, и если не жизнь, то жизненность моя поддерживается только новыми дозами опиума, т.е. Вашими "голодными" письмами. Ведь я тоже "голодный"; мне и стыдно в этом признаться, но ведь и Вы искренность, правдивость цените выше всего. И только Ваш крик о "голоде" заглушает во мне ощущения собственного голода. Этот крик Ваш греет меня, и как только он начинает ослабевать, как в последнем Вашем письме, так я начинаю мерзнуть и мереть. И потому, если не хотите быть моим убийцей, то поддавайте больше опиуму.

Недели две тому назад здесь чествовали нашу пианистку Тютрюмову. Это было на музыкальном вечере в память Шопена, любимого ее композитора. Вечер вышел сплошной овацией. Аплодисменты бесконечные. Ей поднесли адрес в дорогой папке и корзину цветов. Особенно вышло сенсационно, когда с последним аккордом рояля на сцену высыпала толпа ее учениц и на нее посыпались ле-

тучки. Эти летучки на освещенном ярко фоне сцены казались черными пятнышками. Черные пятнышки фонтаном взлетали в светлом воздухе над головой девицы и дождем падали [на] нее. Я подумал, что в публике, может быть, сидит в это время ее какой-нибудь поклонник, влюбленный в нее до смерти. Далее – я пережил чувства этого человека. В этот торжественный миг, подумал я, ему должно тело чествуемой девицы казаться священным, неприкосновенным, как святыня. Все прошлое должно исчезнуть из его думы. В этот час мой добрый гений показал мне, на какую любовь я способен иногда. Но только иногда. Такое настроение длиться долго не может. Вот какой я невыносимый человек! Только в моменты, когда Вы будете с эстрады приводить толпу в волнение и вызывать ее бурные аплодисменты, только в эти моменты Вы будете для меня такая же святыня, какую была Тютрюмова для воображаемого мною ее влюбленного поклонника.

Милая Маня! Вы бесчувственная, жестокая девушка! Сколько лет Вы меня мучаете? И только мучаете. Вы обнаруживаете свои нежные чувства только в стихах к какому-то нереальному объекту. А как поступаете Вы с реальностями? Вам нравятся мои страдания, Вы ими наслаждаетесь и Вы боитесь создать такое положение – а это от Вас зависит, – когда эти страдания могут прекратиться, потому что тогда прекратятся Ваши наслаждения моими страданиями.

Господи! Что же это за положение устроил Ты мне? И эту бесчувственную, недобрую девушку мне ужасно хочется ласкать, трепать, тербить, "тискать", замучить ласками до смерти.

Никогда ни малейшего вкуса не имел к аскетизму, всегда был приверженцем инстинкта, стихийной любви; в инстинкте вижу верное мерило жизни. Но моментами подниматься на высоту безгрешных помыслов не отказываюсь.

Ваш поклонник Г. П[отанин].

№ 84

3 апреля 1909 г.

[Томск], Преображ[енская], 6

В последнем своем открытом письме, которое я получил накануне Пасхи, Вы обещали написать после праздника большое письмо, и вот я теперь каждый день молюсь Господу Богу: "Милый Боженька, напусти на хорошенькую Маню настроение поскорее, чтоб она написала мне письмо". Жду Вашего письма!

Я теперь поддерживаю свою жизнь только чтением газет и Вашим письмом. Думаю, скоро ли вновь стряется или выплывет на поверхность русской жизни какое-нибудь дело вроде Азефа, скоро ли вновь пойдет барабанный бой по всему фронту прессы, скоро ли вновь погонят сквозь строй Столыпина с его кабинетом. Или жду письма из Барнаула: не делается ли Маня еще более "не той".

Вот скоро сам приеду к Вам. Я припоминаю, как в первый мой приезд в Барнаул из Петербурга, Вы не верили, что я заехал в Барнаул специально для свидания с Вами. Ну, теперь Вы, конечно, верите, что на этот раз я еду действительно для Вас. Впрочем, вероятно и тогда Вы не сомневались, что я ради Вас очутился в Барнауле, но если и представлялись неуверенной в этом, то только чтобы пощекотать свою самолюбие и честолюбие.

Еще в Петербурге, когда я сидел подле Вас в Союзе писателей и когда, по собственному Вашему признанию, Вы чувствовали на себе мой влюбленный взгляд, еще тогда Вы говорили про себя: "Держу пари, он придет в Барнаул".

Сейчас нахлынула на меня волна воспоминаний, и лирический водоворот, вызванный ими, мешает мне думать о постороннем. Поэтому о впечатлении, вынесенном от Ваших стихотворений, напечатанных в Барнауле, оставляю до другого, более прозаического письма, до более спокойного момента.

Вы ставите пределы моему чувству. Эти пределы меня мучают и я сержусь на Вас. А в одном письме, однако, Вы мне даровали свободу слова. Можно ли, например, признаться, что мне ужасно хотелось бы поцеловать в губки? Запрещается? Вот подите же! А ведь я вкусил это наслаждение у дверей в Петербурге. Вы говорите, что это случилось нечаянно. Нечаянно, или не нечаянно, все равно, а все-таки я вкус Ваших губ узнал. Очень лакомо!

В ряду остальных моих воспоминаний это последнее десерт, а десертом кончается угощение.

Г. Потанин.

[P.S.] На Фоминой схожу в редакцию и возьму Ваши стихотворения.

№ 85

*8 апр[еля] 1909 г.
Т[омск], Преображ[енская], 6*

Как И.С. Тургенев начинает одно свое письмо, и я начинаю криком: Пошады, пошады! В предыдущем письме в конце я позволил

себе по отношению к Вам такую фамильярность, которая, боюсь, Вас оскорбила. Когда я дописывал письмо, какой-то нарастающий туман все более и более окутывал мое сознание. С решимостью самоубийцы я опустил письмо в почтовую урну, и только потом через несколько дней опомнился и если при этом не почувствовал себя окончательно раздавленным, то только благодаря надежде на Ваше великодушие. Никак не могу, чтобы не сойти с предначертанных Вами рельсов, но, по крайней мере, всегда вновь вступить на рельсы, и это, может быть, Вы примете во внимание.

Хирург, снимающий катаракт с глаза, срывает иглой помутневшую оболочку или мешочек с хрусталика, в котором он лежит, старается погрузить этот мешочек на дно глазной коробки, скомкивает его, затутуркивает как можно глубже в зауртье глазной коробки, и некоторое время глаз чист. Но мешочек постепенно расправляет свои стенки, выныривает и нахлобучивается на хрусталик, словом, занимает свое старое место. Эгоистическое начало, делающее помыслы мутными, я стараюсь скомкать и куда-то затутуркать глубоко, но оно нет-нет, да и выскочит наружу.

Пожалуйста, простите и придите ко мне ласковой Маней.

Г. П.[отанин].

№ 86

12 июня 1909 г.

Чарышская пристань

Милая Маня! Взялся за перо скорее, чем Вы думали, пользуюсь остановкой у Легостаева, чтобы написать хотя бы несколько первых строк. Большую часть времени до настоящей минуты спал, утомленный напряжением, с которым переживал барнаульские дни. Давно я не переживал такого блаженства! Вероятно, несколько дней буду не в состоянии ничего делать, ни писать, ни читать, а только буду думать о счастливых минутах, которые Вы для меня создали. Я спал и пробуждался только для того, чтобы перечислить эти блаженные моменты, повторить Ваши слова, возобновить милые картины; я не только старался составить хотя и полный, без малейшего пропуска, но голый перечень этих милых, маленьких опьяняющих событий, но и вызвать вновь их отражения в моей душе. Я несколько раз (пароход пошел, и перо прыгает) возобновлял в памяти во всей точности поданные руки, не только опьяняющую грацию этого движения, но и то вдохновение, с которым они были поданы, чтобы еще и еще переиспытать ту блаженную оторопь, которую вызвал во мне этот

неожиданный, внезапный подарок. Я припоминал слова, и главное, музыку Вашей фразы, которую Вы вслед за этим сказали: "Вот я Вам дала" и при этом у меня вновь появлялось то волнение, которое в моей душе было вызвано невольным распространением смысла этой фразы, совершившимся в моем уме.

Только четыре дня блаженства, и вот я не вижу ни этих милых рук, ни Вашей улыбки, не слышу Вашего голоса. Не вижу светлой ямочки с притягательной силой с противоположной стороны руки против локтя; не вижу шелковистой пряди волос у правого уха в виде нежного серенького облачка, отделившегося от остальной шевелюры; мне ужасно хотелось взять его в пальцы и ущемить за Ваше ухо, не потому что мне показалось это некрасиво, а просто хотелось похозяйничать над Вашими волосами. Но я не смел заикнуться о своем желании, боясь услышать неприятное "нельзя!" Слишком уж Вы в строгости держите проявления моего чувства. Только то и получаю, что вы сами соизволите дать, а мне не предоставлено ни в чем инициативы. Сколько таким образом было заморожено моих позывов Вашей суровостью. Мне было дозволено хозяйничать только над рукавами, и то только в пределах одного миллиметра.

Вас беспокоил вопрос: доволен ли я? Доволен, доволен, доволен! Хотя кульминационная точка, последняя молния блаженства, брошенная не "невзначай", а умышленно, добровольно, вышла как-то пустоцветна – Вы боялись как будто, чтоб не вышло "телеграммы с ответом", а потом все кончилось так быстро, что я не успел опомниться, – я все-таки доволен. Я был раздавлен обилием наслаждений, которыми Вы меня осыпали, наслаждениями не вымоленными, а дарованными по Вашему почину. Ценю Ваше милосердие, выразившееся в двух кофточках. Что за милые кофточки! Я никогда их не забуду и буду вечно любить. Когда Вы их износите, не бросайте, подарите мне; я буду хранить их, как драгоценные реликвии. Однако хороши и киримоно; последние открывают путь к другой ямочке, более глубокой, чем та, которая против локтя, более приспособленной и еще более таинственной и более притягательной. Вы при первой встрече вышли в красной кофточке, следовательно, еще до моего приезда в плане было пожертвование рук. Все было предусмотрено; план был вдохновлен желанием, чтобы оставить довольным.

Как хотелось бы от глубины благодарного сердца сжать Вас в своих объятиях и раздавить – это уже в который раз я Вас давлю и все только на бумаге? Как хотелось бы покрыть все Ваше тело, до

последнего уголка липучими поцелуями не в роде "холостого выстрела" 11 июня.

Но Вы уже знаете, что все те блаженные минуты, которыми Вы оставили мое пребывание в Барнауле, не в состоянии устранить те жалобы, которые Вы от меня слышали и которые Вас огорчают.

Вы в праве сказать мне, что у меня на уме только руки, ямочки против локтя, доньшки ладоней, серебро волос, и ничего о душе. Действительно, все это ненормально и нездорово. Нездорово и для тела, и для души. Когда я жил в браке с покойной женой, я не чувствовал себя в подобной атмосфере мускуса. Была и тогда эта атмосфера, но только в течение трех, четырех месяцев до венчания, пока мы переписывались, живя в двух разных городах. А как только обвенчались и поселились в одном доме, все пошло ровно, гладко, девственно. Грехопадения совершались на законном основании и это были звезды, рассеянные по девственному фону. Только после полного удовлетворения инстинкта наступает царство души вместо царства тела. Из этой чадной атмосферы, которою я окружил себя и Вас, я смотрю на то отдаленное время, как на светлую полосу моей жизни. Мой брак кажется мне даже прозаическим, филистерским, хотя и тогда я не терял изобретательности в творчестве сладострастия. Но инстинкт не захватывал меня поглощающим образом.

Может быть, до некоторой степени эта атмосфера, когда она не так густа, и имеет право на существование. Закуски, говорят, вызывают аппетит, но питаться одними закусками вредно; они расстраивают желудок. А ведь я что делаю? Подобно остяку, который опьяняет себя, глотая пуны, т.е. мухомор, на другой день, отрезвившись, уже не глотая новой дозы пун, искусственным способом вызывает опьянение, действуя на вчера проглоченные ядовитые крупички яда, – так и я, наглотавшись пун в Барнауле, оживляю их сегодня в своей памяти, хотя в руках у меня уже нет ни нежных рук, с притягательными ямочками, ни тонких точеных пальчиков. Я доволен барнаульскими днями, и вот я для своего удовольствия описываю их, купаюсь в божественных помоях и смакую их. Это щекочет мой инстинкт, щекочет и Ваш. Вы говорите, что Вы будете огорчены, если прекращу переписку, но, милая, добрая, дорогая, хорошенькая Маня, ведь я развращаю Вас. Если б это не было распутство, я не стыдился бы этих писем. А ведь мне ужасно будет неловко, если одно из них попадет к кому-нибудь, кроме Вас. И Вам пишу только потому, что уверен, что и Вы их никому не показываете, так как

Вам, вероятно, стыдно их читать. И уж такой я бесстыдный человек – не могу удержаться, чтобы не писать. Нахожу оправдание в том, что надеюсь, что процесс все-таки дойдет до своего естественного конца, и тогда воцарится девственное настроение. Эта надежда примиряет меня с жизнью. Но когда Вы огорошите меня требованием оставить надежду, я отрезвляюсь, внезапно делаюсь девственным мыслителем. Но, во-1-х, безнадежность тоже тяжелое положение, даже хуже, потому что безнадежность ведет к самоубийству, а сгущенная атмосфера чувства – только в ад; да и тот либо есть, либо нет еще; во-2-х, тогда милая Маня тает и расплывается.

С трудом одолел перелистывание Мониной тетрадки, которую Вы передали на пути к пароходу. Ни одного интимного стихотворения; все стихотворения написаны по заказу (заказывал их никто другой, а сам автор самому себе). При том в употреблении слов нет вкуса. В одном стихотворении размер требует ударение ставить на первом слоге слова ручей. Выходит "ручей". И этот "ручей" повторяется два раза. Откровенность придает стихам необыкновенную силу, а если нет откровенности, то это притворство, прикидывание. У Монины я не нашел ни одной строчки, в которой он соткровенничал бы, как это делают истинные поэты. Я не могу забыть Ваше стихотворение с наивной молитвой в храме, напоминающей мне толстовского Ростова, который на охоте молится Богу, чтобы тот погнал ему навстречу зайца. Я думаю, что Вы мне всучили тетрадку с умыслом, чтоб я сравнил с нею "Песни сибирячки", которые заставили меня влюбиться в барнаулку.

[P.S.] Адрес для писем: Онгудай, Бийск[ого] уезда, Ивану Гавриловичу Киселеву для Потанина.

Моим письмом вы, может быть, будете недовольны. Но довольны ли Вы тем, что я Вам из Бийска же, как Вы хотели, написал. В письмах из Онгудая буду домогаться сочного, продолжительного, действительного поцелуя в губы, такого, чтоб глаза выворотило у меня.

Как мне стыдно, если б Вы знали. Я тешил свои глаза красотой Ваших рук, целовал их, а в это время Ваша мама до усталости рвалась в огороде. Не следовало ли мне оставить Ваши руки и идти полоть морковь?

Голодный друг милой Мани Г. П[отанин].

19 июня 1909 г.
[Онгудай]

Всю дорогу до Онгудая думал о милой, дорогой Мане. На этой точке меня постоянно поддерживало соседство моей спутницы, модистки, с которой я в Томске уговорился ехать вместе от Барнаула и с которой мы очутились вместе только в Бийске. Я уехал из Барнаула на "Волшебнике", а она не могла сесть на него, так как он ходит только до Новониколаевска. Она села в Томске на "Кормильца", который шел днем сзади "Волшебника". "Кормилец" привез ее в Бийск, и здесь мы нашли друг друга.

Интересная девушка моя спутница. Таких неприлично высунувшихся скул я не встречал даже в Монголии; смуглая кожа на ее лице усеяна рябинками от оспы. Эти-то физические недостатки, вероятно, воспитали в ней нетребовательность к жизни. Она не молода, и все-таки одинока, но она не страдает от той жажды, которая мучит меня и Вас. По крайней мере ее жажда так укрощена мудрым сознанием, что она легко ее скрывает. Она всегда спокойна; она не знает горя; по крайней мере, она сама так говорит. У ней есть всегда заработок; есть теплая квартира, сытный стол, по крайней мере, такой, которым она довольна. В часы досуга идет в концерт, в театр или в гости, и ей больше ничего не надо. Она не прочь иметь мужа, но боится потерять независимость; в своей среде она не найдет такого мужа, который бы не поработил ее и не стал бы смотреть на ее деньги и имущество как на собственное. А потому предпочитает оставаться в девицах. Суп есть, жаркое есть, а в ласках-то она не очень-то нуждается. Воспитание в домашней мещанской среде не развило в ней потребность в нежном чувстве. Она сухо относится и к своим родителям, и своим сестрам, хотя и делится с ними своим заработком по какой-то социальной инерции, а не субъективному чувству. Если бы у нее был муж, он не мог бы ожидать от нее ничего более, как аккуратного отбывания повинности.

И у этой самой буржуазной в мире девицы есть мелкие внешние черты, которые мне напоминали Вас. Во-первых, длинные, предлинные пальцы, замечательно красивая рука, потом такая же торопливая речь и, наконец, особая выразительность в тоне, которою сопровождается конец фразы. Эти мелочи напоминали мне ежеминутно Барнаул вплоть до приезда в Онгудай, и я лишен возможности определить, на сколько дней продолжительны барнауль-

ские чары. Они так же живо чувствуются и теперь, как в последние барнаульские минуты.

Как ни старались Вы привести меня к сознанию в безнадежности, барнаульские дни сделали, что никогда еще я не жил такой надеждой, как теперь. И потому меня опять сильно тянет в Барнаул. Хотелось бы, чтоб поскорее пролетели и июнь, и июль, и чтобы опять держать в руках эти прелестные руки.

Пожалуйста, пришлите справку, во сколько листов выйдет Ваш новый сборничек, что будет стоять бумага и сколько возьмут за набор, печать и брошюровку?

В Онгудай приехал 18-го вечером, часов в 6. Сегодня пишу Вам письмо; завтра, в субботу, 20-го прием почты.

Сегодня прибыла сюда экспедиция Сапожникова; с ним его дочь и 3 студента.

Привет Агнии Евгеньевне и Александре Георгиевне.

Целую Вашу руку – теперь, кажется, позволяется?

Г[ригорий] П[отанин].

[P.S.] Адресуйте просто в Онгудай Бийск[ого] уезда Г.Н. П[отанин]ну.

№ 88

*[Июнь 1909 г.]
Барнаул*

Дорогой Григорий Николаевич!

Получила от Вас уже второе письмо, а сама все еще не собралась написать. Это не потому, чтобы не было настроения, а просто не удалось.

Первое Ваше письмо меня смутило. Когда я сделала Вам неожиданный «подарок», у меня было такое хорошее настроение, я чувствовала, что доставила человеку радость и ничуть не раскаивалась, ни на мгновенье, до того самого времени, пока не пришло это Ваше письмо. Оказалось, – разочарование. Вы не довольны, Вам мало, а данное только разжигает желание большего... Этого я, право, не ожидала. Я так хотела, чтобы Вам было у меня хорошо! Не заставляйте же меня раскаиваться в моих поступках.

Вижу: у Вас сделалось грустное лицо... Хороший мой! Простите, если я Вас огорчила, разгладьте Ваши морщины, не хмурьтесь... Вообразите, что я провела по ним своей рукой...

Вы хотите, чтобы лето прошло скорее, а я не хочу! Не потому, чтобы не желала встречи (об этом Вы не смейте и думать), а прос-

то – жаль лета! Я так его люблю!.. Зелень, солнце, цветы, птички – какая прелесть. Сколько поэзии, наслаждения жизнью!..

В прошлую субботу я ездила на лодке в Белооярск, ночевала там три ночи. Как хорошо прошло время! Воскресенье, понедельник (свободные от занятий дни) пролетели, как приятный сон. В Белооярске много знакомых. Я остановилась у m-те Выдриной. Ездили туда еще две товарки по службе, и время провели мы прекрасно. В 5-м часу утра во вторник отправились обратно в город. Чудное утро, прохладная вода. А в лодке – молодежь, жизнь и веселье! Как хорошо! Хотелось бы и в эту субботу поехать туда; немного дальше – в Зудилову, но, вероятно, не придется, за неимением денег, т.к. надо заплатить за лодку и за перевозку вещей от лодки до места остановки. Это жаль. Лодка идет в последний раз, потому, что река сильно обмелела, и в обратный путь нас долго тащили волоком (против течения); вперед же плыть было чудесно.

Вы просили написать, чтобы я навела справки насчет будущего издания. Постараюсь подобрать стихи, как только найду свободное время. Теперь, кроме службы, есть еще занятия по хозяйству, а именно: наступил сезон варки варенья; ягоды поспевают, и надо вовремя сделать запас на зиму.

Сегодня, может быть, поедем с мамой на дачу Кулева – купить шпанку. Я стараюсь, по возможности, чаще быть в поле. Надо заметить недостаток отдыха, так как нынче я не получу ведь отпуска. Но я чувствую себя пока хорошо и, говорят, хорошо выгляжу. А хотелось бы очень прокатиться на пароходе в Томск, не знаю только, удастся ли это устроить. Лизочку давно не видала, и она что-то совсем не пишет.

Хорошо ли Вам живется в Онгудае? Пишите почаще. Ваши письма для меня – радость. Может быть, на что-нибудь еще надо бы было ответить, но писем у меня под рукой нет, т.к. пишу на службе, пользуясь свободным временем. Руки мои целовать Вы можете. Отдаю их в полное Ваше распоряжение и в письмах, и в действительности; не забывайте только, что при этом должны быть «паинькой». Вы знаете, что это значит.

Ну, пока, прощайте! Желаю Вам полного успеха в литературных трудах. Посылаю Вам свое последнее стихотворение. Хотя Вы и знаете уже его, но видеть напечатанным – интереснее. Крепко жму Вашу руку, дорогой, милый друг мой.

Любящая Вас Маня.

P.S. Отчего это Вы только на бумаге так меня называете? А в действительности разве это не было бы для Вас приятно?

№ 89

25 июня 1909 г.
Онгудай

Жду от Вас с большим нетерпением письма, милая Маня. Кажется, что еще никогда мне так не хотелось иметь от Вас письмо, как в настоящее время. Хотя бы ругательное письмо, но, пожалуйста, напишите. И выговоры Ваши мне доставят блаженные часы. Это последнее я пишу, впрочем, для усиления речи, для того, чтобы скорее убедить Вас, что Ваше письмо мне необходимо. В самом же деле я жду не ругани, а привета. Ведь после "рук", которые были мне предоставлены в Барнауле, и письма будут, надо думать, особенные. В них ожидается столько же демонстрации чувства, как и в мускулах рук.

Вот доживаю в Онгудае уже до второй бани – здесь время измеряется банями – и до второй почты – почта тоже мера времени. Мне мои друзья дали просторную комнату, больше той, какую я имел в Томске, поставили в ней кровать и стол. Из десяти сказок, которые я здесь предположил переписать, одну я уже переписал. Половина комнат нашего дома занята приехавшими на лето родственниками принцепала, у которого служит мой приятель, у которого я гощу. В этой компании две пожилые дамы, имеющие уже внучек, военный полковник и девица, кончившая только что семь классов бийской гимназии. Я со своим умственным багажом этим дамам интересен в той же степени, как ведомость о приходе и расходе провьянтского магазина или годовой отчет о деятельности артиллерийского парка. Впрочем, у жизни богатый капитал и, несмотря на такую отчужденность, находятся многочисленные точки соприкосновения. Вечера напролет проходят у нас в выслушивании рассказов об удивительных качествах комнатных собачек, о их остроумии и находчивости.

В лес и на горы ни разу еще не ходил. Но здесь и во дворе можно испытывать божеское, парнасское настроение. Во-первых, как бы двор ни был тривиален, все-таки над ним опрокинут купол из такой лазури, какой никогда не увидишь над Зимним дворцом. Во-вторых, здешние дворы особенные, каких нет ни в Барнауле, ни в Томске; они всегда покрыты благородным газоном, и ранним утром Вы можете любоваться на эту мелкую мураву, сверкающую от бриллиан-

товой сыпи росы. Наконец, какое райское наслаждение медленно бродить по этому газону, когда сверху нежно моросит теплый дождь. Это, уверяю Вас, так чудесно, что я увлекаюсь желанием состязаться с барнаульскими поэтами и берусь за перо.

Хвалю Алтая творческую мощь!

Какие чудеса творит здесь теплый дощ.

Онгудайский воздух пьянит; хочется, несмотря на возраст, дурачиться, кувыраться и даже писать стихи, писать стремительно, с своеволием невзвужданного коня, умышленно нарушая версификаторские приличия, ставя рифмы вверх тормашками.

И тем не менее этот рай не рай, а ад, а рай только в Барнауле.

Так как бумага многое терпит, чего в действительности не позволяется, то я, без опасения рассердить Вас, давлю Вас в своих объятиях. Г. Потанин.

№ 90

3 июля 1909 г.

Онгудай

Получил Ваше письмо, милая Маня. Если Вы читали мне Ваше последнее стихотворение, когда я был в Барнауле, то оно скользнуло тогда мимо ушей. До такой степени Ваши руки делали меня рассеянным. Но еще до получения вырезки, вложенной в Ваше письмо, я читал его в "Барнауль[ском] листке", который мне присылают в Онгудай. С некоторыми строками мои желания не совпадают. Чтобы новые поколения жили среди более веселых звуков и ярче цветущих роз, на это вполне согласен, но усталым признать себя не могу. Я еще не утомился ни в борьбе, ни в любви и полон веры и надежды, грезы юности не считаю сном. "Нет, черт возьми, мы еще повоюем" (рядом с И.С. Тургеневым). Неужели Вы чувствуете, что Вы устали бороться, глядеть вперед и даже любить? А ведь в последнем свидании Вы сознавались, что Вам ай как хочется любить. Чем объяснить такое расхождение Вашей поэзии с Вашей действительностью.

Работа моя идет нормально. Четыре самых крупных сказки уже переписаны; остается шесть, но они значительно короче, так что половина работы уже сделана.

Компания, в которой я живу, каждый день ездит или по ягоды, или на сенокос. Я в горы не езжу и не хожу. Зачем мне в горы? То, что я переписываю, ежедневно окружает меня горами, которые и многочисленнее, и выше, величественнее. В моих сказках не один

Алтай, а иногда упоминаются три и даже девять Алтаев; и есть белые Алтай, и синие, и желтые, и черные.

Переписка дело скучное, но работаю не без удовольствия. Я захожу большой интерес в содержании этих сказок. Для широкой публики они не интересны, фабулы их не замысловаты; рассказ скучен, как хроника. Стилль варварский; напри[м]ер, вместо того, чтоб сказать: "будем жить отдельно", герои говорят: "будем жить и жить", т.е. я в одном месте жить, ты в другом месте жить. Если нужно сказать, что слушающие ждали конца сказки, то алтайский поэт выражается: "слушатели ждали рот сказочника", т.е. ждали, когда он закроется. Это интересно, конечно, только для филолога или историка первобытной поэзии, но не для широкой публики. Правда, занимает меня иногда дикая и необузданная фантазия первобытного поэта – мантия шаманки своей бахромой покрывает всю земную поверхность, от крика богатыря отламывается угол Алтая, раскапризничавшийся батыр не хочет более совершать богатырские поездки, ропщет на Бога, прогоняет богатырского коня, садится под тополем, поет и играет на струнах и семь лет не сходит с места, так что наконец обрастает мхами, лишаями, покрывается пластами гуано от слетевшихся и сбежавшихся слушать его птиц и зверей и всяким подобным житейским мусором. Картинки шокирующие, но забавные. Я страсть люблю эту дикарскую фантазию. Но все-таки и не в этом мой главный интерес, а дело в том, что мне еще ни разу не доводилось записывать сказок, столь богатых мифологическим материалом.

Мне незачем в горы, хотя в них и больше прелести, чем в окрестностях Барнаула. Сегодня я не хочу в горы. Во-первых, потому, что наши апартаменты не "полированные залы", во-вторых, что мое ухо слышит стукоток одного сердца под одной жакеткой.

Залы наши не полированные действительно, мы здесь погрязаем в житейском мусоре, который откровенно бросается нам в глаза на каждом шагу. Иду с визитом к одной знакомой; подхожу к воротам; двор окружен пряслами; может ли при этом условии воспитываться скрытный характер. Вся жизнь идет открыто для всех. Еще не переступив через подворотню, вижу на самом видном месте, на самом сибирском солнцепеке выставленную для проветривания посуду, и в этом числе детский ночной горшочек. А посреди двора сама мама, несколько не сконфуженная; и в помине нет намерения спешить поправить погрешность в житейской обстановке. Вот как мы живем в наших пряслах. Как самые богатые в мире люди, мы "живем откры-

то". Я стою на крыльце на своем дворе и вижу, как жена полицейского пристава спускается в погреб, или как доктор полет капусту с огороде. Мы не прячемся друг от друга, потому что нельзя спрятаться. У нас нет никаких секретов. Что бы у кого бы ни случилось, мы все это сейчас же знаем. Поэтому воры у нас не могут существовать; климат не позволяет. Ворованное некуда спрятать, некому продать. Такие картинки, как эта мама и эта посуда, приводят меня в восторг; они наполняют мое сердце жаждой жизни несколько не слабее, чем белоярские картины. Как будто увеличивается емкость сердца, в нем больше вмещается воздуха, чем когда оно было в Томске. Но есть случаи, когда приходится признать преимущество и за городской атмосферой. В городе я ем куриный суп или жареную телятину и мне в голову не приходит пробежать тот страдный путь, которым вкусный кусок дошел до своей голгофы, т.е. до моей тарелки. Здесь при мне ежедневно говорят о том, где достать мяса, при мне обсуждаются планы и проекты, и я присутствую при всех изменениях в развитии мясного вопроса. Когда я ем, то знаю, чей это теленок или чья курица и какие дипломатические сношения осложнили последние часы этих жертв. В городе я проглатываю куски без малейшей краски стыда; я не только не слышал предсмертного крика животного, не слышал никаких разговоров, которые бы вызывали мне картину смертной казни животного. Я не только не приказывал казнить, но даже не могу себя обвинять в том, что я своим молчанием и бездействием одобрил преступление. И потому в городе ем и не ощущаю потребности в покаянии. Здесь же я каждый день чувствую себя людоедом, чеховским "дедушкой, который все съест".

Почему я не огласил барнаульский воздух возгласом: Милая Маня? Во-первых, потому, что в письме, в котором я получил первое разрешение потреблять это имя, было мне велено не произносить этого имени при других. Если это правило требуется соблюдать и теперь, то лучше, если я не приучу свою устную речь к нему, а то, пожалуй, нечаянно при большом обществе, независимо от собственного желания, ляпнешь: Маня. Во-вторых, дисциплинарные меры и внушения, которые Вы предпринимаете в тех случаях, когда мое поведение или мои речи смущают или огорчают Вас, – поддерживают во мне сознание, что я не в праве называть Вас "Маней". В письме Вы разрешаете мне называть Вас так, а в действительности Вы не даете мне почвы для этого права. В нашем взаимовластии нет равен-

ства; я отдаю Вам себя всецело, а Вы позволяете мне владеть только частью Вас.

Мне очень хотелось назвать Вас Маней вслух, но я трусил. Я боялся, как бы не вышел диссонанс. Но я мирюсь с этим неравенством. Вы скрепили своей подписью передачу в мое распоряжение двух белых рук, и на этих руках буду основывать свое блаженство. Ведь, даже когда мысленно целую их, испытываю милое состояние. Ну, конечно, приехав в Барнаул, по крайней мере, в саду, когда будем вдвоем, буду звать Вас Маней. Попробую, – может быть, не сробею.

Письмо Ваше милое и Вы сами милая! Я пока не пропустил ни одной почты в Онгудае. С каждой пишу. За руки большое, большое спасибо.

Любящий Вас крепко Г. Потанин.

№ 91

4 июля 1909 г.
г. Барнаул

Дорогой Друг!

Кажется, Ваши последние два письма в ответах не нуждаются, – вопросов в них нет. Но зато первое письмо (вчера я его перечитала) требует кое-каких ответов и замечаний с моей стороны, хотя Вы и получили ответ на него, но не полный, это потому (кажется, я писала об этом), что письма не было у меня под рукой, когда я строчила свое. Вы пишете в нем, между прочим, "вероятно, Вам стыдно читать мои письма". Да, Вы правы, – иногда мне бывает и стыдно. Их не увидит никто, не прочтет ни строчки, в этом можете быть вполне уверены, но зачем же пишете такие вещи, которые стыдно читать? Какая цель? Вы чувствуете иначе, чем я. Вас "опьяняют" поцелуи моей руки. Я не испытываю ничего подобного, я остаюсь совершенно спокойной, по временам только чувствую удовольствие, что от меня зависит дать Вам счастливые минуты, – вот и все. Напрасно Вы предполагаете, что в программу моих поступков входило надеть клетчатую красную блузку с короткими рукавами: я просто надела ту, которая первая попала на глаза. Может быть, это внесет некоторый провал в полноту Ваших воспоминаний, но я верна правде, как и всегда.

А кстати, что означает слово "киримоно"? Переведите, пожалуйста, – я не знаю.

Ваши письма, Вы правы, доставляют мне глубокое удовольствие, иногда – наслаждение. Неужели же они меня "развращают"?!

Вы выразились так. Неужели я такая дурная? Может быть, это – бес-сознательно. Но, согласитесь, – я ведь всегда стараюсь отпарировать своими ответами, пресечь все, что есть дурного (по моему мнению) в Ваших письмах? Не значит ли это, что удовольствие я получаю от чего-то другого, что еще в них заключается. Видите – тут есть какое-то противоречие...

Вы ошиблись также, думая, что стихотворения Монины я дала Вам для сравнения с моими. Как Вы еще мало меня знаете! Ничего подобного мне и в голову не могло придти. Просто хотелось знать Ваше мнение, тем более, что самой мне многие из его стихотворений очень нравятся. Хотя и меня поражало – не отсутствие откровенности, искренности, как Вас, а отсутствие чувства любви; оно есть ведь у всех поэтов, каких я только знаю; не может быть, чтобы и Монин когда-либо его не испытал, почему же молчать о нем перед людьми, когда это чувство – самое человеческое, и признаться в нем нет ни малейшего стыда.

Ну, пока, прощайте.

Сегодня опять собираемся компанией в Белоярск.

Жму Вашу руку и жду писем.

Маня.

№ 92

10 июля 1909 г.
Онгудай

Последнее Ваше письмо, дорогая Маня, несмотря на выговор, в нем заключающийся, и упреки, вызвало во мне самые восторженные чувства. Я уже писал Вам по его поводу и еще хочу: так оно много принесло мне. Напрасно Вы так сильно упрекаете меня. Вышло у Вас, как будто я из Барнаула вывез одну только досаду, полную неудовлетворенность. Нет, я еще не чувствовал никогда себя таким очастливленным. Вплоть до Онгудая в моей душе был звон во все колокола. Судить по Вашим упрекам, так я совсем не восчувствовал ни "неожиданного подарка", ни протянутых рук. А между тем, все это я оценил, как следует, своим непосредственным чувством. И если, может быть, лицо мое не блистало тогда радостью, зато блистало ею мое сердце. А поданные мне две руки грезилась всю дорогу. Но что же я поделаю, когда именно это породило во мне надежду, от которой не могу уже освободиться, что Вы и еще что-нибудь с такою же решимостью протянете мне.

Не только к "подарку", не только к рукам, но и ко многому другому я отнесся не безразлично. Я чувствовал повышенное настроение, когда мы ехали на пристань вдвоем и вы просунули свою руку за мой локоть. Да и вообще не остался для меня незамеченным либерализм, с которым Вы относились ко мне при посторонней публике.

Нет, милая, не называйте меня неблагодарным. Мне хочется сесть у Ваших ног, целовать их, поставить Вашу ногу на свое темя, как сделал Пятница у Робинзона в знак благодарности за дарование жизни. В Вашей любви столько вкуса, грации, невинного милого кокетства и целомудрия, что сердце мое ликует, фантазия разбегается, находит лирическое настроение, и я делаюсь, как Вы, вероятно, сами заметили, вдохновляемый любовью – делаюсь плодовитым писателем, не просто писателем, а "любимым писателем Мани". Крестьяне Алтай изобрели гуманный и благовоспитанный "травничок"; мы здесь каждый вечер выпиваем по стаканчику, но этот "травничок" далеко так не опьяняет, как та чара с напитком, которую Вы подносите.

А что я чувствую некоторое неудовлетворение, так что же? Это ведь крошечное чувствованьице, которое тонет в громадном чувстве удовлетворения вообще.

Касательно разжигания Вы судите не совсем правильно. Не разрешения разжигают, а запрещения. Вот мне разрешено только в ямочку под локтем, а далее ни, ни! И что же, ай-яй, как хочется поцеловать подмышку. Система запрещений – ложная политика, и они создают только вожделения, которых не бывает в шаблонных романах, лишенных изобретательности.

Кто любовался на Чемал, разве дурно, если он захочет проникнуть в Центральный Алтай? Ведь последний гораздо романтичнее Чемала.

Вы хотели и достигли того, чего хотели. Я убедился, что "подле Вас мне очень хорошо". Так бы я и увез Вас в Томск, чтоб Вы были постоянно подле меня, чтобы можно было каждый день пить "травничок" из ямочки под локтем.

Вы думаете, что то, что случилось с моими губами в день, который вследствие этого сделался самым солнечным в моей жизни, разожгло мою страсть. (Мимоходом прибавлю к тому, что по этому поводу сказано в прошлых письмах – "хладный ум", конечно, в восхищении от того, что это было, так сказать, "приведенное в исполнение постановление", а не вроде сомнительного поступка в дверях в Петер-

бурге). Желание перешагнуть за ямочку под локтем, перейти через все Ваши рубиконы – давнишнее мое желание, появившееся задолго до этого солнечного дня (Вы должны быть мне благодарны, что все эти мои желания только желаниями и остаются, как пожелания 3-й Государственной Думы). Пуще всего меня разнеживает (св. Макарий египетский сказал бы, может быть, – деморализует. Бог с ним!) то, что Вы видите меня насквозь. Вы необыкновенно проницательны и чутки. Вместе с пророком взываю: "Куда бегу от лица Твоего" с моими помыслами. Я живу и двигаюсь пред Вашими глазами, как онгудаец в своих пряслах. Вы по моим глазам узнаете, когда я в приливе, когда в отливе, Ваше зрение проникает во все зауторы моей души и моей мысли. Вы меня знаете насквозь, и я знаю, что Вы знаете все мои "бессмысленные мечтания" и что осуждаете меня за то, что неладно мыслю. И опять – Вы знаете, что я знаю, что Вы все знаете, знаете также, что неладно мыслить доставляет мне удовольствие, и что я не исправим, и все-таки Вы милостивы ко мне; я злоупотребляю Вашим милосердием и Вы все-таки милостивы к нахалу. Вы прощаете мою человечинную натуру, и так тепло на душе от этой Вашей снисходительности. Я благословляю Вас, целую Вас. Радость, которая тогда наполняет душу, есть радость сознания, что возле тебя существует "милостивый бог". Слава Богу, есть еще на земле боги.

Милая моя, солнце мое! Еще раз возвращаюсь к Вашему прелестному, незабвенному стихотворению "В храме". Толпа молящихся, которая "различнозанята", как у Тютчева. В толпе девочка; если бы толпа узнала содержание молитвы девочки, она сгорела бы от стыда. Она конфузится своих соседей, но разве она ответственна за те желания, которые родились в ее сердце? И без всякого конфуза она обращается с просьбой к Тому, для которого нет ни заборов, ни стенок грудных клеток, для которых весь мир живет в пряслах, как онгудайцы, который смотрит на вселенную через большие рентгеновские очки. Что за прелесть эта девочка! Так бы сейчас же и расцеловал ее, сейчас же дал бы ей то, чего ей хочется! Я применяю это стихотворение к себе; на месте просительницы, вверяющей свой стыд верному другу Богу, я ставлю себя, а Бог в рентгеновских очках это Вы. Слава Богу, что есть еще на земле боги.

"Отчего Вы называете меня Маней только на бумаге? Разве в действительности это не было для Вас приятно?" Помилуйте! С каким бы удовольствием я сделал то же, что Гейне: вырвал бы сосну на Алтае, обмакнул ее в лаву и огненными буквами написал на небе:

Маня, я вас люблю. Или бы в Вашем саду прокричал эти слова на всю Пушкинскую улицу. Я бы желал расславить на весь мир, что "Маня – моя!" Пусть все знают, что Манины руки отданы "в мое полное распоряжение" (подлинные слова Вашего письма). Ведь эта привилегия - гордость моя.

Позволяется Вам томить меня молчанием только две недели; с сегодняшней почтой (почта приходит сюда по пятницам) я не жду от Вас письма, но в следующую пятницу буду ждать с остервенением.

Любящий Вас Г. Потанин.

№ 93

10 июля 1909 г.

г. Барнаул

Дорогой Григорий Николаевич!

Наши взгляды на мое предпоследнее (у меня есть уже новое) стихотворение расходятся. Вы себя не признаете усталым – и прекрасно! Вы надеетесь, что грезы юности – не сон, и, может быть, могли бы для Вас и теперь осуществиться? Рада за Вас. Для меня же стихотворение совсем не идет в разлад с суровой правдой жизни. Сны прошлого, счастье первой, захватывающей все мое существо, любви – это уже невооразвратимо! Да, жить я хочу, хочу и любить, но разве то чувство может когда-либо повториться? Оно невооразвратно, как далекая юность, как ее чистые, лучезарные грезы, как ее светлая вера в жизнь и людей!.. Так любить я уже никого не могу и никогда не буду... Мне нечем так полюбить!.. Не сожалеть же об этом, не грустить я также не могу, не перестану до самой смерти возвращаться, хоть изредка, к воспоминанию прошлого и думать, что "мое" счастье прошло только мимо меня, а я, глупая девочка, не сумела схватить его вовремя и удержать крепко, крепко, чтобы никто в целом мире не мог, не смел его у меня отнять!.. Я вечно буду жалеть об этом... Как знать? Явись мой кумир немного позднее, года на три, напр[имер], на горизонте моей жизни, – я поступила, может быть, совсем иначе... Иногда мне говорят: "это к лучшему. Вы недолго были бы счастливы с ним". А я отвечаю на это: что же такое? Хоть час – да мой! Знаете, мне кажется иногда, что если бы вот теперь, сейчас явился бы он, с раскаянием, прося простить за прошлые страдания, – я едва ли бы устояла... Да нет! Я бы и не устояла. Я просто обхватила бы его шею руками и уж никому, никому во всем мире не отдала бы его!.. Но я не знаю, как он думает... любит ли он еще? Вот

причина, что и я не люблю и ищу, и жду какой-то другой любви, которая все равно не заполнит ведь пустоты моей жизни!.. Слушая любовные признания, я обыкновенно думаю: Ах, зачем, зачем это не "он"?!

На днях познакомилась с Вяткиным. Мне телефонировали из редакции "Барн[аульского] листка", что приехал молодой поэт, который желает познакомиться со мной, и звали в редакцию пить чай. Но это было в служебное время, и я не смогла уволиться, т[ак] как накануне (во вторник) не была на службе и уходить снова было неудобно. Я предложила Вяткину зайти в Управление. Вскоре он и явился ко мне с Курским. (Гри [зачеркнуто]). (Как я привыкла писать Ваше имя) Георгий Андреевич производит симпатичное впечатление, только он имел тогда какой-то усталый вид. Мы поменялись сборниками своих стихотворений. (Хотя я имею уже "Грезы Севера" от Вас, но не могла отказаться от книжки с факсимиле автора). Потом я отправилась на пароход проводить Вяткина, встретила там Паньшина и вместе с последним вернулась домой (Григорий [зачеркнуто]) (Ну, опять!) Георгий Андреевич поехал ненадолго в с[ело] Красный Яр, а оттуда хочет опять вернуться в Барнаул, чтобы "лучше познакомиться с городом", как он сказал. Приедет на будущей неделе, придет ко мне. Он предложил кататься с ним верхом, чему я очень рада, т[ак] к[ак] люблю верховую езду, а кавалера у меня не было, и потому нынешним летом я ни разу не могла доставить себе этого удовольствия.

Говорили о буд[ущем] сборнике стихотворений, в пользу учащихся сибиряков. Он выйдет, "вероятно", осенью. Туда Вяткин просил моих стихотворений. Обещала. Также сказал, что двери редакции издаваемого в Томске студентами журнала "Молодая Сибирь" для меня открыты. Это, положим, – без гонорара, но ведь я за ним не всегда гоняюсь.

Ну, пока, до свидания, мой дорогой друг. Протягиваю Вам обе руки.

Маня.

№ 94

16 июля 1909 г.
Онгудай

Дорогая Маня!

Я предполагал, что я буду писать Вам каждую неделю, т.е. с каждой почтой, а Вы будете писать через две недели, но был приятно

удивлен, когда, получив от Вас письмо в пятницу, в следующую же пятницу получил второе Ваше письмо. Впрочем, как только распечатал это последнее письмо, ликование сменилось смущением; хотя и в предыдущем письме было немало высказано Вами порицаний мне, но все-таки в нем среди тучек было немало рассеяно и ласковых спектров, а в последнем письме одни только розги.

Последнее Ваше письмо форменное дознание, настоящее судебное следствие. Подсудимый! Объясните, какую Вы имели цель, когда писали письма, которые и читать и писать стыдно?

Да никакой! Писал без всяких расчетов достигнуть каких-нибудь результатов, подчиняясь единственно животному вдохновению. Писали нервы, а не я. А если я приходил в сознание отрицательного веса этих речей, то ведь это делалось *post factum*. Я не нахожу никаких доводов для своего оправдания, никаких смягчающих обстоятельств, сознаю, что я не паинька и когда получу пук Ваших упреков, то меня охватывает такой ужас, что сердце превращается в сплошной гренландский глетчер. Охватывает страх, что Вы от меня совсем отвернетесь.

Верю, что клетчатая кофточка не входила в Вашу программу, и радуюсь тому, что моим союзником и покровителем является, таким образом, сам Бог, но для меня было бы лучше, если б Вы были великодушнее Бога. "Киримоно" это особый покрой платья, в своем роде японское декольте; более точное определение когда-нибудь сообщу после, а теперь, я надеюсь, Вы избавите меня от него с удовольствием. После Вашего письма я в настроении "паиньки", как Вы выражаетесь, и мне не хотелось бы испортить это письмо каким-нибудь кляксом.

И такого даже разлета у меня в уме не было, чтобы поставить Вам в известность, с каким дурным человеком Вы имеете дело. Предупредить человека благородное дело, но и этого великодушия не было. Может быть, было наоборот – желание утаить шило в мешке. А ведь все-таки хорошо, что Вы знаете, что Ваш друг не совсем-то паинька. Я надеюсь, что Вы все-таки уверены, что он стремится быть паинькой или по крайней мере искренно желает подняться на тот светлый горизонт, на котором Вы стоите и на который Вы его зовете.

В Вашей фразе: "Неужели я такая дурная, что меня может развратить чужое влияние", я почувствовал не трепет испуганной души, а сознание богатства сил душевных и способность отпаривать

всякую грязь. Этот протест хорошей, честной души доставляет такое же эстетическое наслаждение, как свечение стихии.

Вот уж Вы напрасно приписали мне подозрение, что Вы будто бы дали мне Монины для того, чтобы вызвать сравнение с Вашими стихотворениями. И не думал подозревать. Очень может быть, что фраза была в письме построена так, что могла подать повод к подобному толкованию, но я замечаю вообще, что Вы слишком придаете значение манере выражаться. Вы, наткнувшись на сомнительную фразу, не спрашиваете себя: а может ли он, в самом деле, заподозрить меня в такой мысли? И я должен Вам возратить Вашу фразу: Вы меня мало знаете. В действительности не я Вас, а Вы меня мало знаете, коли подозреваете меня, что я могу приписывать Вам такие намерения.

Целую Ваши руки. Г. Потанин.

[P.S.] Получил Ваше письмо о Вяткине и прочее, ответчу с следующ[ей] почтой. Теперь надо письмо относить.

№ 95

23 июля 1909 г.

Онгудай

В последнем письме конец: Протягиваю Вам обе руки... для чего, недосказано, но не надо и досказывать, и я целую их и благодарю Вас. Целую мысленно, но вот немного времени пройдет, а я буду держать их в своих руках и целовать в действительности. И знаете, я об этом моменте думаю со страхом. Ведь он будет кратковременен! Томск ведь не то, что Онгудай. В Онгудае я провел эти недели спокойно. Прожить четыре недели хотя и в одиночестве, но постоянно чувствуя, что барнаульское счастье не за горами, это еще можно. Но быть в разлуке в течение всей сибирской многонедельной зимы – это будет нестерпимо. Действие, которое производят руки Мани, когда на них смотришь, это не опьянение, а что-то большее, вроде действия весеннего тепла и весеннего дождя на растительность; оно дает толчок, приводит в движение соки; после опьянения через некоторое время все приходит в прежнее положение, а тут начинается рост, процесс, материя прогрессирует и процесс кончается только со смертью или по крайней мере кончается упадком жизни. Я уверен, что если я еще проживу в Барнауле четыре дня или неделю, то эта неделя будет для меня блаженнее июньской. А потом? Подумайте, какая будет разница между этой барнаульской неделей и бесконеч-

ной томской зимой. Да нужно ли Вам объяснять, какая тут разница? Вы сами говорите, что дарите мне "невещественные подарки" потому, что знаете, что они приносят мне "счастливые минуты". Это верно, и я очень дорожу Вашими "подарками". Храню в своей памяти все не только "счастливые минуты", которые Вы доставили мне, но и "счастливые секунды" и "счастливые сотые секунд"; веду тщательный счет и записываю в гроссбух не только рубли и полтинники, но даже денежки и полушки барнаульского счастья. Но Вы протестуете против моих увлечений, хотите и стараетесь охладить их, и Ваше последнее письмо написано так, что могло бы вызвать во мне ту же жалобу, с которой Гейне обратился к одной любимой им женщине. Несмотря на его любовь, она оставалась *marmorschön und marmorkalt*, была мраморно-хороша и мраморно-холодна. На Венеру Милосскую смотреть я буду, но целовать ее каменные холодные руки считаю противоестественным и с такой же энергией протестую против своей судьбы, как грек в "Коринфской невесте" Гете. Однако руки, которые я целую, горячие и пахнут жизнью, а не могилой. И мне представляется, что этот фантом, который будто властвует над Вашим чувством в течение всей Вашей жизни, в значительной степени литературное произведение барнаульской поэтессы. Вы воплощаете в поэтическом образе Ваше душевное настроение, которое выражается в Вашей фразе, которую Вы сказали мне в июне: "Я бы нисколько не задумалась, если б Вы были моложе". Вам очень хочется любить, до такой степени, может быть, что Вы готовы выскочить из житейских правил, но Ваше несчастье, что Вас любит 75-летний зверь. У Вас нежное сердце, и Вам жаль этого зверя, потому что Вы чутки к его страданиям. Мне, как человеку, который, если не умеет мыслить как философ, то старается жить, как философ, следовало бы прекратить историю. Самой правильной биографической деталью было бы умереть теперь, но умертвить себя – непростительный поступок, а умерщвлять себя медленно (избегать, воздерживаться) не хватает способности и нравственной силы. Рассуждаю, как честный человек, как физиологический "паинька", а вот подите же, так и хочется быть пьяненьким, так и тянет в винный погреб, т.е. в Барнаул, к сорокаведерной бочке со старым токайским. И вместо того, чтоб великодушно попросить Вас: "Обратитесь ко мне спиной, плюньте на меня!", хочется сказать: "Дайте мне Ваши руки! Взбросьте Ваши руки на мои ладони, как это Вы сделали в июне, иначе сказать, попросите, чтобы я целовал их". Впрочем, Вы, конеч-

но, этот так подкупающий меня жест переводите иначе: "Ну что уж с Вами поделаешь, так и быть уж, целуйте!" Но неужели так-таки у Вас и нет другой потребности, когда Вы протягиваете мне свои руки, как только совершить акт милосердия? Неужели, когда я держу их, Вы всецело только ангел и в Вас ни капельки нет женщины? А общество чистых ангелов, ах, какое это, должно быть, скучное общество!

Для Вас в качестве моралистки будет огорчение услышать, что мне ужасно хотелось бы почувствовать в Вас хоть немножко женщину. Конечно, женщина чувствуется, когда Вы говорите, что Вам хочется любить, но когда Вы это говорите, мне кажется, что слова эти не ко мне относятся, они направлены куда-то мимо меня, как бы в небесное пространство, как будто Вы тогда разговариваете не со мной, а с вселенной.

И трудно мне будет прекратить нашу историю. Повесть наша вышла очень длинная. Был даже перерыв такой значительный, что образ Ваш настолько побледнел, т.е. потерял свою власть, что я получил способность увлекаться другими женщинами и два раза даже зашел так далеко по опасному горному карнизу нравственности, что если б меня удостоили ответом, может быть, не бывать бы барнаульскому июню. Но знаете, вероятно, когда человек забудет иностранный язык, да вновь появится практика в нем, забытые слова начнут приходить на память, то забытые и восстановленные в памяти слова внедряются в ней прочнее прежнего. Неужели еще может наступить другой перерыв? Нет, кажется, теперь ничего подобного уже не может случиться. Маня поглубже впустила корни в мое сердце, и вырвать их из моей груди можно только вместе с сердцем.

Во время перерыва Ваш образ был прикрыт толстым пластом житейского мусора, и я часто дрожал от страха, как бы эта крышка не разрылась бы и как бы Ваш образ вновь не воцарился на пьедестале, на котором царствовал, подобно тому, как явленная икона Божьей Матери – ее куда-нибудь унесут и водворят в приличном месте, более соответствующим ее святости, а она опять на старое место. Когда об Вас упоминала Елизавета Митрофановна, я отмалчивался. Но вот раз Вы спросили ее в письме, где Григ[орий] Ник[олаевич]? В Томске ли? У меня мелькнул вопрос, не выражено ли в этой фразе желание, чтоб я был в Томске. Блеснула искра, желание обнаружило свое существование, но я не дал искре сразу разгореться; однако она начала разгораться и превратилась в сильное желание

написать Вам письмо. И написал – в смысле "алтайского травника", токайского вина и других ядовитых средств – корректное письмо. И вот искра разрослась не в костер, а уже в кострище. Оказалось, что огонь под пеплом не просто тлел, а накоплял жару, и при первой новой встрече с Вами я почувствовал себя еще более, чем прежде, подготовленным, более жадным к Вашим манифестам, амнистиям и рескриптам. Да и Вас нашел более подготовленной к тому, чтобы "протянуть обе руки". Когда ночью в воротах я самовольно схватил Вашу руку и нанес ей дерзость, Вы сказали: Наголодались! и этими словами хорошо определили кульминационную точку моей подготовленности. Действительно, я был голоден. Голоден вообще. "Голоден Вами", до этих ворот я робел сказать. Теперь смею сказать: я голоден Вами!

Всеми нервами тянусь в Барнаул. Радехонек, что 1 августа на носу. Читайте мне мораль, милая Маня, сколько Вам угодно; буду клясться Вам, что буду паинька, но паинькой не буду. Чем больше будете заботиться об очищении моего мышления, тем более буду жить в подполье желаний.

1 августа думаю оставить Онгудай и выехать в Анос, где проведу не более двух дней. Большого письма не пишите, а пришлите открытку в три строчки. Я не хочу, чтобы большое Ваше письмо затерялось, и не дошли бы до меня рескрипты о пожаловании протянутых рук.

Целую руки! Целую обе! А самое Маню тискаю в объятиях. Целую руку в мысленной действительности, а тискаю в мысленной мысленности. Тискаю так крепко, что Вы кричите: ай, ай, ай! А я эти ай-ай заглушаю поцелуями. Вот какое подпольное и разнузданное воображение!

№ 96

28 июля 1909 г.
Барнаул

Дорогой Друг!

Выношу Вам приговор: «Виновен, но заслуживает снисхождения!» Так как сознание вины и желание исправиться – уже почти исправление. Скоро увидимся, не правда ли? Надеюсь, что теперь Вы подольше погостите в Барнауле. Соберемся вместе в Белоярске. Вас очень желает видеть Порфирий Николаевич Соболев, и взял с меня слово, что я и Вы приедем вместе к нему в деревню. Пишу Вам сегодня немного, простите, – совсем нет времени, на сегодняшний

день еще масса дел. Хотела даже ограничиться открыткой, да жаль было Вас огорчить. Получила известие от Вяткина. Он сюда не приедет, но приглашает меня приехать дня на два или на 3 в Томск, вместе с Вами. Мое стихот[ворение] «Эдельвейс» [Вяткин] отдал в редакцию журнала «Молодая Сибирь». Если получаете «Барн[аульский] листок», то прочтите в фельетоне № 145 «День рождения» – это моя вещица.

Крепко жму Вашу руку. До свидания!

Маня.

№ 97

30 июля 1909 г.
Онгудай

Беззаботно сидеть в Онгудае хватило меня только на один месяц. Как только кончилась письменная работа, пошли праздные дни, тотчас же началась на душе тревога. Если слышу музыку, мне кажется, что это меня оплакивают. Не следовало бы после того, как мне протянуты обе руки и проч. и проч. 1 августа постараюсь выехать. Не за горами и Барнаул, тут несколько пресчастливейших дней, а по ту сторону их – что?

Какие здесь бывают прекрасные утра. Вероятно, лучше, чем в Белоярском, а наслаждаться ими можно со своего двора, не уезжая на два дня в лодке. Я часто с большим подъемом духа по утрам хожу по двору до чая или тотчас после утреннего чая. Под ногами безукоризненный газон, над головой – "чистейшая лазурь". Атмосфера промыта только что прошедшим ливнем, лазурь не завалена мглою, под ней стоят крупные и мелкие облака, белые, как первый сорт ваты; растрепанные края их напоминают еще, что это остатки разбитой тучи; и лазурный свод над ними так чист, что на нем отлично выделяется и вырисовывается каждое волоконце небесной ваты, из которой состоят облака. Так хочется продлить эту картину и ее наблюдение, хочется славословить природу. Является ненасытность. Почему одна только такая картина? Почему не галерея картин? Или пусть одна картина, но пусть к описанным красотам прибавятся еще другие красоты, наприм[ер] пусть будут тут и ресницы, которые я люблю! И руки! Обе!

Иногда я сижу и люблюсь на эту милую природу и начинаю чувствовать, что смотрю как-то особенно, точно глаза мои наполняются какою-то жидкостью довольства. Вот Вы иногда, я заметил, смотрите как будто в какою-то несуществующую даль. Мне всегда нрави-

лись Ваши глаза в эти минуты. И вот мне кажется, что когда я чувствую в своих глазах это особое ощущение, я будто смотрю похоже на Вас; как будто я в эти моменты невольно подражаю Вам. Разумеется, если тогда посмотреть мне в глаза, ничего похожего на Ваш взгляд не увидишь. Но это вот что означает. Когда я чувствую наплыв этого удовольствия, то это удовольствие то же самое, которое я испытываю, когда вижу Ваши глаза, устремленные в несуществующую даль. Может быть, Ваш дух такое магическое действие производит на ткани моего тела, что их клетки переделываются и получают другой вид. Может быть, они были октаэдры, а теперь становятся додекаэдрами. Сам я произвольно не могу вызвать такое ощущение, но когда почувствую наплыв его, я люблю оставаться подольше в этом состоянии, стараюсь задержать его и наслаждаюсь ощущением процесса, как мои октаэдры переделываются в Манины додекаэдры. Может быть, два, три месяца этой магии, и все потанинские клетки во мне исчезнут, я весь буду состоять из тканей Маниных, и тогда-то я буду плясать по Вашей дудке. Я не буду Вас огорчать и Вам незачем будет делать мне выговоры, которые меня огорчают.

А пока до этого не дошло, я за старое дело, – беру Ваши руки, целую их и кричу: "Милая Маня!"

№ 98

[Начало августа 1909 г.]

Бийск

Я Вас просил не писать большого письма, а только коротенькую открытку; пришло три почты действительно без писем от Вас, но и открыток не было. Это жаль. Молчание Ваше вызывает тревогу. Не больны ли Вы? Или, может быть, Вы опять недовольны тоном моих писем и наказываете меня? Или, что еще хуже – может быть, на Вашем горизонте появилось новое лицо, которое меня отодвинуло на задний план?

Накануне моего отъезда из Онгудая я встал с постели утром с таким гнетущим настроением, какое испытывает только человек, пробуждающийся в день исполнения смертного приговора. Что-то ждет меня в Барнауле?

Вы, кажется, желали, чтоб я телеграфировал Вам о моем выезде из Бийска. Собираюсь выехать из Бийска в воскресенье в 10 ч[асов]. утра на пароходе "Братья Мельниковы". В день отъезда pošлю Вам

телеграмму. Не знаю, исполню ли я этим Ваше желание или я выдумал, что у Вас было такое желание.

Григ[орий] Потанин.

№ 99

4 сентября 1909 г.

Дорогой Друг!

Пишу Вам с дороги. Пользуюсь остановкой: сломалось крыло у колеса, и идет починка. Мне думается, что Вы беспокоитесь о том, как я еду, нашелся ли ключ к каюте и т.д. Может быть, я и ошибаюсь, но на всякий случай пишу. Если не удастся отправить письмо из Новониколаевска, то придется уж ему пролежать до Барнаула. По приезде тотчас пошлю.

Как я жалела, что Вы рано сошли с парохода! «Гуллет» пошел только в 12 часов. Браню себя за то, что тотчас же не вышла на палубу, а когда спохватилась – было уже поздно... Напрасно смотрела я тоскливо на конторку и берег – Вас не было нигде! Стоял на берегу еще какой-то извозчик, ведь и Ваш мог бы еще подождать, а я сказала: «теперь уезжайте...» Какая я глупая, глупая!.. Но я боялась, что погода изменится, что Вы опять подвергнетесь каким-нибудь неудобствам, которых немало перенесли за то короткое время, которое я провела в Томске. Но, может быть, лучше, если последним Вашим воспоминанием останется минута прощанья? Довольны ли Вы ей? Напишите. Не скучайте. Или нет, – скучайте немного, чтобы томские женские лица не стерли в Вашей памяти образ Мани...

Когда я вернулась, наконец, с палубы, в замке моей каюты находился подобранный к ней ключ. Значит, с этой стороны – спокойно. Рядом оказалась соседка, а не сосед, чему я тоже очень рада. Симпатичная молодая особа, служащая в компании «Зингер», едущая в командировку на Усть-Чарышскую пристань. Она будет моей спутницей до самого Барнаула. Вчера вечером сидела в моей каюте, болтала, а сегодня с утра переговаривались уже через двери. На пароходе нет часов, и она сообщает мне о ходе времени; а сегодня продала марку для письма. Знаете, я забыла совершенно напомнить Вам, чтобы Вы дали телеграмму маме. Мне как-то при прощании совсем не пришло это в голову, а теперь мучает мысль, что бедная мама будет очень беспокоиться, если не получит телеграммы, тем более, что в письме к ней я обещала телеграфировать о выезде. Да, надо сознаться, что я довольно легкомысленная девица!

Вчера, когда я пришла в кассу брать билет, то кассирша заявила, что скидки никакой не полагается и билет стоит 8 рублей. Я приуныла, испугалась, что денег, пожалуй, не хватит; не взяла билета в кассе, а отправилась к капитану, на вахту. Объяснила ему, что было сказано нам в Томске, в конторе Мельниковой. Капитан молодой и довольно интересный... Обвиняете ли Вы меня, что я прибегла к легкому кокетству? Но, вероятно, средство оказалось действенным – скидка была сделана без малейших возражений. Другим пассажирам этого не удалось...

Пока обрываю письмо. Буду продолжать до Новониколаевска и описывать, какие еще приключения постигнут нас в пути. Вчера, однако, мы благополучно прошли мели и перекаты.

4 часа вечера.

Говорят, что «Гуллет» идет сейчас лучше, чем шел в Томск. Посидели мы-таки из-за поправки колеса часа полтора.

Дама в чепчике (которая давала мне соль) оказалась порядочной сплетницей: подглядывает и подслушивает разговоры пассажиров и передает другим со своими комментариями. Мне пришло в голову: вдруг она видела сцену прощания! Но все равно: я не спустила занавеску – не особенно боялась! Решительная особа сделалась Ваша Маня. Эта дама не один раз заводила о Вас разговор. Сказала сначала, что приняла Вас за моего отца (не видела ли в самом деле?). А сегодня спросила, сколько Вам лет и сказала, что никак не дала бы больше 60-ти. Гордитесь: Вы кажетесь гораздо моложе своих лет. Мне вспоминаются слова В. П. Соболевой, что теперь Вы выглядите лучше и свежее, чем в то время, когда Базанова рисовала Ваш портрет. Если Маня этому причиной – то как хорошо! Завтра день именин Лизочки. Скажите ей, что я от души желаю ей счастья и покоя и обнимаю ее и целую без счета раз! Поздравьте также ее семью с дорогой именинницей. Если и не в этот день, то все равно на днях будете же у них...

Пишите же мне, дорогой мой, поскорее. Напишите, как устроитесь с квартирой, хорошо ли? Пока, кончаю. Завтра еще что-нибудь добавлю, а теперь просят дать чернила.

Суббота. 5 сентября, 9 ½ часов утра.

Вчера, в 6-м часу вечера засели на мель так основательно, что снялись только около 3-х часов утра. Когда-то при таких условиях дотащимся до Барнаула! Сегодня погода хмурая, серая, идет дождь. На душе тоскливо... Я сижу и думаю о том, как мы плыли вместе с

Вами в Томск. Мне грустно о Вас и о Томске... Предстоящие осень, зима и начало весны – как это бесконечно долго! Для Вас покажется короче: общественная жизнь захватит Вас, и Вы забудетесь... Да, Барнаул не то, что Томск, – томская жизнь несравненно интереснее. Я хочу жить в Томске, особенно при условии часто бывать в Барнауле. Только мама, больше ничего нет там для меня привлекательного. Правда, еще – наш сад летом... Но летом я и буду его видеть, не правда ли? Сад и у Лизы хорош. Ее терраса и цветущий сад-роща прекрасны, полны поэзии. Это может быть только для меня: я везде вижу поэзию...

Жена капитана – добродушная немка. У них великолепный, совершенно черный (как галчонок) щенок пойнтер. Мне позволено брать его в мою каюту, ласкать и кормить, сколько хочу, – и меня восхищает эта живая забава! Идем в Новониколаевск. Капитан говорит, что если не будет больше никаких приключений, то от Ново-Никол[аевска] до Барнаула 44 часа идет пароход. Сейчас запечатаю письмо. При благоприятных условиях утром в понедельник я буду дома. О своей поездке храню самые приятные воспоминания. Нужно ли повторять, как я Вам благодарна за все! Крепко жму Вашу руку, дорогой, милый друг мой! Знакомым – привет. Особенно Вере Петровне – она меня очаровала!

Маня.

[P.S.] Представьте, наша бар[наульская] карточка оказалась у меня. Я нашла ее в книге. Если хотите, пришлю, а то пусть лежит до Вашего приезда – как хотите! Пристаем к Новоникол[аевску]. 20 минут пятого. Прощайте!

№ 100

*13 – 16 сент[ября] 1909 г.
[Томск], Солдатская, 78*

Отправляю это письмо с г. Шатиловым, Михаилом Вонифантьевичем – моим другом.

Дорогая Маня!

Сейчас меня смутило известие (в "Сиб[ирской] ж[изни]") о "Воронцове", что он потерпел аварию вследствие мелководья и ушел уже в затон на зимовку. Иван Савельич где-то слышал, что против Камня пять пароходов сидят на мели. Всё это ужасно пугает; довезет ли Вас "Гуллет" до Барнаула, хватит ли Вам денег, если придется добираться на лошадях? Придется каяться, что мало Вам дал денег

на дорогу. Пожалуйста, напишите поскорее, как окончилось Ваше путешествие?

У Елизаветы Митрофановны огорчение. У Володи брюшной тиф; четыре дня лежит в постели. Утром термометр падает до 37, после 3-х часов поднимается до 40 и с лишком. От Вани получено известие, что участь его будет решена только два месяца спустя; так объявил директор. Родители недоумевают, как понимать этот ответ директора.

Пишу это письмо с Михаилом Вонифантьевичем Шатиловым, моим молодым другом. Он прошлой весной кончил здешний юридический факультет, получил место крестьянск[ого] начальника в Змеиногорске. Сибирефил, был председателем "Сибирского кружка", разрешенного при университете. Мой единомышленник. Прекрасный молодой человек, симпатичный.

Был на выставке Общества садоводства. В одном месте увидел целую гряду хризантем, выставленных университетской галереей. И, кажется, узнал подругу Вашей хризантемы, увезенной в Барнаул, которая стояла рядом с ней. Я думаю, выставлено до 50 экземпляров. Огромный отдел по пчеловодству. К сожалению, эти успехи Общества омрачаются тревожной думой, не потерпел ли Ваш кошелек аварию, не доехав до Барнаула.

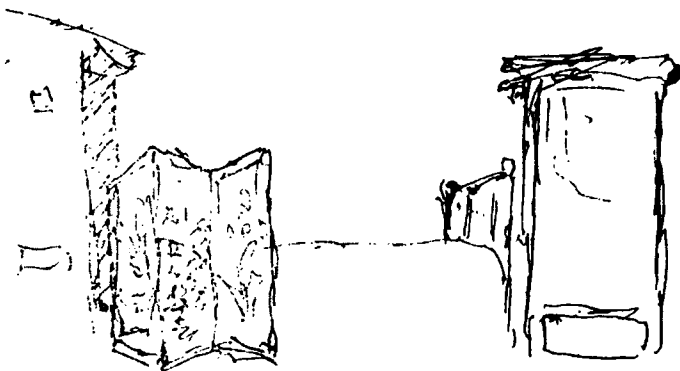
Помещаю изображение стен моей квартиры.



Стена, в которой входная дверь. Направо печь. К стене приставлены полки с книгами. Правые полки заслоняют часть двери. Между косяком и левыми полками отрывной календарь, на котором на месте виньетки укреплен медальон, изображающий плывущего лебедя (барельеф), вылепленный из глины Раичкой.



Стена против входных дверей. Комод. Над ним картина Л.П. Базановой "Черневая татарка". Рядом кресло, принадлежащее некогда сибирскому беллетристу Никол[аю] Ив[ановичу] Наумову, полинявшее от горячих лучей сибирского солнца. У левой рамки гардероб, у правой – олеандр.



Левая стена. У правой рамки гардероб. Кровать. Ширмы, затянутые золотой клеенкой; на первом звене букет из тюльпанов, работа масл[яными] красками М. И. Педашенко; на среднем звене – горизонтально протянутая цветущая ветка персикового дерева и китайская надпись (в переводе: "для искреннего человека нет заставы ни в одном сердце", работа ее же. На левом звене *Verbascum Thapsus* (в Алтае зовут Егорьево копье), колокольчики синие и друг[ие] дикие травы; работа М.И. Мокиевской. Это мне подарок на елке в Петербурге.



Последняя, наконец, т.е. со входа правая стена. Конечно, Вы поймете, что весь этот материал, с виду банальный, мещанский, помещается здесь только ради одного пятнышка на этой стене. И это пятнышко озаряет эти страницы лучом поэзии.

Опять тот же олеандр налево и те же полки направо. Два окна, между которыми письменный стол с неискусно изображенной письменной лампой. В простенке подарок Гуркина: Пучки (*Heracleum dissectum*), превосходно нарисованные пером. А подле косяка окна, вне симметрии, что придает выдвинутое из среды положение, – Маня.

Пишу Вам эти глупости, а стрелой пролетает в уме вопрос: не запутались ли Вы в дороге. Не раскаиваетесь ли, что поехали в Томск? Не проклинает ли меня Ваша [мама?] за то, что я увлек Вас в эту поездку?

Видел на тротуаре цензора, обещал на днях отослать Ваши стихотворения. Сказал, что в них ничего нет нецензурного, т.е. нет непозволительных слов. Есть, правда, душок иногда, но к этому нельзя придраться.

Григ[орий] Потанин.

С Шатиловым не удалось отправить письмо. Оно было уже заклеено, но горничная, получившая подробное наставление, ушла в аптеку, а Шатилов как раз в это время и пришел. Хозяйка же немка, плохо освоенная с русск[им] языком, по-видимому, не поняла моего поручения и письма не передала. Поэтому посылаю по почте.

Три раза был на выставке. Мосбахская капуста, щеголяющая зелёными кудрями, такими мелкими, как на шевелюре Мани, брауншвейгская со своими неприличными лысынами, редьки – негры, черные, как сажа, тыква в 4 пуда, которая может обеспечить продоволь-

стве нескольких поколений потомства огородника, подобно хлебному дереву; вилки капусты, выращенные арестантским трудом, такие большие, сказочные, что одним вилок можно, как в сказках, прокормить целое царское войско; разнообразнейшие моркови: в виде толстого веретена или в виде тонких, длинных верзил, маленькие карапузики и т.д. У "Сиб[ирской] ж[изни]" нет такого сотрудника, который в первый же день открытия обежал выставку и дал бы читателю букет поэтических впечатлений от этих тыков, реп, баклажанов, луковиц, не уступающих размерами булаве, которую держит Богдан Хмельницкий на киевском монументе. Вот если бы Вы жили в Томске, сделать бы из Вас такого поэта-репортера!

И еще я мечтаю о будущем Вашем сотрудничестве. Вы могли бы, судя по Вашей пробе в Барнауле, стать нашим «бойкотом». Барнаульская проба не имеет обществ[енного] значения, потому что Ваше жало было направлено против мелкого начальства, но здесь Вы могли бы попробовать Ваши силы над персонами, от деятельности которых страдают миллионы людей (в Том[ской] губ[ернии] три миллиона жителей по послед[нему] подсчету).

Открытку получил. Благодарю и ценю Вашу заботливость не мучить меня неизвестностью о том, как Вы доехали. Очень рад, что ничего не случилось печального и что денег хватило.

Адрес мой: Солдатская, 78, но дом не Гаркина, как, кажется, было написано в прошлом письме, а Галкина. Это все путаница оттого, что моя немка не умеет произносить русские слова.

Ваня возвратился из Енисейска. Не приняли его потому, что вышел из возраста. Послали телеграмму иркутскому генерал-губернатору с просьбой разрешить принять.

Ел[изавета] Митр[офановна] велит передать поклон; сама писать пока не может, замучилась, устала и расстроена. Высказывает большое спасибо за письмо и открытку с поцелуями. Володя сегодня спокойнее; температура несколько ниже. Всё время в дремоте.

№ 101

17 сентября 1909 г.
г. Барнаул

Дорогой Друг!

Пишу в Управлении. Справки сдала и пока свободна. Вашего письма под рукой нет, но постараюсь припомнить его содержание и ответить на все Ваши вопросы.

Мне приходило в голову предположение, что Вам, пожалуй, придется идти с пристани пешком; но я отгоняла эту мысль как что-то неприятное и невозможное. Ведь Вы и так измучились за последние дни, а тут еще и это! Бедный! Вы простудились из-за меня... Если бы я знала, что извозчик не дождется, я отпустила бы Вас тотчас же. Хотя и так ведь Вы недолго были в моей каюте... Или мне только показалось, что недолго? Представьте, одинаковая с Вашей мысль смутила и меня: «Если Ольга Тюменцева не уйдет тотчас – я не успею проститься с ним так, как бы он хотел...» Удивительное совпадение... Не буду бранить Вас за опасную прогулку в город: Вы в ней не виноваты – мотор ушел, извозчик уехал, что было Вам делать? Или идти пешком, или ждать на конторке возвращения мотора. То и другое было нехорошо, а на конторке Вы могли также простудиться, просидев там до вечера. Итак, я не браню, а только очень сожалею, что так случилось. Но если на будущее время Вы, по собственной вине, подвергнетесь простуде, то уж не взыщите – буду ужасно ругаться и ворчать.

Наш путь от Н[ово]николаевска до Барнаула был полон разных неприятных приключений вроде поломки колес, сиденья на мели, бесконечного ожидания отхода от пристани, как в Ново-Николаевске (пришел пароход в 6-м часу вечера, ушел в 1 часу след[ующего] дня) и т.д. С барышней, моей соседкой по каюте, я быстро познакомилась, и мы очень недурно проводили время в обществе друг друга. Как-то она высказала в разговоре, что ей неприятно и жутко останавливаться в чужом городе в гостинице, и я, недолго думая, пригласила ее остановиться в моей комнате на эти три дня, которые придется ей провести в Барнауле в ожидании парохода. Потом, спохватившись, что мама может быть недовольна, что я приведу в дом постороннего человека, я сказала, что спрошу, впрочем, у мамы, не стеснит ли это ее.

«Гуллет» подходил к Барнаулу в 9 часов. Ночь была темная, – зги не видно. Тогда я сказала барышне, чтобы она ждала меня в своей каюте, а сама взяла извозчика, сложила часть своих вещей (коробку со шляпами, тюк с подушками и одеялами, корзину) и отправилась домой. Оказалось, наш работник заболел, и мне не могли дать «Серого», пришлось ехать обратно на том же извозчике на пристань за барышней и оставшимися в моей каюте вещами; там остались оба цветка, соломенный мешок и картонка с мех[овой] шляпой. Я была очень довольна тем, что мама согласилась без всяких возражений

приютить у себя милую девушку, мою попутчицу. Тогда я забрала свои вещи и на том же Ваньке поехала опять домой с парохода; а барышня со своим багажом – на др[угом] извозчике. У нас пили чай. Было светло, тепло, уютно. Мама велела к моему приезду протопить мою комнату, – и я так хорошо почувствовала себя в ней! А за окном было очень, очень темно; Пушкинская [улица] оказалась совсем не освещенной, ехать было так плохо, тем более, что послед[ние] дни был дождь, и грязь порядочная. Пристань, за мелководьем, переведена на Томский взвоз. Взвоз довольно крутой и узкий, с одной стороны обрыв. Меня чуть не придавил колесом соседний извозчик, пока я нанимала своего. Куча ломовиков и легковых извозчиков теснилась тут на спуске, в темноте. Я боялась за участь цветов во время проезда от пристани до города. Ехать велела очень тихо, совсем шагом (на что весьма негодовал извозчик моей барышни), но мой возница был очень скромный и сговорчивый и вез меня прекрасно. Хризантему я поставила вниз, а гвоздику – к себе на колени, одной рукой держала ее, а другой все время придерживала хризантему, оберегая ее от возможности быть сломленной. Однако, благодаря медленности переезда, оба цветка сохранились. Хризантема несколько пострадала только от перемены температуры в каюте. Мама, кажется, осталась очень довольна ей, а гвоздику ей хотелось не того сорта, не летнюю, а горшечную, более пышную, кажется, такие называются «голландскими». Цветут ли гвоздики весной? Если цветут, то Вы привезите ей такую (желтую) в мае месяце. Ведь Вы в мае приедете, не правда ли? Неужели же опять ждать Вас до первых чисел июня? Это же ужасно ведь долго!

Кажется, я обо всем пишу Вам подробно, так, как Вы хотите. В «Барн[аульском] листке» напечатала свое стихотворение «Во сне». Так как мне продолжают высылать газету, то я нахожу неудобным не давать в нее своих стихотворений, хотя бы за пониженную цену, что я и высказала Петру Васильевичу. Он взял стихотворение повидимому с большим удовольствием. Интересно, – скоро ли мои «Осень» и «В бору» появятся в «Сиб[ирской] жизни»? Не знаю, как мне благодарить Вас за новое баловство – выписку для меня «Сибирской жизни». Спасибо, милый, хороший!

О чем Вы еще меня спрашивали? Да... о наших отношениях с сестрой. По-старому – как нельзя хуже. Поверьте, что я не виновата. Никто в жизни не оскорблял меня так, как она... Может быть, это и очень нехорошо, но я так уж устроена, что могу только простить ос-

корбления, а забыть их не могу. Виноградом она, кажется, осталась довольна. Мама, по крайней мере, так говорит; сама же она не сказала мне ни слова...

Ну, пока, кончаю. До след[ующего] письма! Пишите мне поскорее и побольше! Привет Лизочке, всем знакомым, Вяткину.

Крепко обнимаю Вас, дорогой мой!

Маня.

№ 102

22 сент[ября] 1909 г.
Солдатская, 78

Милая Маня!

Ваше письмо, на котором Вы поставили 17 сент[ября], я получил 21. Исходя из этих данных на обмен наших писем, т.е. на путь от Барнаула до Томска и обратно в Барнаул, кладу дней 12 или 14. Это Ваше письмо служит ответом на мое, отосланное 11 сент[ября], а так как я числа 16-го послал другое, на которое тоже надеюсь получить ответ, и вот если я сам буду писать не через 14 дней, а еще и в промежутки, то выходит, что я буду получать от Вас весть через каждые семь суток. Это хорошо. Читая отчеты о Вашей жизни, какие Вы дали в двух последних письмах, я как будто побывал возле Вас, вместе с Вами смущался злоключениям "Гуллета", вместе с Вами развивал дружеские чувства к Вашей соседке, вместе с Вами в темную ночь подъезжал к Барнаулу и потом трясся на извозчике, дрожа за участь хризантемы и гвоздички. Всего ярче я пережил эпизод с соседкой. Я представлял себе, с какой тревогой она ждала Вашего возвращения на "Гуллет". Это ведь я переживал Вашу жизнь, потому что, вероятно, и Вашу голову беспокоила та же самая мысль, те же представления. И как я тоже был рад тому, что Ваша мама оказалась такой гостеприимною и ласковою. Я думал после этого: "Моя милая Маня, какая она хорошая, добрая!" И я мысленно полез целовать свою Маню, но вспомнил, что у меня и руки и ноги скованы узами, что на всякое мое движение по своей инициативе последует «Нельзя! Нельзя!» Если б не эти запрещения, то в Барнауле были бы явлены силы, какие не были явлены в Иерусалиме. На милом теле не осталось бы самого маленького клочка, на котором бы не рдел румянец от поцелуя.

Жар у Володи вчера был слабый, но все еще продолжается. Елизавета Митрофановна смучилась; у нее сердце перестало было рабо-

тать правильно, но вчерашнее улучшение воскресило ее. Я заходил к ней через день узнать о положении больного. Завтра опять зайду.

«Молодая Сибирь» с «Эдельвейсом» отпечатана и сброшюрована, но арестована за проститутку, танцующую по желанию молодых кутил, нагишом. Это Г. А. Вяткин изобразил к соблазну стариков. Цензор возмутился, но мне показывал страницу и давал ее читать, видимо, рассчитывая доставить мне удовольствие.

Кстати, цензор сказал мне, что он пакет с Вашими стихотворениями уже отослал в Барнаул. Пожалуйста, сообщите о ходе печатания Вашего сборника. Рядом с Вашим «Эдельвейсом» помещено и стихотворение Вяткина, в котором тоже упоминается эдельвейс. И мне, и другим Ваше больше нравится. Вяткинское вызывает в воображении кобенящегося Бальмонта.

М-ме Зубашева, проезжая как-то по Почтамтской, в дни вскоре после нашего приезда в Томск, видела меня проходящим по тротуару с какой-то дамой. Хотя она и не прибавила "и заходящим в дамские магазины", но я догадался, да и Вы догадаетесь, что это была за дама.

Получаете ли «Сиб[ирскую] ж[изнь]»? Видели ли свою «Осень»? Из этой газеты Вы уже знаете, что здесь открыт Литер[атурно]-артистический кружок. Председателем избрана Вера Петровна Соболева. На собрании было 27 челов[ек], и она избрана подавляющим большинством, 22 голосами. До баллотировки она всеми силами отклоняла от себя эту честь, но после блестящего результата выборов нашла неприличным отказаться. Я был чрезвычайно рад такому результату и пришел в такое повышенное состояние, на глазах у меня появились крупные капли слез. Меня не избрали в администрацию, избрали кандидатом, но может пройти весь срок, на который избран, а участвовать в заседаниях Совета не придется. Я очень рад этому, потому что это освободит меня от хлопот по кружку и от беготни по городу, а ведь мне нужно такое положение – нужно засесть за письменный стол. Я Вам говорил, что как только Вы уедете, сейчас в первую голову примусь за устройство «Лит[ературно]-арт[истического] кружка». Вот видите, пока я не приехал, никто не думал начать хлопоты по собранию первого заседания. Сначала я хотел, чтобы Медлин сделал приглашение, но нашел тактичнее поручить это Бейлину; боялся, что выступление Медлина оттолкнет партию музыкальных классов, т.е. Цветкова, Плаксина и др[угих]. И, действительно, к Бейлину пришли представители обоих враждующих музыкальных

лагерей. Товарищем председателя избрали профессора Розина. Затем в совет остроумно избрали Цветкова, Медлина и Бражникова. Т[а-ким] о[бразом] два музыкальных лагеря делают первый шаг к сближению; 2 сент[ября] будет юбилей Кольцова; музыкальные классы дают свою залу – это второй шаг к примирению. В музыкальном отделе юбилея будут участвовать ученики из Тютрюмовской школы и из школы Цветкова. Бражников избран, чтобы уменьшить трения кружка о Драматическо-музыкально-литературное общество, в котором Бражников избран председателем одного из трех отделов, именно отдела литературного. Телега подмазана, она теперь сама покатится, и я могу предаться зарабатыванию денег на поездку в Алтай, т.е. засесть за писание для «Сиб[ирской] ж[изни]».

После прощанья на «Гуллете» разве можно оттягивать приезд в Барнаул. Постараюсь сесть на первый пароход. Всю зиму буду помнить момент на «Гуллете». Блаженное состояние, пережитое тогда, вроде тех настроений, которые вызываются у человека, когда он под вечными снегами на альпийских лугах – вдали от суеты и пошлости глубоких долин; и когда я шел из Черемошников в город, девственно мечтая, я как будто шел по подошве Белухи; как будто передо мной под моими ногами стлались не осоки томских болот, а альпийские луга. Нет, все это было сделано милой Маней как нельзя быть лучше! Хорошо, что Вы продержали меня до второго звонка, хорошо, что Ольга Тюменцова не разрушила мое счастье и, наконец, хорошо, что после всего этого я часа три пробыл наедине со своими воспоминаниями и мечтами.

В мае, я надеюсь, Маня повторит то, что было на «Гуллете»; это будет прелюдия, эпиграф к тем ощущениям, которые нам предстоит испытать, когда мы поднимемся на алтайские Альпы. А очутившись на альпийских высотах, мы снова повторим, что было на «Гуллете». Это будет молча исполненный гимн девственным высокогорным полям Алтая!

Протяните обе руки, я их поцелую.

Ваш друг Г. П[отанин].

№ 103

26 сентября 1909 г.

Барнаул

Свои стихотв[орения] получила. «Сиб[ирскую] жизнь» получаю, спасибо. Что-то нет от Вас писем. Здоровы ли?

Пишите, скучаю.

М[аня].

№ 104

30 сентября 1909 г.

г. Барнаул

Дорогой Друг!

Получила от Вас два письма (послед[нее] вчера, 29-го). Промежуток между этими письмами показался мне что-то длинным, и я послала Вам несколько слов на открытке. Получили ли? Отправляю обещанное – желе из облепихи – с той самой барышней, о которой писала, – моей соседкой на «Гуллете». Она возвращается из Усть-Чарыш[ской] пристани. Зовут ее Александра Семеновна Воронина.

В другой раз напишу более длинное письмо, сегодня же спешу, надо написать еще несколько слов Лизочке. Ужасно жаль, что ей все время приходится переживать такие волнения. Прошу Вас сообщить мне поскорее о здоровье Володи. Досадно, что Вяткин испортил № «Молод[ой] Сиб[ири]» грубой картиной. Неужели я так и не увижу своего «Эдельвейса»? «Осень» видела. Напечатано это стих[отворение] прекрасно, – совершенно без ошибок. За переписку остальн[ых] стихот[ворений] для будущего моего сборника еще не удалось приняться.

Желе я принималась варить два раза; в первый вышло не особенно удачно, а во второй, кажется, хорошо. Но полная банка не нап[олнилась], а так как мне хотелось послать полную, облепиху я доложила не вполне удачным.

Ваша М[аня].

№ 105

2–3 окт[ября] 1909 г.

[Томск], Солдатская, 78

Милая Маня.

Как же так? Я ждал от Вас в конце сентября настоящего письма, а получил только узенькую открытку с тремя коротенькими строч-

ками. Я Вам написал письмо в середине сентября и думал, что получу на него ответ в конце сентября. По-видимому, Вы не получили моего сентябрьского (собственно, второго сентябрьского) письма.

С одной стороны – как будто Вы его и получили, так как в нем, в этом письме моем был сделан Вам запрос, получаете ли Вы "Сиб[ирскую] ж[изнь] и получили ли свои стихотворения, и Вы на открытке отвечаете на эти вопросы. Но, с другой стороны, Вы делаете на последней своей строчке вопрос мне: "Отчего Вы не пишете? Здоровы ли?" Это значит, что Вы не получили моего письма.

Напишите, получили ли Вы это письмо? В нем, кроме вышепоянутых вопросов, я Вам писал о Шатилове, с которым хотел послать письмо, но послал вместо того по почте. На Ваш вопрос о здоровье отвечаю: великолепно здоров, чего и Вам желаю, и веду очень деятельную жизнь – и тоже чего и Вам желаю. И несмотря на деятельность, так же, как и Вы, по-видимому, скучаю от долгого ожидания письма от Вас. При таком-то настроении каково получить, вместо обстоятельного отчета о Вашей жизни, только три коротеньких строчки!

В письме, которое Вы, по-видимому, не получили, я писал, что, расставшись с Вами, я сейчас же принялся за налаживание Литер[атурно]-артист[ического] кружка; хлопоты по этому делу отняли у меня все время до 20 сент[ября], когда состоялось первое общее собрание кружка и выборы; председателем избрана Вера Петровна. Теперь я свободен, но только по делам кружка (тотчас же назрели новые хлопоты по устройству публичной лекции г. Анучина). Сегодня в 9 час[ов] вечера иду на юбилейный вечер в честь Кольцова. Это второй акт в жизни кружка и первое его литературное выступление. Бражников читает реферат, обе музык[альные] школы: Тютрюмовой и музык[альные] классы дают вокальные номера. Кружок является миротворцем; он примиряет две враждующие партии – сторонников Медлина и Тютрюмовой со сторонниками Плаксина и Цветкова. Завтра дам Вам отчет о сегодняшнем вечере. На вечере Литер[атурно]-музыкально-драматического общества я не был. Там читал Бражников о Шницлере и затем была бойко разыграна драматическая шутка Шницлера: "Литература". Вчера и третьего дня я присутствовал на совещании учредителей общества для открытия и поддержания Сибирского женского университета. Инициаторами этого общества являются: m-me Зубашева и профессора института гг. Карташов, Рыбалкин и друг[ие]. Как только губернатор утвердит устав Об-

щества, оно представит в Министерство народ[ного] просвещ[ения] устав Женск[ого] университета и одновременно начнет агитировать эту идею в Сибирск[ом] обществе (и Вы должны помогать!) и собирать деньги. Завтра иду на заседание Совета Общества изучения Сибири и веду туда Анучина, который приехал сюда из Красноярска, чтобы прочесть в пользу этого общества лекцию «О русском населении Туруханского края». На первых порах я должен был поместить его у себя; он ночевал три ночи в моей тесной комнате. Другую лекцию он прочтет в Детском манеже в пользу Общества физич[еского] развития. Кроме того, его завербовали депутаты: 1) от Общества приказчиков и 2) от Общества народных развлечений; от последнего послан к нему явилась дама. Т[аким] о[бразом] он кроме двух платных будет читать еще бесплатные лекции, одну для приказчиков, другую для народной аудитории, т.е. для томских босяков.

В этот же самый вечер (т.е. завтра) камерный вечер, устраиваемый школой г-жи Тютрюмовой. Может быть, мне и не удастся попасть с заседания на камерный, но билет все-таки возьму. В понедельник иду обедать к профессору Вейнбергу; это сын Петра Исаича, который был председателем Союза русск[их] писателей. Почему-то он относится ко мне с необъяснимо глубоким вниманием, и ему не уступает в этом его жена. Вечером в тот же день буду на вечере Хорового общества слушать произведения Рахманинова, Калинникова и Римского-Корсакова (отрывок из его "Сказания о граде Китеже"). Общество художников еще не открыто.

Все это великолепно. Внешняя сторона жизни обставлена, лучше желать не смеешь. Но в интимной чувствуешь недостаток. Хотелось бы после блестящего дня удалиться в теплый уголок, где ты можешь найти две протянутые к твоим услугам руки. И вот нет такого тепла. С оживленного вечера возвращаешься в пустыню, где тебя не ждут не то что две протянутые руки за редкими случаями не ждет и письмо из Барнаула. Ужасно томительно сознание, что еще далеко до мая. Из восьми месяцев один, слава Богу, прошел, но еще осталось семь месяцев.

Вчерашний вечер принес мне большое огорчение. Хотя большого собрания не ожидалось, потому что были даже искусственные меры приняты, чтобы зала, в которой предполагалось устроить юбилей, не оказалась тесной, но малолюдство оказалось обидным. Это бы еще не беда. Но вот что удручающее действие на меня произвело. Я в список членов вписал двух уважаемых мною учительниц жен-

ских гимназий. Обе они явились. И так как они явились не гостями, которые по уставу получают при входе только разовый билет, оплачиваемый 55 коп[ейками], а членами, то они при входе уплатили членский взнос 5 р[ублей] каждая. Реферат и пение они прослушали не сходя со ступьев – и все остальные сидели. А во время перерыва все посетители перешли в другую комнату, где был приготовлен чай. Там образовалось шумное, веселое общество. Мои клиентки оробели, не захотели идти туда. Я раза три подходил к ним, подолгу уговаривал идти в общую компанию – уперлись, не пошли, а когда все кончилось, одна сказала, что жалеет свои 5 руб[лей], а другая сказала: «Тут отличное спевшееся общество, объединенное своими интересами, отобранное, а мы для него чужие, и нам тут нечего делать».

А ведь я об открытии кружка убивался, хлопотал именно затем, чтобы создать почву, на которой сибирская молодежь могла встречаться с профессорами и слушать их не только тогда, когда они говорят с эстрады. Хотел девицам доставить удовольствие, но заставил несколько часов проскучать.

Г. Потанин.

[P. S.] Я так обижен, что не глядел бы на свет Божий. Как бы я хотел, чтоб в эту минуту Вы были со мной, подле меня!

Печатаются ли Ваши стихотворения? Действительно ли Вы не получили то письмо, которое я считаю потерянным? Напишите.

№ 106

30 сентября 1909 г.
г. Барнаул

Дорогой Друг!

Письмо Ваше я получила, а не ответила, на него потому, что... Дайте вспомнить почему... Да, сначала что-то помешало тотчас же написать ответ, потом не было подходящего настроения; а там явилась Александра Семеновна Воронина, и я занялась приготовлением для Вас желе из облепихи. У меня хотя и раньше было немного сварено, но не так хорошо, как бы мне хотелось – и я решила сделать хорошо. С ней я отправила Вам коротенькое письмо, заключающее в себе обещание большого; но вот только сейчас могу исполнить последнее.

Вы чувствуете себя хорошо, здоровы, – я рада! Про себя сказать того же не могу. Положительно каждый день меня мучают сильные головные боли, увеличивающиеся при малейшем движении. Я не

могу решительно ничем заняться; просижу с трудом положенные часы на службе, а, придя домой, сваливаюсь в кровать и лежу неподвижно, наподобие колоды; в конце концов, мне удастся заснуть; к чаю просыпаюсь с тяжелой головой и слегка облегченной болью, потом почитаю немного вечером – и опять в постель. Как видите, – совершенно животная жизнь. Это результат того, что в нын[ешнем] году я оставалась без отпуска, не дышала чистым воздухом полей, не любовалась подолгу любимым мной бором, как в прошл[ое] лето, когда, живя у брата в деревне, я совершенно позабыла, что значит хворать. Эти мучительные боли отражаются, наконец, на моем настроении: я становлюсь вялой и апатичной, а это так на меня не похоже, так несвойственно мне! Наконец, сил не хватило выносить, – пошла вчера к доктору. Нашел (выслушав меня внимательно) малокровные шумы и прописал железо в пилюлях. Принимать боюсь, знаю, как плохо действует железо на желудок. Ну да попринимаю немного, и чуть сделается лучше – брошу. Зло разбирает на Гаряева: чтобы дать месячный отпуск, и человек был бы совершенно здоров и в той же постылой канцелярии работал бы вдвое производительнее... Но вот убедить в этой простой истине наших заядлых канцеляристов – это почти непосильный труд! Для получения отпуска нужно придумывать всякие хитрые причины, но только не ту, что «человек устал, ему необходим отдых».

Ну, довольно об этой скучной материи! Стихотворений своих я еще не в силах была переписывать. Но их немного, и я сделаю это быстро, как только почувствую себя лучше настолько, что примусь за дело с должной энергией. Написала несколько новых. Одно из них попрошу Вас показать Вере Петровне; не найдет ли она возможным поместить его в «Сиб[ирской] жизни»? А кстати, почему до сих пор не появляется в газете «В бору»? Ведь В. П. [Соболева] (вернее, ее муж) обещала напечатать его в «Сиб[ирской] жиз[ни]». Или, может быть, оно теперь не по сезону? Я порадовалась, что Литерат[урный] кружок выбрал председательницей Веру Петровну: лучшего выбора нельзя было сделать. Очень сожалею, что Вы получили огорчение на первом литер[атурном] вечере кружка (в юбилей Кольцова). Нахожу, со стороны учительниц, нетактичным выражение неудовольствия. Могли бы оставить это про себя! В утешение протягиваю Вам обе руки – целуйте столько раз, сколько Вам захочется! Довольны ли? Утешились ли? Маня говорит: «Не печальтесь, милый! Вы ведь хотели сделать лучше, и не Ваша вина, если вышло хуже...» Маня приносит также покаяние и сожаление в том, что не ответила сразу

на Ваше письмо. Не знаю, найдете ли высказанные причины заслуживающими внимания?

Наша (нашей семьи) жизнь идет по-старому. Мама часто хворает. Вскоре после моего приезда серьезно прихворнула, и я, конечно, немало поволновалась. У ней все какие-то желудочные неурядицы. Доктор нашел катар кишок, предписал строгую диету. Кроме того, очень легко простужается, чуть охватило ее холодом – уж и кашель, и недомоганье. А самое главное – сердце не в порядке. Хотя прошлый год, после деревни, доктор нашел большое улучшение. Но нынче она тоже никуда не ездила, не отдохнула, несмотря на то, что брат звал, да и мы уговаривали ее поехать к нему летом. Пока сердеч[ных] припадков нет, но все-таки страшновато, – за будущее ругаться нельзя.

Ну, пока, прощайте. Пишите почаще. Постараюсь быть аккуратной в ответах. Крепко жму Вашу руку. Что Володя? В послед[нем] письме Вы ничего о нем не пишете.

М[аня].

№ 107

*6 октября 1909 г.
[Томск], Солдатская, 78*

Милая Маня.

Я все еще под давлением провала, который я потерпел в литературно-художественном кружке. Две девицы, о которых я писал в прошлом письме, пробный камень. На кружок я смотрю как на почву, на которой распыленные элементы общества должны объединяться, и особенно те элементы, которые стоят вверху, с элементами, стоящими ниже. Нужно, следовательно, нисхождение верхних на ступени нижних. И вот судьба двух моих девиц показала мне, что этого нисхождения не совершилось. Страшно, как бы кружок не превратился в собрание скучных педантов, дутых и надутых генералов от науки. Нужно иметь в кружке веселый элемент. Я заметил тут только одно увеселительное лицо профессора Никулина, который, говорят, хорошо читает юмористические рассказы. Он и в беседе живой человек, но не известно, можно ли быть уверенным, что он не злоупотребит своим остроумием. В воскресенье я обедал у Соболева (вместе с Ануциным и Кочаровской). В. П. [Соболева] заметила, оказывается, дефект нашего первого вечера; заметила, что младшие члены кружка стеснялись войти в общую компанию, и понимала, что нужно принимать меры для уменьшения расстояния, но, во-1-х, на первых по-

рах не было налажено дело с самоварами и чаями, и на это уходило много ее внимания, во-2-х, усилил одного председателя уничтожить трение мало. Она высказывает надежду, что в дальнейшей жизни кружка «всё образуется». Меня удручала мысль, что она не заметила шероховатости первого опыта сближения, но она слишком чутка и проницательна, и от нее это не укрылось; это залог хорошего, и я все-таки более теперь спокоен, чем прежде. Теперь у меня одна только забота, как вернуть симпатию к кружку в тех двух девицах, которые отнеслись к нему отрицательно.

В субботу я был на концерте школы Тютрюмовой (камерный вечер). Не знаю, дал ли вечер безудыточный сбор. Зала была далеко не полна, но все-таки надо радоваться – камерной публики с каждой зимой в Томске прибывает. Об артистах говорить не компетентен; мне ведь интересно не то, как сыграли Бетховена, а сколько раз играли в Томске серенаду Бетховена, не в первый ли раз ее играли. Я слышал ее в первый раз, и как всегда вещи Бетховена, мне она понравилась во всех своих частях. Чтобы разобраться в своих ощущениях, нужно несколько раз прослушать. Но и с первого разу чувствуется, что насколько можешь, что-нибудь да скажешь о каждой отдельной части. Квнтет Аренского только местами заинтересовал меня, но в большей части он не доступен для моего необразованного слуха. Что же касается до сонаты Франка, то в ней меня затронула только последняя третья часть. Две же первые вызвали в томском варваре только представление о телеге и лошади, которые завязли в Уржатском переулке, барахтаются в топи и не могут вылезти. Серенада Бетховена разбита на мелкие куски, некоторые такие маленькие, что настраивание инструментов является телом, а сама пьеска только хвостиком тела. Не успеешь освободиться и отдохнуть от идиосинкразии, вызванной настраиванием, как и пьесе конец. В понедельник я был на другом концерте, устроенном Хоровым обществом. Зала Коммерческого собрания была переполнена; публика с окраин города, не видно было той, которая в модных шляпах «воронье гнездо» фланирует по Почтамтской. Кстати, Вы поторопились купить зимнюю шляпу; модные шляпы в Томске только теперь появились. Любопытные шляпы, приводящие мне на память одну средневековую еврейскую легенду нецензурного содержания об опрокинутой посудине, так что я не жалею о том, что Вы щеголяете в шляпе с нескромным пером, а не в нескромной тулье без нескромного пера. Публику приводил в восторг новый бас Ядрышников; хорá же,

по словам сведующих людей, были не удовлетворительны. За мною на концерте ухаживала Ольга С., а я своё внимание истощал на пани Валерию Мешковскую, подругу Ольги С. Последняя недавно поместила в «Сиб[ирской] ж[изни]» два стихотворения, и в одном из них смысл пострадал от вероломства ритма. Редакция, спохватившись, чуть не рвет волосы, а поэтесса... Пегас в самом разгоне, творческие силы клокочат, гортань бурлит звуками, уста не успевают захлопываться на запятых и точках, время ли заниматься корректурой, ей ли превратиться в корректора! Ее стихотворения – каскады. Ее творческие периоды – магнитные бури. Она несется, спотыкается, вывихивает ногу, но несется далее. Мусору и хламу наворочает в своих поэтических тетрадках вороха! Копайся в них, Вера Петровна, отыскивая жемчужинки.

Вяткин внезапно уехал в Москву или Петербург, и сборник сибирской поэзии попал, слава Богу, если только в долгий ящик. Если издание только отсрочено, то это хорошо. К тому времени, может быть, найдутся средства приложить к нему портреты. Паня Мешковска находит у г. Вяткина в стихах искренность. Не подкуплена ли она?! У него ритм добросовестно вычищен и чистоплотен, как воротнички его сорочек; сюртук на нем сидит так же хорошо, как рифмы в его стихотворениях. Стишки Вяткина ласкают своей музыкой; не это ли паня Мешковска принимает за искренность? Мы сидим вдвоем на скамейке. Само собой понятно, что тут два лица, первое и второе местоимения. Но музыки прибавит, если прибавить: «Ты и я». А еще более получится музыки, если это повторить в перестановке: «Я и ты». Музыки много, а содержание не в соответствующем количестве. Трели соловья слышно, а магнитной бури души не слышать. Человек спрятался за музыкой. Это называется ищут нового, но приискатели ничего на этом пути не находят, кроме труляля.

Г. Семенов рассказал тибетскую легенду, которую я сообщил Паншину и назвал ее тунгусской. Не ладно вышло. Для читателей «Сиб[ирской] ж[изни]» это вреда не принесет, но ученого введет в заблуждение. Он составит себе ложное представление о распространенности сюжета.

Володя выздоравливает. Еще лежит в постели, но это доктора не позволяют ему принять вертикальное положение.

Пишите, как идет печатание. У Вас на издание имеется 100 р[ублей], а затратите только 50. Нельзя ли из остальных 50 уделить часть на виньетку, хоть на одну на заглавном листе – хоть к

одному только первому стихотворению – кажется, "Разлив"? Или "Осень"?

Начали получать "Барнаульский листок"? Не значит ли это, что Вы получили то письмо, которое я считаю потерянным?

Это письмо, как видите, без выступлений животного инстинкта. Но это не значит, что огонь потухает. Разница в том, что не те дрова горят. Не карагана, не дзак, не тэский и подобные монгольские кустарники брошены на костер, а горит божественный аргал (монгольское название кизяка). Испытываю приятные ощущения не от воспоминаний о протянутых руках, а от сознания, что у меня есть девица, которая позволяет мне баловать ее.

Г. Пот[анин].

№ 108

*13 октября 1909 г.
г. Барнаул*

Дорогой Друг!

Получила сегодня Ваше письмо, которое должна была получить еще вчера, но вот пришлось томиться ожиданием целые сутки, – и виноваты в этом Вы. Дело в том, что Вы, по рассеянности, конечно, наклеили на него марку в 7 коп[еек], а надо было или 2 семикоп[еечные] или одну в 14 коп[еек]. Я уходила домой завтракать, когда это письмо приносил почтальон в Управление; так как меня налицо не оказалось, он письма не оставил. Можете представить мою досаду, когда я узнала, что ждать письма придется до след[ующего] дня! Я старалась представить себе мысленно, о чем бы Вы могли писать в этом, пришедшем из Томска и не дошедшем до меня письме; как хотелось, чтобы следующий день приходил скорее! Ну, вот, наконец, письмо в моих руках... Спасибо за подробное описание вечеров, на которых Вы присутствовали. Жалею, что меня не было с Вами. Не очень увлекайтесь пани Мешковской, если... можете.... На Ваш вопрос относительно «Барн[аульского] листка» отвечаю вопросом же (по женской манере): «Не значит ли, что Вы прочли там мой "Ответ"? Ну что же... я не сказала ничего нового, чего бы Вы не знали до его появления.

Очень рада, что Володя поправляется. Теперь, думаю, и Лизочка урвет полчаса, чтобы черкнуть мне несколько строк.

Я еще не живу пока или почти не живу барнаульской «общественной» жизнью. Была раз на концерте в Обществ[енном] собрании, но вынесла оттуда только неудовлетворенность и тоску. Там

лицедействовали певицы и певцы шансонеток из труппы Полякевича (Централь[ная] гостиница), и от их гиканья и пестроты костюмов у меня только устали глаза и нервы, а никакого эстетического удовольствия не получилось. Потом (в воскресенье) была в Народ[ном] доме на драме «Дети Ванюшина», давал кружок любителей. Осталась довольна вынесенным впечатлением. Может быть, сама приму участие в спектаклях кружка. Они обставлены хорошо и участие в них может внести некоторую «жизнь» в жизнь. Больше писать не на чем, пишу на службе, и листок бумаги взяла у товарки. Протягиваю руки, если хотите.

Маня.

№ 109

*15 окт[ября] 1909 г.
[Томск]. Солдатская, 78*

Первым делом хватаю великодушно протянутые руки и целую, целую, целую. Спасибо, спасибо, спасибо! Милая!

Прохожу свой жизненный путь в полосе счастья и, успокоенный сознанием этого счастья, просыпаюсь утром без ощущения одиночества, без кладбищенского настроения. От этого счастья забываю о существовании на земле многих несчастных, чувствую себя не ответственным за их несчастье. Днем мне не дает опомниться общественная жизнь; я все на людях, все на улице; к письменному столу притыкался только за тем, чтоб написать очередное письмо к Вам; только раз удалось написать одну заметку в "Сиб[ирскую] ж[изнь] о лекции Анучина (еще не помещена). К концу дня, конечно, остаюсь один. Но и тут меня не мучает более сознание безучастности. Дверь заперта, ко мне никто более не войдет. Пора ложиться спать. Тут в моем воображении выплывают две протянутые руки, и я, мысленно прижимая к ним губы, с чувством благодарности, и шепча "Милая! Милая!", засыпаю. Ах, если б, что ворочается в лабиринте моей души, все доходило до вас, мой божок! Перебирая барнаульские дни, я чувствую недовольство. Сколько раз я вспыхивал от восторга, но должен был не обнаруживать его. Часто Ваше личико было удивительно привлекательно, так и хотелось крикнуть: "Ах, какая Вы хорошенькая!" Но я не осмеливался, потому что если б я произнес вслух эти слова, то не удержался на этом, а обхватил бы Вашу шею и начал целовать Вас, а, по мнению моего безжалостного божка, это был бы скандал (а по моему личному, это совершенно естественное

движение). Вот тебе раз! Разве можно не целовать хорошенькую женщину. Я даже думаю, когда Бог всеведающий творил Маню, то думал: "Я творю женщину, которую будет целовать (по крайней мере, упорно будет хотеть целовать) мужчина, который живет на Солдатской, 78.

Я Вам сознавался, что чувствую конфуз, когда у меня развязывается язык чувства, но я не Вас стесняюсь, а буржуазных моралистов. Вы шлете мне слова: "Целуйте эти руки столько, сколько вашей душе угодно". И буду целовать! Если угодно, то буду целовать при всем честном народе. Вследствие моей неэкспансивности, оттого что я редко обнаруживаю свое чувство, меня принимают за аскета, и это мне доставляет досаду. Здесь появилась молоденькая художница, которая моему знакомому разрисовала деревянную тарелочку. Красивая арка на двух колоннах, под аркой сидит нагая, чрезвычайно бракоспособная женщина, способная не только безболезненно родить тройни, но даже тройни выкормить. Она за руку прикована, и цепь висит подле нее (по-видимому, протест против брака и проповедь свободной любви). Я хочу попросить девицу нарисовать мне копию и повешу у себя на самом видном месте. Пусть всякий, кто войдет в мою храмину, сразу увидит, что в ней живет не отшельник, угнетающий свою плоть, а человек, не потерявший способности влюбляться. Я влюблен. И пусть буду влюблен. Буду носить беса в ребре с удовольствием и даже с гордостью, потому что этот бесененок впущен мне в ребро Маничкой. Такова, думаю, творческая мысль Господа Бога. Да святится имя Его и да будет воля Его! И воля Мани!

Я счастлив благодаря моему великодушному божку и здоров, но мне стыдно быть счастливым в то время, когда Вы страдаете малокровием и головными болями. Мне следовало бы теперь сидеть возле Вашей кровати и заслонять своим телом свет лампы. Не следует ли Вам бросить эту службу? Нельзя ли перейти на задельную работу? Если Вам скучно писать длинные письма, то присылайте маленькие открытки в три строки, только чаще, чтоб я знал, что Вы не расхворались вконец. А то беспокоино. Почта эти недели ходила медленно. Последнее Ваше письмо с стихотворением "Из прошлого" шло до Томска семь дней, а предыдущая узенькая, длинная открытка с тремя строчками, десять дней. Ведь это значит: на обмен мыслей вперед и обратно нужно 20 дней.

Стихотворение сегодня передал Вере Петровне. "В бору" напечатано. Банку с желе получил. Г-жа Воронина отвезла и банки (две),

и письмо в дом Козловых (Володя выздоровел, ходит по всему дому, а через неделю начнет выходить в город). Кто-то принес тот лоскуток, который мне предназначался, на мою квартиру и передал на кухне. Я получил его помятым и немного замазанным (все-таки я храню эту замазку, как драгоценность, хотя в ней нет заразных слов). Разыскал г-жу Воронину, а потом и облепиху. Меня засыпали подарками одновременно и из Барнаула, и из Петербурга. В этой столице есть профессор монгольского языка, который ко мне удивительно нежно относится. Он меня смущает своими ласками (совершенно не заслуженно). Его хлопотами издан сборник в честь моего существования на земном шаре в течение 75 лет. Сборник ученый, состоит из более чем двадцати мелких статей разных специалистов; есть даже один египтолог и один санскритист. Но для Вас там интересна одна вещь. Мой портрет, снятый с меня фотографом Левицким (отец этого Левицкого двоюродный брат А. И. Герцена). Портрет замечателен тем, что я на нем представлен без ретушечной лести. Не то тупой и упрямый сектант, не то неумолимый ростовщик. Нельзя поверить, чтоб этот человек был способен сильно любить; скорее способен шкуру с живого человека содрать. А вот, подите же, любит Маню, да еще как!

Но как же это с малокровием-то быть? Право, не знаю. Замучает Вас эта зима. Напишите, чем могу помочь Вам?

Как на грех, я прошлой весной, перед отъездом из Томска сделал один поступок, который в одно и то же время и глупость, и подвиг, и свинство. Я поручился за одну даму в 200 рубл[ей] А теперь мои знакомые подозревают, что эти двести рублей придется уплатить мне. Вексель я не взял, ограничился одной распиской. Дрожу, как бы это не подкузьмило меня, не оставило меня без поездки на Алтай, т.е. без поездки с Вами. Так это меня расстраивает! Я, кажется, возненавижу эту даму, которой так доверчиво вручил эти деньги. Ежусь, хожу в публичные собрания в стареньком костюме, город мерю не на извозчиках, Боже упаси, а пешком, все делаю, чтобы сэкономить денег на то, чтобы повезти Вас в целый Алтай.

Весь Ваш Г. П[отанин].

[P.S.] Сейчас получил письмо из Петербурга. Литерат[урный] Фонд назначил мне пенсию в 300 рубл[ей] (прислан и перевод). Хотите, – я приму эту пенсию, Вы переедете в Томск и будете получать ее, то есть я буду передавать ее Вам? А если это не ежегодная пен-

сия, а единовременное пособие, то и то хорошо – значит, везу Маню в Алтай.

№ 110

23 окт[ября] 1909 г.
Т[омск], Солд[атская], 78

Целую руки дорогой Мани! Прибавлять "если хотите" не нужно. Всегда хочу!

Стихотворение Ваше передал Вере Петровне [Соболевой]; она нашла, что оно далеко уступает прежним Вашим произведениям. По ее мнению, его не примет редакция, но все-таки хотела передать его своему мужу, но так как Мих[аил] Ник[олаевич] бесчувствен к поэзии и музыке и убежден, что в "Сиб[ирской] ж[изни]" лишнее и стихи, и отчеты о концертах, то, наверное, можно сказать, что переданное стихотворение не будет помещено. По мнению В. П. [Соболевой], оно слишком личное, может интересовать только Ваших ближайших друзей. Я с нею в этом совершенно согласен, а тем не менее меня этот отзыв огорчил. Как будто это я написал стихотворение, как будто это я провинился перед Верой Петровной.

Почему такая история с прошлым моим письмом, почему оно оказалось тяжелее других? В нем было два листка, но я по два листка наполнял и прежде неоднократно.

Я познакомился с Алекс[андрой] Сем[еновной] Ворониной. Был у нее: пил чай у хозяев ее квартиры, литовских татар. Муж похож на казанского татарина, а жена имеет более восточный тип, тип киргизки или барабинской татарки. В квартире пианино; она играет вальсы и дает первоначальные уроки. По-татарски они не говорят; их колыбельный язык – польский.

Молодая художница, о которой я писал в прошлом письме, тоже Воронина (Антонина Александровна). Оказывается, что она питает не только к Анучину, но и ко мне большое благорасположение. Скоро и мой кабинет украсится ее произведением.

Концерты и заседания продолжаются. Был на двух камерных вечерах, устроенных Музыкальным обществом. Мечтал под музыку Бетховена и Мендельсона, уносился мыслью далеко-далеко, чуть ли не туда, где лимонные деревья цветут, где мирты и лавры поднимают к небу свои вершины. Воображение создавало целые красивые события. Я приносил себя в жертву за благо человечества, меня растреливали, люди плакали. Ах, как сладко умирать под музыку Бет-

ховена и Мендельсона. А потом, спустя тысячу лет после того, как я умер, или после того, как меня убили, мне поставили бронзовый памятник на городской площади, и толпа ликовала.

Устроился и второй вечер в Литер[атурно]-артист[ическом] кружке. На этот раз он вышел удачнее. На первом было 36 присутствующих, на этот раз 70. И это несмотря на то, что по нерасторопности члены были приглашены только повестками, а в газете опоздали напечатать. А напечатали, что на следующий день (22) будет общее собрание с докладом Потанина. Отсутствие объявления о собрании 21-го и помещение о 22-м сбило публику. Кроме того, в повестке сообщили, что г. Кочаровская будет читать реферат, но о чем, не было сказано. И публика явилась неподготовленной. Зала была полна, и это на нервы действовало успокоительно. Публика осталась довольной вечером, хотя реферат г-жи Кочаровской, кажется, большинство не удовлетворил. Она читала о демонизме в модернистской литературе. Говорили, что можно было бы упрекнуть ее в том, что она совершенно без нужды перегрузила свой доклад рассказами о неприличных излишествах половой жизни. Г. Бражников с успехом возражал г-же Кочаровской. После реферата – соната Франка, и было пропето одной дамой три арии. По поводу вечера в городе на другой день большие споры. Кружок бранят за то, что это собрались "буржуи", которые хотят наслаждаться художественными произведениями в своем замкнутом круге, обставив вход в кружок такими рогатками, что небогатому человеку, студенту или медичке туда трудно попасть. Желających проникнуть в кружок много.

Писал ли я Вам, что Вера Петровна отказалась от председательства. Мы смущены, мы в отчаянии.

Тискаю и целую Ваши руки. Г. П[отанин].

№ 111

27 октября 1909 г.
г. Барнаул

Дорогой Друг!

Получила Ваше письмо дня 2 или 3 тому назад. Хотела ответить тотчас же, но дома не удалось, на службе тоже все время была работа, а вчера (утром) приехали Орлов и Сизиков. Целый день мы так и проболтались: ходили гулять, потом вечером – в «Эврику»; была у нас также m-me Меллер, – и день пролетел незаметно. Итак, пишу сегодня, на службе. Прежде всего, спешу успокоить Вашу ревность

по отношению к Орлову: мое сердце совершенно свободно от увлечения. Весной он показался мне интереснее и содержательнее и менее флегматичным (такой флегма совершенно не подходит к моему темпераменту); вероятно, тогда просто сказывалось влияние весны на чисто физическую сторону организма и выразалось в безотчетном влечении к некрасивому, но молодому, высокому, сильному мужчине. Теперь я равнодушна вполне, даже нахожу его довольно-таки неотесанным. Итак, с этой стороны будьте спокойны. Сегодня наши гости уже уезжают.

Относительно малокровия тоже, кажется, несколько лучше. Вы спрашиваете: «Чем могу помочь?» Ну чем же Вы можете помочь? Ведь Вы не врач. На Алтай поедет, вот и буду здорова. А до сих пор надо терпеть – ничего не поделаешь!

Поздравляю Вас с назначением пенсии от Литератур[ного] фонда, Вы написали мне о ней, а на след[ующий] день я прочла перепечатку из «Сиб[ирской] жиз[ни]» в нашем «[Барнаульском] листке»; там выражено одобрение решения фонда, сумевшего оценить Ваши научные труды. Конечно, Вы «не откажетесь» от этой награды, а что касается Вашего предложения по приезде моем в Томск передавать ее мне, то на это Ваша Маня говорит: «Спасибо, милый!» Это даст мне возможность отдохнуть на первое время от службы (пока не приищу) без опасения, что не будет денег на карманные расходы («на булавки»). Ваша Маня ведь транжирка – что греха таить! Да и долгов у меня много.

Зачем же Вы разыскивали А. С. Воронину, если и письмоце, и облепиху получили? (Вам должна была передать то и другое Елизавета Митрофановна). Поблагодарить хотели? Или просто (кайтеска!) хотели посмотреть на незнакомую недурненькую барышню? Ну, как понравилась Вам Александра Семеновна? Симпатичная, не правда ли? Признайтесь, я не приревную. Знаю, что крепко любит меня мой поклонник, так сильно, как Гейне любил Агнессу. И горжусь этой любовью и не променяю его на молодых вертопрахов. Ну, а вот относительно картинки-то молодой художницы, – надо Вас немного отчитать. Не стыдно ли будет на старости лет повесить соблазнительную картинку в Вашу «храмину»? Фу, срам, какой! Маня тогда и носу в Вашу комнату не просунет. Терпеть не могу такие нагие женские фигуры, которые вызывают чувственность, а эта – вызывает, несомненно. Но разве всякое обнаженное женское тело вызывает чувственность? Я с восторгом смотрю не только на прекрасные ста-

туи, отмеченные божественной красотой, но и на живые прекрасные фигуры женщин, только на такие, конечно, которые вызывают чувство поклонения красоте, а не на те «бракоспособные», как Вы выразились, расплывшиеся, носящие следы многократных родов... бр... я отвертываюсь от них с физическим отвращением!.. Если Вы повесите в своем кабинете божественно-прекрасную обнаженную женскую фигуру, я ничего против этого не буду иметь. Я видела в прилож[ении] к одному иллюстрированному журналу, кажется «Новь», картину – Фрина перед судилищем; женщина на ней так девственно-прекрасна, так грациозна и стройна, что глаз нельзя оторвать... Вот это я понимаю! А что Вас сочтут аскетом – ложная досада! В первых, пусть думают, что хотят, а во-вторых, в Ваши годы так и быть подобает, это только естественно, нормально. Еще кое-что сказала бы на эту тему, но довольно пока, поговорим подробнее, когда увидимся.

Видела в «Сиб[ирской] жизни» свое «В бору». Довольна, что напечатано. Я полагаю, что редакция выдаст мне гонорар не ниже, чем Вяткину, т.е. по 6-ти к[опеек] за строчку. Вы при случае скажите, пожалуйста, об этом Вере Петровне. Денег брать пока не буду. Если там чаще будут появляться мои стихотворения, то скопится все-таки немного, и Вы при отъезде из Томска в мае возьмете всю сумму; это будет лучше, чем пересылать ничтожными частями, да и за пересылку не будет удержано. Не слишком ли Вы легко одеваетесь из «экономии»? Боюсь, как бы не простудились, в Томске ведь холодно. Сборник в ознаменование Вашего 75-летия я приобрела. Мне думалось, правда, что он и у Вас, вероятно, есть, но все-таки хотелось познакомиться с ним поскорее. Портрет хорош, несмотря на то, что и мне пришла при взгляде на него мысль, похожая на Вашу, не в отношении «сдирания шкуры с живого человека» (выдумаете же?!), а в отношении любви к женщине. Но я-то ведь знаю, что Вы умеете любить, а потому меня не пугает внешность Вашей «копии», и я обвиваю руку шею оригинала и целую его смело, прямо в губы!

Будет, – рука устала. Сегодня все время писала служебные бумаги, а только кончила, принялась за письмо. Интересно, понравился ли Вам вкус желе? Держите банку на холоде, тогда будет вкуснее, прощайте, милый, хороший мой! Берегите себя. Привет Козловым.

Ваша Маня.

Вчера отправила ответ на Ваше письмо, а сегодня опять получила весточку. Очень довольна! Решила не откладывать и сегодня же написать, только немного, потому, что: во-1-х, все написала вчера, что хотела, а во-2-х, сильно болит голова, и мне трудно собрать свои мысли. Хорошо еще, что работы сейчас нет (пишу на службе), – письмо все-таки легче писать, чем скучные бумаги.

Вы спрашиваете, «почему такая история с письмом?», что Вы и раньше посылали по 2 листка, но... друг мой, это уже не первая «история», а по отчету третья; я же молчала об этом потому, что «это» первый еще раз послужило досадной причиной неполучения мной своевременно Вашего письма и заставило томиться ожиданием его до 12-ти часов следующего дня! Итак, если бы не отсрочка, Вы и не узнали бы об «истории». Вероятно, бумага, на которой пишете, теперь тяжелее прежней, потому что насколько помню, раньше за 2 листка не приходилось доплачивать.

Очень жаль, что Вера Петровна отказалась от председательствования. Чем же мотивирует она отказ? Это интересно было бы знать. Ведь, казалось бы, она тут как раз у места, как живая, недюжинная сила. Прочла об ее мнении относительно стих[отворения] «Из прошлого». Ответом на мое легкое недовольство явился № «Сиб[ирской] жизни» со стихотворением (230-й). И почему бы, в самом деле, не печатать моих стихотворен[ий] на личную тему, когда печатаются такие же гг. Тачалова и Вяткина? Хотя с мнением В. П. [Соболевой] и Вашим я, впрочем, вполне согласна сама. Хотела бы узнать, будет ли напечатан «Эдельвейс» в след[ующей] книжке «Молодой Сибири»? Или журнал больше не выходит? Если это так, то нельзя ли и «Эдельвейс» пристроить в «Сибирскую жизнь»? Оно же и не «личное». Я думаю, что можно. А для меня, чем больше будет напечатано и оплачено стихотворений, тем лучше.

Забыла написать во вчерашнем письме, что получила № газеты с Вашим – «Чемальский тупик». Хорошо написано. Мне захотелось побывать в мастерской Гуркина. Я подумала, что, может быть, на буд[ущее] лето удастся осуществить это желание, а еще лучше, если и познакомиться с молодым художником, картины которого мне очень нравятся.

Хотя голове моей и лучше стало (я замечаю, что когда начинаю писать письма, мне делается лучше: вероятно, мысли отвлекаются в сторону от неприятных вещей), но все-таки кончаю письмо: не о чем пока писать, вчера написала большое.

Крепко жму Вашу руку и надеюсь, что и на эти два письма Вы не заставите меня долго ждать ответа. Целую... целую...

Любящая Вас Маня.

№ 113

2 ноября 1909 г.

[Томск], Солдатская. 78

"Гуллет" уже на двухмесячном расстоянии, а я все еще чувствую конвульсии события. Это было не то, что поцелуй в подлокоток; тут зоология, а там акт юридический без примеси зоологии, клятва, договор, ратификация. Организм был охвачен тем благоговением, которое испытывал дикарь, когда, присягая, лизал лезвие меча. Второй свисток спихнул меня с парохода на берег вместе с благоговейным чувством, и я пронес это чувство через все поле, отделяющее Черемошники от окраины города. Во все время, пока я шел полем, во мне трепетал восторг. Еще бы не быть в восторге! Ведь на "Гуллете" я держал в своих руках и жал своего бога. Часовой механизм жизни безжалостно ссадил меня на берег, а как было бы хорошо после этих объятий посидеть подле Вас, поблаженствовать, смотря на Ваше лицо, любясь на его черты и на Ваши глаза. Тогда благоговение, конечно, перешло бы в зоологию, а я, Вам известно, без протеста охотно отдаюсь зоологическому чувству, хотя ценю и благоговение. Вам не нравятся дефекты моего темперамента, но Вы прощаете их. Милая ведь Вы!

Когда я тискал теплое тело своего бога в своих руках, я не видел ни Ваших глаз, ни даже лба; я видел только окно, за ним Томь и, вероятно, противоположный берег, если не было тумана. Я обнимал *marmschön* (мраморно-прелестную), но не как у Гейне, не *marmerkalt* (мраморно-холодную). Тело, лежавшее у меня на груди, было одарено жизненной энергией и давало мне чувствовать это. Мой бог энергично целовал меня. Может быть, мой бог благодетельствует меня и еще раз повторит пьесу "На "Гуллете". Тогда я, целуя шею, отодвину немножко воротничок и помещу свои губы возможно ниже! И захочется, чтоб губы сделались длинные-длинные. Что мои фантазии могут сбыться, за это говорят два Ваших последних пись-

ма, одно в два листика, другое в один. Эти письма продолжение гуллетовских настроений. Та же энергия любви, те же вожделения. Наши секреты все нарастают, общение наше становится интимнее, хотя нам обоим зудится прокричать на весь свет об Агнесе. Я хочу крикнуть, что я люблю Агнесу, а Вы – что Агнесу любит кто-то, и ей это нравится (тут чувствую эмоцию и целую Вас по-гуллетовски).

За последние два письма так благодарю, так благодарю..., что уж и не знаю как! Прочитал их, и передо мною та же смелая девица, которая обнимала меня на «Гуллете». Тут есть некоторые строчки: тот же порыв, та же стремительность, столько же увлечения. Спасибо за успокоительное слово по поводу вторжения топографов. У Гейне есть стихотворение, которое, конечно, Вы знаете. (Чернышевский называет его гуманым). В город входит гусарский полк и располагается на квартиры, и подруга Гейне увлекается новыми лицами и забывает старого друга. Но полк уходит, сияющее солнце, дворники выметают из конюшен навоз от гусарских лошадей, и Гейне идет к своей подруге с букетом цветов. Слава Богу, и мой эпизод кончился, и кончился для меня благоприятно! Слава Богу и слава богу! Букет принести моей подруге не могу; зима, да до Барнаула рукой не достанешь. Вместо букета шлю эти строки, пропитанные ароматом любви, и мысленно заключаю в объятия милую Маню. В последних письмах Вы не раз говорили о себе в третьем лице: Ваша Маня говорит и т. д. Мне давно хотелось назвать Вас своей, давно порывался я произнести: моя Маня! Но я робел. А теперь, после того, как гусары ушли из Барнаула на зимние квартиры в другой город, и Маня возвратилась ко мне, я смело могу назвать ее моей Маней. А главное, она сама называет себя моей Маней. И так моя ведь! И пальчики мои, и локоны мои, и плечики, и губки (опять эмоция – целую в «мои» губы). Может быть, это все уже излишество, и Вы хмуритесь и уже отчитываете меня, но что же мне делать – мне так хочется, чтоб Вы были моя.

С Александрой Семеновной познакомился потому, что Вы заинтересовали меня; написали, она милая. Ну мне и захотелось увидеть ту, которая Вас очаровала. Ничего, остался доволен. На днях вечером сделалось скучно, одиноко. Если б Маня была в Томске, пошел бы к ней. А так как А. С. [Воронина] живет по той же улице в следующем квартале, то я пошел к ней. Если Мани самой нет, то около А. С. [Ворониной] есть атмосфера Мани. Пошел, чтоб пригласить к себе на чай. Оказалось, что к ней приехала ее сестра из Красноярска.

Я взял обеих сестер к себе, угостил их чаем, облепих[овым] желе и коробкой Бронислава. Они чувствовали себя у меня, кажется, хорошо, хотя А. С. [Воронина] и обмолвилась: «Вам, кажется, с нами скучно!» Хотя обе сестры и не знают (*horribile dictu*), кто такой был Чингисхан, тем не менее я с удовольствием смотрел на них. Милые дети!

Как только «Ответ» появился в «Б[арнаульском] листке», так я и понял, что он адресован мне. Да и Вы, кажется, в одном письме, опасаясь, что я сам не пойму этого, указываете точный адрес с добавлением, что Вы не можете иначе, что же делать! Я понял, это стихотворение, как отодвигание друга от себя рукой. Сейчас же мне стало грустно, ужасно не по себе. Но тогда же зазвучали Ваши слова, которые встречал я в некоторых Ваших письмах: "Не грустите!" А потом и эти последние письма. И эти "обвивающие мою шею руки", которые я ловлю и целую.

№ 9 "Молодой Сибири" с "Эдельвейсом" освобожден из-под ареста, и, вероятно, Вы уже видели его в Барнауле.

Желе вкусно. Я угощал им своих компаньонов по табльдоту. Им понравилось, сужу по тому, что они быстро его уничтожили.

А ведь молодая-то художница действительно решила поднести мне тарелочку с "бракоспособной" обнаженной женой. Теперь как быть, чтоб ослабить Ваше негодование. Думаю сказать ей, что она сделала свою работу с гипсовой фигуры, как она сама это сказала мне, но что я не люблю marmorkalt и гипсовой фигуре предпочел бы живую нагую натурщицу. Но где же она найдет здесь натурщицу? И придется ей вместо "бракоспособной" жены подарить мне стилизованную коробочку, украшенную невинными листиками.

Вера Петровна отказывалась, ссылаясь на болезнь, но ей не верят; новые выборы не состоялись, и пока она остается на своем кресле. Ведет себя как самая подлинная председательница, уходит в дело по уши, ободряет, воодушевляет, строит увлекательные перспективы, проявляет бесконечную изобретательность. Под ее влиянием кружок будет воспитывать в обществе жизнерадостность. На очереди возведение на пьедестал солнечного Федора Зайцева. В Литер[атурном] отделе Драм[атиче]ского общества были дебаты о «Вехах». Говорили 10 ораторов; вышло однообразно, потому что говорили только одни марксисты, т.е. эсдеки. Острые в Томске, что никто из ораторов «Вех» не читал, кроме одного, да и тот читал год назад.

Ох, как мало осталось места для заключительного аккорда. Больше всего в Ваших последних письмах понравилось, что Вы соглашаетесь взять у меня деньги на время без службы. Сначала в Алтай, а потом в Томск. В Алтае сядем на берегу Катуня на зеленую травку, я сниму с Ваших ног башмаки и чулки и буду целовать Ваши ноги. Сначала, конечно, в губы, пока не надоест (сомневаюсь, впрочем, чтоб надоело), а ноги это потом. Писал бы еще и еще, да бумаге конец.

Ваш друг, оригинал!

№ 114

5 ноября 1909 г.

[Томск], Солдатская, 78

Ваши последние письма развели такую качку в море моих нервов, что двух листиков, написанных в ответ на них и отосланных 2 ноября было мало, чтобы исчерпать энергию взволнованного моего сердца и восстановить в нем равновесие. Вчера наметил программу сегодняшнего дня, должен бы по делам Лит[ературного] кружка идти к проф[ессору] Боголепову и по делам Общества обывателей к Шипицыну, но чувствую себя расстрелянным любовными молниями Ваших писем, не могу оторваться от пера, не могу не писать. Сижу и чувствую на шее галстук из милой руки и горю в огне. Мечтаю (мало этого – жажду, вождедею), вождеделенно мечтаю об этой руке, о пальчиках, специально созданных для моих поцелуев (моей поцелуйной практике разрешено активно проявляться только на этом участочке милого тела), о симпатичной мягкости, одевающей кость между локтем и плечом, и мало ли о чем в этот момент вождеделенно мечтаю. Да, уж не пойду никуда, под лавку дела и кружка, и городского самоуправления, останусь наедине с милой Маней, с очаровательной, соблазнительной Маней, Маней с хорошеньким личиком, с всепрощающими глазками и с влекущими к себе губками, и пусть льется моя страстная речь.

Когда я перечитываю Ваши письма, моя милая, мне кажется, что передо мной две Мани. Одна, которая пишет стихотв[орение] "Ответ", которая поучает, что старцу подобает быть аскетом; другая, которая обвиняет рукой шею друга, "целует, целует", не хочет променять старого друга на молодых вертипрахов и смело целует друга в губы. Первую я слушаю из уважения, но лениво, и ее наставления не залегают у меня в душе, а вторую слушаю с удовольствием, с увлечением и хотел бы, чтобы она еще и еще говорила в том же роде.

Я люблю её и целую! А с той Маней буду спорить. Подобаёт быть аскетом. Но ведь я по природе не аскет. Правда, после смерти жены я ни разу не доходил до грехопадения, и Вы на "Гуллете" обнимали безукоризненное тело, но мысленных грехопадений у меня было сколько угодно. Вы признаётесь, что с Вами бывают весенние настроения, объясняемые чистой физиологией; а со мной это бывает ещё чаще и в течение круглого года. Но я в притоны не спускался, а если в этих обстоятельствах ухаживал за горничными, то никогда не забывал в них человека, всегда надо мной реяло "уважение к человеку", и всегда сознавал я ответственность за человека перед кем-то выше меня. И если б случилось грехопадение, я сделал бы горничную своей женой, был бы ей верен до конца, и Вы не получали бы от меня таких глупых писем, как теперь. Во время прекращения нашей переписки с этими приступами "весны" было очень трудно бороться, но когда переписка установилась (и какая? до какой степени откровенная?), я легко смахиваю это наваждение "весны", как муху. Мелкнёт соблазнительная женская линия или женский жест, нервы придут в смятение, но на момент, потому что все мои мысли теперь в Барнауле. Там около одной персоны концентрируются все мои душевные желания, весь мой душевный мир, туда же к той же персоне направляются все приступы моей физиологической "весны". Вот ведь сознаться, что у тебя бывают такие чисто физиологические потяготы к женщине вообще как-то совестно, потому что тут животное стремление не облагорожено человечностью; вот Вы мой интимный друг, перед которым я все открываю, и то нужно усилие, чтоб написать Вам это. А ведь такая же совершенно "весна" увлекает меня к Вашим ногам, и я не стыжусь сознаться Вам в этом. Сколько раз Вы приводили мои нервы в смятение, но никогда я не испытывал душевного смущения! Никогда не чувствовал, что что-то делаю бессовестное. Что со мной было, когда я получил письмо впервые подписанное: М.. я! (Это была не простая подпись; две точки и две буквы означали, что Маня отдаёт своему другу что-то очень дорогое). В нервах было землетрясение, а в душе блаженнейший штиль.

Мой портрет при сборнике, по Вашим словам, свидетельствует, что я далеко не аскет, да и Вы это знаете давно и, кажется, не особенно против этого протестуете, потому что сознаёте в себе власть укрощать и тренировать эту чувственную натуру. Я видел одну классическую картину (барельеф), изображающую встречу менад с бесстыдными сатирами в лесу. Менады бегут в испуге и роняют

тимпаны. Но моя менада оправилась и не только не бежит, но идет навстречу сатиру, поднимает руку, приглаживает его растрепанные брови и старается сделать безобразника похожим на Аполлона (помните? это было за сиренями, под березами). Удастся или нет преобразить этого чувственника в приличного поклонника, но мне нравится, что мой друг налаживает мои чувства. Пусть он растворяет двери во все уголки моей души, пусть роется на дне ее, пусть видит весь хлам, все отбросы, наполняющие ее. Тут много позорного, что я тщательно скрывал от людей, да и теперь не желаю, чтоб они знали, но я позволяю своему другу разоблачать мою внутреннюю жизнь. Людям мне стыдно, но друга не стыдно. Апостол сказал: "Любовь все прощает". Вот мой друг или вернее моя подруга и вытаскивает на свет Божий, что-то такое. Какой срам! Изобличены мои тайные вожделения на счет моей подруги, о которых я и ей не решался заикнуться. Но мне не стыдно, и я протягиваю губы, а она подставляет свои. У природы – бога нет грехов и преступлений, есть только акты и явления. И когда Вы писали свое стихотворение "В храме", в Вас билось сердце самой природы, а я был не прав, когда называл Вашу молитву грешной. В Храме Природы излишни фиговые листья. Сбрасываю с себя покрывало и с удовольствием принимаю солнечную ванну в благотворных лучах Вашего благородного сердца. Разумеется я с Вами согласен на счет культа красоты женского тела, и вообще мы сойдемся в храме, построенном во имя св[ятого] Фейербаха (в православных святцах не ищите). Да здравствует Федор Зайцев, хотя я еще ни одной строчки его не читал, а верю на слово Вере Петровне.

И подруга моя иногда распахивает свое покрывало передо мной; иногда и она вынимает из своих тайников вещицу, которую никому другому не в состоянии показать. И я не только не отворачиваюсь от нее, но еще более прилипаю к ней.

Иногда мне кажется, что я моллюск в улитке, которую держит капризная девица. Моллюск выпускает свои щупальцы и ищет что-то в пространстве, иногда девице покажется, что щупальцы нагло вытянулись, и она бьет их своим пальчиком; щупальцы укорачиваются и совсем исчезают, но опять выдвигаются; она опять бьет их; они снова исчезают и снова вытягиваются. Бросить бы улитку давно на землю. Но капризную девицу забавляет эта борьба с животным инстинктом, и она не хочет расстаться с улиткой.

Господи! Эта длинная зима! Переживу ли ее? Дотерплю ли до весны? Как бы хотелось быть сейчас в Барнауле, сесть подле Вас, взять Вашу руку и сделать из нее себе галстук. Хочется целовать, целовать, а передо мной только пространство. Если б влюбиться в Александру Семеновну, да никак нельзя, о Чингисхане ничего не знает. Я беснуюсь и не нахожу достаточно яростной формы, чтобы выразить свой протест против этой зимы, чтобы уязвить создавшее ее божество.

Неужели Вам не хочется быть сейчас в Томске, вот сию минуту, в ту именно, когда Вы читаете это письмо. Быть подле меня, сесть рядом, прижаться к своему другу, положить ему на грудь свою головку и позволить ему гладить Ваши волосы и целовать Вашу шейку? А нуте-ка выпрямитесь, посмотрите на меня! Голодная! Протяните-ка Ваши губы!

Вверяю государственной почте мои интимные листки; государство доставит Вам в Барнаул на Пушкинскую мои горячие длинные, длинные поцелуи.

Влюбленный не только в Вас, но и в Ваш ботинок, не только в ботинок, но и в отопок ботинка.

Г. П[отанин].

№ 115

*15 ноября 1909 г.
г. Барнаул*

Ну, друг мой, только что хотела наточить стрелы своего остроумия, чтобы хорошенько «отчитать» Вас за поползновение целовать мои «обнаженные ноги», как получаю второе письмо. Это уж был целый костер чувственности!... Тут, несмотря на мою «смелость», и я отступила в испуге... Чтобы войти во вкус (поймете, конечно, что это ирония), постараюсь познакомиться с произведениями г. Зайцева; если это литература á la «Санин», то авось г. литератору и удастся заставить меня любоваться сладострастными Венерами, отвернувшись от очаровательной, но (увы!) недоступной Дианы!

Хотя Вы подобные «поучения» и «лениво» слушаете, но все-таки позволю себе еще упрекнуть Вас: 1) в искажении фактов, а 2) также и моих собственных фраз.

Сейчас объясню, в чем дело. Вы пишете: на «Гуллете» я держал в руках и жал своего бога». Когда это было? Не Ваш ли «бог» сам обвинил руками Вашу шею, а Вы... Вы оставались совершенно пассивным. Припомните-ка хорошенько: что ближе к правде? Относитель-

но же моей фразы, что «я согласно с Вами, что, судя по портрету, Вы – аскет», но «можете любить женщину» (причем я все-таки представляла себе более одухотворенное чувство, чем то, которое Вы проявляете). Вы же пишете, что портрет при сборнике свидетельствует по моему (т.е. Мани) мнению, что Вы далеко не аскет.

Ну, да будет! Вам ведь скучно это слушать, – поговорим о другом.

8-го ноября барнаульцы праздновали 25-летие существования своего Школьного общества (Общества попечения о начальном образовании). Незадолго перед тем я встретила в редакции «Барнаульск[ого] листка» поразительно красивого молодого человека. Мы познакомились; это оказался поэт Анчаров. Перед юбилеем я помогла ему исправлять его стихотв[орение], посвящ[енное] памяти Василия Константиновича Штильке (см. «Барн[аульский] лист[ок]» 8 ноября № 228), которое он и читал в день празднества (он прекрасно читает стихотворения!) и готовила свое – «Спасибо» – Школе!» («Барн[аульский] лист[ок]», 11-е ноября). Мальчик-школьник прекрасно, с чувством прочел мое стихотворение, до слез расстроил публику и вызвал аплодисменты. Хотя в описании школьного торжества и сказано, что «Спасибо» – Школе!» написано («составлено») по классным работам учеников, но это объяснение дает весьма неверное понятие о происхождении моего стихотворения: школьные сочинения, эти так называемые «работы», были весьма скудным материалом, состоящим из $\frac{3}{4}$ листа писчей бумаги, нескладно и бессодержательно написанных двумя мальчиками и одной девочкой, – вот и все. Форма и содержание – безусловно мои. Был у меня еще заготовлен стихотворный привет школьному юбилею, положенный на музыку Клястерот, но не пропетый, потому что два наших смешанных хора находятся в страшном антагонизме друг с другом и соединить их для праздника стоило невероятных усилий. Когда-нибудь, на словах, расскажу Вам об этом подробнее, а в письме будет слишком долго.

Анчаров, придя ко мне, привел своего товарища по квартире (учителя), очень симпатичного молодого человека, тоже поэта, – Швецова. Он тоже принес стихотв[орение], посвященное юбилею; оно не было напечатано в газете, но также прочтено автором в день торжества. Таким образом, число барн[аульских] стихотворцев увеличивается. Паньшин мечтает о составлении «Литературного кружка». Не знаю, увенчаются ли успехом его хлопоты. Завтра вечером молодые люди опять собираются прийти ко мне. В сегодняшнем

№ «[Барнаульского] листка» – стих[отворения] Анчарова, Паньшина и Усовой (гимназистка час[тной] гимназии «Будкевич»). Усова тоже у меня бывает. Все они дают мне для одобрения и поправки свои произведения. Анчаров забегал вчера показать свое, – исправила кое-что, спешно, т.к. он торопился напечатать. Стихотворение хорошее, прочтите. В будущем воскресенье на литератур[ном] утре в Народном доме он хочет читать мою «Мысль». Пойду, послушаю. Никогда не слыхала своих стихов с эстрады, а интересно: читает он так хорошо, и сам такой красавец!

«Эдельвейса», представьте, до сих пор не видела! «Молодая Сибирь» здесь не получается; в книж[ных] магазинах, по крайней мере, нет. Вяткин хотел послать мне 2 экземпляра, но его нет теперь в Томске. Нельзя ли как-нибудь устроить, чтобы редакция мне выслала? Узнайте, пожалуйста! Так хочется, мне поскорее увидеть «Эдельвейс» напечатанным! Да и стих[отворение] Вяткина, помещен[ное] рядом с моим, тоже очень меня интересует.

Сейчас пойду в концерт, в Барнаульское собрание, а потому кончаю письмо, – надо заняться своим туалетом.

Ну, будьте же «паинькой», и тогда я Вас поцелую, только тогда, а пока крепко жму Вашу руку, дорогой, милый друг мой!

Ну, ну!... Пожалуйста, не хмурьтесь!.. Руки целуйте, сколько хотите... Ведь я Вас все-таки люблю! Очень люблю. Маня.

№ 116

23 ноября 1909 г.
Т[омск], Солдатск[ая], 78

Слава Богу, получил от Вас письмо. Собирался уже спрашивать, почему так долго нет письма от Вас. С 1 ноября до 20 не имел от Вас весточки. Что случилось, или Вы больны, или в Барнаул вступили гусары, или Вы осердились на меня за "костер чувственности"? Хуже всего было бы, если б оказалось, что Вы заболели. Но, слава Богу, этой беды не случилось!

Вы меня дразните своим гусаром, но у меня тоже завелся милый предметик. Я получил письмо от одной девицы, украшающей своим существованием город Новониколаевск, письмо, отмеченное большой силой веры в меня. Ну, конечно, сердце мое пошло навстречу. Вот само письмо: "Григорий Никол[аевич], писатель, прошу Вас сказку III отделение в школу, писатель Потанин, сказку, Григорий Николаевич, в школу, писатель, Александра Мирхель". (Это точная копия с подлинника). Ну вот как тут не закружится

голова! Я зашел к Макушину, дал денег и просил послать ей книжку Клавдии Лукашевич и теперь с нетерпением жду следующих каракуль. Красавица ли она, не знаю. Но для меня она уже красавица, против гусаров Бог посылает мне противоядие. Надеюсь, что и впредь Его рука не оскудеет!

Когда я отослал Вам "свой костер чувственности", я почувствовал, что мне достанется. Но Вы обошлись милостливо. Я ждал более суровых выражений. Впрочем, если б поступили по всей строгости законов, если б Вы сделали подлинную головомойку, то все это были бы праздные меры. Вы пришли бы мести комнату, которая уже выметена. Отправив свое неистовое письмо, дня через два, через три я был уже другой человек, "паинька", как Вы выражаетесь. Я был целомудрен, как снежная вершина Алтая. И если б я получил от Вас письмо с строжайшим выговором, я прочел бы его с полным спокойствием, как будто выговор относится к какому-то другому лицу, а не ко мне. До такой степени я чувствую себя в настоящее время святым, непогрешимым, словом, "паинькой". А потому, значит, заслуживаю поцелуя.

Можете успокоиться также и на счет голой женщины, можете смело войти в мою комнату. Молоденькая художница, наконец, украсила одну из стен моей комнаты своим произведением, вполне целомудренным. Теперь у меня висит над письменным столом нарисованная ветка облепихи в изящной оригинальной рамке. Колочая мораль!

Самое высшее наслаждение, которое я за эти 20 дней получил, это Ваше письмо. Потом камерный вечер. В этот вечер были многолюдные собрания и в Обществ[енном] собрании, и в цирке, и все-таки зала музыкальн[ых] классов была почти полна. Я сидел подле Веры Петровны; она была очень довольна музыкой. Играли весь вечер только три музыканта: рояль, скрипка и виолончель. Все три пьесы: трио Шуберта, соната Моцарта и трио Сен-Санса были сыграны превосходно. В одной из этих пьес скерцо напомнило мне барельеф, изображающий менад, перепуганных сатирами в лесу.

Кроме нашего "аристократического" литературного кружка здесь еще демократический лит[ературный] кружок. На днях был в нем и слушал, как Бражников костил молодых литераторов, обзывая их литературу "ассенизационным обозом". Жаль, что в газету попадают об этих собраниях только глухие отголоски.

"Эдельвейс" достану и пришлю.

Против того, что на "Гуллета" я играл пассивную роль, я не спорю, но, кажется, я и не выставлял представления в обратном смысле. Действительно, милая рука крепко обвивала мою шею, а я был парализован восторгом и робел. У меня было выражение: "я жал", но это не значит признавать за собой активность; я жал, но не отрицаю, меня тоже жали и крепче, чем я.

Вы ничего не пишете, как обстоит дело с Вашим сборником. Видно, Вы растранижили деньги, предназначенные на сборник. У, транжирка!

Делаю, что мне позволено: беру в руки Ваши руки, привлекаю их к своим губам и целую.

Ваш друг, увешанный с головы до ног фиговыми листьями.

Г. П[отанин].

№ 117

25 ноября 1909 г.

[Барнаул]

Друг мой! Что это значит? Вы не пишете. Отчего? Не получили моего письма? Или получили и обиделись, рассердились на меня? А я... кажется, я была только последовательна... Не признаете ли Вы сами моего права – бороться с «животным» инстинктом, который одолевает Вас?.. Но, может быть, это лишь мое предположение, и Вы не сердитесь ничуть, а причина молчания совсем другая. Вы больны, быть может? Я боюсь, тревожусь, не знаю, что думать... Неужели? (кажется, это – нелепость!) Неужели Вы вздумали приревновать меня к... Анчарову?! Друг мой! Это же мальчик... Правда, очень красивый, милый, симпатичный, но все же – мальчик! Я так на него и смотрю. Задал же нам печали и страху этот мальчик с неделю тому назад! Представьте, он вздумал отравиться уксусной эссенцией!! Правда, очень тяжело ему жилось, голодал по несколько дней. За неимением другого заработка пел куплеты с эстрады в гостинице Сосс! Это страшно его тяготило. За день до катастрофы он был у меня, приносил свое стихотв[орение] «Разбитые грезы», жаловался, что жизнь гнетет его и давит... Последние строки стихотворения таковы: «Эх, поскорее б спознаться с могилою, – страшно измучился я!..» Через день звал меня идти вместе к П.П. Паньшину, хотел за мной зайти в 5 ч[асов] вечера. И вдруг, в этот день, утром, Паньшин телефонирует мне: «Анчаров отравился, не знаете ли, где его квартира?» Я не знала. Да у него и не было «квартиры», он проживал

так – между небом и землей, ночуя то у одного, то у другого из своих товарищей. Боже! Какая это была тревога! Знать, что он жив, но не знать, где находится, не знать, как ему помочь!.. Наконец, я узнала по телефону в городской больнице, что его туда привозили ночью, что ему сделалось лучше и его увезли ночью же, но кто увез, куда? Неизвестно. Вечером по телефону опять справлялась. Из больницы ответили: «Справлялись во всех участках – нигде нет». Тогда я побежала с madame Меллер к учителю Швецову. Не застали дома; но от его товарища по квартире узнали, что Анчарову лучше, что он на квартире у своих знакомых, но где – тоже неизвестно. Теперь юноша поправляется, даже выходит из дому. Стараемся найти ему порядочно оплачиваемое занятие, «место». Два раза навещала его. Снова пишет стихотворения, снова хочет жить. Я рада: мальчик талантливый, у него есть будущее.

Вот и все. Будьте спокойны за меня (если приревновать вздумали!). Пишите скорее. А то я волнуюсь. Строчу даже сегодня письмо, хотя времени совершенно нет. На днях будет любительский спектакль, я участвую, роль ответственная, много возни. 27-го именины брата: тоже суета и хлопоты.

Ну, будет Вам «дуться», милый, хороший мой! Целую уж Вас... Целую... не сердитесь.

Маня.

№ 118

*1 декабря 1909 г.
[Томск], Солд[атская], 78*

На письмо, в котором Вы писали о первом знакомстве с Анчаровым, я Вам ответил 23 ноября; Вы должны получить это письмо 27, то есть спустя два дня после того, как Вы написали второе письмо об Анчарове. Если оно действительно дошло до Вас, то Вы имеете теперь правильное представление о том, как я отнесся к эпизоду и о том, почему так вышло, что я долго молчал. Вы теперь уже знаете (из этого письма), что я и не думал на Вас сердиться, не думал и ревновать. Живу спокойно, исполнен благостного ожидания весны; чувствую себя забронированным от соблазнов баррикадой из облепихи. Вчера меня посетила Елизавета Митрофановна с Колей и просидела несколько часов. Она написала письмо Вам, но не могла отправить; в доме не нашлось марки. Я дал ей, и письмо, вероятно, сегодня утром опущено в почтов[ый] ящик. Выпив по стакану чаю, гости отправились за Ушайку и по пути увезли меня в музыкальные

классы на вечер Литер[атурного] кружка. Это я в первый раз вышел из сиденья в течение целой недели; отсиживался от болезни, промочил ноги во время оттепели; и, кажется, нехорошо сделал, что вышел рано; хотя болезнь не усилилась, но все-таки ранним выходом я задержал выздоровление. Впрочем, я во всем организме чувствую себя совершенно здоровым, только в горле сухо и жар, в своем роде Сахара. Буду сидеть до 5-го декабря, когда я должен читать доклад.

Третьего дня был здесь симфонический вечер. Кто был, все хвалят, особенно оркестровое отделение. Играли серенаду Гайдна. В серенаде прелесть создается тем, что половина оркестра передает арию посредством пиччатато. Вечер был посвящен Гайдну и начался лекцией Михайловского о Гайдне, в которой многие места высоко поднимали дух аудитории. Я очень жалею, что не мог быть на концерте, но надо было посидеть дома. Но от вчерашнего вечера не мог отказаться. Молодой человек Гавронский читал доклад по поводу нечестивого похода Чуковского на Гаршина. Сначала г. Борисенко прочел "At[t]atae p̄nc̄eps" Гаршина; потом читался доклад, который занял большую часть времени. Говорят, доклад был жидковат и преизобиловал более лирикой, чем серьезным содержанием. И я с этим согласен. Потом последовали дебаты, и они были очень интересны. Спорили, был ли Гаршин пессимист или нет. Этот спор насторожил публику; казалось, диспутирующие подошли к вопросу, что такое пессимизм и не следует ли различать двух пессимизмов, бодрого и безнадежного? Вот какими философскими вопросами занята здешняя молодежь. В заключение председатель m-me В.П. [Соболева] сказала несколько слов, и сказала очень тепло. Потом было еще немножко музыки.

Ваши последние письма имеют ароматические концы, которые приятно убаюкивают мое чувство. Это не аромат жасмина или мускуса, а аромат сибирского скромного ириса, которого сколько бы ни нюхал, животный инстинкт не пробудится. Это странные цветы, растут вершиной вниз. Вверху горшок ("Дорогой друг"). Потом вниз опускается стебель, ветви, листья, иногда жесткие и колючие (выговоры за животный инстинкт), а потом стебель становится нежным и кончается благоухающим милым цветком ("целую").

Целую Вас, девственнейшим поцелуем целую. То есть не в губы, не в руки, а так просто, целую Маню, вот и все.

Г. П[отанин].

Открытку Вашу с картинкой Котарбинского "В цветах" получил. Вы спрашиваете, почему я долго не писал; действительно, был промежуток в переписке в 20 дней, допущенный мною. Это вышло вот от чего. Перед этим перерывом я написал Вам два больших письма, одно через три, четыре дня после другого. Написал их под гнетом сильнейшего, непобедимого и неподвластного мне животного инстинкта и стал ждать: что-то скажет Маня? Или будет большой разнос, или, пожав плечами, Вы скажете: "Хотя Вы и башибузук, но ничего, позволяю Вам, такому отвратительному зверю, любить меня". Поставьте себя на место Вашего взволнованного друга, и Вы поймете, как мне хотелось получить ответ на эти письма, каков бы он ни был. Хотя тотчас по отправлении последнего моего письма инстинкт остыл, а желание получить ответ все-таки осталось. Если бы я, в эти двадцать дней, написал Вам третье письмо, то, может быть, получил бы от Вас письмо, которое было бы ответом на это третье, а о двух предыдущих Вы, может быть, и не заикнулись бы. Но от Вас не было долго писем, и я начал томиться. В это время были оттепели, и я объяснял перерыв переписки порчей дорог, замедлением почты. Наконец я собрался писать Вам и тут получил Ваше письмо и в нем желанный ответ. Вместо разноса Вы только пожали плечами. Значит, Вы любите меня, не обращая большого внимания на мои недостатки. Я в восхищении.

После вечера в Литерат[урном] кружке я засел в своей комнате безвыходно до 5 декабря в надежде отсидеться и освободиться от привязавшегося кашля, но это не удалось. 5-го вечером отправился в Горный корпус Технолог[ического] института. Доклад я составил, как мне казалось, интересно; не блистал наукой, но рассказ должен был выйти картинным, красочным; читать его не в ученном бы обществе (Общ[ество] изучения Сибири), а в обществе художников. Но я его испортил; волновался, растянул, делая большие паузы, теряясь в забытых текстах (я рассказывал, а не по тетрадке читал). И кроме того, потом мне говорили: "Зачем Вы не стояли на месте, а ходили; Ваши сапоги скрипели и заглушали ваш голос". Этот провал так меня огорчил, что я, вернувшись домой и сразу легши в постель, долго-долго не мог заснуть. И в это время я утешал себя только тем, что у меня есть друг, милый друг Маня. Как только вспомню "Гуллет",

вспомню девицу и проявленную ей активность, так тотчас всякое горе с плеч долой. Это воспоминание теперь самое сильнодействующее средство, укрепляющее во мне веру в счастье, желание жить.

Обнимаю Вас и целую, беру Вашу руку, кладу ее себе на шею и покрываю поцелуями мое милое ядро.

Г. Потанин.

[P.S.]. За Вашими стихотворными подвигами в "Б[арнаульском] л[истке]" слежу, но заметил только одно из них: "Зимние грезы". "Лес рубят" – эту тему уже разрабатывала Галина, но это не мешает вновь за нее браться. Первая половина стихотворения, разумеется, у Вас оригинальна. Мне кажется, ту же конструкцию можно применять и к другим темам, то есть сначала картинка из природы, а потом символизация, и в изображениях природы Вы будете проявлять свою оригинальность. И создадите сибирскую пейзажную живопись в стихотворной форме.

Доканчиваю письмо в доме Елизаветы Митрофановны, которая кланяется Вам и интересуется знать, получили ли Вы ее письмо?

№ 120

12 декабря 1909 г.
г. Барнаул

Дорогой друг!

Простите, что задержала ответ на Ваше письмо. У меня тоже не было марки, ее я достала только вчера. Могла, конечно, достать и раньше, но как-то не могла писать. Как Ваше здоровье? Хотя Вы написали, что чувствуете себя лучше, но все-таки 5 декабря собирались выйти из дому, и меня тревожит, не повредил ли Вам этот выход? Я тоже все время прихварываю: каждый вечер очень болят зубы и голова, доктор говорит, что это нервы. Настроение плохое, тоска и усталость. Жду, не дождусь весны, чтобы уехать с Вами и отдохнуть. Все надоело, ни на что не смотрела бы... Живется тяжело и по временам очень хочется умереть... Если бы не долги, которые надо уплатить, ни за что не вернулась бы из Томска. Только одна мама – близкий мне человек в нашем доме, – остальные хуже чужих. Думается, неужели же никогда, никогда не изменится моя жизнь к лучшему, – тогда ведь не стоит и жить! Письмо от Лизочки получила. Отвечу ей после 20-го. Нет ни денег, ни марок. Плачу долги, но на себя трачу немного. Сшила себе всего одну черную юбку, без ко-

торой уж нельзя было обойтись, и купила вельветину на блузку, которую отдаю сшить к Рождеству – вот и все расходы. Видите – немного. Что же Вы не напишете никогда, нравятся ли Вам мои стихотворения, которые встречаете в «Барнаулском» листке? Это молчание опять заставляет меня думать, что Маня-женщина совершенно заслонила от Вас Маню-поэтессу. «Молодую Сибирь» я не получаю? Или Вы не можете достать № с «Эдельвейсом»? Я проворонила выпуск своего сборника к Рождеству. Теперь можно издать только после Нового года или к Пасхе. Как Вы мне посоветуете?

Время идет, и с каждым днем приближается час нашей встречи. Довольны ли Вы? Вы не боитесь... будущности со мной? А я... я жду этой встречи, как минуты освобождения от домашней тирании... Я измучилась... Только маму мне жаль, но что же делать!.. Боже мой! Как иногда тяжело жить!..

Друг мой! Я посылаю Вам стихотворение (одно из последних). Нельзя ли пристроить его в «Сибирской» жизни, так как редакция «Барнаулского» листка слишком робка, чтобы его напечатать, несмотря на очень лестный отзыв, который дала о нем.

Кладу свою голову на Вашу грудь. Я хотела бы отдохнуть на ней от всего, что меня так измучило...

Маня.

№ 121

*13 дек[абря] 1909 г.
[Томск], Солдатская, 78*

Милая, милая, милая! Вот крик, который вырывается из моей души, когда я размечтаюсь о Вас, бегая из угла в угол по своей комнате. Вот прошло уже четыре месяца почти, почти половина нашей разлуки, и осталось только четыре месяца, а не восемь, а между тем в моем настроении я не замечаю перемены. Будущее так же не определено, как и прежде, и свиданье кажется так же далеко, как казалось далеко осенью. Как будто восемь ли месяцев, четыре ли, все равно. Как подумаешь этак-то, невольно вылетает из души вопль: Милая! Милая! Не бросайте меня! Не отвергайте и поддержите! Пишите почаще! Ведите себя еще активнее, чем на "Гуллете"! Не знаю, что во мне растет, чувственность ли только или и благородное чувство, а только я становлюсь с каждым днем нетерпеливее. Жду не дождусь того момента, когда я вновь поглупею в Ваших объятиях и спассивничаю, как на "Гуллете".

Вчера сидел вечером у Елиз[аветы] Митрофановны. Ив[ан] Сав[ельевич] "со страхом и трепетом" собирался на какое-то заседание. Каждый раз, уезжая из дома, он не знает, благополучно ли он вернется. На неделе он был на заседании в мужской гимназии, его вывели из заседания под руки, посадили в сани и отвезли домой. В прихожей сбросили с него шубу, а он стоит, не смеет двинуться, и только ловит губами воздух, безуспешно стараясь загрести его в рот побольше. Он рассказывает, что он стал чувствовать свое сердце; он ощущает, как оно шевелится в его груди. Прежде он этого не ощущал. Когда он утром встанет в 4 часа с постели и уйдет в столовую, Ел[изавета] Митр[офановна], оставаясь в спальне, прислушивается к малейшему шороху в столовой, если там Ив[ан] Сав[ельевич] раскашлялся, сердце ее радуется, значит Ив[ан] Сав[ельевич] существует, живет, отправления его организма, значит, идут своим чередом. Но если в столовой не раздастся ни звука, она в панике; она на цыпочках пробирается в столовую и украдкой заглядывает в нее (осердится?).

Я слушаю печальную повесть этой доброй и милой семьи и веду себя как мошенник, потому что во все это время думаю о моей Мане и о празднике, который она устраивает в моей душе. Тут вздохи и стоны, а тут литавры, и вместо того, чтобы прислушиваться к первым и переживать их во всю широту и глубину, я слушаю только литавры и выслеживаю в себе только досадное чувство на то, что старенький домик под тополями на Бульварной с загнившими балками и трухлявыми балконами "наводит тень" на мой солнечный день. Тут убыль счастья и жизни, а я как будто вовсе не старик, которого пора перевести на великопостный режим, а юноша, которому здоровый ритм сердца и жажда жизни, наслаждение собственным существованием не дает, мешаят вглядываться или даже замечать картины увядания жизни и другие дефекты Божьего миростроительства.

Этот домик на Бульварной как будто какой-то санаторий, где сколлектированы плохие почки, плохие сердца и плохие нервы. Я принес Елизавете Митрофановне читать книгу Мутера об истории искусства. Она увлекается этой книгой. Какой-то диссонанс! Как будто Елизавета Митрофановна не мать тщедушного, чахлого поколения, а молоденькая курсистка, а я не старый путешественник на покое, а молодой студент, пропагандирующий молодым барышням идеи и прививающий им цивилизацию.

Нет уже прежней беспечности в этом доме. Правда, за столом вечно журчит речь М. П. Рыбалкина и рядом две еврейские дамы Марья Алекс[?] и Татьяна Кондратовна делают жизнь и житейскую суету, но это меркантильные соучастники общества в столовой, а не интимные друзья, какими были покойные Марья Фердин[андовна] и Лид[ия] Петровна Подвинцева. Члены семьи не принимают участия в этой жизни, а являются сосредоточенными наблюдателями ее. Елиз[авета] Митрофановна у самовара похожа не на мадонну Корреджио, а на мадонну Боттичелли. Все ее внимание обращено на семью, внешний мир потерял для нее привлекательность. Она не шьет себе новых нарядов, отказывается на благотворительных концертах появляться очаровательной разливательницей чая. Ее грустные глаза обращены на завесу, которая скрывает загадочное, может быть, ужасное будущее.

Теперь как будто знобит в этом доме, а когда-то было жарко. Е. М. [Козлова] повезла меня в лагерь; мы целый час ходили по аллеям. Она все время говорила об Вас, как влюбленная. "Ах, какая она хорошенькая!" – повторяла она не раз. Как ее жаль, какой она прелестный человек, какая ангельская душа и как она может осчастливить мужчину. Это был пламенный дифирамб. Она с пафосом уговаривала меня что-то предпринять, но до конца не договаривала. Ее речь можно было формулировать только в такой неопределенной форме: "Будьте ее добрым гением!" Но я понял эти речи как следует: "Возьмите ее замуж!"

Эта фраза произнесена теперь вслух, и Вы доверили нашу тайну Елизавете Митрофановне. Она сказала мне об этом вскоре после Вашего отъезда на "Гуллете". Но с той поры Елизавета Митрофановна не заговаривала об этом, да и я не заводил разговора. Это не значит, что подобный разговор был бы для меня неинтересен. Напротив, я готов хоть сейчас же ехать в лагерь, и не только час, а три часа, четыре, пять и более бродить по аллеям и говорить об этой занимательной теме, но как-то теперь стыдно, как будто неуместно в этом доме говорить об этом. Ведь если я только раскрою рот, чтоб говорить о Мане, выйдут литавры, а для литавр не годятся нынешние барабанные перепонки домика под тополями на Бульварной.

Алтай весь мокрый, по траве рассеяны капли дождя, с деревьев еще каплет, по небу еще бродят тучи, но солнце уже обливает светом горные долины, и мокрый щебень сверкает на скалах. На ресни-

це блестит слеза, а в сердце литавры, и я бегу к Мане. Я хочу обнимать ее, жать, жать и жать ее, целовать и перецеловывать. Скажите, чувствуете ли Вы там, в Барнауле, как я Вас жарко целую здесь, в Томске?

"Эдельвейс" получил 3 экземпляра. Пришло на днях.

Елиз[авете] Митрофановне пишут, что в Барнауле распространены слухи, что Вы выходите за меня замуж. Чтобы случилась какая-нибудь пакость, нужно времени гораздо менее четырех месяцев. Неужели мне не удастся увести Вас в Алтай?

№ 122

17 декабря 1909 г.
г. Барнаул

Дорогой Друг!

Ваше последнее письмо имеет такой вид, точно оно не дописано. Меня наводит на эту мысль и то, что Вы ничего не ответили по поводу стих[отворения] «Тюрьма», посланного мной в послед[нем] письме (а его, по моим расчетам, Вы должны были получить), и то, что Ваше послание оплачено двумя марками, а в конверте лежит всего один листик бумаги. Если это так, то я жду продолжения (надеюсь, Вы не затеряли страничку?). Очень, очень жалею бедную Лизочку! Что она должна чувствовать, с часу на час, ожидая внезапной смерти близкого и (вероятно) любимого человека?! Это ведь нравственная пытка!.. Я тоже испытываю нечто подобное, но в меньшей степени. У мамы тоже болезнь сердца. Каждое волнение отзывается на ней плохо. А недавно она у нас чуть не умерла. Чтобы рассказать об этом подробно, надо вернуться за несколько времени назад до этого события. Дело в том, что 18 ноября скоростижно (вероятно, паралич сердца) умерла наша родственница (моя двоюр[одная] сестра) Юлия Евгеньевна Березовская. Мама была страшно поражена и огорчена этой смертью: Юлия Евген[ьевна] была очень хороший человек, добрый, искренний и всю жизнь – труженица. И вот, на другой день, после похорон, мама, вставши утром, почувствовала сильное головокружение и вообще какое-то неопределенное, но очень плохое состояние. Я только что проснулась. Вижу: мама нюхает спирт. Спрашиваю: «Что с тобой?» – Голова кружится. Потом приняла валериановые капли, – не лучше. Тогда я предложила ей выйти на воздух. Конечно, я думала облегчить этим ее состояние, а доктор сказал потом, что не следовало. Когда я заметила, что ей де-

ляется все хуже, то страшно испугалась и побежала к доктору, в чем есть, накинув только платок на голову (непричесанная и неодетая), в таком виде доктор меня даже не узнал в первую минуту. По счастью, он не успел еще уйти в госпиталь и тотчас явился к нам, прописал капли, которые велел немедленно дать. Но ведь я могла и не застать его дома и тогда, Бог знает, что бы случилось!! Мама после того еще несколько дней чувствовала себя очень плохо. Вскоре, как-то ночью, я тоже проснулась от какой-то возни в соседних комнатах: оказалось, что у ней опять был сердечный припадок, который ко времени моего пробуждения уже прекратился. Так и живешь – в постоянном страхе. Тяжело это ужасно!

Милый мой! Я совсем не думаю Вас «бросать», я боюсь только... Но когда-нибудь поговорим об этом... Мама часто говорит мне: «Как ты пойдешь за такого старика? Я не могу об этом подумать». Страшно бывает подумать иногда и о том, что, пожалуй, это обстоятельство ее очень взволнует, и она заболеет. Но – ведь она сама хорошо знает, что дома мне живется совсем несладко. Спокойно бы жилось, так я была бы здорова. Часто я засыпаю со слезами, и только моя подушка знает, как мне тяжело!

Спасибо большое за «Эдельвейс». Жду его с нетерпением. К стих[отворению] «Зимняя греза» (для большей ясности) я прибавила потом четверостишие:

И замолкнет... Жизни новой
Встанет бурная волна –
И снесет она сурово
Замки призрачного сна!..

Кажется, все написала, что хотела. А если вспомню что-нибудь еще, то припишу дома. Сейчас же строчу на службе. Только что кончила и сдала всю работу и вот, к моему удовольствию, и бумага нашлась, и время, чтобы ответить тотчас же на Ваше милое письмо. Обвиваю руками Вашу шею (как Вы любите) и целую Вас крепко, крепко.

Маня.

[P.S.]. Лизочке прошу Вас передать мой привет и глубокое сочувствие к ее тревожному состоянию. Скажите ей, что письмо ее я получила и очень за него благодарю. Скоро напишу и ей, а пока (каюсь!) последнюю почтовую марку сберегла для Вас.

18 [ноября].

Сегодня получила недостающую страничку. Вчера не отправила письмо, потому что был не вырешен вопрос относительно напечатания в «Барн[ульском] листке» моего послед[него] стихот[ворения] (Вы увидите его в Рождественск[ом] №). Если бы не взяли, послала бы в «Сиб[ирскую] жизнь». Но после жаркой схватки в редакции его все-таки решили принять! Не знаю, понравится ли Вам? Кажется, «гражданские» не в Вашем вкусе. Напишите. Интересно. Вы меня «целуете» в Томске. Да, здесь в Барнауле я это чувствую...

№ 123

*20 дек[абря] 1909 г.
[Томск], Солд[атская], 78*

Дорогая моя девица! Пишу Вам под впечатлением Вашего письма. Еще ни разу я не слышал от Вас таких раздражающих нот. Вы говорили мне ранее о Вашем положении в семье, но нота не звучала так высоко. Но это продолжится недолго. Пройдут четыре месяца, и Ваша драгоценная головка будет лежать на моей груди. Сколько у Вас долгов? Нельзя ли вопрос об них протянуть до моего приезда? Я тоже запутался в долгах. Я писал Вам, что я взял для одной дамы 200 р[ублей] в здешнем кредитном обществе. Она пока уплатила только 60 р[ублей], осталась должною 140. Если не заплатит, придется платить мне. Между тем нынешней зимой я еще взял из того же общества 100 р[ублей] для одного ученика здешнего учительск[ого] института. Словом, условно я должен кредитному обществу 240 р[ублей]. У меня в кармане теперь поднакопилось только 200 рубл[ей]. Надеюсь сохранить их до весны; это нам на издержки по путешествию в Алтай. Напишите мне откровенно о Ваших долгах.

Несмотря на гнетущий тон Вашего письма, в нем были для меня и светлые блески. Оно встревожило меня и в то же время заключало в себе признаки, что судьба ласкает меня. Ни одно еще письмо Ваше не дало мне так почувствовать, что Вы моя, хотя и в этом письме определенно это мое право не высказано. Но это сильно чувствуется, и я надеюсь, что Вы разрешите мне называть Вас моею: моим сокровищем, моим самородком, моей драгоценностью. Не правда ли, моя ведь Вы? Отвечаю на один из вопросов Вашего письма: доволен, радехонек, что срок нашего свидания приближается, и жду мая с большим нетерпением, само собой разумеется, чем Вы. И жду с большой тревогой. Осенью я был спокойнее, увереннее, не боялся, чтоб встретилось препятствие. Теперь, после болезни, – а

и болезнь-то была плевая: я ведь все время, за исключением горла, чувствовал себя здоровым – я начал побаиваться. Выхожу из дому каждый день, но только побываю в городе, сейчас же чувствую необходимость отсиживаться в квартире. На улице ощущаю, как холодный воздух проникает в горло. Поэтому, выходя из дому, тщательно законопачиваю горло шарфом. После болезни горло как будто стало другое, не из живой ткани, а какое-то искусственное, механическое, вставленное, точно кожаная дудка. Может быть, это судьба всех цилиндрических каналов в человеческом теле – вместе со старостью плотнеть и терять подвижность. Что же делать! Пусть в моем теле все жилы, все дудки сделаются жесткими и неподвижными, но только пусть, о чем молю Всевышнего, останутся из живой ткани сердце, чтобы любить Маню, и губы, чтобы целовать ее.

А другой вопрос я и не ожидал совсем встретить в Вашем письме. Боюсь ли я соединить свою будущность с Вашей? Мне кажется, это Ваша милая хитрость; Вы хотите заставить только меня дать ответ, который Вы вперед знаете, который Вы от меня уже слышали, но который Вы еще раз желаете услышать, потому что Вам слышать его доставляет наслаждение. Не боюсь! Чего же бояться? Трений? Без трений нет жизни. Пусть будут трения, но ведь Вы будете вознаграждать меня за них наслаждениями. Я убежден, что наша умственная деятельность совпадает в общем направлении. Мы будем наслаждаться общей или параллельной литературной работой. А если со мной случится провал, то в Вашем поцелуе я буду искать спасения от отчаяния. И я теперь мечтаю не о том только, как я буду тискать Маню и буду отыскивать на ее теле новое местечко для поцелуя, а также и о том, как Маня будет меня тискать и как она будет целовать меня. Боюсь расшевелить инстинкт и обрываю нить представлений, лезущих в голову.

Третьего дня был у Елиз[аветы] Митр[офановны], у нее опять горе. Иван провалился в Енисейск[ой] гимназии на латыни. Елиз[авета] Митр[офановна] удручена. Я был у нее с m-lle Стукачевой, москвичкой, которая в Москве знала Лидию Петр[овну] Подвинцеву. По этой последней-то причине я и привел ее на Бульварную в дом с тополями. M-lle Стукачева кое-что рассказала о Лидии Петровне, и образ этой талантливой девицы еще раз мелькнул перед нашими умственными очами. Этот разговор, этот ряд воспоминаний были как бы нами отслуженной панихидой по покойнице, более интимной, более проникнутой религиозным чувством, чем официальная пани-

хида, которую служат в церквах с рисом и просфорой бюрократы в рясах.

Девушка Стукачева интересная. Кончила курс в одной московской рисовальной школе (в той, где училась Подвинцева), кончила одну из московск[их] музыкальных школ, говорит на нескольких западно-евр[опейских] языках (в том числе на английском), два раза была в Италии, проехала на корабле из Таммерфеста (в Норвегии) в Архангельск, следов[ательно], пересекла Полярный круг, через Иркутск и Владивосток проехала в Японию и там жила в одной японской семье, мечтает об Индии, мечтает переиспытать все впечатления бытия; не любит людей (и, может быть, презирает их), знакомится только с оригинальными людьми. Экспансивна и самостоятельна, богата, не стесняется средствами и тратится вволю; в чужой дом входит с сознанием своего человеческого достоинства, как облеченная правами, а не рабой установленных приличий. В восхищении от рафинированной вежливости японцев, но отрицательно относится к ним, как к расе скрытной, не интимной. Увлечись литературой о Сибири, наткнулась на книгу Сапожникова "Катунь" и решила побывать у Белухи, очутилась прошлым летом в Чемале, но на Белуху не попала (товарищи по затее захворали), вернулась в Москву, но на зиму приехала в Томск, чтобы разобрать университетские гербарии из Тобольской губ[ернии] и написать флору Западно-сиб[ирской] равнины. Вот какая удивительная девушка! Лицо ее лишено красоты, ее нельзя назвать ни красивой, ни даже хорошенькой или миловидной. Но нельзя назвать ее и некрасивой; даже больше, я бы назвал ее лицо прелестным. В нем выражена женская энергия, и это выражение привлекает. Ну, словом, при первом знакомстве восхищение. Встреча с этой девушкой подействовала на меня в таком направлении – мне захотелось крепче прижаться к моей Мане. Не подумайте, что я испугался собственной измены, нет, просто хочется продемонстрировать разницу между "восхищением" и "любовью".

"Эдельвейс" получил, но боюсь идти на почту, боюсь простудиться. Как только заправлюсь уверенностью в здоровье, отнесу в почт[овую] контору.

Новое Ваше стихотворение "Тюрьма" передал г. Соболеву, но отзыв его некогда еще было получить. Маня-женщина действительно заслоняет Маню-поэтессу, но не "совершенно", как Вы выразились. Но это я думаю временно, до тех пор пока Вы не устроитесь в

Томске. А пока... ничего не поделаю с собой! Всё думаю о Мане-женщине. Жму в объятьях и целую.

№ 124

25 дек[абря] 1909 г.
[Томск]. Солд[атская], 78

Что-то последние письма становятся все минорнее, хотя Вы и "не думаете меня бросать" хотя обвиняете рукой мою шею, потому что это мне нравится, но последнее Ваше письмо все-таки нагнало на меня тревогу. В ночь, непосредственно следовавшую за письмом, я все вертелся в постели и заснул только под утро, так что на завтра встал только в 10 час[ов]. Все решал и обдумывал вопрос о неравенстве наших лет. Не одна Ваша мама, большинство в обществе будет взволновано нашим поступком. Читали Вы рассказ Горького "20 и одна"? Вот на меня обидятся так же, как 20 на одну. Думали, что это крепость неприступная и были обмануты. Общественное мнение облекло меня званием аскета, а я им кукиш. Выдержим ли мы бурю, которую подыдем среди обывателей? Боже мой, в какую ярость придет дама с солонкой на "Гуллете"! Я наблюдал уже, с каким задором Вы относились на "Гуллете" к мнению обывателей, и это мне было сладостно-приятно.

Вы опасаетесь, что Ваша мама может даже заболеть, но ведь удар ей будет нанесен только в том случае, если мы дело свое обделаем в секрете от нее. Ведь она же будет посвящена во все наши злоумышления. Вы увидите, можно или нельзя, и Вы решите, а я должен подчиниться Вашей воле ("Да будет воля Твоя!"). По крайней мере, я сознаю, что я должен покориться, а впрочем, не знаю, что выйдет. Ведь я большой эгоист, и если судьба захочет отнять у меня мою Маню, может быть, стисну ее тогда в своих объятьях, охватчу своими ногами ее ноги и стисну ее губы в своих зубах. Вот теперь отнимайте Маню!

Пусть громят меня обыватели! Старые холостяки и вдовцы, которые тайно ездят на Бочановскую улицу – мнение этих не заслуживает никакого уважения. А если будут громить семейные безукоризненной жизни – то ведь это подобно сытым буржуа, которые карают голодных воришек. Что же касается до подлинных аскетов, я думаю, что в их организме что-нибудь атрофировано. Выше своей природы не будешь. Животный инстинкт имеет право на свое осуществление, ограничение его поведет только к извращению природы, к нравственному нездоровью. Ограничение необходимо только в том случае,

когда мой инстинкт может повредить другому лицу. Словом, дело сводится к тому, как Маня? Найдет ли она счастье в этой комбинации сердец, будет ли она довольна своей любовью?

«Выйду я из ворот в ворота, в чистое поле, посмотрю на океан-море. На острове Буяне камень Алатырь. Молюсь тебе, камень Алатырь! Сделай с моей Маней так, чтоб она все бы ко мне навстречу бежала, руки с моей шеи не снимала, где бы ни была, дома ли за чайным столом, в гостях ли, в кроватке ли на сон грядущий, на пикнике ли или на спектакле в народном доме, или даже в храме на молитве, все бы обо мне мечтала. Чтоб в моей образине видела лик Аполлона или Антиноя. Словом, чтоб ее охватила та любовь зла, которая заставляет полюбить и козла».

Я знаю, что мои заговоры утратили свою магическую силу. Не будете ли Вы смотреть на свою любовь ко мне, как на жертву? Не придется ли Вам вести борьбу с собой? Не Вам бы спрашивать меня, не боюсь ли я будущности с Вами? Мне бы спрашивать, не боитесь ли Вы? Или, может быть, задавая свой вопрос, Вы разумели именно тот страх, который овладеет мной, когда я замечу, что приносимая Вами жертва непосильна для Вас?

У Вас сорвалась фраза, что Вы бросать меня не собираетесь, но только боитесь... чего не досказали. Прибавили только, что когда-нибудь поговорим об этом. Чего Вы боитесь? Это будет интриговать меня все четыре месяца до Барнаула.

К Вам в Барнаул переводится акцизн[ый] чин[овник] Филипп Кузьм[ич] Зобнин из Каинска, литератор. Его рассказ в Рожд[ественском] номере "Сиб[ирской] ж[изни]". Он предлагает мне остановиться у него в Барнауле, когда я приеду. "Эдельвейс" не послал до сих пор, потому что высиживаю дома, выгоняю из себя болезнь.

Ваш Г. Потанин.

№ 125

29 декабря 1909 г.
[Барнаул]

Дорогой Друг!

Получила Ваше письмо в первый день праздника, но не удалось ответить, – все гости да визиты. Меня беспокоит, как Ваше здоровье? «Эдельвейса» все нет, значит, Вы чувствуете себя не настолько хорошо, чтобы можно было выходить. И не выходите, пока не поправитесь совсем: боюсь, чтобы снова не простудились.

На праздник я сделала только два-три визита, да вчера была на балу, который устраивали топографы в Алтайском собрании. Вечер вышел очень оживленный и носил характер праздника, устроенного в частном доме. Вернулись мы с сестрой в 4 часа утра, а спать я легла уже около 5-ти. Сейчас сижу на службе; хорошо, что работы пока нет, а то глаза устали от электрического света, точно песок насыпан в них. Не хочется как-то выезжать, нет настроения; но от этого бала нельзя было отказаться: землеустроители обиделись бы; они живут между собой хорошо, дружно, и были очень радушными хозяевами.

Стихотворение, о котором я Вам писала, не прошло в «Барн[аульском] листке»; Петр Васильевич Орнатский как раз возвратился к празднику и наложил на него свое veto.

Не могу я как-то писать сегодня, Григорий Николаевич, устала что ли... не знаю... не могу. Целую Вас, мой дорогой друг, и прошу беречь себя.

Маня.

P.S. Когда увидите Лизочку, передайте ей, пожалуйста, мой привет и благодарность за хорошенькую открытку, которую я от нее получила. Как жаль, что Ваня нарезался на латыни!

№ 126

30 декабря 1909 г.
г. Барнаул

[Почтовая карточка с изображением амура]

Маленький амур-барабанщик бьет в барабан... Не знаю, мечтает ли он о «маркитантке»... Кажется, нет, – для этого у него слишком серьезная рожица. Но я поручаю ему передать Вам пожелание счастья на 1910-й год.

М[аня].

№ 127

2 янв[аря] 1910 г.
Т[омск], Солд[атская], 78

На днях прочитал роман Федора Сологуба "Мелкий бес". Девушка Людмила увлеклась красивым подростком. Она язычница, в ней течет кровь эллины. Она поклоняется телесной красоте. Она увлекла мальчика в свою спальню, одела его в розовую тунику, уложила на кушетку и любит на его сквозящее через тунику тело и целует его голые колени, стоя у кушетки в одной сорочке на коленях.

Автор хочет этими страницами узаконить наше право на языческий культ тела. Он говорит, действия Людмилы это не падение, не грех, не разврат, это наша природа. Мне кажется, что эту картину могло создать только воображение человека с девственной, но голодной душой (автор уже старик). Эта Людмила со своим фимиамом в честь хорошенького мальчика представляет контраст герою романа Передонову, пошлому меркантильному человеку, которому такое наслаждение телом кажется одной только блажью. Роман написан шероховато; несколько страниц ранее Людмила охотилась за этим пошляком, чтоб выйти за него замуж.

Я знал одну девицу, у которой была не элегантная рука, которая больше всего и прежде всего бросалась в глаза, с коротенькими пальцами, как у черепахи. И эта рука парализовала всякое воздействие ее женского тела на мужчину.

А ведь что я-то? Сплошная черепажья лапа?

Скажите, чем я могу заменить для Вас то, что у меня отсутствует? Вы читали у Ап[оллона] Майкова стихотворение "Анакреон"? В старой Англии был писатель, кажется, Вилькс, очень безобразный джентельмен, который, однако, о себе говорил, будто он только на полчаса менее красив первого красавца в Англии. "Сердце женское задача, нерешенная умом", – как-то сказал А. Майков. Может быть. И дай Бог!

Невеселые мысли бродят у меня в голове, вспугнутые или вызванные Вашими последними письмами, а сердце кричит: "целуй маркитантку!" И я целую, потому что только когда целуешь маркитанку, только тогда громко бьешь в барабан и только при этом условии смело и твердо маршируешь впереди. Целую так, что мои поцелуи чувствуются в Барнауле (между мной и барнаульскими губками беспроволочный телеграф). Вы пишете, что Вы "чувствуете в Барнауле томские поцелуи". Я комментирую для себя Ваше признание так: "Прочитав мой вопрос, Вы испытали ощущение, как будто в Вашу кровь влили капли эллинского вина". Как только я установил комментарий, сейчас же почувствовал в свою очередь как будто проглотил глоток самого крепчайшего ликера.

Когда переселится к Вам Зобнин и когда Вы познакомитесь с ним, то попросите его доставить мне его барнаульский адрес.

Пока здесь получен "Бар[наульский] л[исток]" только от 29 дек[абря]. Жду Рождественского № с Вашим стихотворением. Наде-

юсь так же 4 или 5 янв[аря] получить от Вас хотя бы открытку по Вашему обыкновению с призывом счастья на Новый год.

Ну вот, наконец я и на другой стороне перевала; открывается перспектива на грядущее счастье. И все-таки как еще далеко и какое еще испытание для моего терпения, тогда как целовать и тискать Маню хочется вот теперь же.

Целую и тискаю, тискаю и целую!

Главная прелесть в том, что Маня сама идет навстречу тисканю. Что это было за милое письмо, где Вы писали, что Маня стала иною, что она не только не протестует против того, чтоб ее тискали, но что она сама идет ко мне навстречу. И вот когда увидимся, я не буду так пассивен, как на "Гуллете". Боже мой, как я стисну Маню в своих объятиях. Предчувствуете?

Г. Потанин.

№ 128

*3 янв[аря] 1910 г.
[Томск], Солд[атская], 78*

Милый друг, Ваше последнее письмо, написанное Вами дня четыре спустя после Рождества, подействовало на меня вроде тучки, которая бросает тень на ликующий день, вследствие находящейся в нем фразы о том, что Вы "не можете сегодня писать, устали Вы, что ли"... Если б Вы просто написали, что Вы не имеете в этот день расположения писать или если б ясно было выражено, что Вы устали, тогда бы ничего... Но это Ваше сомнение в том, что неохота писать имеет причиной усталость, это Ваше неведение о причине нерасположения, которое заставляет предполагать причину, которая смутно Вас тревожит, которую Вы, может быть, до некоторой степени признаёте, но не находите удобным высказать мне, наконец, рядом с фразой обращения ко мне с сухим "Григорий Николаевич", а не с интимным "дорогой друг", к которому Вы меня приучили уже, – все это отразилось на моем настроении. Неужели мое чутье не ошибается, предчувствуя крах моих мечтаний? Или это ложная тревога? Я теперь в таком возбужденном настроении от предчувствий приближающейся весны, приближающегося свидания в Барнауле и от поездки в Алтай, что в самом деле переживаю "ликующие" дни. А потому немного ниже взятая нота производит на меня впечатление диссонанса.

Буду тоскливо ожидать ответа.

"Эдельвейс" послан под бандеролью 2 янв[аря]; три экземпляра "Молодой Сибири" с "Эдельвейсом" и один номер 10.

О Вашем стихотворении ещё не спросил у Соболева. Очень редко виделся, а если виделся, то на заседаниях, где не было возможным говорить об этом. Он едет 5 янв[аря] в Барнаул читать лекцию; может быть, Вы там сами увидите и спросите.

"Амура с бубном" получил. Он в некоторой мере ослабил впечатление письма. Однако и в письме есть поцелуй. Благодарю и в свою очередь жарко целую.

Г. П[отанин].

№ 129

3 января 1910 г.
г. Барнаул

Дорогой Друг!

Сию я сегодня в Управлении на дежурстве (праздничное). Сидеть полагается с 9-ти утра до 7-ми вечера. Время проходит сегодня для меня незаметно. Приняла почту, потом читала с перерывами для чая и обеда, и вот уже около 5 ч[асов] вечера, скоро и смена. Хочу побеседовать с Вами. Как встретили Вы Новый год? Я же – невесело. Даже больше – грустно. Вы находите, что мои письма становятся все минорнее. Правда. Жить в семье мне очень тяжело. Наши отношения с сестрой еще более прежнего обострились. Перед самой встречей Нового года мама зашла в мою комнату, где я, по обыкновению, одиноко сидела, и начала просить меня помириться с сестрой. Я ответила, что злобы против сестры у меня нет, но и нежного отношения к ней быть не может, так как я вижу от нее только одни оскорбления. На том и кончился наш разговор. С той же просьбой мама пошла к сестре. Дверь в мою комнату она оставила открытой. Я не хотела (конечно, у меня и в мыслях этого не было) слышать их речей; но просто не заметила даже, что дверь не заперта. Тогда до меня долетел громкий и негодующий голос сестры: «Чего же ты хочешь? У меня нет к ней ни малейшего чувства!» Я не слышала, что ответила мама. Она по обыкновению говорила тихо и деликатно. Но, очевидно, в ответ на ее слова прозвучало еще громче и злее: «Это она врет! врет!...» «Она» – это, значит, я; про меня говоря с другими, даже и посторонними людьми, моя сестра не находит никогда нужным произносить мое имя. И вот эти отрывки фраз, произнесенные грубым, злым тоном, причинили мне глубокое нравственное страда-

ние. Хоть бы она постеснялась так кричать, хоть бы капля деликатности!.. Нет, ничего подобного. Когда мама снова пришла ко мне, я просила ее избавить меня от этой «встречи» Нового года. Я тогда сидела у своего стола и писала письмо к Вам, в этот последний день старого года. Мама сказала, что это будет неловко, если я не выйду, что у нас будут посторонние люди (Лемельс). Я отвернулась от нее, мне было так тяжело!.. Я старалась скрыть от нее свое настроение, не удалось: против моего письменного стола висит зеркало, вероятно, она увидела в нем, что слезы бегут рекой из моих глаз, и обняла меня, и утешала... Бедная мама! Я не могла исполнить ее просьбы – помириться: это было бы лицемерием. Слишком больно сознавать, что единственная оставшаяся теперь у меня сестра ненавидит меня только за то, что сознает, что я умнее, красивее и талантливее ее! Я же ничего дурного не только не сделала, но даже и не думала ей сделать. И вот она клеветает на меня, говоря, что я лгу, когда ложь мне так чужда и противна! И не стесняясь тем (а может быть, нарочно), что я слышу, кричит, что у ней нет ко мне «ни малейшего» чувства! Да еще и прикрывает свою вражду (т.е. настоящую причину вражды) сказкой о том, что будто бы «ревнует» ко мне маму, думая, что она любит меня больше, чем ее. Тяжело все это! А мама, думая исправить дело, сказала мне еще потом, что сестра говорит, что раньше «ненавидела» меня. «Раньше» – как будто нет этого и теперь! Когда она ежеминутно унижает и оскорбляет меня...

Простите. Кажется, я очень распространилась на эту, может быть, совершенно не интересную для Вас тему. А то письмо... Его так и не пришлось Вам отправить.

Вы ждете весны с нетерпением. Да и я жду. Только, ради Бога, не пишите мне таких страстных писем. Чего я боюсь? Вот этого и боюсь: «зверя» в человеке... Вы говорите: «животный инстинкт имеет право на существование». Да, имеет, но, как это ни странно, всегда нуждается в оправдании, как преступник...

Не знаю, понравятся ли Вам вот эти слова (не мои), а мне они очень нравятся: «Разве счастье и радость – в обладании? Ведь это уже конец любви. Я молюсь, пока мое божество выше меня. Когда оно стало рядом, мне уже не на что молиться». А мое «условие» Вы, кажется, совершенно забыли?

Да, мы пойдем рука об руку, но постараемся помогать друг другу быть хорошими, и по возможности, чистыми людьми.

Уж и не знаю, могу ли Вас поцеловать после этих слов. Пожалуй, Вы рассердитесь, назовете мое письмо «скучным» нравоучением и отвернетесь от протянутых к Вам рук... Но ведь сами же хотели знать, чего я боюсь. Вот я не стала мучить Вас неизвестностью, – сказала, хотя не вполне, не так, как сказала бы на словах.

Ну, не сердитесь и пишите поскорее. Пишите о своем здоровье. Вы спрашиваете: «могу ли я назвать Вас моей Маней?» Но разве я не Ваша? Я думаю о Вас постоянно. Не получая писем, я полна тревоги о Вас... В совместной жизни с Вами я надеюсь найти отраду и смысл для нас обоих. Душой – я Ваша. Я Ваша давно, с самой первой нашей встречи в Петербурге. Даже тогда, когда Вы, увлекаясь m-elle Фарафонтовой, забывали, или не хотели писать мне писем, – я была Ваша, и тосковала, и жаждала получить хоть строчку, написанную Вашей рукой... И тогда я была – Ваша... Чего же Вам еще?!

Ваша, ваша Маня.

[P.S.] Листок попался с начат[ым] стихот[ворением], я не заметила, а переписывать неохота. Скоро уже увидимся, и я этому рада, и жду этого.

№ 130

5 ян[варя] 1910 г.
Томск, Солд[атская], 78

Сегодня, 5 янв[аря] Мих[аил] Ник[олаевич] Соболев уезжает в Барнаул. Я спрашивал его, будет ли напечатано Ваше стихотворение. Он ответил, будет. За него редактировать будет А. И. Макушин. Увижусь с ним, спрошу.

Г. П[отанин].

№ 131

10 янв[аря] 1910 г.
[Томск], Солд[атская], 78

Я думал, что я достаточно ослабил тон своих писем, совсем сделался паинькой и стал скучным, оказывается, что нет... Ну, не буду!.. Перестану даже посылать Вам "почтовые" поцелуи...

Последнее январское письмо Ваше настоящее рождественское; это настоящий елочный подарок. Вы моя! Господи, помоги мне без поцелуев выразить, что я по горло счастлив! Вы почувствовали себя моей в Петербурге! И какой я дурак был, какой непроницательный дурак, что столько лет я сомневался в этом и способен был колебаться! Значит, и то письмо, которое Вы просили меня сжечь, истребить, не было Вашим отказом, значит, я ошибочно принял его за

242

предложение мне подать в отставку? Значит, и в период перерыва переписки, который последовал после этого письма, Вы оставались моей. Сколько же мучений причинил я Вам своей непроницательностью, своей бессердечностью, жестокостью. Ну, хорошо! Даю обет никогда более не отлучаться от Вас, не искать счастья помимо Вас!

Какая у меня милая, славная Маня! Когда же я доберусь до нее? Еще три месяца терпения, а какими длинными показались те три, которые мы уже прожили. Неужели предстоящие три будут течь так же медленно и скучно. Мне совестно просить Вас, чтобы Вы писали мне часто, не хочу затруднять Вас. Теперь получаю почти через пять дней письмо. И это для меня достаточно вполне. Но не хотелось бы, чтобы Вы писали реже. Письма все-таки как-то укорачивают время.

По поводу цитат, которые Вы делаете в своем письме, я с Вами поспорил бы, но не спорю, потому что боюсь, как бы не уклониться опять в область, которая Вас раздражает.

Ваши семейные огорчения беспокоят меня. Чем могу Вас утешить, как помочь до весны? И я жду с нетерпением этой поры, чтобы избавить Вас от Вашего несносного положения.

Как Ваш сборник? Продолжается ли печатание его? Когда выйдет?

Получили ли "Эдельвейсы"?

Получаете ли "Сибирскую жизнь"? Я подписался для Вас еще на несколько месяцев, кажется, по 1 мая. В начале мая мы с Вами соединимся, и тогда я распоряжусь, чтоб мой экземпляр посылали туда, где я буду жить.

Я теперь совершенно выздоровел; редко усажу целый день дома. Почти ежедневно где-нибудь в собрании. Вот вчера был на скромном юбилейном завтраке в честь десятилетней литерат[урной] деятельности поэта Вяткина. Часов 5 провели в собрании; много читалось стихов по случаю юбилея и вне юбилея. Были прочитаны шутки в стихах; и в Томске заводится литературный кабаре. Сегодня иду в Совет Общества изучения Сибири. А завтра на доклад Анохина о монгольской музыке.

Как хорошо быть любимым женщиной (и притом хорошенькой!) и сознавать, что она с нетерпением ждет твоего приезда! А чувствуете ли, что осталось только два месяца и 20 дней? Ведь только два, а не шесть месяцев. И, однако, ох как еще долго ждать!

№ 132

11 января 1910 г.
г. Барнаул

Дорогой Друг!

Получила и №№ «Молодой Сибири» (с «Эдельвейсом») и 10-й №, и получаю с Нового года «Сибирскую жизнь». Спасибо! Спасибо! Спасибо! Прочла недавно (чтобы познакомиться с его произведениями) Бориса Зайцева рассказ «Аграфена». Не понравилось. Это просто какой-то культ животного инстинкта в человеке – современная литература. Какая гадость!.. Прочту и «Мелкого беса» Сологуба. Мне обещал дать один молодой человек, хотя я смеялась, говоря, что уж если иметь дело с «бесом», то лучше с крупным. Благодарю и за весточку о моем стихотворении «Тюрьма». На лекциях Мих[аила] Ник[олаевича] Соболева я, к большому своему сожалению, не могла быть: сильно болела голова и оба эти вечера я принуждена была пролежать в постели. Не имею под рукой Вашего письма (пишу на службе), а потому не припомню, на какие вопросы надо бы дать ответ. Относительно же Вашего опасения – «краха мечтаний» – говорю: нет, не бойтесь! Ничего не изменилось со времени нашей разлуки. У нас стоит теплая погода, солнце уже не только светит, но и улыбается, сулит весну, цветы и отдых, отдых!.. Я так устала!.. Так хочу отдохнуть от всего... от всего!.. Целую Вас, дорогой друг мой! И жду весточки, которую всегда так приятно получить.

Маня.

№ 133

20 янв[аря] 1910 г.
{Томск}, Солд[атская], 78

Только два-три слова, чтобы не было длинного перерыва, чтоб Вы не беспокоились. Жизнь так в последние дни захватила мое время, проходящее в беготне по городу, что некогда, кроме ночи, отдохнуть и опомниться, некогда пофантазировать о весне, об Алтае, о цветах и поцелуях. Я бы находил этот порядок жизни скучным, лишённым поэзии и личной жизни и несносным, если б он не помогал мне забывать, что до 1-го мая еще два месяца и 10 дней. Сопровождения по поводу конфликтов, приготовления к публичным собраниям, занятия по организации экспедиций – просто нет времени помечтать о Мане (а ведь так приятно и сладко мечтать о ней).

Посылаю под бандеролью "Сиб[ирскую] новь", новый томский журнал, собравший около себя томскую литературную молодёжь. Виньетки М. М. Щеглова, который воспользовался для стиля деревянными истуканчиками сибирских дикарей, портрет шамана Мампыя, который в прошлом году камлал перед публикой (портрет работы г-жи Базановой) и кабалистическая поэзия Иосифа Иванова (это не стихотворения, а стихоплетения) придает первенцу мистический колорит. Прозу не читал. Упрекают эту молодежь, что она думает, будто все, что она напишет, должно быть напечатано.

Ваше письмо, написанное на внутренней стороне конверта, получил (как называются такие конверты?). Не пишите на таких конвертах. Мучился, мучился я в догадках, как вскрыть конверт? Нигде не нашел коварной щёлочки и разрешил задачу, как Александр Македонский – Гордиев узел. Острием ножниц пронзил конверт посередине, разворочал и был поражен – внутри конверта никакого вложения, строки написаны на внутренних стенках бумажного мешка. И как это Вы умудрились всунуть в этот кошель свою руку с пером? И так как Вашим пером должны были управлять Ваши глаза, то надо полагать, что в мешок этот была просунута и голова Ваша. По вскрытии письмо получило вид разодранных лохмотьев и в таком виде поступило в "Манино письмохранилище". Ведь Ваши письма я все храню, складываю в порядке, как драгоценные реликвии. А потому не пишите на таких конвертах.

Письмо мое неразборчиво, потому что тороплюсь – много дела в городе, бегу на тротуар и на почту. Не подумайте, что писал пьяной рукой. Повторяю – нет времени не только выпить вина, но даже и опьянить себя любовным напитком. Постница, Вы радуетесь! А я все-таки урву время, чтоб разрешить вино и елей, побегу по тротуару и, в то время как снег будет скрипеть под ногой, помечтаю о моей милой Мане.

Довольны ли Вы, что я Вас люблю?

№ 134

27 янв[аря] 1910 г.
[Томск], Солд[атская], 78

Маня не пишет, негодная девочка! Последнее ее письмо с почтовым штемпелем от 11 января, а теперь 27; полагая на дорогу от Барнаула до Томска 4 дня, надо считать, что Маня 12 дней не вспоминала обо мне.

Или, может быть, неуместно было начать письмо в таком шутилом тоне? Может быть, Вы больны? Или опять нет марки? Ну хоть

бы открытку послали в 3 коп[ейки], чтоб только знать, что что-то другое причиной молчания, а не болезнь.

Теперь я только ведь одной болезни и боюсь. Другое ничто уже меня не смущает; прочно верю в свое будущее благополучие. Разве можно сомневаться в нем после уверения, что Маня моя, выраженного таким настойчивым образом (Ваша, Ваша Маня – кончилось одно из Ваших писем). Я так уверовал в это, что готов был бы прекратить переписку и примириться, с тем чтоб избавить Вас от всяких хлопот по этой части. Ведь будете ли Вы мне писать или будете молчать, все равно через два месяца я приеду в Барнаул и Вы будете у меня в объятьях. Примирился бы, говорю, с Вашим молчанием, если б только не пугало предположение, что Вы больны.

Конечно, я сильно клевету на себя, когда пишу, что мог бы два месяца спокойно терпеть и не знать ничего об Вас, кроме того, что Вы здоровы. Нет, мне хотелось бы знать, что Вы делаете каждый день, каждый час, видеть Вас постоянно, каждый час иметь Вас перед глазами. Когда же подобное положение наступит?

У Елиз[аветы] Митрофановны новое несчастье – с няней случился удар; отнялась рука, нога и язык. Лежит и не говорит, с трудом кормят, едва удаётся пропустить ей в пищевод чайную ложку жидкости, Ваня ездил на пикник, попортил руку и у него воспаление. Елиз[авета] Митр[офановна] ночи проводит у больного и утомляется. Алекс[андр] Ив[анович] чувствует себя лучше прежнего.

Я послал Вам "Сиб[ирскую] новь" под бандеролью, № 1. Видели ли первую прозу Тачалова: "Нити"? Очень недурно, написано пером, которое вырезано из мускула сердца, но оно, говорят, сильно выправлено. Лит[ературно]-арт[истический] кружок преуспевает; на последнем вечере было до 100 человек.

Будьте довольны на этот раз этим коротеньким письмом. Нужно наказать безобразницу!

На днях пошлю Вам 2-й № "Сиб[ирской] нови" и последний № "Силуэтов Сибири".

Г. П[отанин].

№ 135

1 февраля 1910 г.
г. Барнаул

Милый Друг!

Сегодня Вы будете довольны мной: только что получила письмо и спешу ответить. Спасибо за обещание прислать «Сиб[ирскую]

новь» и «Силуэты». Вы меня балуете! С удовольствием прочла в «Сиб[ирской] нови» прозу Гребенщикова. Его вещи мне вообще нравятся. «Нити» Тачалова мне очень нравятся. Его первая проза вышла за полной подписью, и моя – тоже за полной. Это случайно. Я хотела подписать псевдонимом, но опоздала заявить об этом в типографии, думая, что моя вещица выйдет в воскресенье (так сказал Алтайский), а ее пустили в субботнем №. В сегодняшнее письмо вложу вырезку из газеты, моя проза совершенно без поправок, если не считать замену слова хочешь быть художником, поэтом? словами: ты будешь и т.д. Выкинул только Борис Алтайский порядочный кусок из второй части (слова природы). Интересно – понравится ли Вам?

Дня два тому назад собрались у меня: Паньшин, Анчаров и Шубкин. Последнего привел Михаил Анчаров. Этот молодой человек явился ко мне в первый раз. Интересный субъект. Поклонник модернизма. Пишет в этом стиле очень недурно, но не печатает ничего. «Лучше других не напишешь», – говорит он, – «не выделишься из толпы мелких писателей». Юноша умный и развитой, судит о вещах обдуманно и самостоятельно. Руководствуется личным, видимо глубоко обдуманным, мнением. Приносил стихи. Стихи нуждаются в комментариях, без этого трудно понимаемы. Маленький кусочек прозы гораздо сильнее стихов; очень мне понравился. В след[ующий] раз обещал принести еще прозу. Держит себя очень корректно; симпатичный. Если будет здесь печататься, внесет свежую струю в нашу «барнаульскую» литературу. Вечер прошел хорошо. Толковали о новом журнале, который собирается издавать Паньшин («Молодые побеги»), читали свои произведения. Под конец Миша Анчаров пел немного под аккомпанемент П. П. Паньшина. У Анчарова приятный голос. Отчего Вы никогда не напишете, нравится ли Вам поэзия Анчарова? Или она не делает на Вас впечатления? В тот вечер он читал нам свое стих[отворение] «Мать», появившееся на след[ующий] день в «Барн[аульском] листке», рядом с моей прозой. Хорошая вещь.

Отчего я пропустила одну почту? Не знаю. Вероятно, не было настроения. Кроме того, я хвораю. Каждый вечер лежу. Болит голова. Значит, если утром почему-либо не могла написать, то вечером уже совершенно не в состоянии ничего делать, даже двигаться. Я, кажется, об этом уже писала Вам.

Как Вы считаете до нашей встречи 2 месяца? Три месяца: февраль, март, апрель. Жму Вашу руку. Крепко жму. Маня.

P.S. Читала Вашу заметку в «Сиб[ирской] жиз[ни]». Насчет благодарности детей за устройство елок. Согласна вполне, что это одно лицемерие взрослых. Что-то долго не появляется мое стихотворение «Тюрьма». Будет ли оно напечатано? Хотя Соболев говорил мне лично, что будет. Я была на его последней лекции, читал он хорошо. Спрашивала о Вас, просила его передать Вам поклон. Исполнил ли он мою просьбу?

№ 136

*4 февр[аля] 1910 г.
[Томск], Солд[атская], 78*

Слава Богу, получил Ваше письмо, а то я начал сильно беспокоиться, не случилось ли чего худого, уже не захворали ли Вы. Хотел было уже писать в Барнаул кому-нибудь из моих друзей. Пуще всего пугает болезнь. Вы такая в этом смысле подозрительная особа (выражение "подозр[ительная] особа" относится только к болезни. Не свяжите, пожалуйста, с подтекстом об измене), а до барнаульского свидания еще три месяца. И заболеть можно, и изменить можно. Мелькала и мысль, не нашла ли Маня счастья в другом. Но, слава Богу, Маня моя. Письмо Ваше обрадовало меня. За это пришлю Вам 3 № "Сиб[ирской] нови". В ней самое ценное – щегловские виньетки. Полюбуйтесь на осячку (стр. 91) с плоским личиком и плоским носиком. Ромодановым Вера Петровна хвастается, что это она его открыла, но "Нюся" – вещица пустенькая (не из лучших его рассказов), в общественном смысле не нужная, Мопассан (духи "Ландыш") без бича в руке.

День моего рождения никто не знает, и не знаю, откуда взяли, что я родился 21 января. Поздравления начались с Петербурга; там дали сигнал, и это было для меня неожиданностью. Телеграмм было не много, но изредка еще и теперь получаю, а письма, вероятно, и долго буду получать.

Бориса Алтайского статьи две читал и составил понятие. Это, кажется, один из тех, о которых Михайловский говорил, что у них не "сердитый ум водит пером, а сердитое перо водит умом", которые получили не дар Божий, а подарок Божий, но что же это значит? С появлением Алтайского Курский получил отставку?

Переехал ли в Барнаул Зобнин? Или еще нет? Или приехал, но еще не был у Вас?

Каждый вечер хожу куда-нибудь на заседание; сейчас вот только с заседания Правления Общества художников, вчера утром – на чествовании памяти Лесгафта, обедал в 4¹/₂ часа у Сапожникова с шампанским (пили в честь 20-летнего его служения науке), третьего дня в годичном собрании Общества изучения Сибири; завтра буду на засед[ании] Общества женского унив[ерсите]та в Сибири под председательством Маргариты Мечиславовны Гондатти, в пятницу – годичное собрание Литерат[урного] кружка, в субботу – вечер у Обручева и в воскресенье – общее собрание художников. Что будет на следующей неделе, неизвестно, как будто ничего; но это только кажется, а наверное, когда доживем до конца этой недели, накопит, и все вечера будущей недели получат назначение.

Теперь одно критическое замечание о Вашем последнем письме. Я не расstaюсь с мыслью, что Вы осенью переедете в Томск; если это отменится, это для меня удар. Между тем в Вашем письме ничто не говорит, чтоб у Вас было категорическое решение в этом смысле. Вы высказываете желание, чтоб в Барнауле появился журнал, где бы Вы могли печататься. И если говорите, что непременно пристроитесь к какому-нибудь печатному органу, то можно понять, что Вы мечтаете пристроиться к томскому органу, не оставляя Барнаула. А я никак не могу представить себе будущую зиму без Вас в самой что ни на есть близи от себя (чтоб можно было обнимать и целовать Вас). Для меня было бы полное душевное удовлетворение, если б мне удалось увезти Вас от семейных раздражений. До страсти хочется жить для Вас, устраивать Вам спокойное, веселое существование.

Друг Мани.

№ 137

8 февраля 1910 г.
[Барнаул]

Дорогой Друг!

Только что получила Ваше письмо и пишу под его свежим впечатлением. Я не раздумала переехать в Томск. Напротив, мечтаю об этом! Сколько там журналов. Неужели мне не найдется в них места? А если найдется – с головой уйду в литературу. И буду чувствовать себя, как рыба в воде. Сколько там жизни... Литературный кружок, председательница которого Вера Петровна, – значит ее чуткий, продуманный совет тут же, близко, под рукой! Нет, томская жизнь куда интереснее барнаульской – сравнить нельзя! Если я мечтала о здешнем журнале, то это ведь только так – пока... на остающиеся месяцы.

А Вас, милостивый государь, позвольте все-таки притянуть к ответу... Как, если бы я не захотела переехать в Томск, Вы уехали бы туда... без Мани?.. Вот как! Как же Вы справились бы с желанием обнимать и целовать Маню? И опять из Томска в Барнаул начали бы переезжать в суме почтальона бумажные поцелуи! Вижу, Вы не прочь и продолжить постные дни.

Нет, друг мой! В Томск я перееду, не бойтесь, что передумаю. Это и для меня хорошо; да если бы и не было так, я все равно никогда не позволила бы себе эгоистично отнять Вас от общественной жизни, которая близка и дорога Вам, отнять Вас у Томска, которому Вы близки и дороги. Будем вместе работать, трудиться, идя рука об руку, любя и доверяя себя друг другу.

Есть для меня капля горечи в сладкой чаше томской жизни, – это разлука с мамой. Но что же делать. Хорошо никогда не бывает вполне хорошо... Так уж жизнь устроена. Это крупная капля, не скрою... Но надеюсь, что Вы дадите мне возможность подсластить ее частыми свиданиями. Если бы мама жила в Томске, это было бы венцом моих желаний.

Отвечаю теперь на Ваши вопросы. Зобнин, вероятно, еще не приехал. Ничего не слышать, и нигде его не видела. Справлюсь, впрочем, в редакции – там лучше знают. Относительно Курского тоже обещаю узнать. В редакции вижу его постоянно; это дает повод думать, что он также «у дел».

Когда взяла бумагу, чтобы писать, то не заметила, что она слегка запачкана, извиняюсь за это и за то, что лень переписать написанное.

Ну, прощайте пока, милый мой, хороший! Посылаю Вам барнаулский бумажный поцелуй. Ваша Маня.

P.S. Как чувствует себя няня у Козловых? Лизочке передайте мой привет. Спасибо большое за «Сиб[ирскую] новь». Главная прелесть ее – стихотворение А. Петрова. Кто это? Чудный поэт.

[Приложение к письму: газетная вырезка со стихотворением]

№ 138

*10 февр[аля] 1910 г.
[Томск], Солд[атская], 78*

Я писал, что к воскресенью накипит и накипело. За исключением понедельника, все дни уже распределились вплоть до субботы, в которую назначено заседание юбилейного комитета по устройству чествования 25-летия педагогической деятельности ректора В. В. Са-

пожникова (вероятно, Барнаул тоже откликнется; В. В. Сапожников знаком Барнаулу).

Урываю несколько минут, чтоб написать Вам несколько строк. Мой юбилей обязывает меня целую кучу писем написать. Отвечаю на телеграммы и письма, но успеваю в день два, три только ответа написать. А теперь еще юбилей Сапожникова. Я председатель комитета и должен был взять на себя написать не менее 10 писем. Сейчас приехал Гуркин; Адрианова, Анохина, его других друзей нет. Новые хлопоты.

Намеченные для «Сиб[ирской] ж[изни]» статьи лежат без движения в моем мозгу. О «Соломоне» и алтайских былинах нечего и говорить. От этой суеты голова кругом, нельзя сосредоточиться на столько, сколько требуется, когда пишешь письмо женщине, которую любишь, которой один взгляд, одно слово поднимает бурю на дне души и которую хочется обнимать и целовать.

Вырезку получил, Ваша проза мне понравилась. Это действительно хорошенькая вещица. Конечно, не правда, что она больше стоит, чем все Ваши стихотворения вместе. И где же сравниться со стихотворением «В храме». Тут много искренности, доверия к духовной чуткости читателя. Но все-таки хорошо, и я бы желал, чтоб Вы этот род «стихотворений в прозе» не бросали.

Вы ничего не пишете, в каком положении издание Вашего сборника. Извольте сейчас ответить, подвинулось ли сколько-нибудь печатание или нет. Или Вы растранижили сторублевку зря, озорница? Целую Вас!

На днях был у Александры Федоровны в первый раз в эту зиму. За всю зиму я ни разу не встретился с ней на Бульварной под тополями. Она бывает там очень редко и говорит: "В этом доме теперь мрачно". В самом деле, с уходом в мир теней Марьи Фердинанд[овны] и m-lle Подвинцевой шум и веселье исчезли из дома. У самой Александры Фёдор[овны] шум, гвалт и столпотворение от кучи детей.

Няня у Козловых на второй или третий день умерла.

Вы меня не веселите своими письмами; все у Вас голова болит. Отчего? От утомления на службе? Ел[изавета] М[итрофановна] думает, от столкновений в домашнем кругу. Если б в Барнауле жил Альбин Николаевич, он прописал бы прекрасный рецепт от Вашей болезни: "Уезжайте с Григ[орием] Ник[олаевичем] в Томск и посе-

ляйтесь у него". Ах, если б нашелся в Барнауле другой Альб[ин] Н[иколаевич], я бы расцеловал его.

Вы настаиваете, что осталось не два, а три месяца. Я остаюсь при старом мнении: только два месяца. В самом деле, только апрель и март. А от февраля осталось только 18 дней.

Хорошенькая! И поэтесса! А милая-то какая! А счастливого сумасшествия-то сколько впереди? Ведь Вы хорошенькая? Ну скажите!

Беру Вашу ладонь и ею замыкаю свои разбушевавшиеся уста. Чмок! Чмок! Чмок!

Г. П[отанин].

№ 139

[13 февраля 1910 г.

Томск, Солдатская, 78]

Какое письмо! Какое письмо! Я радехонек. Пишите, пожалуйста, все в этом роде или по крайней мере большей частью в этом роде. Из одного места Вашего письма я вижу, что Вы сознаёте, что для меня поцелуи Мани – вопрос жизни. Вы ловите меня на фразе, из которой можно вывести, что я могу обойтись без поцелуев и без объятий Мани. А ведь это абсурд, нелепость. Не знаю, как это вышло у меня. Ну, конечно, я отлично понимаю, что без Маниных поцелуев и вообще без ее благосклонности зарез. Да и Вы, заключаю из тона того же письма, думаете, что Григ[орий] Ник[олаевич] без Мани невыносим. И Вы непрочь создать ему такую обстановочку, чтоб ему не пришлось посылать бумажные поцелуи в суму почтальона. Милая! В последнем письме я Вас начмокал и, когда опустил письмо в ящик, испугался, не осердитесь ли? Но теперь вижу, это дозволяется.

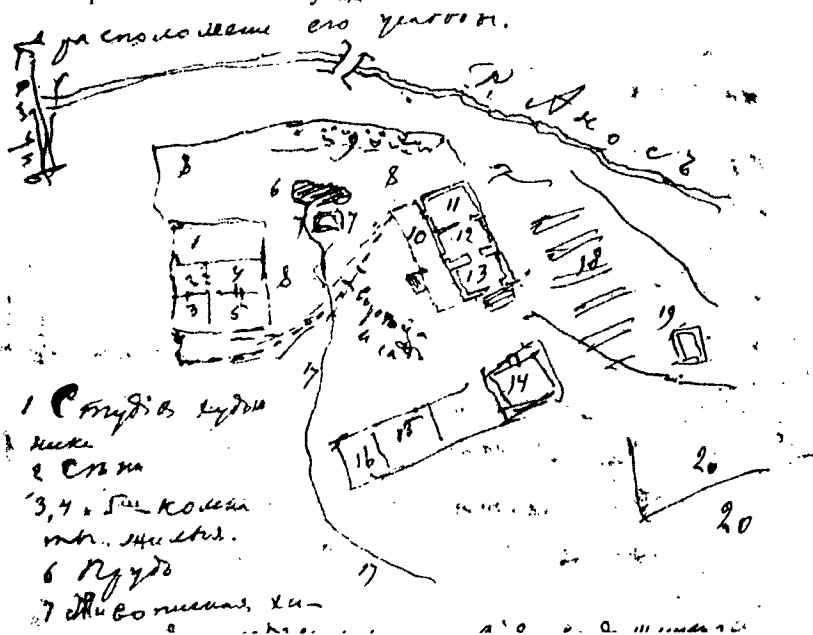
Что касается до того, будто я «непрочь продолжить постные дни», то это Вы так написали. Вы и сами не верите, что я хотел бы продлить этот пост. Ах, как в этот самый миг мне захотелось быть в Барнауле, слышать Ваше дыхание, обонять запах нежной Маниной кожицы... А Вы про пост!

Вы мечтаете, и я мечтаю; Вы о Томске, я о Барнауле; Вы о томской литературной среде, а я только о Мане... Где мы будем иметь первую встречу? Если Вы выедете встретить меня на пароходе, то встреча будет без объятий и поцелуя. Где же будет тот укромный, уютный уголок, в котором мы сольемся в общем поцелуе? Обвиваю

рукой Вашу шею и хочу Вас задушить, потому что Вы милая, милая, милая!

Приехал Гуркин устраивать выставку. Он предлагает мне на лето поселиться в его доме, в том флигере, где его семья живет зимой.

Вот расположение его усадьбы.



- 1 Студия художника
- 2 Сени
- 3, 4 и 5 - комнаты жилые
- 6 Пруд
- 7 Живописная хижина над прудом (фантазия художника)

- 1 - студия художника,
- 2 - сени,
- 3, 4 и 5 - комнаты жилые,
- 6 - пруд,
- 7 - живописная хижина над прудом (фантазия художника),
- 8, 8, 8, - сад,
- 9 - конопля,
- 10 - терраса у зимнего дома,
- 11 - комната, которую предполагается отдать Вам,
- 12 - комната для меня,
- 13 - наша кухня,
- 14 - кухня, где будет стряпать жена Гуркина,
- 15 и 16 - амбары,
- 17, 17 - канава, снабжающая водою прудик,

18 – огород,

19 – баня, утопающая в большетравье из крапивы и осота,

20 – скотные дворы.

«Зимний дворец» Григория Ивановича состоит из трех комнат; в первой (№ 13) русская печь и двое дверей, одна на крылечко, другая в среднюю комнату. У средней комнаты – три двери; одна в кухню (т.е. в №13), другая – на террасу и третья – в третью комнату (т.е. в № 11). Из третьей комнаты выход один – в среднюю комнату. Но у нее есть одно окно на террасу, и если подле окна положить один брус на террасе, другой в комнате, то это окно может служить и дверью. Нравится или не нравится Вам такое размещение двух наших персон? Слишком близко? Купим в Барнауле замок и будем ночью подвешивать к дверям Вашей комнаты и запирать. А мне нравится эта близость. Ведь это вроде той ночи, которую мы провели на «Гулете», и которая Вас, конечно, убедила, что замка не надо.

Стихотворение необыкновенно музыкальное (только первую строчку поправить бы). Оно такое же хорошенькое, как Вы сами. Я перечитывал его раз десять и всякий раз принимал его на свой счет. Вы отдохнете весной на моей груди! Неужели Ваша «тихая пристань» (Ваше стихотворение «Песни с[ибиря]чки», стр[аница] 109) – я? Целую Вас в темя, потому что сейчас воображаю, что Ваша головка отдыхает у меня на груди (или даже дремлет)!

№ 140

14 февраля 1910 г.

[Барнаул]

Друг мой!

Сегодня что-то нет от Вас весточки. Я почему-то ждала. Здоровы ли Вы? Я всегда испытываю некоторое разочарование, когда почта приносит только газеты. Благодарю за 3 № «Сиб[ирской] нови». Вчера видела Курского... Он сказал, что его «должность» при редакции «унизительная», ограничивающаяся вырезкой материала из др[угих] газет для нашей. И добавил, что его «держит только нужда». Зобнин здесь. У меня еще не был, но Курский сказал, «собирается». Пишет уже в «Алт[айской] газете».

Маня.

Жду Вас с нетерпением.

15 февраля 1910 г.
г. Барнаул

Тотчас отвечаю, будьте довольны, милый мой! Испугалась Вашего строгого приказания – «извольте отвечать!» И отвечаю. Деньги на издание (хотя и не все), 70 рублей, в моих руках. Издание же еще не двигается совершенно. Я спрашивала как-то Вашего мнения: когда сделать издание, в январе или оставить до Пасхи, т.к. я не собралась устроить это дело до Рождества. Вы не ответили. Теперь же спрашиваю (также извольте непременно ответить!) о двух вещах: 1) не надо ли включить в издание кое-что из старого сборника (как, например, стих[отворение] «В храме», которое Вы так любите) – лучшие вещи. И еще один вопрос: не лучше ли вообще отложить это дело, до переезда в Томск? Мне, конечно, хочется издать теперь, сейчас, но пугает мысль о небрежной работе в типографии Орнатского. Я писала Вам недавно, как мне пришлось сидеть там целых три часа, чтобы этот маленький кусочек прозы – «Сон» – появился в сколько-нибудь приличном виде перед глазами публики! Наборщицы неопытные, врут невозможно, исправляя старую ошибку, делают десять новых, да еще и грубости говорят! Прежде молчали. Теперь в редакции царит Алтайский, в высшей степени грубый человек, а половица говорит: «Какъв поп, таков и приход». Впрочем, печатая без платы денег (как сотруднице), они не стараются, а получая с меня за печатание, может быть, отнесутся к делу добросовестнее. Однако есть еще причина, смущающая меня: с кем могу я посоветоваться, что именно выбрать из новых стихотворений? А их ведь у меня много. Ну вот, посоветуйте мне, как со всем этим быть? Так и сделаю, как Вы скажете. Ответьте поскорее. Надо, чтобы сборник вышел к Пасхе.

Вчера было воскресенье. Я часто получаю от Вас письма по воскресеньям; и вот, мне казалось, что письмо будет непременно. Разочарование. Мне стало грустно. Хотелось поговорить с Вами. Написала малюсенькое письмецо-записочку и спустила в почт[овый] ящик, идя гулять. Сегодня (в понедельник) пришло Ваше письмо. Милое, ласковое, как всегда, я так была рада. Очень довольна, что понравилась Вам моя проза. Сейчас есть у меня тема, которую очень хотелось бы использовать, тем более, что это не фантазия, а быль. Не знаю, удастся ли, но хочу работать. И прозу писать, оказывается, увлекательно.

Конечно, и Барнаул присоединится к празднованию 25-летнего юбилея Вас[илия] Вас[ильевича] Сапожникова; барнаульская публика с таким наслаждением слушала его лекции! Это хорошо, он вполне заслуживает оваций, но вот не переутомились бы Вы только от всей массы хлопот, писанья писем, беганья по городу. Смотрите, Вы берегите себя, не забывайте, что Маня в Барнауле беспокоится о Вашем здоровье.

Почему у меня болит голова? Вероятно, не от утомления. Предположение Елиз[аветы] Мит[рофановны] ближе к истине. Впрочем, теперь я принимаю мышьяк и мне лучше: голова болит не каждый день, а через день, два, три. Вчера опять лежала. Настроение у меня грустное. По временам овладевает апатия. Но я думаю, это пройдет летом, когда обстановка переменится, и рядом со мной будет только прекрасная природа Алтая и дорогой друг – Вы!

Маня.

[P.S.]. Что касается Ваших восклицаний: «хорошенькая!» и так далее, то смотрите, как бы не разочароваться: у влюбленных всегда очки втерты.

№ 142

*20 февраля 1910 г.
Барнаул*

Дорогой Друг!

План усадьбы художника Гуркина – одна прелесть! Местность должна быть весьма живописной. Там мы устроим настоящую идиллию. Комнаты – рядом; ничего не имею против этого, но брус к окну, выходящему на террасу, все-таки положим: иначе я буду чувствовать себя, как птичка в клетке, если выход будет только к Вам. Во-первых, буду стесняться беспокоить Вас, проходя постоянно через Вашу комнату, а во-вторых, – представьте, что утром я проснулась раньше Вас, вылезла в окно и умчалась в лес, – какая прелесть! Живя летом у брата в деревне, я целые дни бродила по бору, приходя домой только поесть. Я слушала сказки леса. Чудные сказки! Лучше сказок, сочиненных людьми.

Стихотворение нравится. Очень рада. Вы приняли его на свой счет. Ага! Вы не ошиблись, – значит не напрасно вложила я его в письмо: оно выполнило миссию безмолвного, но красноречивого дополнения. Первая строчка не нравится. Отчего? Вы не написали.

Может быть, Вам понравилось бы такое изменение: Жизни холод наскучил и т.д.?

Я написала маленькую шутку в стихах, пародию на современную поэзию. К двум беседующим об искусстве поэтам (ночью) является тень Пушкина и спрашивает: «Какие песни стали петь?» (На родине). Поэты читают образцы своих творений. Между прочим:

Тоны, звоны, перезвоны,
Красно-красная заря;
Голубые похороны...
Лист зеленый – Ты и Я.
Тоны, звоны, перезвоны,
Темно-огненный закат...
Грусть... Души голодной стоны,
Мысли сумрачной раскат...
Тоны, звоны, перезвоны...
Дикий ужас красоты...
Храма Вечности колонны...
Мрак и Тайна. Я и Ты.

Пушкин пугается языка совр[еменной] поэзии, говорит, что ему почему-то сделалось душно и грустно. И, желая успеха Истине и собратьям, спешит скрыться.

Борис Алтайский читал эту вещицу и хочет напечатать. Но я еще работаю над ней и пока не сдаю в газету.

Я недавно писала Вам и потому нет пока материала для большого письма. (Получили ли Вы также маленькое письмо-записочку?) Целую (что делать! Все еще только на бумаге) крепко.

Маня.

P.S. Благодарю за присылку № «Сибирск[их] силуэтов». Нахожу юмористику довольно остроумной. Но Вы прислали два одинаковых №№?

№ 143

*[20]–21 февр[аля] 1910 г.
[Томск], Солд[атская], 78*

Как так? Я три письма написал с промежутками в пять, шесть дней, а Вы не получили ничего. Я писал Вам 4 февраля, 11 и 13. Напрасная тревога! Ничего не случилось, я совершенно здоров, и если есть болезнь, то одна – люблю Маню и другой дамы сердца «не имамы». «Сей мой бог, и прославлю его» и т.п. Хорошо ли это, что я

Вас люблю. Я думаю, что хорошо, но не все так думают. Людмила Аполлоновна, урожденная Лашкова, говорит, что это свинство. Конечно, не то свинство, что кто-то Вас любит, а свинство то, что я кого-то люблю. Как тут быть? Утешаю себя предположением, что Людмила Аполлоновна судит о чувствах, стоя на почве меркантильных, мещанских соображений. Может быть, она и не против того, чтоб я любил, но я должен направлять свою любовь в другую сторону, чтобы не оскорблять мещанское общество.

Я получил вашу маленькую записочку, а потом и письмо на двух листочках. Последнее письмо мое написано 13, сегодня 21. Следовательно промежуток в 8 дней. Удивительно, как это я так долго не писал Вам.

Это потому так вышло, что захлопотался. Вот два спешных дела: юбилей В. В. Сапожникова и художественная выставка Гуркина. А кроме того разные общества; заседания чуть не каждый вечер. Вот сегодня в воскресенье в 1 час разом общие собрания в 5-ти обществах: Об[щество] музык[альное], Литературное еврейское, Общество собирания средств на женский университет, Общ[ество] физич[еского] развития детей и Общ[ество] пчеловодства, Просто беда! Некогда и поцеловать Вас.

Письмо это начал еще вчера утром. Но продолжать не удалось. Написал девять строк и оставил: дела оторвали; и вчера и сегодня не было времени. Снова сел за письмо вот сейчас, поздно вечером. Хотел было писать статью в «Сиб[ирскую] ж[изнь]» о Сапожникове, да вспомнил о Вас и вот статью отложил на завтра, а сегодня кончу письмо.

Ведь восемь дней не писал Вам. Однако? Что Вы можете подумать? Что я увлекся какой-нибудь карымочкой?

Старых произведений в новом сборнике, я думаю, не следует помещать. А печатание лучше отложить до переезда в Томск.

Апатия – вот это гнусная вещь. Неужели я не прогоню ее? Неужели не обновлю Вашу жизнь, не оживлю Вас? Я буду счастлив, имея Вас подле себя. Но неужели Вы подле меня будете чувствовать себя несчастною?

Вы боитесь, что я разочаруюсь. Не бойтесь. Если Маня могла, конечно, против своей воли втереть очки, то я уверен, и в будущем она будет втирать их.

Хотя некогда целовать Маню, а все-таки целую. Целую руку, во-первых, во-вторых, губы, а куда вклеить третий поцелуй пока не знаю.

Барнаулом уже веет на меня. Жду с нетерпением, когда почувствую Ваши руки на своей шее.

Г. П[отанин]

[P.S.] Теперь редакцией «Сиб[ирской] ж[изни]» занимается Малиновский. Часто вижу его, но все забываю спросить о «В тюрьме». Мне кажется, что стихотворение затерялось. Я передал его Соболеву перед самым его отъездом в Бийск; может быть, он в то время уже сдал все бумаги другому редактору. Может быть, Вы пришлете новый экземпляр, с которым я поступлю аккуратнее.

Я послал Вам еще два номера «Сиб[ирской] нови». Молодые люди, как Вы убедитесь, издают журнал не для публики, а для собственного наслаждения. Ну Бог с ними; пускай набивают перо.

Послал ли я Вам «Силуэты» с портретом В. В. Сапожникова?

Как я рад, что я могу остаток своей жизни посвятить Вам. Иначе – одиночество, невозможность служить кому-нибудь, незнание, для кого жить, замучило бы. Конечно, есть еще для чего жить – для общества, для прогресса. Но кроме этих отвлеченных целей, созданных человеческим размышлением, мы чувствуем врожденную от реальной природы потребность в реальном, подле бока стоящем, осязаемом предмете для ухода, и я, слава Богу, имею для этого Маню. Да будет над ней благословение природы!

№ 144

27 февр[аля] 1910 г.
[Томск], Солд[атская], 78

Милая Маня!

Во вторник я с Маней Гуркиной обедал у Вейнбергов; Маню оставили они у себя, и она у них ночевала, а я после обеда тотчас же ушел и, по обыкновению, направился к Козловым. На двери надпись: «Просят убедительно входить задним ходом». Что такое, думаю. Вхожу. Оказывается, Ив[ан] Савельевич утром этого дня чуть не умер. Он куда-то ехал по Александр[овской] улице, почувствовал приступ удушья, велел кучеру ехать домой, но уже сам не мог выйти с саней. Случайно к дому подошел какой-то знакомый, ввел его. Дома были одни сыновья. Побежали за доктором. Вскоре собрались около больного три доктора. Они целый час бились с больным, делали впрыскивания камфоры и заставили вдыхать кислород. Едва отводились. Я нашел больного уже сидящим с заложенной за спиной

подушкой. Он уже возвратил себе способность разговаривать, но чувствовал большую слабость. Этот припадок перепугал всю семью.

Сам Ив[ан] Сав[ельевич] думал, что пришел конец его существованию. Конечно, больше всего отразилось на Елизавете Митрофановне. На лицах детей как будто было написано: «Небо прояснилось. Слава Богу, снова устанавливается погода». Не то на лице Елиз[аветы] Митрофановны, она получила страшное предостережение. День солнечный, но в этот день объявлен смертный приговор. Она удручена и говорила со мной подавленным голосом. Она рассказала мне подробно содержание Вашего письма к ней. Вы в нем говорите, что Вам предстоит разлука с мамой и это омрачает Вашу мысль. Я подумал: вот Маня уже не мне одному, а и другому лицу высказывает свои сетования, что ей предстоит разлука с мамой. Значит, переезд в Томск задуман ею серьезно. И я почувствовал большое душевное удовлетворение. Конечно, я сейчас же устыдился своих эгоистических помыслов, но не мог удержаться и все думал и радовался. И думал еще о том, что момент был неподходящий для радости; тут семья только что пережила трагические страхи, а я свое. Мне как будто хоть трава не расти, а только бы увидеть Маню. Конечно, Иван Сав[ельевич] скоро поправится: он уже порывается встать с постели, но доктора выдерживают его. Через неделю его, пожалуй, увидим уже едущим в город по делам, словом – относительное здоровье вернется к нему несомненно, но надолго ли?

В среду мне неожиданно почтальон принес письмо от Вас. И опять такое милое письмо, что мне хотелось бы поделиться хоть немного своей радостью с Елиз[аветой] Митр[офановной], но при ее настоящем настроении это неуместно. А ведь она сыграла большую роль в нашем романе. И каким жизнерадостным чувством она была бы охвачена всецело, если б это случилось несколько лет назад. Как ведь она хотела, чтобы я увез Вас.

Из Вашего письма я понял, что Вы действительно целили в меня, когда писали свое стихотворение «Отдохнет». Я предположил, но не был уверен, что предположение верно. Ну, а теперь Вы удостоверяете, что таково и было Ваше намерение – и гордости у меня еще прибавило. Целую три пальчика, которые держали перо, когда оно писало это стихотворение.

Как дитя рад, что Вы ничего не имеете против того, чтобы занять комнату рядом. Ведь Вы будете так близко около меня и в течение

всего пребывания в Аносе – это прелесть, это рай! «Идиллия», которую Вы обещаете, кружит мне голову. Хорошо-то как будет!..

В среду я был на вечере Литер[атурно]-артист[ического] кружка в память о Комиссаржевской. Вологодский сказал речь и как только кончил, раздались звуки Шопеновского похоронного марша. Перед передними рядами публики было свободное пространство, пустое, потому что Волог[одский] ушел в публику. Звуки торжественно лились, публика смотрела впереди себя, точно в бесконечность; сосредоточенные лица. И в эту серьезную минуту, когда вся зала замерла, через свободное пространство перед публикой две человеческие фигуры протащили справа налево кипящий самовар, одна фигура – костлявая старуха, другая – сторож, как будто вышедший в отставку чеховский «унтер Пришибеев». Председательница, сидевшая в первом ряду, пала духом; она обмерла от этого диссонанса. Ею были приняты все меры, чтобы создать высокое настроение и чтобы оно не было профанировано какой-нибудь прозой; «унтеру Пришибееву» было строго-настроено указано, когда нести самовар, и он как назло!.. Вера П[етровна] потом мне жаловалась: «Вот правда, что от серьезного до комического один только миллиметр». Она убита инцидентом, но я старался утешить ее. Между прочим, рассказал ей анекдот, как однажды русский комиссар, генерал, торжественно въезжал в китайский город Кульджу; его хотели принять с особенной помпой; полицией были приняты все меры, чтобы все обошлось чинно и благородно. Русский генерал едет верхом впереди; кругом его огромная свита из китайских мандаринов, а за ним и по бокам густая китайская толпа. Вдруг из толпы на свободное пространство впереди генерала прорывается какая-то шельма, старикашка китаец верхом на осле, беззубый и с лысой головой, едет впереди под самым носом русского генерала, заворачивает комически свою голову назад и нагло смотрит на величественного генерала и улыбается. Для полиции-то великого Дай-цинского государства какой афронт! Мандарины покраснели, как раки, от конфуза и негодования!

Но нужно ли до такой степени вышколивать полицию, чтобы в жизни не было больше ни «незваных» самоваров, ни комических всадников на осликах? Какая это была бы пресная жизнь, выутюженная полицейскими утюгами! Ведь тогда бы мы не имели милого Диккенса! Русское общество не имело бы ни Гоголя, ни Чехова. Может быть, никогда Вы так сильно не чувствуете, что этот мир, созданный энергией солнечных лучей, что он действительно существу-

ет, как тогда, когда Вы читаете мелкие рассказы Чехова. Когда Вы их читаете, Вы ощупываете жизнь; она становится для вас осязаемой. В «Записках Пиквикского клуба» Диккенс рассказывает, как Пиквик стоял в толпе и любовался на марширующую армию Его Величества английского короля и как неожиданно ветер сорвал с него шляпу и покатил ее по плац-параду. Пиквик побежал за ней и под громкий хохот толпы спотыкался, падал, потел, потерял душевное равновесие и потерпел полное поражение. Диккенс дает наставление, как следует поступать в подобных случаях. Он учит: если ветер сорвет с вас шляпу, не теряйтесь, спешите за ней медленно, сохраняя человеческое достоинство, т.е. не торопясь и не спотыкаясь, а главное не раздражаясь смехом толпы, а обратив к ней лицо и ласково ей улыбаясь. Вот правильный взгляд на «незванные» самовары и патриотические демонстрации невымуштрованного китайца.

После перерыва было сыграно трио Чайковского. Кто-то умер; кто-то остался, может быть, дорогой друг, и тоскует. Одна грустная нота звучит, варьируясь все время, и щемит ваше сердце. А вдали там где-то шумит толпа; ее чуть слышно, но она настроена к Вашей тоске равнодушно; она веселится, поет песни, пляшет и, вероятно, пьет и орет благим матом. Опять обычная, повседневная смесь тонов грустных с веселыми, мрачных с радостью жизни.

Вот и в нашей жизни, т.е. моей и Вашей – «домик под тополями на Бульварной» и аносская идиллия. Если б Вы знали, как я доволен Вашим согласием жить в двух комнатах рядом! Так доволен, так доволен, что и не знаю, как сказать! Благословляю Вашу решимость, которую прежде в Вас не подозревал, считая Вас нерешительной девицей. Чувствую, что наплывает огромное счастье, обнимает меня со всех сторон, приятно трогает мои нервы и ласкает воображение. Если бы Вы только сухо ответили, что ничего не имеете против двух комнат, то и это было бы очень хорошо. Но Вы приняли мое предложение с некоторым признаком восторга. Тут употреблено словечко «идиллия». Значит, Анос и Вам улыбается, как и мне. Я бесконечно рад, благодарю Вас и целую Ваши колени, Ваши ступни, подошвы Ваших ног и мизинцы Ваших ног. Представьте себе, что мои руки лежат на Ваших плечах, мой поцелуй на Ваших губах, а глаза мои впились в Ваши. И читают в них, и ищут предсказаний! Неужели и Аносская идиллия будет прерываться фразой, которая омрачает некоторые Ваши письма: «Мне грустно!» Отчего? Не оттого ли, что Ваш «дорогой друг» не молод и не красив? Если в этом причина, то и

мне становится грустно и во мне поднимается страшный для меня голос, который велит мне отказаться в таком случае от своего счастья.

Как хотелось бы, чтоб мое счастье было и Вашим счастьем, чтоб идиллия для меня была идиллией и для Вас. Я думаю достичь этого, исполняя все Ваши желания.

Крепко прижимаю Вас к своей груди и долго, долго целую! Бесконечный поцелуй! Бумаги больше нет. Досада! А все бы еще сыпал и сыпал поцелуи. Милая! Ваш!

Только 70 рублей осталось! Вы забыли, что я знаю, где находится Ваше ухо. Припомните-ка эпизод с Вашим ухом зимой в Петербурге, когда мы ехали вдвоем на извозчике. Ставлю Вас за это мотовство в угол и пользуюсь этим положением, чтоб покрыть Вас сплошными поцелуями.

№ 145

*1 марта 1910 г.
г. Барнаул*

Дорогой друг!

Я получила 2 номера «Сибирск[ой] нови». Спасибо. Хотя Вы находите, что молодой журнал издается молодыми литераторами только для «собствен[ного]» услаждения», но я нахожу в нем тоже большое услаждение, особенно когда читаю стихотворения: Петров, Епанчинцев и др[угие] мне очень нравятся. Не нравится только И. Иванов. «Сиб[ирских] силуэтов» с портретом В. В. Сапожникова Вы мне не посылали, но т.к. из Вашего вопроса видно, что хотели послать, то я и прошу: пришлите, пожалуйста. В. В. [Сапожников] большая моя симпатия! Я на его лекциях даже всегда покупаю билет с таким расчетом, чтобы сидеть как раз против симпатичного лектора и все время на него любоваться. Обыкновенно в Народ[ном] доме он стоит на правой (так приходится из зрительной залы) стороне сцены, и мой стул не только на этой стороне, но и как раз против лектора. Не ревнуйте, и при случае, если придется к слову, передайте ему еще об одной лишней поклоннице его педагогического таланта и... симпатичной внешности. Итак, № я жду!

Я не совсем поняла, что именно Л[юдмила] Аполл[оновна] подразумевает под словом «свинство»? Любить – какое же это «свинство»? И разве каждый из нас волен заставить себя не любить, или полюбить кого-либо? Вот как «любить» – это другой вопрос. И разве Вы знакомы с Люд[милой] Аполл[оновной]? Я этого не знала. Ну, да

и во всяком случае, невозможно ведь, чтобы она Вам сказала подобную фразу. Как же ее мнение дошло до Вас? Это интересно было бы знать.

Относительно стих[отворения] «В тюрьме», я думаю, – не оставить ли это дело? Теперь время уже ушло. Описанный там случай был сравнительно давно, и многими наверно забылся. Лучше оставлю стихотворение для сборника. Я довольна, что Вы разделяете мое мнение, что лучше оставить печатание сборника до переселения в Томск. Там он будет составлен гораздо лучше и напечатан изящнее. Посылаю вырезку из газеты с послед[ним] напечат[анным] там моим стихотворением (у меня есть и новые, но еще не обработаны), добавляя строки, которые появились в моей голове тогда уже, когда я прочла его в отпечатанном виде. Посылаю потому, что Вы, за хлопотами, можете и не взглянуть на №, а следовательно, и на стих[отворение] Мани, а она хочет знать Ваше мнение. Отложила немного на этот раз ответ на Ваше письмо. Не удалось. Все были гости да гости. А вчера сама была на имен[инах] мадам Меллер. Помните, той дамы, что приходила, когда я переписывала справки? Моя сослуживица. Всю масленицу ложилась спать в 2, 3 часа. Вечером народ и днем. Анчаров по несколько раз в день забегает. Знакомлюсь все с новыми барн[аульскими] литераторами. Нынче (на масляной же [неделе]) собрались все у меня. Пришел в пер[вый] раз Борис Алтайский, – в скюртуке, такой элегантн[ый] и милый. На друг[ой] день мы с Анчаровым смеялись, говоря: «Словно кто его подменил!» На след[ующий] же день явился ко мне опять с каким-то молодым писателем-учителем (не помню фамилию) звать меня гулять, говоря, что ему «скучно», а когда я отказалась, то сидел у меня довольно долго и интересно разговаривал; ну, просто он становится совсем ручным! Около меня группируется вся здешняя пишущая молодежь, и я, право, могла бы загордиться, что становлюсь «пророком в своем отечестве», – если бы захотела.

Вчера были с визитом лично у меня Зобнин с женой. Она очень симпатична.

Ну, прощайте, милый! Теперь недолго уже переговариваться нам письменно: скоро увидимся. Охотно обвиваю Вашу шею своими руками. Целую.

Маня.

P.S. Меня раздражает, когда говорят, что стих[отворения] современ[ных] поэтов взяты мною у них целиком. (Может быть, моя оши-

бка – кавычки, в которые заключены эти стихотв[орения], но я имела в виду выделить из разговоров эти образцы поэзии). Между тем, как первое, я переделала в пародию из ст[ихотворения] Минского «Треугольник», а второе, приписываемое Городецкому (которого, кстати сказать, не читала), – всецело мое.

Когда наши писатели были у меня, Шубкин читал реферат о модернизме. Алтайский и Семенов разбирали реферат, возражали. Было интересно.

№ 146

3 марта 1910 г.
г. Барнаул

Дорогой мой!

Вот и получилось Ваше письмо. Как я тосковала эту неделю! Я точно чувствовала, что Вы больны. О, сколько упреков я себе делаю! Я виновата, что половина Вашего письма тоже «грустная, прегрустная!» Это отзвук моего настроения. Я должна взять себя в руки для Вас и не писать таких писем; бороться с приступами отчаяния и во время них не брать пера в руки. Ведь это настроение, эта апатия – тоска о маме. Чем успокоить Вас? Я смело говорю: Вы для меня – самый близкий, самый дорогой человек во всем мире. Вы предполагаете, что можете быть «лишним» для меня?! Неужели у Вас найдутся силы уйти? Неужели у меня найдутся силы расстаться с Вами?! Когда я считаю дни до нашей встречи, когда я с таким мучительным нетерпением жду Ваших писем!

Еще упрек – себе. Вы простудились от того, что ходили в дырявых галошах, а мне Вы посылаете по 25 руб[лей]! Может быть, для меня, Вы отказываете себе в необходимом? И Вы еще спрашиваете – довольно ли этого?!

Я чувствую себя бесконечно виноватой перед Вами.

Мечтаю только о том, чтобы поскорее увидеть Вас, чтобы быть здоровой. А нервы пошаливают; опять дают о себе знать головными болями, повышенной раздражительностью и беспокойством. Время, лети скорее! Принеси нам «тихую пристань»!?

Пишите, совсем ли Вы поправились. Я так боюсь за Ваше здоровье! Если бы можно было каждый день получать известия друг о друге! Но... март начался. Все ближе и ближе свидание. Надо приготовиться к отъезду. Пойду сегодня в магазин. Куплю на нижний лифик (который собираюсь сама шить) и на верхнюю черную юбку.

Целую крепко бесконечно милого огорченного друга. Не знаю, удалось ли мне его утешить?

Маня.

№ 147

8 марта 1910 г.
г. Барнаул

Дорогой Друг!

Пишу сегодня немного. Во-первых, нет под рукой Вашего последнего письма, чтобы ответить на все, что требует ответа, а во-вторых, строчу сейчас с исключительной целью – препроводить Вам неожиданно написавшееся у меня стих[отворение] по поводу 25-лет[него] юбилея Вас[илия] Вас[ильевича] Сапожникова, и, если найдете его недурным, то просить передать в «Сиб[ирскую] жизнь» для напечатания. Мне некогда даже исправить его, как следует, но я рада, что могу присоединить свой слабый голос к хору похвал, который услышит любимый профессор, и хотела бы, если можно, чтобы оно не опоздало появиться в свет ко дню юбилея.

Спешу, а потому кончаю письмо: надо перебелить стихотворение. Не грустите, – скоро пришло большое письмо. Целую любимого друга, Маня.

P.S. Если найдете, что в скобках лучше будет написать: «К 25-лет[нему] юбилею В. В. Сапожникова», то переделайте так.

№ 148

[8(?) марта 1910 г.
Томск]

Милая Маня, прежде всего целую Вас. Потом спешу известить, что Иван Савельевич выздоровел, по крайней мере, пришел в прежнюю норму и как будто век ничего не бывало, ходит по всем комнатам, садится за письменный стол и пишет, изображает кариатиду у печки (любимое его местопребывание) и даже огрызается, когда Елизавет[ета] Митрофановна дает ему вполголоса наставления. А ведь как напугал, сыновей встревожил, маму, детей привёл в отчаяние, переполошил знакомых. Друг семьи написал в Барнаул, там поднялся плач, который был слышен в Томске, как библейский плач в Риме, а он взял да и не умер нисколько. А ведь старались все его друзья, самые преданные ему люди. Когда же так поступают благородные люди? Ну если еще раз вздумает так лже-умирать, пальцем не пошевелю, не буду ничего писать в Барнаул.

Вот я и еще преступил заповедь. Целых девять дней не писал Вам письма. Было все это время стыдно, и по тому, понуждаемый стыдом, я послал Вам две иллюстрированных открытки, купленных на выставке картин Гуркина. Это копии с его картин, одна Денгидер, другая Ядыгем. Выставка всех приводит в восторг. Говорят, художник сделал большие шаги вперед. Как он удивительно пишет воду, и спокойную, и в течении. Его водопады льются, его облака, разодранные ветром, бегут. Мох пухл, заросль травы наполнена воздухом; Вы различаете в ней второй, третий и т.д. план; стебли не сливаются в сплошную стену, между ними виден простор.

К Василию Васильевичу не ревную Вас, а вот гораздо опаснее Борис Алтайский. Он как будто начал ухаживать за Вами, а Вы об этом расписываете в своем письме не без заметного удовольствия или удовлетворения. Боюсь!!

Боюсь, но все-таки верю, непоколебимо верю, в свою чудную Маню, смело марширую навстречу благословенному маю, навстречу своей милой маркитанке, которая скоро обовьет мою шею своими руками.

«Тень Пушкина» слабее, чем то стихотворение, которое было посвящено уродам из Горного Управления. В последнем было более яду, в нем Вы проявили более божественной злости. Фигуры Горного Правления, вдохновившие Вас, более Вам «назлели», чем модернисты и декаденты. Но я думаю, когда Вы будете жить в литературном кругу Томска, этот талант у Вас проявится сильнее.

Не писал Вам так долго потому, что беспрестанно дела увлекают в город, на улицу. Бегаю, хлопочу об юбилее Сапожникова; у нас еженедельно по пятницам юбилейное совещание; я хлопочу заказать виньетки – Гуркину к адресу, который будет написан Обручевым и будет поднесен от Общества изучения Сибири. Хлопочу о виньетках для меню; меню будет украшено двумя – одну нарисует художник Оржешко (акварельная копия с картины Гуркина «Хан-Алтай», которая два года назад куплена Кухтеринной); другую нарисует акварелью художница Воронина, которая будет жить с нами в Алтае, в Аносе или Елик-манаре; на этой виньетке будет изображено растение, названное в честь Сапожникова: *Oxutropis Sapojnikov*. Двух месяцев не осталось до мая, а завернули такие морозы, что свидание отодвинулось как будто на неопределенное время. Но нет, "не запугаете"!

Я возьму с собою сочинения Рескина, историю искусств Мутера, три томика Зелинского, книгу Вильяма Джемса "Многообразие религиозного опыта". Будем взапуски читать.

Кроме Ворониной, может быть, туда же, куда и она поедет художница Просвиркина, хорошая знакомая Елиз[аветы] Митр[офанов]ны.

Ах, как хочется поцеловать Вас! Не поцеловать, а целовать, – бесконечное число раз! Сжать вас в своих объятиях! Сжать под "луны фосфорический свет... Позабиться о... заснуть... зарыдать..." (стр. 114). Да иди же скорее, божественный май!

№ 149

13 марта 1910 г.

[Барнаул]

Я не успела еще отослать письма, которое настрочила вчера, как получила от Вас еще весточку. Какое хорошее Ваше письмо, милое, нежное! Дорогой мой! Стою ли я такой любви? Сумею ли я устроить для Вас «тихую пристань»? Настанет ли такое время, когда я справлюсь с своей тоской, примирюсь хотя немного с невозвратимой утратой? Я не смею обещать Вам покоя и счастья; постараюсь, но удастся ли – не знаю...

Я нервничаю ужасно.

Вы хотите выйти на собрание Литературно-художественного кружка. Смотрите, не отозвалось бы это плохо на Вашем здоровье!

Не могу писать больше. Немного болит голова и мысли плохо вяжутся. Спасибо за Ваше милое письмо!

Ваша Маня.

№ 150

16 марта 1910 г.

[Томск], Солд[атская], 78

Милая моя Маничка! Пишу Вам в приливе нежного чувства к Вам. Как хочется получить сегодня письмо от Вас! Вчера ждал его и ещё третьего дня ждал! Сегодня непременно должно прийти! Иначе не буду знать, что подумать. Ваши письма нектар, которым питается моя душа. Конечно, я сам виноват, не писал Вам больших писем за это время. Некогда с этим юбилеем В. В. Сапожникова. Посылал Вам только «Силуэты», чтоб по крайней мере Вы знали, что я хожу до почтового ящика, следовательно, выхожу из дому, следов[атель]но], жив и здоров. Прощлое письмо закончил пожеланием «сжать

Вас поскорее в своих объятиях». Вы, может быть, подумали – это приступ весенней физиологии. Признаться, я сам не разберу, был ли я одержим тогда грубым или тонким кристаллическим чувством. Но во всяком случае последнего была большая доза. Но так уж мы устроены люди, все экстазы нашей души, и религиозные, и эротические, проходят близко друг к другу, как будто один и тот же нерв распоряжается и теми, и другими; вследствие этого и для религиозного экстаза мы имеем тот же язык, который употребляем в любовном влечении. И самого Господа Бога иногда хочется «сжать».

Я Вас люблю. И только потому, что люблю Вас, мою Маню, я люблю природу, люблю земную радость, люблю благо человечества. Если б я не любил Вас, если б любовь к Мане не наполняла мое сердце высокой температурой – в нем была бы пустыня, в нем не было бы любви к людям. Вы творец моих благородных чувств, моих стремлений к добру. Вы творец моего бескорыстия и равнодушия к суетным благам. Смотрю на висящий над письменным столом Ваш портрет и рукоплещу Создателю за то, что он для моего счастья сотворил такое обольстительное личико. Чувствуете, каким горячим, продолжительным сочным поцелуем пахнет в воздухе!

Юбилейное стихотворение занес к очередному редактору, т.е. Малиновскому, но не застал его дома.

Напишите, как Вы представляете порядок предстоящего лета. Я приеду с одним из первых пароходов в Барнаул. И что же? Я должен ждать, когда Вам дадут отпуск? Отчего Вам не выйти в отставку в начале мая, уехать со мной в Анос, там прожить три месяца и затем переселиться в Томск?

В Аносе решили жить Вейнберги (Борис П[етрович]. Вейнберг сын Петра Исаича, которого Вы видели в Союзе писателей). Собирается около Аноса поселиться Крутовский, брат моего друга Влад[имира] Михайл[овича] Крутовского. Приятель Гуркина, петербургский художник Федоровский просит и его пристроить в Аносе. Господи, сколько поводов к ревности! Кроме того, предполагаются безвредные соседи – художница Воронина и художница Тюменцева.

Разве я преувеличиваю благо этой любви? Разве Вы очаровательны только временно? Нет, я верю, что Вы содержательны, что Вы до конца будете для меня интересны и наполните мою жизнь содержанием! Ведь более десяти лет Вы заставляли работать мою фантазию, заставляли произносить Вам дифирамбы, более десяти лет поднимали температуру моего сердца до 100 градусов по Цельсию.

Душу Вас в своих горячих объятиях и целую тысячу раз! Душу – иначе нельзя, иначе вышло бы холодно.

№ 151

17 марта 1910 г.
[г. Барнаул]

Дорогой друг!

Я запоздала несколько ответом на Ваши письма. Сегодня отвечаю на оба. Очень рада, что Иван Сав[ельевич] поправился. Передайте это Лизочке с моим приветом. Вы пишете, что «она сыграла большую роль в нашем романе». Большую – может быть, но не главную, эту последнюю сыграли мои стихотворения, печатавшиеся в сибирск[их] газетах: не будь их, Вы и не знали бы, что вот в далеком от столицы Барнауле существует какая-то Маня Васильева; но эта Маня строчила стихи, и ее поэзия сделалась звеном нашего знакомства. Относительно слова «идиллия» мне придется Вас немного разочаровать. Я употребила это слово шутя, улыбаясь плану прелестной усадьбы художника. Анос и Ваше общество – это мне улыбается. Ваше письмо милое, хорошее... но вот есть в нем одна фраза, которая мне не нравится: «целую Ваши колени, Ваши ступни и т.д.» Вы знаете, что этого я не люблю, даже и на бумаге!

За все открытки Гуркина, за №№ «Сиб[ирской] нови» и «Силуэтов» – большое спасибо! Вы не написали, понравилось ли Вам стих[отворение], посвящен[ное] Вас[илию] Вас[ильевичу] Сапожникову. Стоит ли вообще его печатать? Достаточно ли оно хорошо? Подумайте об этом. От Вас я тоже жду большого письма. Открытки, как ни хороши они, все-таки меня не удовлетворяют. Относительно Бориса Алтайского... Кажется, Вы угадали. Сама я не замечала этого, но мама, увидав его у меня всего один раз, сказала: «Он за тобой ухаживает». А что бы сказали Вы, если бы я написала Вам, что, когда я ждала гранок с моим стих[отворением] «У современ[ных] поэтов», то в типографию пришел Алтайский, увидел меня: «А, г-жа поэтесса!» И начал приглашать гулять, когда же я сказала, что долго не уйду, пока не дождусь совершенно исправлен[ного] оттиска, то он ответил: «Буду ждать терпеливо». И высидел в типографии с 5-го ч[аса] до 8-ми вечера. Гулять я все же не пошла; не пошла и за Усовой, как он предлагал (чтобы позвать ее ко мне на литерат[урный] вечер), все кончилось тем, что перешли с ним только через улицу и постучали в ворота квар[тиры] Швецова, а потом расстались. Вот,

видите. – Напрасные были ожидания! Потом еще раз, нагнав меня днем на Собор[ном] переулке, он навязался мне в спутники, а я шла далеко, по делу, на Берскую ул[ицу]; и всего интереснее то, что я была зла на него за один нелюбезный прием в редакции и пробирала его всю дорогу жестоко. А он все шел и упрашивал простить. Забавно! Мне только забавно, поверьте, а интересно чуть-чуть: интересно ведь приручать диких! Я же и не старалась об этом. К тому же он женатый – не бойтесь.

Вам не понравилось «У современ[ных] поэтов». Жаль. Мне казалось оно хорошим. А об Анчарове Вы ничего так и не написали: нравится ли Вам его поэзия. Он славный мальчик: такой искренний, чуткий, добродушный. Около меня он греется, «как около солнечного луча», так говорит мама. Если он огорчен строгой критикой Алтайского и имеет убитый вид, стоит мне сказать ему несколько слов утешения – и он улыбается и снова верит в жизнь и в силу своего молодого таланта.

Милый друг! Может быть, Вы недовольны моим сегодняшним письмом: видите, у меня плохое настроение – день серый, – и письмо мое серое: тоскую без солнышка! К тому же маме эти дни нездоровилось, – и вот у меня нервы немного пошаливают. Если бы я не думала, что Вы будете беспокоиться, не получая долго письма, я отложила бы свой ответ, подождала бы лучшего настроения. Целую Вас крепко. Жду скорее весточки.

Маня.

№ 152

20 марта 1910 г.
г. Барнаул

Милый Друг!

Какое страстное письмо! Страстное, но без таких выражений, которые я не люблю. «Душу в объятиях» – это звучит все-таки иначе чем: «Целую колени, подошвы» и т.д. От тех меня коробит. У Вас весеннее настроение. Ну, что же делать! Пусть... Судьба удалила с Вашей дороги последнего соперника: вчера, в Томске скоропостижно умер Н[иколай] Федорович Миролюбов. Здоровый, сильный человек... Я так и не могла разобраться: увлекался ли он мной серьезно или шутил. Хотел ли жениться? Он не переставал оказывать мне внимание, до самой последней встречи. Он говорил, что смотрит на жизнь, вообще шутя, но что когда спрашивает о моем отношении к нему, то делает это так серьезно, как только может. А я серьезные

речи всегда обрывала шуткой, и он начинал шутить. Между прочим, раз он спросил меня: «Правда ли, что Вы выходите замуж?» Я сказала: «За кого?» – «Ну, да Вы знаете... впрочем, нет, – я справлялся в законах (он был чиновн[ик] по судебн[ым] делам), – нельзя: в 75 лет венчать не станут. Итак, для меня остается еще надежда... Надежда – мать глупых...»

Мне жаль его, ужасно жаль! Хотя я не хотела быть его женой. «Быть женой»... Это можно только тогда, когда неудержимо влечет к человеку, когда все существо полно восторга от выразительного пожатия его руки, а губы жаждут слиться с его губами... Такое чувство я испытывала только по отношению к человеку, которого любила первой любовью... О многом мы поговорим, когда увидимся, между прочим, и о нем, т.е. о Н. Ф. [Миролюбове], – в письме всего не напишешь. Вы приедете на одном из первых пароходов, – тем лучше. А когда на Алтай? Увидим. В начале мая? Не слишком ли это рано? Не будет ли холодно еще в горах в это время? Но мы поедем обязательно в мае. Тогда цветут цветы...

Как-то на днях я писала Вам. Теперь Вы, вероятно, получили мое письмо. Напишите, будет ли напечатано мое стих[отворение], посвящ[енное] В. В. Сапожникову? Боюсь, не плохое ли оно? Я ведь над ним совсем не работала. В завтраш[нем] (воскресном) № нашей газеты будет напечатано одно из новых моих стихотв[орений] «Царица-мечта». Кажется, оно красивое. Борис Алтайский хотел давно его взять, а сегодня, в редакции, начал придирается (чтобы меня позлить, больше не для чего!); не с тем, чтобы отказать в печатании, конечно, а просто: «Похоже очень на Эдгара По» и т[ак] далее... Последнего я даже не читала. Ответила маленькими шпильками по адресу противного Бориса. Печатает стихи гораздо хуже, полную бездарность, как, напр[имер], недавно напечатанное стих[отворение] какого-то Воротникова. Забыла поставить ему это на вид. Да, впрочем, что я? Ведь он ни разу не сказал даже, что мое надо бы исправить, а так... зря... Поблестит остроумием... Гадкий! Кажется, скоро опять начну говорить ему дерзости. Впрочем, последнее ему нравится...

День или два тому назад получила № «Силуэтов». Вчера – «Сибирскую новь». Спасибо. В «Нови» стих[отворение] Вяткина «Девушка» мне очень нравится. Хотела было свое «Мечта-царица» поберечь для Томска, да долго ждать, пока появится в «Сиб[ирской]

жизни», там очевидно масса материала, и очереди дождешься не скоро. Притом случается – полежит, полежит, да и затеряют.

Целую Вас и жду, жду!

Маня.

P.S. Вы клеветеете на себя: «люблю Маню и только потому люблю природу, люблю земную радость и благо всего человечества». Эта любовь живет в Вашем сердце, конечно, помимо любви к «Мане». Хотя верю тому, что от любви к «Мане» все эти прекрасные вещи становятся в Ваших глазах еще прекраснее.

№ 153

*[Конец марта 1910 г.
Томск]*

Отвечаю Вам на два Ваши письма. Прежде всего об Иване Савельевиче. Он нас обманул. Выздоровел и вновь захворал. Новый припадок и такой же сильный; опять три доктора возилось около него целый час. Припадок случился как раз тогда, когда к нему приехал Курлов. Опять камфора, опять горячие бутылки. Теперь Ив[ан] С[авельевич] сидит в кресле с пузырями на ногах от раскалённых бутылок. Лежать не может, задыхается, а потому и ночь проводит сидя, для чего его спину подмощивают и подпирают подушками. Первое Ваше письмо действительно опечалило меня лишением меня надежды на "идиллию". По-Вашему, я не так понял это слово. Может быть, и так, как следовало, но все-таки сомнение мне в душу брошено. Мне предлагают умерить надежды. Неприятно убавлять радость, появившуюся в сердце.

Выговор за "пятки" принимаю с покорностью. Признаю, что это выражение должно было шокировать Вас. И еще до получения выговора я увидел, что оно не ладное. Но, кажется, основное чувство, возмущающее меня и Вас различно. Вы в нем увидели прилив "весеннего чувства", а мне кажется оно выражением дурного тона потому, что в нем есть что-то рабское. Я как будто потерял чувство человеческого достоинства, которое не должно падать и при самой сильной любви к женщине. Впрочем, я уже забыл контексты этой фразы; может быть, там и чувствуется действительно весеннее настроение; может быть, весенним-то настроением и вызвано такое впадение в рабство перед женщиной.

Второе Ваше письмо разглядило мои морщины – тем местом, где Вы говорите о другом моем письме, "страстном", но без неприятных

для Вас выражений. Я чрезвычайно рад, что повернулся к Вам своей хорошей стороной, что произвел на Вас доброе впечатление. Вы увидели, что я люблю Вас возвышенной любовью, а грязь, иногда попадающаяся в письмах, это только внешняя шелуха, прилипшая снаружи, что в человеческой жизни неизбежно.

Другое место в письме, которое меня обрадовало, – Ваше решение ехать в начале мая. Вы боитесь, не рано ли, не холодно ли? Ведь мы не на белки поедим, а в глубокую долину Катуня. Только в начале мая мы увидим рододендроны в цвету. Я увижу милую Маню среди цветущих рододендронов. Загодя сердце замирает от удовольствия. Когда это совершится, я буду толковать это событие, будто я увенчал свою Маню.

Венчаю Вас за Вашу поэзию, за сборник "Песен сибирячки", за этот яд, который впервые разлил блаженство в моем теле. Это он подкупил меня, Вы правы. Под его лучами меня потянуло к Вам. И вот теперь какая-то могучая сила так и тянет меня на Пушкинскую, в уголок сада, к беленькой ручке!

По большей части начинаю письмо скромно, по-будничному, но потом разводит нервы, и будни постепенно переходят в праздник. Колокола, цветы, "святая неделя" в сердце!

Перед соперником почтительно снимаю шляпу! Он мне мало мешал при жизни и потому исполняю свой долг вполне с христианским чувством.

Стихотворение на юбилей нашли слабым. Вы и сами, по видимому, думали о нем так же. Тем не менее, когда мне высказали это, я был опечален, как будто это был отзыв о моей собственной литерат[урной] неудаче. Я чувствую, что я отождествился с Вами. Целую Ваши губы!

Г. П.[отанин].

№ 154

*2 апр[еля] 1910 г.
[Томск], Солд[атская], 78*

Дорогая Маня, я получил "Аккорд" Котарбинского. Не имеет ли это символического значения? Не указание ли это на увенчание нашей повести желанным концом? Время аккорда приближается. До Барнаула остался один месяц. Но я теперь прихожу к убеждению, что настоящий аккорд прозвучит не в Аносе, а в Томске. В Аносе же

будет сыграна только прелюдия. Под аккордом я разумею момент, когда струны моей и Вашей души зазвучат в полном согласии.

В те дни, когда я увлекался событиями томской жизни, вследствие чего правильный обмен письмами с Вами прекращался, я не забывал Вас, беспрестанно вспоминал об Вас и не мог забывать, потому что постоянно чувствовал, что кого-то нет около меня, кого мне нужно. Юбилей, вечера в кружке литераторов и артистов, вечера в кружке художников, выставка картин, агитация в пользу женск[ого] универ[сите]та и пр[очее], пр[очее] чрезвычайно возбуждительно действовали на меня. Еще не было зимы в Томске, столь богатой возбуждениями. И вот, возвращаясь в возбужденном состоянии домой, я всякий раз думал - вот если бы я был не одинок, если б возле меня был друг - единомышленник, придя домой вдвоем, я мог бы поделиться с милым другом и от него выслушать рассказ о том, что он пережил (т.е. она, т.е. Маня). Мною пережитое сделалось бы Маниным достоянием и наоборот. Маня берет перо, излагает все пережитое и передуманное на бумаге и печатает свои впечатления в «С[ибирской] ж[изни]», превращая эту газету, т[аким] о[бразом], в летопись нашей внутренней жизни. Вот это и будет аккорд!

Читали ли Вы мою речь на юбилее Сапожникова? Это мое выступление перед сибирским населением и мой вызов несибирякам, живущим в Сибири. Я от имени сибирского населения предъявляю к этим представителям метрополии требования. Раскол между профессорами, чувствительными к симпатиям местного населения, и профессорами, чувствительными только к ласкам начальства.

Почти одновременно в университете отпраздновали три юбилея: Грамматикати, Смирнова и Сапожникова. Студенты усиленно сопоставляют два последних юбилея. Юбилей Смирнова отличался большей искренностью, теплотой. На нем не звучало ни одной фальшивой ноты, никакое затаенное чувство не задерживало изливание признаний, увлечение профессором выражалось во всей полноте. Юбилей Сапожникова был суше, сдержаннее, официознее. Замечалось отсутствие некоторых адресов. Так, студенты фигурировали только как представители кружков и специальных организаций, но не было представителей от студенчества in сопроге, не было адреса от легализованного сибирского кружка. И вне университетской среды некоторые возражали против участия на юбилее, ссылаясь на грехопадение В[асилия] В[асильевича] (он подписал свое имя под адресом барону Нолькену). Говорили, юбилей Смирнова задушев-

нее, горячее. Студенты вынесли профессора из здания университета на руках, выпрягли лошадей и провезли юбиляра на себе до квартиры с криками: ура! и со студенч[ескими] песнями. Но юбилей Смирнова был семейный, не выходящий из стен университета, хотя в числе делегатов были и лица из вне университетс[кой] среды. Юбилей Сапожникова был гражданский. Позиции Смирнова и Сапожникова различны; Смирнову жизнь не предъявляла тех испытаний, которым подвергался Сапожников. Собственно, эти два юбилея дополняют один другой, они оба симпатичны. И противопоставлять нужно не их между собою, а их вместе взятых против юбилея Грамматикати. Юбилей последнего стоит на одном берегу, а юбилеи Смирнова и Сапожникова оба на другом. На юбилее Сапожникова почти не было профессоров медиц[инского] фак[ультета], не было Курлова, не было проф[ессора] Кулябки (председателя Общества естествоиспытателей); не было нового ректора Базанова; даже не было от него приветствия (это находят бестактным). Попечитель уч[ебного] ок[руга] Лаврентьев и архиерей Макарий тоже отсутствовали. Но была губернаторша.

При борьбе неизбежны огорчения, но с тех пор, как у меня есть Маня, это меня мало беспокоит. Ведь так?

Г. П[отанин].

№ 155

11 апреля 1910 г.
г. Барнаул

Дорогой друг!

Я виновата перед Вами: долго не писала. Не было подходящего настроения, отложила ответ – вот и затянулось дело. Я чувствую сильную усталость и жажду отдохнуть. Жажду увидеть Вас поскорее. Теперь скоро увидимся. Говорят, впрочем, что пароходы пойдут не раньше 15 числа. Ну, подождем. Долго ведь ждали. Поедем вместе, и я надеюсь, что отдохну, отдохну!

Пишу сегодня немного. Не могу строчить большого письма.

Целую Вас и жду, жду!

Маня.

№ 156

[Почтовая карточка]
20 апр[еля] 1910 г.
[Томск], Солд[атская], 78

После продолжительного перерыва почта из Барнаула начала благополучно приходить, уже два дня как приходит, но от Вас писем

она не принесла. Теряюсь в догадках, что это значит – или так Вас захватили приготовления к празднику? Или Вы заболели? Или заболела Ваша мама?

От большого письма воздерживаюсь. Ввиду неизвестности причины Вашего молчания, боюсь, чтоб большое письмо, т.е. свободное излияние мыслей, представлений и настроений не внесло бы диссонанс, дисгармонию. Буду ждать Вашего письма. Елиз[авета] Митр[офановна] просила передать ее привет.

Г. П[отанин].

№ 157

*[Конец апреля 1910 г. Томск,
Солдатская, 78]*

Я и сам виноват, что переписка затянулась. Я не писал Вам с 3 апр[еля] до 20. Это вот чем объясняется. Я почувствовал приближение отъезда из Томска, а у меня были проекты статей в "Сиб[ирскую] ж[изнь]", мне хотелось отделаться от этих долгов; хотя они были и добровольно приняты на себя, но все-таки такая уж психология – хотелось непременно проекты эти осуществить. И вот, в первую голову, за что я принялся после 1 апр[еля], т.е. когда до пароходов остался один месяц – это за ликвидацию томской зимы, т.е. за писание статей. И эта ликвидация так обхватила все мои помыслы, что никак не мог оторвать свои мысли в сторону и сосредоточиться на другом, напр[имер] на письме к Вам. А ведь писать к Вам, это нужно особые условия. Писание Вам – нечто вроде богослужения; нужно предварительно попостовать, привести же-лудок в девственное настроение, облегчить наитие вдохновения и пр[очее]. А между тем все мысли, все помыслы бегут по направлению ликвидации. О другом некогда думать. Горячусь и пишу, потому что чем скорее разделаюсь с ликвидацией, тем буду более хозяином времени, распорядителем при назначении часа отъезда.

Конечно, милая Маня если и не была на языке, то не удалялась из памяти. Я мысленно твердил: Милая! но в виде неясных звуков, так что не выговаривались ясно "м" в начале и "я" в конце. Этот усеченный и спереди и сзади жужжал где-то над ухом и наполнял меня ощущением блаженства, но за письмо я все-таки не садился.

Две статьи написаны вполне; одна требует только сделать одну, две вставки. Четвертая написана наполовину. Пятая начата. Шестая в голове и седьмая даже и в голове не оформлена.

Я бы быстро справился с этой задачей, но отрывают. То ко мне придут, то меня куда-нибудь позовут.

Ив[ан] Сав[ельич] очень медленно поправляется. Все время сидит в кресле с вытянутыми горизонтально ногами.

Г. П[отанин].

[P.S.] Если пароходы пойдут ранее, чем я ликвидирую, я все-таки dokonчу свою работу. Но я думаю, это не особенно отодвинет мой отъезд. Кроме того, я должен здесь дожидаться Гуркина, который в Иркутске. Он будет здесь, вероятно, в конце Фоминой.

Ждите! Приготовьтесь к отъезду! Не задержите отъезд из Барнаула!

№ 158

13 июня 1910 г.

Анос

Адресую письмо в Спирино, хотя нет твердой уверенности, что Вы добрались до нее. Пожалуйста, напишите хоть две строчки, как Вы живете в Спириной, если Вы там, что Вы встретили там и хорошо ли устроились?

Я ехал отлично (с внешней стороны, конечно). На дорогу мне надарили сдобного печенья, апельсинов и варенья; банка с последним превратила мой саквояж (в карзинках ей не нашлось места) в привилегированную часть багажа; везде приходилось помещать его на лучшее место, где бы он не терпел от толчков.

Вашу заповедь беречь себя я также не забывал во всю дорогу; следил за собой в оба глаза. Когда подходил к борту парохода, то делал себе выговор: "Нельзя подходить так близко!" – говорил я. "Тут бубух!" Словом, не спускал глаз с Вашего друга.

Впрочем, вскоре я нашел себе другую няньку. А это, оказалось, настоящая нянька, такая же несносная, как и все другие. На пароходе подошла ко мне одна девица, которая попросила у меня позволения ехать вместе со мной от Бийска на лошадях. Тут пришлось ходить по струнке. "Без калош не выходите! Застегните пальто на все пуговицы! Приподнимитесь, освобожу вашу подушку!" и так далее. В таком приятном обществе я проехал от Бийска до Аноса. Это оказалась преподавательница географии в Томском епархиальном училище.

Когда я с ней беседовал на пароходе о своих путешествиях, о коллектировании, о природе, я заметил, что в открытое окно меня

подслушивает какая-то молоденькая особа, которая вслед за тем тоже подошла ко мне и сказала, что мои рассказы заинтересовали ее и что ей захотелось познакомиться со мной. Это бийская гимназистка, которая только что окончила курс и собирается в Петербург на естественно-исторические курсы. Она давно увлекается естеств[енной] историей, режет лягушек, во славу науки казнит смертью ящериц, заваливает свою комнату штуфами горных пород, по всей вероятности, так называемыми "швырк-штейнами", ловит жуков, бабочек и пр[очее]. Родилась в Монголии (ее отец и теперь проводит половину жизни в Монголии) и говорит по-монгольски. Родилась в дороге; мать разводила костер на ночлегах, мыла новорожденную снегом около огня и укладывала спать под кустиком. Пароходы всегда устраивают интересные знакомства.

Выздоровляйте скорее и утешьте добрыми известиями, а я остаюсь по-прежнему Вашим неизменным и преданным другом. В Ваше выздоровление я прочно верю; если б этой веры не было, я бы не поехал в Анос. Беспокоит меня мысль, хорошо ли я поступил, но потом я думаю, что без меня Вы, может быть, лучше успокоитесь и скорее выздоровеете.

Вейнберги еще не приехали. Здесь я нашел только художницу Воронину с ее подругой. Сегодня я с ними ходил уже в лес рыть растения и мы заложили уже в гербарий 30 листов. Здесь же и Крутовский, собирает жуков и бабочек и их личинки и куколки, из которых и выводит крылатые экземпляры. Он не нахвалится Аносом; ему нравится здешняя тишина. Дачников здесь до 20 чел[овек], но их не видно. Они с утра до вечера в лесу.

Несмотря на это отличное общество я чувствую себя в Аносе большой сиротой.

Г. Потанин.

№ 159

20 июня 1910 г.

Анос

Вы обрадовали меня, моя милая, добрая фея, своим письмом. Оно было для меня неожиданно. Я думал, что я обречен на все время пребывания в Аносе на полную неизвестность о Вашей судьбе, о состоянии Вашего здоровья. Я приехал в Анос, точно в тюрьму. В голову всё приходили предположения одно хуже другого, и я спрашивал себя, позволительно ли было мне уехать от Вас, когда Вы находитесь в таком положении. Я раскаивался и бранил себя, и это на-

строение отражалось и на моих снах. Все время со дня приезда в Барнаул до получения Вашего письма я был не в состоянии писать письма. И если в это время я написал два, три письма, то я должен был делать усилия, чтобы заставить себя писать. Теперь, после Вашего письма легче; надеюсь, что в Спириной Вы окончательно поправитесь и будете писать без затруднения.

Наша компания увеличилась. Приехало семейство Вейнбергов, отец семейства профессор физики, мать писала в детских журналах, сестра ее, курсистка – педагогичка, занимается зоологией. Приехал Анохин, собиратель народных мелодий; он будет разъезжать по краю в сопровождении художницы Ворониной и будет временами наезжать в Анос. Теперь у нас ведутся разговоры о физике, о магнетизме, о классе Arthozoa, о Рубенсе, о стилях и о хроматизме в музыке. Анос превратился в какой-то Гельдерберг или Геттинген, тогда как Чемал – это наш Париж. Там куча лже-интеллигенции, улица кишит дачниками; там даже есть ресторан или столовая, обеды в три блюда и газеты. Из села там выезжают кавалькады флиртующих, а здесь в Аносе вы видите даму с финским ножом на поясе для рытья растений, с берестяной коробкой на бедре для выкопанных растений; или выходит из села джентельмен с мальчиком: идущий в лес отыскивать личинки и бабочки.

Я это преступление, отъезд из Барнаула в Анос, допустил только потому, что мне казалось, что в противном случае оказался бы обманщиком по отношению к гг. Вейнбергу, Крутовскому и Ворониной, которые все порешили ехать в Анос по моей рекомендации и потому, что говорил им, что и сам туда поеду. Поэтому я чувствовал за собой обязанность по крайней мере хоть на неделю приехать в Анос, чтоб ободрить их в случае негостеприимной встречи со стороны капризного Алтая. Но все вышло хорошо.

Крутовский очень доволен тишиной нашего села. Вейнберги в восторге от местных условий, от внешнего вида природы. Они находят, что долина Катуня напоминает Тироль. Воронина сначала была недовольна, потому что местные жители усвоили русскую внешность, и не представляют материала для стилизации; нет народного алтайского орнамента; но теперь ей улыбнулась судьба в виде поездок с Анохиным по стойбищам кочевых алтайцев.

Имейте в виду, что я всегда готов служить Вам; по первому призыву я явлюсь к Вам. Жить с Вами моя заветная мечта. На одной чашке весов весь мир, на другой одна Маня. Мои аносские колони-

сты устроились и благодушествуют, а потому я могу к Вам устремиться хоть сейчас.

Ваш друг Г. Потанин.

№ 160

26 июня 1910 г.

Анос

Получил уже два Ваших письма. Большое Вам спасибо за такое внимание ко мне. Зная, что Вам трудно, не требуя, чтоб Ваши письма длинные были и чтобы они приходили часто, но сам постараюсь писать часто. Я написал Вам уже два письма. Это третье. Очень рад, что Вы благополучно добрались до Спириной. Буду надеяться, что здоровье Ваше в деревне восстановится.

Как досадно, что судьба помешала Вам провести это лето в Аносе. Обстоятельства разрушили мои планы. Я намерен был и надеялся написать летом много статей. Я думал, что меня будут вдохновлять Ваше соседство, Ваши улыбки, Ваши ласки. Если б я только чувствовал Ваше присутствие в соседней комнате, я писал бы, писал бы без конца. А теперь я только развлекаюсь чтением; прочитал историю живописи Мутера. Да еще хожу к двум соседкам. Одна художница Воронина, девица; другая преподавательница арифметики в женск[ой] гимназии в Томске.

Я привез ботанические решетки, сукна и бумаги для засушивания растений; это для Ворониной, которая хотела набрать за лето сибирского материала для стилизаций. Но засушиванием увлеклась ее подруга, да еще усерднее. Вот и я иногда хожу с ними в лес собирать растения, а потом они под моим руководством определяют растения, то есть в книге г. Крылова "Флора Алтая" находят латинские названия принесенных из лесу растений.

Жалею, что я не вместе с Вами читал Мутера. Мне нравится такая манера писания. Эпохи очерчены крупными чертами, жирным итальянским карандашом. Характеристики эпох точно портреты отдельных людей. Резко, выпукло, может быть, местами слишком смело, слишком авторитетно, парадоксально, преувеличенно, несправедливо, но зато крепко залегает в памяти, не забудется.

Шлю привет Агнии Евгеньевне. Обнимаю Вас и целую, любящий Г. Потанин.

[P.S.] Забыл Вам прибавить, что чтение книги Мутера усилило во мне жажду жизни и деятельности. Хочется жить и действовать, отыскивать сочувствующих и помогать им создавать жизнь, услож-

нять ее, обставлять ее идейными удовольствиями, – я имею в виду, конечно, Сибирь, у которой нет ни литературы, ни музыки, ни картинных галерей.

№ 161

29 июня 1910 г.

Анос

Дорогая, милая моя девочка, Маня! Вернулись ли Вы в Барнаул и какой, выздоровели ли Вы окончательно? Как хотелось бы Вас видеть совершенно такую же, как Вы были в Томске в прошлое лето!

Я пишу Вам четвертое письмо из Аноса. Ни одного Вашего письма не оставил без ответа; не пропустил ни одного случая, когда отсюда организуется пересылка писем в Улалу, но из Вашего последнего письма вижу, что Вы до сих пор не получили ни одного письма после того, как мы с Вами расстались. Вы обо мне беспокоитесь, не простудился ли я, а я между тем здесь совершенно благодушествою и веду беспечную жизнь. Как жаль, что Вы заболели, не могли со мной поехать. Мы ведем здесь веселую жизнь. На днях ездили в вершину Аноса, в аил шаманки Саатán (в 12 вер[стах] отсюда) и видели её камланье. Совершенно неожиданно к нам в Анос приехал член Государств[енной] думы Ник[олай] Вис[сарионович] Некрасов с женой и принял участие в нашей поездке на камланье. Чуть не все дачники также были с нами; всего набилось в юрту шаманки дачников человек до двадцати. Саатан угостила всех чаем, каймаком, вкусным хлебом ячменным на сметане, одно объеденье и, наконец, аракой, т.е. водкой, высиженной из молока. Арака и каймак понравились нашим петербургским гостям. По предварительному уговору на камланье приехал и Анохин со своими спутниками, с барышней – художницей Ворониной, которую он похитил из нашего аносского общества, со студентом Котляровым и с переводчиком г. Никифоровым, который записывает тексты поэм, песен и молитв. Г-жа Воронина зарисовывает орнаменты, бубны и курмежеки (идолы), а сам Анохин записывает нотами молитвы.

У меня завелось новое знакомство; две молодые женщины живут в одной комнате. Одна г-жа Малыгина, художница, замужняя, но разошедшаяся с мужем. Другая тоже замужняя, г-жа Бове, родственница Ивана Савельевича. Последняя увлекается огородничеством, а первая мечтает о маслоделии. Г-жа Малыгина – миловидная лет 35 женщина, к сожалению, очень болезненная, возбуждает большую симпатию. Она ученица Гуркина, но учится писать только три года.

Как мне хочется поцеловать Вас и подержать в своих объятиях!

Г. Потанин.

[P.S.] Никогда еще, кажется, я не чувствовал к Вам такой привязанности как после последнего свидания. Это ужасно! Как нелепо устроен духовный мир? Неужели для того, чтобы вызвать более сильную любовь к себе, нужно заболеть?

Передайте мой привет Агнии Евгеньевне.

№ 162

10 июля 1910 г.

Анос

Одновременно пишу и в Спирино, и в Барнаул; потому что не знаю, вернулись ли Вы 5 июня, как писали, в свой дом.

Третью почту получаю только одни газеты и ни одного письма ни от Вас и ни от кого. Здесь ужасно теряются письма, объясняя этим отсутствие писем, но все-таки становится страшно. Ведь молчание, которое наступило с Вашей стороны после Пасхи и продолжалось до моего приезда в Барнаул, произошло вследствие Вашей болезни. Не тем же ли следует объяснить и настоящий перерыв в переписке?

Ваш Г. Потанин.

№ 163

[10 июля 1910 г.

Анос]

Написал в Барнаул, пишу и в Спирино. Где Вы, не знаю. Что-то становится страшно. Здоровы ли Вы? Вновь не заболели ли и не этим ли объясняется неполучение от Вас писем. Желал бы получить от Вас хотя бы одну строчку, хотя бы одно только слово: здорова!

Ваш Г. Потанин.

№ 164

13 июля 1910 г.

Анос

Долго не получая от Вас писем, я думал, что и мои и Ваши письма теряются. Но вот я, наконец, получил от Вас письмо, которое Вы писали 7 июля, будучи уже в Барнауле; получил 13 июля. В нем Вы сообщаете, что Вы получили мое первое, написанное из Аноса письмо. Следовательно, письма не теряются, но они очень долго идут от Аноса до Барнаула.

1 августа я намерен оставить Анос. Очень беспокоюсь о здоровье Вашем и Вашей мамы. Я прошу Александру Георгиевну написать мне, выздоровела ли ваша мама и улучшается ли Ваше настроение.

Сюда приехал художник Микулин, выставка картин которого теперь открыта в Барнауле. Как жаль, что Вы, вероятно, не в состоянии посетить ее.

Григ[орий] Потанин.

№ 165

20 июля 1910 г.

Анос

Как тут хорошо! Как хотелось написать Вам, что я чувствую под действием природы окружающей! Это был бы дифирамб картине, которую вижу из окна, но я не смею дать волю перу из опасения создать диссонанс. Природа так весело глядит в окно, а голова окружена печальными подозрениями, будущее заволочено туманами.

С какими надеждами я ехал из Томска, и Барнаул как будто сразу приблизил меня к могиле. Не то чтобы я почувствовал бренность человеческого тела вообще, а почувствовал, что мое собственное тело, когда-то и еще недавно вчера казавшееся непоколебимым, сделалось бренным; эпизодические заболевания представились хроническими.

А как хочется земного счастья, "тихой пристани", которая манит меня к себе с 109 страницы (прижимаю к сердцу эту милую книжку, отравившую мою душу). Как хотелось бы найти укромный уголок, водвориться около теплого Вашего сердца!

Около 1 августа хочу направиться из гор на равнину. И как страшно! В душе поднимаются угрызения совести. Зачем я уехал в горы, зачем не последовал за Вами в Спирино? Может быть я Вас мало люблю? Я Вас целую, но любовь ли это, не мой ли только эгоизм? Вот сколько лет мы с Вами решаем вопрос о "тихой пристани", и все что-то мешает решить его окончательно. Мой эгоизм?

Выздоровливайте же скорее, и снова заживем!

Г[ригорий] Потанин.

№ 166

27 июля 1910 г.

Анос

С сжатым сердцем жду будущего. Такое оно неопределенное, что не решаюсь писать много. Завтра, 28 июля буду искать лошадей, чтоб ехать в Бийск, где остановлюсь только на день.

Любящий Вас крепко Г. Потанин.

[P.S.] Письмо Ваше, отправленное Вами 16 июля, получил.

Простите, моя милая, что я не написал письма тотчас по приезде. На пароходе я простудился; был дождливый день, в каюте было душно, и я походил немного по палубе, на которой стояли лужи от дождя. Горло захрипело. С таким приобретением я и приехал в Томск. Первые два дня я все-таки побегал по городу, а потом засел в квартире. Сегодня, кажется, пять или шесть дней, как не выхожу и, кажется, отделался, наконец-то, от перхоты в горле.

Ну как Вы? Ваша болезнь? Ваша служба? Реформа квартиры? Устроились ли, наконец, на зимние квартиры? Напишите.

Первый визит в Томске, конечно, к Лизавете Митрофановне. Ведь всю дорогу на пароходе помышлял, как я буду жаловаться ей на свою судьбу, искать у нее утешения в разделении моего горя. Но ведь она сама в горе, ее самое нужное утешать.

Не показалось ли Вам мое прощание на крыльце сухим? Как мне хотелось дать волю своему нежному чувству, но я удержался. Боялся, что это взволнует Вас, а подобные волнения, может быть, для Вас, пока окончательно не прошла Ваша болезнь, вредны. Пожалуйста, во мне не сомневайтесь. Любовь моя и желание служить Вам всё те же, что и в Барнауле. По первому призыву я готов прийти к Вам на помощь. Кажется, мы уже достаточно, я и Вы, срослись в одно духовное целое. Незачем Вам разбираться, что мое, что Ваше. Все мое и Ваше! Разве Вы считали себя когда-нибудь в долгу у своей мамы?

Я получаю пенсию из двух источников, но оба эти источника черпают свои средства из главного источника – из народных денег. Поэтому я считаю себя обязанным возратить народу эти деньги своим трудом; считаю долгом служить сибирскому народу, нужды которого я лучше чувствую. Я должен защищать его интересы. Но я не могу служить, не могу работать. Я парализован представлением об этой восьмимесячной тоске, которую мне предстоит пережить. Я молюсь богу: Господи! Я готов нести службу, на которую Ты определил меня, отдать ей все мои силы готов! Но прежде всего, отдай мне мою Маню! Без нее у меня руки виснут, и мне не хочется брать в руки перо.

В здешний университет приехал новый профессор, Муратов, известный уже в науке знаток нервных болезней. Вам бы приехать и посоветоваться с ним.

Неужели моя любовь не вливает бодрости в Ваш дух? Не падайте духом, не считайте Вашу болезнь неизлечимой. Пессимистический взгляд на будущее оскорбляет Вашего доброго друга, как Вы меня называете. Вы квалифицируете меня как бессильное, ничтожное существо.

Целую Вас. Г. П[отанин].

[P.S.] Пишите по адресу на Елиз[авету] Митроф[ановну].

№ 168

[28 августа 1910 г.]

г. Барнаул

Дорогой друг!

Я ничего не получаю от Вас... Никакой весточки! Неужели Вы не хотите мне писать? Не сердитесь ли за что-нибудь? Не оскорбила ли я Вас чем-нибудь невольно? Я ведь не сознавала, что делаю, что говорю, да и теперь хорошенько не сознаю... Боюсь, что, отдавшись опять волне общественной жизни, Вы меня забудете... Пишите... Я не знаю еще, как устроюсь, как пойдет моя жизнь в семье... Может быть, и сбегу в Томск... к Вам...

Скучаю ужасно... Чем дальше, тем больше. Не стало самого дорогого для меня человека во всем мире... И чувствуешь, что если и весь мир объедешь, нигде не найдешь такой бесконечно, бескорыстно любящей души... Пишите, успокойте меня! А то я боюсь, что и Вы от меня уйдете, т.е. Ваше чувство не будет мне принадлежать. Я ведь люблю Вас, люблю Вашу душу...

Меня сейчас очень взволновали домашними дрязгами, пришлось оторваться от письма и так трудно писать...

Как хотелось бы, чтобы Вы были сейчас здесь, подле меня... Думаете ли Вы обо мне? Узнавали ли о том, о чем хотели узнать?.. Я думаю иногда, что мне лучше в другую обстановку... Слишком тяжело на душе: слишком говорит о прошлом, о невозвратном прошлом каждый уголок, каждая вещь в нашем осиротевшем доме... А в душе у меня рана такая глубокая и так она тяжело болит, что не передать никакими словами...

Пишите. Мне надо знать, как Вы устроились с квартирой. Тепло ли, уютно ли у Вас? У нас все еще идет ремонт. Везде пахнет известкой и краской, полный беспорядок. В Управлении тоже ремонт... Холод... Переправляют печи. Везде – точно в аду... и переходишь из

одного ада в другой... Тоска! Тоска!.. Как же мне быть? Чем вылечить мою больную душу?!

Ну, пишите же, милый, дорогой друг.

Маня.

[P.S.] Ужасно ослабели у меня глаза, вероятно, вследствие слабости нервов.

№ 169

3 сентября 1910 г.
г. Барнаул

Дорогой друг!

Первой маленькой радостью со дня смерти дорогой мамочки было Ваше письмо. Оно доставило мне удовольствие. Я боялась уже, что Вы не будете писать. Может быть это – нервный страх... По временам я всего боюсь, боюсь будущего, боюсь жизни. Тоскую страшно. Очень много плачу. В первое время я не могла ведь плакать, а теперь плачу, плачу без конца... Знаю, что ничего не изменить слезами, но не могу их удержать.

Пишите чаще. Ваши письма – моя отрада. У меня потребность делиться с кем-нибудь всем, что лежит на душе; я делилась с мамой; теперь не с кем, и так это тяжело, так тяжело! Идешь со своим горем к людям и чувствуешь – не то, не то, никто не поймет так, как она понимала, не утешит, не приласкает так нежно! Понимаете ли Вы, милый, дорогой мой, как мне тяжело?! Так и бросилась бы на шею моей ненаглядной маме и все слезы, которые душат меня сейчас, выплакала бы у ней на груди!

Да, Ваше прощанье я нашла сухим и подумала, что Вы недовольны мной. Весной мы увидимся, если... я буду жива. Все ведь может случиться. Захвораю, могу умереть. Да я ведь и нездорова все время. Нервы расстроены; делаются приливы к голове, – это или от малокровия, или от нервного расстройства, и это нехороший предвестник. А лечиться, ухаживать за собой я не умею, и как-то даже охоты нет. Такая у меня апатия!

Я могу легко простудиться и в Управлении. Холод там страшный, от окна, у которого сижу, дует так, что ужас, – даже теперь, что же будет зимой?! Работаю через силу. Глаза очень ослабели, устают скоро; правая рука тоже очень скоро устает от писанья, а по ночам терпнет. Настроение ужасное и дома, и на службе. Места не нахожу себе нигде...

Вы спрашиваете, не вливает ли бодрости в мой дух Ваша любовь? Да, отчасти вливает, но не вполне: слишком уж чувствую себя подавленной тяжким горем, оно кажется мне непосильным. Не знаю, как и переживу!..

Простите, если я нагнала на Вас тоску своим письмом, простите и пишите, пишите, не забывайте меня...

Любящая Вас по-прежнему Маня.

P.S. Отчего не даете своего адреса? Неужели Вы еще не устроились на квартире? У нас все еще идет окраска полов, все неустроено; холодно, неудобно, тяжело. Квартирантов нет, брат пока не приехал. Берегите для меня Ваше здоровье.

№ 170

5 сент[ября] 1910 г.

Томск

Милая Маня, милый несчастный мой друг! Я не ожидал, что мое молчание, которое объясняется ничем, кроме постыдной лени, вызовет в Вашей душе мучительные сомнения. Но Вы теперь получили уже мое письмо, которое я отправил Вам 28 августа – как раз в тот же день, как Вы опускали свое письмо в почтовый ящик в Барнауле.

Вы думали, что я за что-то осердился на Вас. Да разве это не было бы бесчеловечно и безбожно сердиться на Вас и казнить Вас молчанием в то время, когда Вы так страдаете и от своей болезни, и от своей невознаградимой утраты. Ничего Вы не сделали такого, за что бы на Вас сердиться. Как это Вам приходят в голову такие мысли, что я могу Вас забыть в томской сутолоке, когда Вы знаете хорошо, что я люблю Вас больше, чем Вы меня, что я больше дрожду, как бы Вас не потерять, чем Вы меня.

Конечно, я не смею свою любовь равнять с любовью к Вам Вашей мамы; то была любовь, подкупавшая своим «бескорытием», а в любви мужчины к женщине всегда доля эгоизма. Я тоже помню, как я чувствовал, что я одинок во всем мире и что только один человек меня любил, несмотря на мои недостатки, – это мой отец. Но отец мой умер, и я нашел женщину, которая меня полюбила – не думаю, чтобы эта любовь была менее сильна. Лишившись ее, я опять почувствовал себя одиноким – и вот опять я имею Маню, которая меня любит.

Если Вы сюда сбежите, я приму Вас с распростертыми объятьями.

Вчера мне не удалось докончить письма; ходил смотреть комнату, которую мне нашли. Сегодня этот вопрос решен. Я нанял комна-

ту у учительницы гимназии Миркович у Екат[ерины] Ник[олаевны] Рязановой, урожденной Купенко, которую знают в Барнауле. Квартира хорошая: комната большая (есть где, мечтая о Мане или обдумывая статью, бегать из угла в угол, не боясь, что голова закружится), светлая (6 окон), хозяйка интеллигентная, ее муж симпатичный; «теплое удобство», хороший опрятный приличный парадный вход. Платить буду 45 руб[лей] в месяц; можно бы найти дешевле, но нет охоты хлопотать и откладывать. Жаль, конечно, что от моего месячного дохода останется только 45 руб[лей] на чистку белья, ремонт платья, на почтов[ые] и канцел[ярские] расходы, взносы в просвет[ительные] общества и на прихоти милой Мани. Могу теперь сообщить Вам свой адрес: Гоголевская улица, 10 (кварт[ира] доктора Рязанова).

Сегодня достал учебник церковного права («Конспект по церковному праву, составленный применительно к экзаменационным программам», Киев, 1906 г.) и на стр[анице] 63 прочел: «В России предельный возраст для брака лиц православного вероисповедания 80 лет». Значит, венчайся хоть завтра. От радости целую Вас! Я достану еще настоящие курсы церков[ного] права Павлова и Суворова.

Думаю об Вас ежедневно, постоянно. Неужели сомневаетесь, что спрашиваете?

Г. П[отанин].

№ 171

*8 сент[ября] 1910 г.
[Томск], Гоголевская, 10*

Вам показалось, что я об Вас мало думаю, и боитесь, что я Вас забуду, а между тем я думаю о Вас непрерывно. Гораздо более, чем прежде. Ваш облик постоянно перед моими глазами, и мне Вас так жалко, так хочется помочь Вам, привести Вас в прежнее равновесие. Иногда читаю книгу, и отрываюсь от нее, чтобы побегать по комнате и помечтать о Вас. То мечтаю о прошлом, уже испытанном; бегаю и переживаю вновь ощущения, как ваши тоненькие пальцы Вы впускаете в пазухи между моими пальцами (какое удовольствие!). То мечтаю о будущем. Великодушная, Вы мне позволили некоторые вещи, потому что мне это доставляло удовольствие. Третьего дня я вот размечтался об этом будущем и так мне захотелось Вас видеть сейчас же. Что делать? Я сейчас же пошел к Ел[изавете] М[итрофановне]. В ее доме «там Маней пахнет», и мне захотелось побыть в этой ароматной атмосфере. К сожалению, я нашел ее окруженно

гостями, говорить о Мане, значит, не придется, но зато она подала мне новое Ваше письмо (почт[овый] штемпель 3 сент[ября]). Я начинаю верить в чудеса. Вы садитесь писать мне 28 авг[уста], и я в тот же самый день пишу письмо Вам. Ваше письмо приходит в руки Ел[изаветы] Митрофановны, и я сейчас же чувствую позыв бежать к ней, чтоб вдохнуть в себя ореол Мани и не обманываюсь. Это какой-то беспроволочный телеграф между Барнаулом и Томском. А Вы говорите: «Забудете!» Не забуду, а замучаюсь! Вот надо бы засесть за стол и писать, писать, а не могу приняться за правильную работу, все думаю о Вас. Надо бы зарабатывать деньги, чтобы помогать Вам, а я только тоскую. Вот Ваше последнее письмо как обеспокоило, Вы пугаете болезнью, простудой, и даже смертью. Ел[изавета] М[итрофановна] говорит, что это нервный страх. А все-таки как выдержать эту тревогу в течение восьмимесячной разлуки? Не найдете ли возможным сократить этот срок? Если позовете, чтоб я приехал за Вами, – немедленно приеду. Обую Ваши ножки в пимички, одену Вас в тепленькую шубку и посажу в кошеву. Ваше последнее письмо заставило меня понять, что я для Вас стал необходимым человеком; принимаю на себя миссию быть Вашей духовной и материальной опорой, и это наполняет мою грудь мирным спокойствием. Мне хочется служить Вам, одеть Вас своей любовью. Конечно, моя любовь не так бескорыстна, как любовь Вашей мамы; но это от различия наших полов. Мое корыстолюбие спит глубоким сном, потому что как бы то ни было, и мне передается Ваша тоска о маме Вашей, т.е. Ваша тоска делает меня серьезным, сосредоточенным. Я думаю, что диссонанса с Вашим настроением не создам. Но ведь приехать Вам сюда, чтобы отдохнуть, посоветоваться с докторами и удалиться от места печального события, это не значит оскорбить дорогую память. Это только курс лечения.

№ 172

22 сентября 1910 г.
г. Барнаул

Милый Друг!

Виновата, что задержала ответ на два Ваши письма. Их нет у меня под рукой (пишу на службе), но у меня явилась такая потребность поговорить с Вами, поделиться своим тяжелым душевным состоянием. Тоскую ужасно! На службе томит тоска, а домой приду – еще хуже! Сжимается сердце от боли, когда прохожу по нашей большой, теперь совершенно пустой комнате; только одна кровать, на которой умерла дорогая, незабвенная мама, стоит у стены. Как горько плачу

я, стоя у этой опустелой кровати!.. Не вернуть... Знаю. Но если я удержу подступающие к горлу слезы, то у меня делается горловой спазм, точно кто сожмет горло и давит, сильно, до боли. Ах, как тяжело!.. Нынче я сидела в Управлении на праздничном дежурстве (14 сентября); тоска была страшная, но никто не видел меня, и, Боже, как я ужасно плакала!

Вы пишете: «Приеду по первому Вашему требованию». Милый, хороший мой! Это сердце подсказало Вам такое решение. Одна я едва ли решусь уехать. Меня несколько утешает в моем горе сознание, что есть любящий друг, что он всегда готов прийти на мой зов.

Вас пугает, что я пишу: могу захворать, умереть. Но ведь это может случиться с каждым... К тому же, если бы я чувствовала себя совершенно здоровой, я и не написала бы так, не стала Вас волновать, а я чувствую себя не вполне хорошо. Плохо сплю ночами, поминутно просыпаюсь, испытываю нервный страх и несколько раз ночью меня бросает то в жар, то в озноб. Может быть – нервы, а может быть, и простуда.

Дома у нас сыро и холодно. Квартирантов все еще нет, и комнаты (больше половины дома) стоят необитаемые и нетопленые. Боюсь, как бы не остаться и на зиму без квартирантов; кто посмотрит, говорит «дорого», а главное неудобство то, что все комнаты проходные. Это очень неудачное разделение дома, но такова была воля сестры и брата, а главное – сестры. Едва ли моя жизнь дома будет даже сносной. У сестры страшно властолюбивый характер, и она не стесняется накладывать свое veto на все мои желания. Все в доме делается, как хочет она, когда же я немного подымаю свой голос, она угрожающе говорит: «Подожди, вот еще придет Вова...» И не договаривает, но не трудно угадать: «Вова поддержит меня во всех моих требованиях». Тяжело ужасно! Я в доме не имею никакого голоса... Начать с того, что мне хотелось бы перейти в комнату, которая освещается солнцем – все-таки отраднее было бы на душе, – но комнату на солнце берет себе она, а в другую рядом тоже не хочет пускать: «Тут у нас будет комната для гостей». Вот и все. А знает хорошо, это не раз говорил и доктор, что нервным людям надо жить в комнатах, освещаемых солнцем, итак, мне придется остаться в своей, никогда не освещающейся солнцем, или перейти в соседнюю, такую же мрачную. И перед обеими этими комнатами – темные коридоры. Двери в большую комнату заделают. Будет, как в тюрьме... Тоска!.. Все это действует на нервы очень плохо. Вообще – часто

неприятности, ни одного дня покоя... Бежала бы, бежала дальше из своего дома!..

В прошлое воскресенье приехал двоюр[одный] брат Андрей с женой и девочкой. На след[ующую] ночь прошлялся где-то и явился под утро пьяный; конечно, я проснулась. Потом слышу какие-то стоны, оказалось, что его рвет, и жена начала ходить по коридору с тазами. Фу, гадость!.. Хотят прожить недели две. Значит, эти прелести еще повторятся. Девчужка капризничает, кричит. Все это тоже действует на нервы. Марья Карловна, жена Андрея, разводит сплетни с нашей кухаркой. Какая скука и... проза!

А мне так хочется упасть на грудь близкого человека и рассказать ему все, что у меня на душе, и плакать, плакать, и знать, что этот – не осмеёт, не выдаст... Но... нет, нет мамы!

Не с кем поговорить и посоветоваться не с кем, а жизнь нависает над головой, как черная туча... Какой-то голос говорит: «Брат женится, и может быть еще хуже»!

Друг мой, простите меня за мрачное письмо, за мрачные мысли... Может быть, если бы Вы были теперь здесь, мне было бы легче...

Вам я верю... А к другим людям начинаю относиться недоверчиво, а мне так необходим преданный друг. Я из тех людей, которые не могут все таить в своей душе, которым необходимо с кем-нибудь поделиться своими переживаниями.

Пишите же мне почаще. Это необходимо для моего относительного покоя. Когда нет писем от Вас, я чувствую себя совершенно одинокой и к тому же беспокоюсь, не заболели ли Вы, не случилось ли с Вами чего-либо дурного.

Обнимаю Вас.

Маня.

№ 173

*1 октября 1910 г.
[Тамск], Гоголевская, 10*

Этот сентябрь я провел скверно. Очень редко выходил из дома, берег сначала горло, потом пришлось беречь загривок, в котором появилась невралгия. Эта последняя и теперь еще слегка чувствует-ся. Пока на дворе слякоть, пока не падет снег, думаю продолжать эту политику, не рисковать ходить по мокрым панелям города, кроме как по делу. В течение сентября очень мало видел народа; и ни одной персоны, в которой Вы могли бы заподозрить соперницу. Все

время был наедине с «Соломоном». Увлекался им каждый день с утра до вечера. Образ Мани, конечно, реял постоянно, но как бесплотный дух. И сам Ваш «чувственный друг» сделался вроде бесполого существа. Целый месяц Вашего молчания угнетал меня; я был как будто пришиблен кирпичом. Или Вы больны, или Вы не хотите более видеть во мне преданного друга? Если б Вы больны были, я думаю, написала бы об этом Александра Георгиевна.

Пришло Ваше письмо, и я повеселел. Детское веселье! Вот сижу и пишу Вам. Писать Вам ведь это праздник для меня, это Вы знаете! Какое наслаждение изливать на бумагу мою любовь к Вам! «Милая», «дорогая», все эти термины уже изображают того, чем я воображаю Вас. Вы более чем милая и более чем дорогая!

Ваше длинное молчание особенно было удивительно после двух предыдущих писем. Там Вы были точно птичка, которая машет крыльями, чтобы упорхнуть в Томск, но ножки ее веревочкой привязаны к Барнаулу. Что случилось, что птичка сложила крылышки и уже не рвется из своего заточения?

Но слава Богу, Вы такая же, прежняя! Вы верите и надеетесь на меня и не желаете потерять меня! Как сладостно сознавать, что Ваши милые глазки смотрят на меня с верой и надеждой.

Ваше письмо поддержало и мои надежды. В моей груди звучат литавры и трубы, Trompeten und Posaune. Как тепло и уютно на свете, когда Маня дает себя почувствовать, хотя и с дальнего расстояния.

При жизни Вашей мамы Вы иногда думали, что Вам было удобно устроиться около меня. Думаете ли Вы в этом роде теперь? Мечтаете ли, как Вам было бы славно жить возле меня? Какое тепло разливалось бы по Вашему телу, когда я гладил бы волосы на Вашей бедной, осиротевшей головке? Какою бы счастливой и блаженной чувствовала бы себя Ваша головка, когда я устраивал бы ее на своем плече? Любимое мое занятие рисовать в воображении эту картинку, это моя постоянная мечта! Но когда же я буду не в воображении только рисовать ее, а исполнять в жизни? Когда буду ухаживать за Вами, терпеть Ваши капризы и поддакивать им, доставлять Вам жизненные удобства, свет, тепло и ласку? Неужели люди отнимут Вас у меня, помешают моему счастью, не дадут мне возможности в действительности показать и доказать фактами мою любовь к Вам и преданность, осуществить мое желание сделать Вас счастливою? Они

завладеют Вами и, воспользовавшись Вашим слабованием, сделают из него палки на пути к нашему соединению.

Вы мне говорили, что Вы позволили поцеловать Вас, потому что знали, что этого мне хотелось, и захотели доставить мне удовольствие. Ну доставьте мне другое удовольствие – решитесь приехать в Томск.

Благодарю Вас за то, что Вы написали мне большое письмо. Это на меня подействовало успокоительно. Значит, острота боли начинает ослабевать. Вы раненый зверь, но рана дает показания на выздоровление. Мало-помалу жизнь вступит в свои права, блаженный эгоизм вернется к Вам и приобретет прежнюю силу, Вы сделаетесь менее воздушной, станете не такой бесплотной. Письмо наполнено печальными мыслями и грустными фактами, но видно, что писал его человек, желающий жить. В нем нет той растерянности, того отчаяния, которым Вы заставляли страдать и смущаться меня, когда я ходил к Вам в Барнауле. Поздно или рано наступит время, когда я, не опасаясь создать диссонанс, начну писать Вам в прежнем стиле, от которого теперь всеми мерами и с большим трудом воздерживаюсь.

№ 174

*(До 15 октября 1910 г.
Томск)*

Полагая, что Вы получили способность рассуждать о своем положении и обсуждать будущее, я желал бы, чтоб Вы высказались по поводу следующего обстоятельства.

Мне предлагают отправиться будущим летом в ученую экскурсию в Каркаралинский уезд (к югу от Павлодара), и я предложение принял.

Предложение было сделано еще прошлой зимой. Я думал, что все это совершится в таком порядке: весной мы уедем с Вами в Алтай, и с этого момента мы сделаемся неразлучными, зиму проведем вместе в Томске, весной если Вы не почувствуете расположения поехать со мной в Каркаралы, я поеду к киргизам один, а Вы проведете это время у Вашей мамы в Барнауле. Но Ваша болезнь расстроила планы; в Алтае мне пришлось прожить одному.

Предложение ученого общества (в Омске) остается в силе. И еще обещают прибавить денег (хотя о сумме ничего не было известно и не говорилось прошлой зимой).

Алекс[андр] Ив[анович] Козлов, сын Елиз[аветы] Митрофановны изъявил свое желание (хотя не категорически) принять участие в этой поездке, для геологических исследований.

Вопрос о моей поездке, о моем согласии поехать, должен быть вырешен до 1 января 1911 г., т.е. до составления сметы расходов ученого общества. Я должен до января решить, как я буду расходовать время предстоящего лета. Но мое время в Вашем распоряжении и без Вас я не могу постановить решения. При нашем последнем расставании Вы сказали: «Весной Вы приедете!» Я понял так, что будущей весной должно быть исполнено то, что было намечено для прошлой, т.е. сначала Алтай, потом Томск (венчание и пр.). Такая программа не совпадет с предложением ученой экскурсии. Я желал бы получить от Вас ответ на вопрос, как Вы представляете наше будущее? Если Вы хотите, чтоб я ждал весны и повез Вас в Алтай, то я сейчас же откажусь от омского предложения, чтоб деньги, назначаемые мне, пошли на другое предприятие. Или Вы найдете возможным разлуку нашу сократить, свидание приблизить и нынешней же зимой переселиться в Томск (т.е. прикажете мне приехать за Вами и в санях увезти Вас). С каким бы удовольствием я похитил бы Вас из Барнаула.

Пожалуйста, напишите мне об этом, не оставаясь без ответа на этот вопрос. Непременно.

Так как, по-видимому, Вы несколько оправились от понесенного горя, по крайней мере, настолько, что начинаете интересоваться внешним миром, то я завтра подписываюсь на «Сиб[ирскую] ж[изнь]» для Вас. Эта газета сыграет роль щупальцев жизни, которые, с своей стороны, будут втягивать Вас в общую колею жизни. Другим щупальцем, влекущим туда же, буду служить я. По крайней мере, я надеюсь на это. Ну разве я ничего не значу в Вашей жизни? О милый, несчастный, дорогой друг мой!

№ 175

23 октября 1910 г.
г. Барнаул

Дорогой друг!

Бесконечно виновата я перед Вами, что так долго не отвечала на Ваше письмо. Что делать! Я теперь иногда совершенно не могу писать. Тоскую ужасно! Каждый день плачу, дохожу до отчаяния... Чувствую себя в нашем доме совершенно одинокой. И не с кем поделиться тем, что лежит на душе... Чужие люди относятся участли-

вее своих... Так тяжело... так... нет сил передать всю глубину моего горя. Когда просыпаюсь утром, думаю: зачем опять настал день, зачем жить, когда ее не стало! Почти каждую ночь вижу во сне дорогу, милую маму. Думаю, что Вы поймете меня лучше других: Вы ведь меня любите.

На службе мне невыносимо, невыносимо и дома. Скоро в Управлении будут перемены. Начальник хочет сокращать число служащих, и вот Ваше желание исполнится – мне, по всей вероятности, тоже откажут. Если бы я печатала на машине, то не отказали бы, а я пишу пером и подумать не могу о работе на пишущей машине, потому что нервы и без того очень расшатаны. Даже и при письменной работе делаются приливы к голове, а по ночам бывает нервное удушье. Может быть, нам дадут дослужить до января. Итак, я останусь без опостылевшей, но все же наполняющей мое время работы. Если будет невыносимо – перееду в Томск. Если же смогу прожить так до мая, то мы с Вами поедem на Алтай. Летом мне необходимо уехать куда-нибудь. На свежем воздухе я, может быть, поправлюсь, а теперь чувствую себя нехорошо, очень нервничаю. Мне нужны другие впечатления, чтобы сколько-нибудь позабыться. Мне нужен отдых... душевный и физический... Я не поеду к киргизам, а расстаться с Вами я не хотела бы... Мы поедem на Алтай. Я постараюсь приготовить себе все нужное. Немыслимо мне остаться летом в Барнауле. Подумайте: брат будет в командировке, сестра, может быть, уедет к дяде, – и я одна! Да ведь и с ними – я одна, одна! Милый, хороший Григорий Николаевич! Пишите мне почаще. Я так одинока, так тоскую!.. Знаю, что не могу получить от Вас письма, потому что сама не ответила, но всякий раз почему-то жду и смотрю на являющегося в Управление почтальона с нетерпеливым ожиданием. Пишите же! Вы не сердитесь на меня за долгое молчание, не правда ли? Вы не сердитесь на то, что я расстроила Ваши планы на будущее лето и решила выполнить старую программу.

Пишите скорее! Пишите же, я тоскую, тоскую!.. Обнимаю Вас. Как Вы себя чувствуете? Прошла ли невралгия затылка?

Маня.

Если же я приеду в Томск зимой, разве это может помешать нам ехать летом на Алтай, а не в степь к киргизам?

Пишите, пожалуйста, скорее. Я очень скучаю без Ваших писем. Благодарю за «Сибирскую жизнь».

25 октября.

P.S. На службе положение неопределенное. Я рвусь сама уйти и бросить ее, потому что надоела она нестерпимо и становится совсем не под силу; но если дадут дослужить до января и откажут за сокращением штата, то, может быть, прибавят недостающие до срока два года на получение пенсии (5 р[ублей]). Если же брошу сама, этого, конечно, не сделают. А я думаю, что и эти 5 р[ублей] могли бы быть нелишним прибавком к нашим финансам.. Знаете, Ваша Маня любит красиво одеться. С этим Вам придется считаться. Не боитесь? Но я не скрываю своих недостатков. Вы это знаете.

Подумайте об этом сами: стоит ли мне тянуть до января. А может быть, лучше бросить сейчас? По временам я готова на это... Едва ли выдержу до мая; думаю, январь – последний срок нашей разлуки.

№ 176

*24 окт[ября] 1910 г.
[Томск], Гоголевская, 10*

Не пора ли Вам, милая, написать мне письмо? В течение октября я не получил ни одного и не знаю, как подвигается Ваше выздоровление. Okрепли ли Ваши нервы, прошла ли острота Вашего горя? Мечтаете ли о Томске?

Я, как только оторвутся мои мысли от томской жизни, непременно возвращаюсь к Вам, но это ненормальное сближение; все-таки я один, чувствую мучительно Ваше отсутствие. Поделиться с кем-нибудь, поговорить с кем-нибудь? Но кроме Елиз[аветы] Митрофановны нет никого. А с ней говорить, значит быть к ней безжалостным. Встретившись с ней, нужно всегда помнить, что у ней свое горе.

Я Вам писал деловое письмо, на которое ждал скорого ответа. Но Вы молчите. Это меня пугает, я начинаю думать, что Вы опять думаете перерешить свои планы?

Напишите!

Г. Потанин.

№ 177

*31 октября 1910 г.
г. Барнаул*

Дорогой Друг!

Вчера получила Ваше письмо. Оно без обращения... сердитесь? Нет, Вы не должны сердиться на меня, кроме Вас у меня нет никого близкого мне душой... Если бы я могла передать Вам словами всю тоску, всю боль и муку, Вы поняли бы меня вполне, но как передать? Нет таких слов на человеческом языке... Сегодня – воскресенье. В

праздник невольно приходится быть дома дольше, чем в будни и, Боже, какая это пытка! Я плачу ужасно, плачу каждый день; если бы кто сказал мне, что я когда-нибудь буду так плакать, я бы не поверила. Вы спрашиваете, прошла ли острота моей боли? Нет, не прошла, не прошла!.. Я хотела бы, чтобы она сделалась хоть немного меньше, эта ужасная душевная боль. Но что сделать для этого? Не знаю... Может быть, перемена места и впечатлений принесет облегчение, а может быть, я всюду понесу с собой свою муку...

Теперь Вы должны уже получить мое письмо. Не знаю, останетесь ли им довольны. Я долго думала, что ответить и долго не могла писать, но решила, что все-таки всего лучше нам поехать на Алтай, ведь надо же мне чем-нибудь, как-нибудь вылечить мои нервы. Так жить нельзя... У меня опять каждый день головные боли. Это страшно... Боюсь, как бы опять не заболеть к весне. Теперь уж некому будет за мной ходить, успокаивать меня, как могла одна только мама.

Ужасно то, что дома я совершенно одна. Шурка вечно со своей старой, больной собакой, которой я не выношу. Брат... ну, да у меня с ними обоими нет ничего общего; я не нахожу удовольствия в их обществе. Совсем у нас разные интересы. Так это тяжело!

Как только будет мне совсем не под силу, тотчас напишу Вам: «приезжайте!» Но я боюсь, как Вы поедете зимой? Ведь так легко простудиться, у Вас же часто болит горло. У меня шуба старая и холодная, не знаю, как пробьюсь с ней зиму, у нас еще тепло: градусов 5, 10 мороза, не больше, но мне уже холодно: продувает в рукава и грудь продувает. Ношу под своей шубенкой маленький мамин платок. Впрочем, брат говорил, что если вздумаю ехать зимой, то он мне даст надеть сверх моей шубы папину шубу из песцов, очень теплую. Это – доехать. Но в Томске, где холоднее Барнаула и расстояния больше, в моей шубе немыслимо будет ходить. А в Барнауле может, как-нибудь пробьюсь.

Каждый день хожу гулять. Пользуюсь всяким предлогом, чтобы убежать из дому, где каждый угол разберезивает воспоминаниями мою рану.

Ну, до свидания, милый, дорогой друг мой! Пишите почаще. Знайте, что Ваши письма – моя отрада и радость. Я хотела бы, чтобы время летело скорее. Если даже не откажут мне от службы, и я выдержу до мая, то, во всяком случае, в мае брошаю службу. Это мое решение и оно неизменно. Хочу отдохнуть, не могу больше! Хочу бежать с Вами от барнаульского лета.

Маня.

P.S. Квартирантов у нас все еще нет. Это вина брата с сестрой. Вздумали отдавать все комнаты проходные и очень дорого просили (60 р[ублей] в месяц!). Все, кто смотрели квартиру, находили ее неудобной и дорогой. Теперь думают сдавать уже по комнатам, а не квартирой, не знаю, удастся ли, а то придется быть зимой без квартирантов. Я говорила о неудобстве такого распределения, но меня не послушали. Вообще, я не имею никакого голоса в нашем доме, это тоже тяжело.

Также, несмотря на мои протесты, устроили столовую во втором (не в том, где стояла вешалка) темном коридоре. Эта темнота тоже угнетающим образом действует на нервы. По утрам, когда заперты двери в комнаты брата и сестры, там совершенная темнота, и обедать приходится уже с огнем. Утрами я пью чай обыкновенно одна в своей комнате. Тоска!

На днях (позавчера) Шура устроила мне ужасную сцену, за то, что я гнала ее собаку от стола во время вечернего чая. Я же не могу выносить запаха от собаки, да еще в такой узкой комнате, где и повернуться трудно. Это, конечно, между нами. Ну, поймите, как мне тяжело живется. Брату я об этом и не говорила ничего. Одна пережила впечатления этой тяжелой сцены, еще раз увидев, что собака и ее удобства дороже моего покоя.

Пишите поскорее, милый, хороший мой! Как Ваше здоровье?

№ 178

*1 ноября 1910 г.
[Томск], Гоголевская, 10*

Милая Маня, получил Ваше письмо и рукоплещу. Вы по-прежнему стонете, жалуется на тоску и плачете, а я не могу удержаться от радости. Вы, конечно, понимаете это. Я знаю, как Вам трудно и грустно, но я надеюсь, что около меня Вы перестанете плакать и тосковать. Конечно, ничто Вам не заменит Вашей мамы, печаль останется, но это будет печаль тихая, не отчаяние, не ропот, а элегическое настроение, посещающее душу временами. Я надеюсь на силу своей ласки. Неужели моя любовь не производит на Вас никакого воздействия? Я думаю, что производит, и в последнем Вашем письме я нахожу места, свидетельствующие, что Вы верите в мою любовь, и эти места мне польстили. Меня одолевает гордая мысль, что я сделаю Вас счастливою, по крайней мере горю этим желанием – хотя для этого не вполне владею данными. Вы, конечно, имеете

основание рассуждать: Ах, если бы у него был нос Степана Акимовича, глаза Семена Семеновича, а уши Петра Спиридоновича и т.д. по Гоголю..., но для любви важны и другие данные – преданность, готовность служить Вам и сила отказаться от своих интересов для Вашего блага, и не знаю, захотите ли Вы променять мою готовность на готовность Петра Спиридоновича или Степана Акимовича.

Мне польстила уверенность, с которой Вы расстроили мои планы на летние месяцы. Когда Вы писали эти строки, Вы, конечно, не сомневались, что я не буду протестовать. Могу ли я протестовать, когда так хочет премилая женщина? Отказываюсь от поездки к киргизам. Пусть будет по-Вашему! Едем в Алтай!

Но больше всего меня обрадовало в Вашем письме то, что Вы собираетесь приехать в Томск в январе. До мая это ужасно длинный срок – это от 1 января четыре месяца, а от 1 ноября шесть. Ужасно! А до января это и мне, так пламенно желающему Вас обнять поскорее, нетрудно будет протерпеть. Вы меня спрашиваете, терпеть ли до января? Не бросить ли службу раньше? Я, разумеется, благословил бы свою судьбу, если б Вы завтра очутились в Томске, но тут замешались эти 5 [рублей] пенсии (хотя бы и гадательной), и я не хочу брать на себя решение этого вопроса. Если я посоветую Вам бросить службу теперь же, боюсь, меня будут преследовать угрызания моей совести. Но если Вам придется жутко, бросайте Барнаул и спешите в Томск. Я буду в восторге! Если Вы найдете возможным приехать, не вызывая меня в Барнаул, это доставит нам порядочное сбережение. Если же я должен поехать за Вами, напишите, и я поеду.

Я Вам выслал «Сиб[ирскую] ж[изнь]», чтоб соблазнить Вас переехать в Томск. Не правда ли, сравнительно, жизнь здесь кипит? Иногда в одном номере до шести отчетов о заседаниях обществ. Репортеры зарабатывают хорошо. Молодой человек, репортер «Сиб[ирской] ж[изни]», за день открытия Высших женских курсов, т.е. за 26 октября, заработал 50 руб[лей]. Когда я узнал, я подумал об Вас. И Вы могли бы зарабатывать репортажем, посещая заседания или литературные вечера, выставки и прочее. И сумели бы, вероятно, лучше это делать. У репортеров здешних не изливается лирика. Или Вы могли бы хорошие деньги зарабатывать корреспонденциями в Барнаул или Иркутск о томской жизни.

Чтоб Вы не охладевали к мысли приехать в Томск, буду Вам теперь писать еженедельно. Может быть, и Вы будете отвечать почаще. Я еженедельно, а Вы два раза в месяц.

Вы заговорили о нарядах. Я учел этот признак возвращения к нормальному настроению и сам становлюсь игривее. Обнимаю Вас, жму к своему сердцу, тискаю и целую, целую...

Вот видите, люблю по-прежнему!

Г. Потанин.

№ 179

2 ноября 1910 г.

г. Барнаул

Милый Друг!

Писала Вам так недавно (позавчера), а между тем опять хочется поговорить с Вами. Читала вчера в «Сиб[ирской] жизни» об открытии Высших женских курсов, читала с таким удовольствием и такой радостью, какие только могу испытывать в настоящее время тоски и апатии. Может быть, это хороший признак, может быть, я еще оживу душой, начну интересоваться окружающим миром. Иногда мне так хочется, чтобы Вы были тут, подле меня, теперь, сейчас... чтобы я могла каждую минуту поделиться с Вами своей мыслью или (это может быть эгоистично?) своим горем... Если бы не удерживала боязнь, что Вы можете простудиться, написала бы Вам: приезжайте за мной теперь, сейчас! Но у меня и другие соображения. В феврале кончается срок взятой мною ссуды, таким образом, получится экономия. Нам еще не объявляли об отказе от службы, значит, можно надеяться заработать ссуду; хотя могут еще объявить. Но меня удивляет, что одной барышне из нашего делопроизводства уже объявлено, а нам нет. Раньше я писала и о том, что если дослужу до января и уйду за сокращением штатов, то могут зачислить 2 года на пенсию. Вижу: Вы хмуритесь, в Ваших глазах все это – лишние соображения. А как мне надоело служить! Боже, как надоело! Видеть не могу синих обложек «дел»... Не могу переносить незаслуженных мелких придилок начальства, зависящих от «настроения»...

Меня иногда так тянет к Вам... Жить одинокой, как теперь, я не в силах... Я умру, сойду с ума от тоски! Придешь к брату, посидишь минут пять, десять и чувствуешь, что говорить не о чем, нет общего...

Жизнь с Вами мне представляется в таком виде: если не заставит нужда быть снова где-нибудь на службе (в Томске), то я буду помогать Вам, буду переписывать для редакции Ваши сочинения. Вы можете и диктовать мне, таким образом, я буду сберегать Ваше зрение. Мы будем обоюдно ухаживать друг за другом. Мы будем друзьями,

не правда ли? И, может быть, я найду тогда цель и смысл жизни, а теперь я чувствую себя такой одинокой, такой несчастной.

Жму Вашу руку. Пишите скорее. Обнимаю Вас и поздравляю с открытием курсов.

Маня.

[P.S.] Я так часто и много плачу о милой, дорогой мамочке, что боюсь испортить глаза. Вечерами совсем не могу читать. Такая скука!

№ 180

*[5 ноября 1910 г.
Томск]*

Получил и еще одно письмо от Вас, помеченное 31 октября. Предыдущее письмо окрылило мои надежды; я начал думать, что дольше 1 января служить не будете.

Там ведь ясно сказано: самый длинный срок разлуки 1 января. И вот я начал думать: Первое января! Как это близко! Ведь это всего каких-нибудь два месяца, которые для меня пробегут совершенно не заметно. Неужели так близко мое счастье, неужели так скоро буду видеть Вас, ощупывать Вашу руку выше локтя, могу заглянуть в Ваши глаза, теплится ли в них любовь ко мне? И вот уже растопырил свои объятия, чтобы 1 января принять в них Ваше милое тело, а Вы вдруг опять заговорили: «до мая». Нет вот Вам самый длинный срок – до 1 января. Я уже начал гореть и пьянеть от представлений о предстоящем свидании, как в прошлую зиму. В прошлом письме я обещал писать Вам еженедельно. Но ведь каждое такое мое письмо сопряжено для меня с землетрясением. Ведь если я эти два месяца вплоть до 1 января буду изображать собою извержение вулкана, то после 1 января непременно лопну и взорвусь на воздух. Какое такое взрывчатое вещество гнездится в Вас, что как только я выведу на бумаге «милая Маня», как внутри меня начинается пожар и мне кажется, что волосы на моей голове превращаются в пламень, как у монгольского бога Докшита. Пошадите, приезжайте 1 января и пролейте елей на этот океан огня.

Нет, в самом деле я Вас ужасно, ужасно люблю! Вы меня так нежно начали называть «милый, хороший мой»; в этих эпитетах я чувствую, что Вы признаете меня Вашим единственным другом, единственной своей надеждой, человеком, которого никто не может превзойти в любви к Вам. Да, я знаю, я действительно «Ваш милый,

хороший» и я даже более «милый, хороший Ваш», чем Вы думаете; я это потому утверждаю, что я лучше знаю, чем Вы, что происходит в моей душе, я лучше, чем Вы, знаю, до какой глупой степени я врюхался в Вас.

Вам надо перестать, моя милая Маня, плакать и тосковать. Приказывайте поскорее: «приезжайте!» Я осушу Ваши слезы своими поцелуями: возле меня Вам будет так тепло, тепло! Я положу Ваши ножки себе за пазуху. Может быть Вам послужит утешением, что Ваша близость, Ваше присутствие будут воодушевлять меня к работе, что моя работа сделается втрое производительнее, когда я ежедневно буду видеть перед собою Ваше чудное хорошенькое личико, Ваши сединки, Вашу милую улыбку, буду слышать Ваш голос. Я читал, что Цезарь читал свои сочинения публично под звуки флейты. Впрочем, зачем в Рим, в глубокую древность; наш алтайский шаман воодушевляет себя ударами бубна. Вы будете моей флейтой и моим бубном!

Как только получу приказание ехать, немедленно покачу в Барнаул. Какое это будет блаженство сидеть с Вами в санях, пить чай на станциях и пр., и все это только вдвоем. С каким удовольствием я буду усаживать Вас в сани, укрывать Ваши ноги, подтыкать войлока под бока и все это даже не претендуя на благодарный поцелуй.

Я думаю, что на шубу Вам как-нибудь выкроим деньги. Не особенно об этом заботьтесь.

Как это приятно мне, однако, что Вы начинаете говорить о шубах. И впрямь собираетесь в Томск! Когда же эта поездка состоится, сердце мое наполнится гордостью: везу наконец эту милую, но неуловимую женщину! Сколько лет эта женщина не давалась, ускользала из моих рук.

Сравниваю Вашу речь в Ваших последних письмах с Вашими речами во время наших разговоров в Барнауле – Вы мне теперь больше нравитесь: тогда Вы были совершенно растерянная, пассивная, теперь Вы начинаете распоряжаться собой, думать как устраивать и на самом деле устраиваете свою будущую жизнь. Это залог Вашего выздоровления.

Обнимаю и целую Вас – позволяете?

Ваш Григ[орий] Потанин.

[P.S.] Вот кончил лист, а еще хочется болтать с Вами, точно в Барнауле, сидишь у Вас на Пушкинской, сидишь молча целые часы,

а уходить не хочется; так бы и сидел всю ночь на одном диване. Хочется чувствовать Ваше тело вблизи от себя.

А ведь какая Вы были тогда кислая. А вот и кисленькая Маня все-таки милая Маня, и хотелось так целовать кисленькую. Тяжело было смотреть на Вас тогда. Я переживал заодно с Вами Ваши муки, и как мать в муках рожденного и в заботах воспитанного любит ребенка, так и во мне образ муки пережившая Маня глубже врос в мои нервы.

Маничка, дружок мой! Бесценная, дорогая, милая, когда же Вы наконец постановите великодушное решение, когда же мы будем вместе?

№ 181

9 ноября 1910 г.

[Томск], Гоголевская, 10

Ликую, получивши Ваше последнее письмо, милая, бесконечно любимая Маня! Вы прочли описание открытия женских курсов и почувствовали, что Ваши связи с общественностью не порваны. Да, это признак наступающего выздоровления. Вас потянуло к жизни. Я радуюсь и полон надежды.

Вы проектируете нашу совместную жизнь в Томске. Вы будете переписывать мои работы, писать под диктовку. Нет, это будет не так, а вот что.

Меня редактор «Сибирских вопросов» просит сотрудничать в журнале. Я ему ответил, что я сам едва ли могу воспользоваться его приглашением, но нахожу, что для журнала очень было бы полезно и даже необходимо давать регулярные периодические отчеты о жизни умственной столицы Сибири (Томска). Сам я не берусь за это; чувствую себя неспособным к периодической работе – буду оттягивать, упускать момент. А вот если б у меня под рукой был человек, с которым мы могли бы беседовать мнение о местных течениях и событиях, и если б этот мой приятель согласился это выработанное литературно изложить, то это и было бы то сотрудничество, о котором я мечтаю. И я даже написал ему, что у меня и лицо такое есть, это дама, но она, к сожалению, живет в другом городе. Что я пытаюсь ее переселить сюда, но не могу отковырнуть ее от иногородней почвы. Вот если бы она переселилась сюда, тогда можно бы взять на себя обязанность доставлять два раза в месяц отчеты о томской жизни. И в самом деле, я чувствую постоянную потребность высказаться по томским делам, высказаться в таком тоне, с такими потребно-

стями, как в томских газетах высказываться недопустимо. Вот если будете жить со мной, то этого материалу нашлось бы довольно. Мы вместе, вдвоем обдумывали бы, а писали бы Вы.

Мы весело заживем. Вы правы, Вы будете моим другом, который будет мне помогать, будет указывать на кляксы в моих работах, на противоречия логики, или на выходки, возмущающие эстетический вкус. Я ведь в своих писаниях никогда не чищу сапогов, не беру в руки платейной щетки, никогда не смотрюсь в зеркало и не чешу волосы, когда вхожу в большое собрание. Кроме того, когда я устану, впаду в апатию, захочу спать, я буду прибегать к Вашему воздействию. Я подойду к Вам, Вы позволите поцеловать Вас, и Ваш поцелуй освежит мою голову.

Выше рассуждение о ссуде, о феврале, о экономии действительно нагнало морщины на мой лоб. Удивительно! Вы занимаетесь взвешиванием на одних и тех же весах и любви, и экономии. Я хочу любви, а не экономии! Два месяца (январь и февраль) без Вас – не хочу! Уж если Вам иногда хочется, чтоб я был подле Вас, сейчас-то мне-то как хочется. Не иногда, а ежедневно, не сейчас, а сию минуту! Да, мы не можем жить друг без друга. Вы это сознаете, Вы признались в последнем письме. Я это давно чувствую, сержусь на Вас, что Вы не торопитесь устроить жизнь вместе, потом прощаю, снова сержусь и снова прощаю.

Пишите же, милая, хорошая, и решайте поскорее без колебания, назначьте срок, когда приехать и уже более не отменяйте.

Обнимаю и целую, целую и обнимаю бедную мою Маню.

Григорий Потанин.

№ 182

13 ноября 1910 г.
[г. Барнаул]

Дорогой Друг!

Вы смутили меня Вашими последними письмами. Одно из них кончается желанием «тискать» и целовать меня, а в другом Вы выражаете намерение «ощупывать» мою руку выше локтя... Стыдно читать... Я начинаю бояться Вашей близости. Где же эта дружба, которую Вы мне обещаете? Вы видите во мне по-прежнему только женщину. Боже мой! Куда же мне деваться?! Меня душит тоска, мое безграничное горе о маме, мое глубокое одиночество в семье, я дохожу до отчаяния, до мысли о самоубийстве, а Вы выражаете восторг

оттого, что мое "тело" будет близко к Вам, если мы рядом сядем в кошку... Мне не до того... Я люблю в Вас друга, но не "мужчину"... Сколько раз я восставала против порывов страсти с Вашей стороны; кажется, все мои письма полны этим, а Вы все о том же, даже теперь, когда в моей душе такая глубокая рана, такая бесконечная скорбь!.. Я устала, наконец, бороться с этим... Я устала от жизни, от службы, от страдания... Когда Вы говорите, что хотели бы утешить меня, успокоить мое горе, мне хочется обвить Вашу шею руками и рыдать у Вас на груди, и мое сердце полно тогда благодарности к Вам и хочется окружить Вас заботой и нежностью; но когда Вы говорите о страсти, о внутреннем пламени, которое Вас пожирает, тогда какая-то властная сила, – должно быть инстинкт женщины, – далеко отбрасывает меня от Вас, так далеко... Вы себе и представить не можете! Может быть, я беспощадна? Но я сама так страдаю, так страдаю!..

Боюсь обидеть Вас... Простите меня, но не могу же я не сказать Вам правды. Неужели мои слова "милый, хороший" вызвали эту бурю? Эти слова можно ведь сказать и отцу. Иногда мне кажется (может быть, это только болезненное воображение), что Вы задались целью пробуждать своими письмами мою чувственность. К чему? Если и пробудите... Да нет, Вам не пробудить!

А Ваша страсть меня только отталкивает. Ну, будет об этом, мне больно обижать Вас. Есть в Вас и нежность, и преданность – вот я ценю и плачу Вам за них теми же чувствами, а страсти Вашей я не хочу.

Ждать до мая? Да, это и для меня очень длинный срок; но ехать сейчас, зимой... Такой холод! У нас сразу ударили морозы – 27, 30, 35°! Ужас. Квартирантов нет. В доме холод. Ах, какой холод... душевный и физический! Друг мой, не сердитесь на меня! Но чего я не могу дать, то не могу, несмотря ни на что...

Как испугала меня страсть в Вашем письме, как огорчила!

Не знаю, как и пошло это письмо. Вы огорчитесь. Но нет. Вы должны вдуматься, должны понять, что нельзя же обещать то, чего дать не можешь.

Маня.

№ 183

17 ноября 1910 г.

[Барнаул]

[вместе с письмом от 13 ноября]

Видите, мое письмо написано 13-го. Я не решалась его послать, но все равно, если и другое напишу – повторю то же. Вы не должны

сердиться. Я чувствую себя нехорошо: тоска невозможная, головные боли, апатия. Я хотела бы забыться хоть на минуту, но как это сделать? Каждую минуту думаю о маме, возмущаюсь против жестокости этого события, места не нахожу себе. Все противно. Жизнь потеряла для меня всякую цену, всякий смысл. Если я иногда реагирую на события окружающего мира, то весьма слабо. Даже смерть Толстого. В прежнее время она поразила и глубоко опечалила бы меня, я, вероятно, написала бы прочувствованное стихотворение, а теперь – грустно, жаль, но свое горе причиняет такую душевную боль, которая не дает ничего другого чувствовать глубоко и сильно. Пройдет ли это когда-нибудь? Я хотела бы, чтоб прошло: так жить нельзя.

Если я говорю иногда о шубе и т.д., то ведь это чисто физическое чувство холода заставляет говорить. А как я одета? Очень плохо, и мне не хочется даже пальцем пошевелить, чтобы было иначе. Письма пишу только Вам. Даже Лизочке писать не могу, а хотелось бы знать, как она поживает. Когда будете у ней, передайте ей мой привет.

Хотела бы видеть Вас. Прихожу домой в будни позавтракать и одна, совершенно одна! Брат и сестра на службе. Весь дом такой большой – пустой и холодный. Квартирантов нет. Топим плохо. Такой ужасный холод душевный и физический!..

Хоть бы тепло скорее!.. Хоть бы бежать куда-нибудь, чтобы забыться!..

Если откажут в январе, может быть, напишу – «приезжайте!» Но Вы испугали меня последними письмами. Обещать наверно не могу. А до мая далеко... Так далеко! Но чего я жду? Ни весна, ни май - ничто не изменит случившегося. Однако я сознаю, что остаться в Барнауле не в силах, – я сойду с ума от тоски, ведь я одна, одна!..

Пишите. Нет Ваших писем – усиливается тоска и тревога.

Маня.

[P.S.] Вы писали в послед[нем] письме о работе в газету. Не знаю, смогу ли я? Надо везде бывать, следить за жизнью, не будет ли это слишком утомлять? Впрочем, пока я не вошла в норму, ничего сказать не могу.

Что касается денеж[ных] расчетов, то Вы поймете, что мне нельзя не рассчитывать. У меня теперь совершенно непредвиденные расходы: плачу, например, за стол 16 руб[лей] в месяц, покупаю дрова для отопления своей комнаты. Последнего никогда не бывало при

жизни папы и мамы. Шура высчитывает буквально каждый грош. Кормить меня она отказалась, хотя я предлагала ей плату за стол, и мне приходится брать у знакомых, да еще покупать хлеб к чаю, так что на мои личные расходы остается весьма мало. Страшно при таких обстоятельствах остаться без места! А от службы, именно от сидячей жизни я и хвораю. Как быть со всем этим?

Ну да увидим...

Простите, что нагнала тоску своим письмом, но Вы поймете, что у меня нервы очень плохи.

№ 184

23 ноября 1910 г.

[Томск], Гоголевская, 10

Милая, дорогая Маня, получил я Ваше письмо, посланное через день после другого письма, полное отчаяния и тревоги. Оно и меня привело в тревогу. Не знаю, что делать? Как бы хотелось, чтоб каким-нибудь чудом в один миг перенесло Вас из Барнаула сюда в Томск. Как только Вы прикажете, тотчас кинусь в Барнаул, но без Вашего приказания не решусь, хотя, может быть, следовало бы сейчас поехать. Пожалуйста, не колеблясь, верьте в мою серьезную, чистую любовь к Вам; не думайте, что во мне только одно животное влечение. Какою Вы хотите, тою любовью я и буду любить Вас. И одною ею! Может быть, и будут впредь вырываться негодные слова, но это будут отдельные вспышки старого, еще не заглохшего вполне звериного духа, которые не опасны. Десять лет моей любви к Вам, десять лет волнений, которые трепали меня, сделали Вас родною мне, и мне страшно представить себе, что было бы со мною, что мне пришлось бы перечувствовать, если б Вы меня отвергли. Я смотрю на Вас, как на ангела, посланного с неба для конца моей жизни, и я готов на всякую жертву, чтоб только не разлучаться с Вами. Я буду стараться быть таким аскетом даже и в мыслях, чтоб не высказывали на мои уста эти негодные слова, которые вызвали протест в Вашем предпоследнем письме. Это предпоследнее письмо вызвало во мне угрызения совести и, конечно, читать его мне не доставило приятно-го удовольствия. Каюсь в своем грехе; простите. Это все отголоски зверя, который во мне не совсем еще выдохся, несмотря на года. Так уже дурно создан человек, или по крайней мере некоторые люди. У Арцыбашева в одном из последних его произведений описывается женщина, которая лежит больная при смерти, вот кончится, и тело

ее делает изгиб, за что один критик обрушился на автора с ругательствами. Мне кажется, критика неглубокая; думаю, что Арцыбашев сделал наблюдение, имеющее философское значение. В самый серьезный момент какой-то там нерв, живущий своей самостоятельной жизнью, не разбираясь с моментами, делает скандал. Умирание тела происходит не в вполне координированном порядке; все уже ослабло, замерло, а один нерв цветет самой полной, молодой жизнью, как иногда одуванчик осенью.

В Вашем предпоследнем письме меня напугала Ваша поколебавшаяся в меня вера. Я представился Вам таким неисправимым зверем, что Вы задумались, ехать ли Вам в Томск. Вот до чего даже! Я хотел писать Вам письмо, в котором хотел принести то самое раскаяние и признание в своей вине и те самые клятвы, которые приношу в этом письме, и я пожалел, что не успел написать этого письма и отправить прежде получения Вашего второго письма, потому что эти извинения и клятвы теперь подействуют на Вас не так сильно, как если бы они были принесены до получения Вашего второго письма. Теперь Вы можете подумать, что если б не было Вашего второго письма, я написал бы Вам в обиженном тоне. Нет, милая, и первое Ваше письмо вызвало во мне взрыв чистой любви, желание доказать Вам своей службой, своими заботами, своими жертвами, что я люблю в Вас не «женщину». И только опечалило Ваше указание, что Вы можете отказаться от поездки в Томск.

Милая, родная моя Маня! Нет, я нисколько на Вас не осердился, а если и обиделся, то только на самого себя, да вот еще испугался, что Вы меня бросите, но Ваше второе письмо убедило меня, что Вы дорожите моей любовью так же, как я Вашей. Чувствовать Вашу любовь ко мне – это такое наслаждение, за которое все, все можно отдать.

Не теряйте веры в меня, моя милая. Я буду таким Григорием Николаевичем, каким Вы желаете, чтоб он был. Ругайте меня, когда вновь провинюсь, и это на меня подействует просветляющим образом. От Ваших упреков я всегда как будто из непроветренной глубокой и тесной долины вырастаю головой до уровня девственных, чистоплотных альпийских подснежных полей.

Елизавету Митрофановну видел вчера, но у нее были посторонние, и я не передал Ваш привет; не хотелось произнести при посторонних Ваше имя.

Писать буду часто.
Ваш верный друг.

Г. Потанин.

№ 185

18, 19 ноября 1910 г.
г. Барнаул

Милый Друг!

Вчера только опустила свое письмо в почтовый ящик, а сегодня пишу снова. Боюсь, что Вы на меня обидитесь. Вообще, у меня опять состояние тоски и тревоги. Всего боюсь. Тяжелое, гнетущее настроение. Думаю, хорошо было бы переменить место и обстановку. Но... такой холод. А до мая далеко, так страшно далеко! Так долго ждать... Хватит ли сил и терпенья, не знаю... Жду Ваших писем. Надо, по крайней мере, чаще писать друг другу. Тоскую... ужасно тоскую. Служба надоела до отвращения. Мне нужен отдых и покой, полный покой. Мне нужен близкий душой человек. Я изнемогаю под тяжестью моего горя.

Вы это поймете. Вспомните, когда Вы потеряли жену. Вы, вероятно, переживали то же самое.

Вам кажется, что до января время пролетит незаметно. А для меня время ползет медленно, медленно... Пишите скорее, мне надо знать, что Вы не сердитесь на меня, что Вы понимаете, как я больна душой и любите меня так, как я хочу – чистой, хорошей любовью.

Я думаю о Вас ежедневно, ежечасно. Право, Вы тоже меня к себе чем-то приворожили.

Маня.

[P.S.] Дорогой мой! Как мне тяжело... Сейчас пишу на службе. Кругом стучат машины. Просто не могу слышать! Да, может быть, я и в январе все-таки сбегу. Невыносимо... Мне кажется, что мои нервы порвутся...

№ 186

[Ноябрь 1910 г.
Томск]

Вот видите какая Вы, право! Я оттянул с ответом пять дней и Вы уже бьете тревогу, не болен ли я, не признак ли это моего недовольства? А я не получал от Вас письма около полумесяца, и тоже спрашивал себя, не больны ли Вы, не обидел ли я Вас опять и за высказанное желание получать от Вас письма почаще получил наставления – терпеливо ждать настроения.

А я не только не жду настроения, не дожидаясь, когда наступит досуг, и пишу. У нас теперь горячее время; устраиваем два вечера –

толстовский и сибирский, кроме того, хлопочу об открытии здесь Общества изучения Сибири. Каждое утро приходится бегать, делать путины от института или университета до полицейского управления за Ушайкой, обивать пороги квартиры губернатора, губернского правления и полицейских участков.

Вы мне ответили на два моих письма разом, одним письмом. На это Ваше письмо я ответил. Неужели это мое письмо Вы не получили? Жаль. В нем я бунтовал против Вашего предложения завести противовес.

Вследствие сутолоки с литературными вечерами нет времени писать длинное письмо; напишу после 20 числа. Ограничусь немногими строками.

Ваша открытка, как ни мала, но все же получена и прочитана с благодарностью. Эта Ваша тревога свидетельствует, что Вы не имеете желания расстаться со мною, значит – мы увидимся с Вами весной, и я могу предаваться мечтами о предстоящем барнаульском празднике.

Вы выразились, что Ваше письмо (о голоде) должно послужить мне наградой. Я признаю, что это действительно награда. Умеете награждать любимого человека, то есть знаете, чем его всего лучше наградить.

Ох, как хочется увидеть наэлектризованную женщину!

Выражения Вашей открытки самые простые, тем не менее они меня волнуют и заставляют чувствовать, что у меня каждая клеточка моих тканей заряжена электричеством.

Милая Маня! Нужно ли вставлять это выражение в письмо, когда содержание каждого моего письма в сто раз ярче и громче говорит, что Вы для меня милый и великодушный человек.

Благодарный друг Ваш Г. Потанин.

[P.S.] Елизавета Митрофановна здорова, но опечалена болезнью сына Ивана, у которого, по-видимому, инфлюэнца.

Вследствие суеты и хлопот не удалось и до 20 не удастся встретиться с Малиновским и спросить его о Ваших стихотворениях.

№ 187

[Первые числа декабря 1910 г.]
г. Барнаул

Милый друг!

Наконец – Ваше письмо! Оно для меня – надежда и радость. Как я его ждала, с какой тоской и нетерпением! Да, я верю, непоколебимо верю в Вас и люблю, и горжусь Вашим чувством.

Позавчера мне отказали от службы. Это меня расстроило. Надоело страшно – а вот возьмите! Это противоречие, но, вероятно, так уж бывает в человеческой натуре. Хотя я ждала этого, но известие явилось в такое время, когда мои нервы были очень натянуты и напрасным ожиданием Ваших писем, и тоской, ужасной, опять обострившейся тоской о моей потере – и вот я расплакалась, там же, на службе; потом плохо спала ночью, хотелось вскакивать с постели, мучила тревога, страх... страх всего: жизни, смерти, будущности, болезни. Словом, нервы натянуты, как струны, готовые вот-вот порваться... Этот месяц (декабрь) надо протянуть: получу жалованье и наградные. Хотя не знаю, что будет на Рождестве, как встретим новый год одни... одни... без мамы. Так болит душа!..

Мне очень хочется написать Вам: «приезжайте за мной, мой милый, хороший! Подле Вас отогреется моя больная, измученная душа». Но сознаю, что это – эгоизм. Надо найти попутчика. Не знаю еще, хватит ли денег. Я отложила, но немного; если уплатить долги (я уплатила часть, но еще не все), новых я не делала, кроме 4 р[ублей] 25 к[опеек], которые надо отдать за черную траурную юбку, которую взяла для меня моя родственница после смерти мамы, даже без всякой с моей стороны просьбы. Придется купить что-нибудь теплое для дороги.

Приеду к Вам или с Вами поеду, но только в январе мы будем вместе. Я устала, больна; отдых необходим, а там дальше, может быть, Вы поможете найти мне службу, и опять где-нибудь устроюсь. Трудно, пожалуй, будет без образовательного ценза?

Не знаю только, где, у кого остановиться? Если у Лизочки? Не стесню ли я ее? А может быть... у Вас? Не знаю, право, не решила.

Но спасибо за Ваше милое письмо, оно меня успокоило.

Только напрасно думаете, что я – ангел, разочаруетесь.

Любящая Вас Маня.

[P.S.] Написала несколько дней назад это письмо, но не собралась отправить. Если поедете, боюсь, как бы не простудились. Теплая ли у Вас квартира?

№ 188

2 дек[абря] 1910 г.
[Томск], Гоголевская, 10

Дорогая Маня.

Эти дни мы все хоронили Толстого, чтили вставанием, пели «Вечную память», слушали похоронные марши Шопена, Бетховена,

Мендельсона, воздерживались от аплодисментов, уходили из собраний торжественно настроенными. Одновременно с общерусской утратой мы здесь оплакиваем и свою – смерть профессора Смирнова. Томское студенчество потеряло в нем сердце, теплоту которого оно непосредственно чувствовало. Все это и меня подняло на высоту духовную, на которой Вы желали, чтобы я стоял.

На симфоническом концерте, который был на другой день после толстовского, я простудился. Опять захрипело горло, и насморк, и вот я четвертый день сижу, не выхожу. Не пойду и на лекцию Поссе в воскресенье. Вчера как будто горло очистилось, целый день никакого шекотание не напоминало, что я болен, и я уже думал, что на следующий день я буду совершенно здоров. Но сегодня опять болевые ощущения в горле, хотя я никуда не выходил из дому и дома никакого сквозняка не замечал.

Толстовские дни, я думаю, приподняли все томское общество. Все стали доступнее к хорошим, гуманным идеям. Хочется подвига!

Жалею, что Вы эти дни должны были провести в Барнауле, а не здесь. Хотя здешние собрания и настраивали элегические, но все-таки к печальным струнам примешивались и мажорные, гражданские тона и бодрили дух.

Ужасно хочется получить от Вас письмо. Целую Вас.

Григорий Потанин.

№ 189

*[Декабрь 1910 г.
Томск, Гоголевская, 10]*

Милая Маня.

Вы опять затосковали, не получив своевременно ответа на свое письмо. Действительно, получив Ваше предыдущее письмо, я несколько дней протянул, не отвечая на него. В это время я вместе с моими друзьями был сильно занят ликвидацией двух устроенных нами вечеров, о которых Вы, вероятно, читали в газетах: вечера в честь Толстого и сибирского вечера. Кроме того, другие обстоятельства отнимают время. Ко мне девицы приходят, просят найти им заработок. Одна пришла и говорит: «Спасайте, а то я уже собралась поступить в публичный дом». Отнимают время и разные вечера, концерты, на которых необходимо быть для засвидетельствования сочувствия. Вы по газетам знаете, как теперь Томск с уходом Нолькена зажил головокружительно. Сколько лекций, сколько заседаний

ученых обществ, концертов, юбилеев, литературных вечеров. Я люблю полноту умственной и общественной жизни и теперь живу вовсю. Недостаёт только сочувствующей женщины, сидящей рядом. Как бы хотелось перетащить Вас сюда и чтоб опять сидеть около Вас, как, помните, в Союзе писателей и смотреть не на эстраду, а на ваш профиль и на Ваши длинные ресницы и заставить чувствовать остановившийся на Вас жадный взгляд. Как хотелось бы Вас похитить и увезти в Томск, сделать, чтобы Вы жили одной общественной жизнью, одними интересами, общими радостями, хотелось бы завладеть Вами и – какой я право, эгоист – владеть Вами мне одному. А это ведь грех!

Нет-нет и спрошу себя: чем эта девица подкупила меня? Красотой? При первом свидании, конечно, красота имела свое действие (впрочем, впервые я влюбился в Вас, как Вы знаете, прочитав тетрадку Ваших стихотворений), но ведь я потом встречал женщин, которые были красивее Вас, но смотрел на них, как на чужих. Думаю об этом вопросе и прихожу к заключению: тут сила традиции. Мы так долго возились с нашими чувствами, я с Вашими, Вы с моими, что наши духовные организмы как бы в одном пункте срослись, как срастаются корнями два растения. Ботаники под микроскопом анализируют ткани в том пункте, где паразитирующее растение примыкает корнями к другому растению. И вот что наблюдается – ткани переплетаются, воздействуют на клетки чужого растения, клетки паразита усваивают черты питающего растения, а клетки питателя уподобляются клеткам паразита, так что бывает трудно решить, куда отнести вот этот участок ткани – к паразиту или к растению, тиранизированному паразитом. Вот подобное совершилось и с нами; в моем мозгу несомненно образовались клетки, которые по всей справедливости следует назвать Маниными клетками, а в свою очередь, в Вашем мозгу есть, вероятно, Потанинские клетки.

Предыдущее Ваше письмо наполнено покаянием: зачем Вы написали свои признания о голоде, которые меня волнуют, тогда как мне нужно спокойствие. Я Вам ответил на него мольбой писать и писать в стиле этих признаний. Последнее Ваше письмо небольшое, и в нем нет никаких признаний, и потому оно не могло бы взбудоражить моего сердца, а вот взбудоражило же. Смешная Вы, Маня! В Вашем сердце зашевелилась тревога, потому что не получили письма к сроку, к которому его ждали. Это очень похоже на истинную любовь, я это взвесил, и мое сердце заиграло от наслаждения не

меньше, как когда я прочитал Ваши криминальные признания. Нет, Маня, как ни ухитряйтесь, какие постные фразы не придумывайте, – знайте, всякое слово Вашего письма, всякая буква его глубоко штемпелюет мое сердце и делает его Вашей собственностью.

Редактор «Сибирской жизни» категорически объявил мне, что 10 копеек за строчку платить не может, а будет печатать Ваши стихотворения за прежний гонорар. Ужасно мне неприятно, что пришлось огорчить Вас таким изобщением.

Г. Потанин.

P.S. «Барнаульский листок» читаю не каждый номер; приходится пропускать некоторые, потому Ваших стихов не видел. Но газета у меня есть, и непременно отыщу.

№ 190

*10 декабря 1910 г.
Томск, Гоголевская, 10*

Милая, мне совершенно понятно Ваше смущение и слезы после того, как Вам объявили об отставке. Я тоже пережил такое положение в своей жизни, когда получил отставку от казачьей службы. Но я был в лучших условиях, чем Вы; у меня в то время еще жив был мой отец, и потом я был тогда молод, следовательно, мог быть полон надежд. И все-таки я почувствовал, как будто меня выгнали из родительского дома, почувствовал себя птенцом, выброшенным из гнезда. Была хотя и бедная, но беспечная жизнь: каждый месяц получал жалование, знал, что завтра не останусь без супа и ломтя хлеба. И тут вдруг иди на улицу и отыскивай себе работу.

Хотя и горько Вам, но Вы все-таки сами понимаете, что мы, т.е. Елизавета Митрофановна и я, иначе должны реагировать на это Ваше новое горе. Вот и она, как я же, говорит, что хорошо, что так случилось. Вам непременно нужно, во-1-х, переменить место жительства, во-2-х, оставить службу и отдохнуть. Она убеждена, что двух лет до пенсии Вам на службе ни за что бы не дотянуть. Конечно, она очень рада, что Вы будете жить в Томске. Ну а я, конечно, еще более рад, чем она.

У Елиз[аветы] Митр[офановны] свыше меры тесно; в бывшей бильярдной живут три сына; четвертый угол сдан какому-то их товарищу. На другой половине мезонина устроена проходная гостиная, а в следующей крайней (у балкона) разгорожено; налево узкое пространство (с окном в сад), спальный покой Шуры, а правая половина комнаты – спальная и уборная Елизаветы Митр[офановны]. Шу-

ра ходит в свою спальню через спальню своей мамы. Внизу в двух больших залах живет англичанин Киттинг; в остальных армянин – студент и два «магнитных парня», т.е. ассистенты профессора физики Вейнберга. Разве армянин на Рождество уедет, тогда одна комната очистится. Но ведь после Рождества, пожалуй, опять придет.

У меня большая комната, три окна в одной стене, три в другой, длина 15 моих шагов, две печи (тепло! от +14⁰ до +17⁰ по R), но одна. А другой свободной комнаты у моей хозяйки нет. Конечно, с приездом опнуться можно и у меня и даже переночевать. Ведь ночевали же мы с Вами вдвоем в одной комнатке на конторке в ожидании «Гуллета» и я, кажется, не укусил Вас. А с Лидией Павловной Базановой (а это теперь ведь ректорша) я несколько ночей ночевал в маленьких деревенских горенках и притом обильных клопами, которые заставляли всю ночь ерзать на постели и чесаться.

В доме, где живет Лидия Савельевна (сестра Ивана Савельевича) на углу Бульварной и Еланской, против бани Брика, есть свободные теплые комнаты в 10 и 18 руб[лей]. Обед Елиз[авета] М[итрофановна] обещает давать свой; будете ходить к ней обедать. Если студенты разъедутся на праздники, может быть, найдется комната у Фаины Алексеевны (Черепичная, тоже недалеко от Козловых). Тут было б Вам теплее, уютнее.

Мне хотелось бы, чтобы Вы были ко мне поближе. На Еланской или Черепичной все-таки Вы будете на первых порах чувствовать себя одинокой, на чужбине. Мне почему-то кажется, что если б я был возле Вас, Вам было бы веселее.

Если б Вы приехали сюда, не вызывая меня в Барнаул, это доставило бы нам значительное сбережение. И на подводу вдвое выйдет дороже, если мне ехать за Вами, и потом кроме теплого платья для Вас и мне тогда для себя придется купить шубу. Но боюсь, что если я не поеду за Вами, меня будут мучить угрызения совести, как я позволил Вам поехать без моего надзора, без моих забот, без моих услуг. Е[лизавета] М[итрофановна] боится, что я простужусь, буду небрежничать, распахивать шубу. Но ведь если Вы поедете без меня, то Вы будете небрежничать, распахиваться и простудитесь.

У меня теперь в кармане 450 руб[лей]. Если поедете, не дожидаясь меня, то не стесняйтесь деньгами, только одевайтесь теплее. Или пришлю, сколько прикажете, или займите, расплачусь. Жду Ваших приказаний ехать или ждать.

Целую милую Маню.

Г. П[отанин].

20 дек[абря] 1910 г.
[Томск], Гоголевская, 10

Милая, я на Ваше последнее письмо тогда же ответил, потом спустя некоторое время еще раз ответил, а это уже третье письмо. Хотя я и мирюсь с Вашим молчанием, не требую, чтоб Вы насильовали себя и сажались за письмо ко мне без настроения, а все-таки должен признаться, – ах, как хочется получить от Вас весточку. Ведь иногда приходит в голову, что Вы заболели. К тому же последнее письмо было такое, что еще хотелось бы получить такое же, и не одно, а целый ряд таких вдохновенных любовью.

Утро я провожу в том, что читаю «Сиб[ирскую] жизнь» от корки до корки; иначе не могу; увлекаюсь этой социальной суетой, социальным мусором или социальной мишурой; мне это доставляет то удобство, что за этим занятием я не замечаю Вашего отсутствия. Потом сажусь писать; пишу большую статью, обзор прошлой зимы, какими умственными интересами жила в прошлую зиму томская интеллигенция (тоже социальная шелуха?). Это ширма моей внутренней жизни, которая обнаруживается, когда я, оторвавшись от чтения или письма, шагаю из угла в угол и отдыхаю. Тогда я думаю о Вас, вспоминаю Ваше последнее письмо. Я не рисую картин, как мы будем вместе, не сочиняю разговоров, а только как будто поверну к Вам свое лицо и меня обдаст теплом Вашего последнего письма. В этом письме было высказано, так много веры в меня, что сознание того, что Вы верите в меня, и теперь трубит в моей душе, и всякий раз, как только останусь один на один с собой, я так же начинаю волноваться, как и в день получения этого письма.

Я, кажется, теперь самый близкий Вам в мире человек! Я должен заменить Вам, насколько могу, Вашу маму. Ваше письмо сделало меня довольным жизнью. Оно создало мне задачу жизни. Я хочу жить. Жить для моей Мани. Я хожу из угла в угол и не рисую никаких картин, а только впитываю в себя то спокойствие духа, которое навеивается Вашим письмом, переживаю впечатления от него и стараюсь зафиксировать в своей душе возбужденное им настроение. Я люблюсь привалившим счастьем, словом, наслаждаюсь своим существованием.

Я Вас люблю, и это делает меня счастливым; это моя награда, Вы позволяете мне любить Вас, это усугубляет мое счастье. А кроме того, Вы сами любите меня; Вы это пишете мне, да в этом я еще

имею свидетельство в том, что Вы едете в Томск. Значит, Вы верите мне, а если б не любили, не верили бы.

Задача моей жизни теперь, чтоб Вы были без забот. Чтоб Вы были здоровы, чтоб оставили Вас всякие страхи за будущее, чтоб Вы сделались веселенькою и захотели бы опять жить, как я теперь хочу жить.

Прошу извинить – надо бы это письмо вчера написать и отправить. Не придет оно, к сожалению, в Барнаул к Рождеству.

Еще раз прочитал Ваше последнее письмо и натер свою душу его ароматами.

Целую Вас, милую.

Любящий Г. Потанин.

№ 192

*24 дек[абря] 1910 г.
[Томск], Гоголевская, 10*

Ну вот и Рождество подъехало; к Рождеству я ждал письма, и нет его. Нисколько не сержусь на Вас, но должен все-таки сказать, что удар этот чувствительный. Представьте, со мной то же, что и с Вами. Почему-то начал нетерпеливо ждать Вашего письма; может быть, это потому, что предвидится и приближается конец нашей разлуки, чувствуется близость свидания. Я замечал, что во время моих путешествий я мог два, три года жить в Китае, не горя желаньем увидеть родину, но когда наступит срок пребывания на чужбине, когда определится день вступления на родную почву и когда караван пойдет на север, начнешь считать дни, и чем ближе к концу, тем нетерпеливее ждешь дня, когда увидишь русских людей.

За неделю до этого дня, т.е. до сегодняшнего дня, я начал каждый день ждать письма от Вас. Каждый день часа в три обыкновенно приходит почтальон; мне подают почту, с жадностью смотрю на поданную почту и, увы, в ней одни только сибирские газеты, а письма нет. Вот уже седьмой день все так. Третьего дня не было Вашего письма; я поволновался; вчера тоже не было, и я поволновался уже сильнее; но и сегодня нет, и я почти в отчаянии и теряюсь, не знаю, что делать. Сейчас вечер, десять часов и я сел писать, чтобы дать в каком-нибудь практическом деянии выход чувству беспоконства.

Вот какой сегодня случай, который еще более усугубил мое грустное настроение. Вчера моя хозяйка приказала поденщице провести

мою комнату в праздничный вид; были перетерты все стекла в шести окнах, сметена пыль со стен, вымыты полы, перебраны груды на моих стенах; поденщица успокоила меня, сказала, что, обтирая столы, она клала пачки писем и бумаг на те же места, где они лежали. Это оказалось верно, но не без исключений. Я знал, где постоянно лежит мой «Соломон». И вот его нет на том месте. Я начал бегать и искать, и вскоре нашел и успокоился. Ко мне ходит теперь часто одна барышня, которая была однажды и горничной. Она почему-то привязалась ко мне. Я ей покровительствую в ее сношениях с редакцией «С[ибирской] ж[изни]» и, может быть, за это она сделала подарок: разостлала на моем письменном столе лист промокашки величиной с простыню и, кроме того, купила мне папку. Это бы ничего, но она очень властно распорядилась на моем письменном столе; собрала со стола все пачки писем и засунула в папку, а часть бумаг отобрала как не нужные и в печь. Когда она ушла, мне с чего-то захотелось прочесть Ваше последнее письмо. Оно всегда приводит меня в хорошее настроение. Выдвигаю ящик, на обычном месте его нет. Перерываю все в ящике, думаю, не закатилось ли в угол. Нету. Перебираю все пачки писем и на столе и в столе и в папке – нету. Приходит мысль – барышня сожгла его вместе с другими бумагами. Я не суеверен, а тут как ударило в голову – не значит ли это, что в «моем Барнауле» случилось что-то плохое.

Приходит ко мне приятель (г. Бражников). Присел к столу перебирает, что лежит на нем, спросил, кто подарил мне бронзового медвежонка, и заинтересовался стеклушкой, ограненной в виде рубина. Рассматривает. Я говорю ему: Вот мелкая безделушка; откуда взялась не знаю, и существованием ее несколько не интересуюсь, а между тем эта крошечная вещичка не теряется и вот уже который раз со мной переезжает на новую квартиру. А он мне на это говорит: Это всегда так бывает, что то, что не нужно, всегда под рукою, никуда не девается, а дорогие теряются.

Эта сентенция усилила мое суеверие. Ведь я не суеверен, а сильно запечалился и стал думать, это неспроста. Вероятно, суеверие в человеческой натуре; оно культурою загоняется в какое-то потайное место, но из него выскакивает, когда внимание взбудоражено, например, пропажей такой драгоценности, как это письмо.

Вечером, после последнего чая, я еще раз начал тщательно перебирать все пачки писем и нашел пропажу. Я водворил ее на прежнее ее обычное место, где лежат и другие Ваши письма грудочкой, при-

чем я еще раз перечитал его и все другие Ваши письма, ноябрьские и сентябрьские, словом все, которые я получил здесь по приезде в Томск из Барнаула. Воображение мое успокоилось, мрачные мысли исчезли; я начал думать, что Вы молчите потому, что нет марок, или, м[ожет] б[ыть], ждете конца декабря, чтоб написать письмо, когда получите жалованье и наградные.

Как хочется, как хочется, чтобы Вы поскорее приехали. Тогда не было бы и со мной этих припадков суеверного страха за Вас, да и Вам легче было бы около меня. Я перечел все Ваши письма. Какие раздираательные!

Последнее письмо Ваше указало мне на задачу моей оставшейся жизни. Я Ваш отец, Вы моя дочь. Ваша головка будет лежать на моей груди и Вы мне расскажете, что гнетет Вашу мысль, и Вы найдете у меня прощение всякому Вашему эгоизму, как находили его у Вашей мамы. Скорее, скорее сюда.

Любящий Вас, нетерпеливо ожидающий возможности лелеять Вас.

Г. Потанин.

№ 193

28 декабря 1910 г.
г. Барнаул

Милый друг!

Виновата, что до сих пор не ответила на Ваше письмо. Чувствую себя совершенно выбитой из колеи; ничем не могу заняться. Перспектива не иметь совершенно собственного заработка угнетает меня. Как буду жить и что делать – не знаю. Недавно сказала брату: «Как быть, – мои дрова вышли, а я получу последнее жалованье?» Он отвечает: «Купи, а то насидишься в нетопленной комнате». Купила; но как мне было тяжело это слышать! Доставай откуда хочешь и покупай себе все, до дров и керосина включительно. Никогда при жизни мамы мне не приходилось покупать дрова.

Начала это письмо вчера, но помешали писать, сегодня продолжаю. У меня, собственно, нет настроения писать, но боюсь, что Вы тревожитесь и потому пишу. Сегодня, придя на службу, увидела Ваше письмо, в котором пишете, что это уже третье, а я получила только то, где Вы писали насчет квартиры, на которое все еще не могла собраться ответить (меня мучит совесть!), но, право, мне так тяжело, так трудно чем-либо заняться; очень мрачное настроение.

Во время служеб[ных] занятий почтальон принес последнее Ваше письмо. Значит, одно все-таки пропало, как досадно! Нехорошо, если оно попало в чужие руки...

Милый друг! После того, как я получила то письмо, где Вы писали, что есть комнаты в 10 или 18 р[ублей] в доме, где живет Лид[ия] Савельевна, мне сделалось как-то грустно. Значит, собственно говоря, остановиться мне негде. У Лизочки слишком тесно, а жить в одном доме с Лидией Савельевной я не буду. Встречаться с ней для меня слишком тяжело; когда я увижу ее, меня всякий раз точно ножом ударит в сердце. Слишком тяжелое воспоминание связано для меня с этой особой. Представьте, я только имя ее прочла в Вашем письме, и всю ночь видела во сне когда-то любимого человека, не странно ли?

Меня опять мучают сомнения. Сгоряча я написала: «в январе увидимся», а теперь думаю, что придется делать лишние затраты. У меня ведь нет ничего теплого для дороги. Я писала, что и в шубе моей невозможно ходить на большие расстояния. Придется заводить и шубу, а зимы уже немного остается, и здесь можно пробиться и так. А главное, остановиться в чужом доме, среди чужих людей, – я ведь буду чувствовать себя очень одиноко! Может быть, как-нибудь пробьюсь до мая, до Вашего приезда. Хотя не знаю, что буду делать? Страшно скучно будет быть целый день в нашем осиротевшем доме, ведь и он стал для меня чужим. Вы не можете представить себе, как тяжело было в эти три дня Рождества! Совсем, совсем чувствую я себя одинокой... Плачу и плачу каждый день... Мне говорят, что так я испорчу глаза. Да, кажется, никто не близок мне так душой, как Вы... Вам я высказываю все свои мысли. Отрадой дышат для меня Ваши слова, что Вы хотите, чтобы я была здорова, чтобы оставила страх за будущее, чтобы захотела опять жить. Ах, как хорошо было бы, если бы я могла забыть все страхи, если бы я почувствовала, что хочу жить! А пока – нет, я не хочу жить, не могу хотеть жить, жизнь кажется мне ненужным и непосильным бременем, вся жизнь померкла для меня с той минуты, как ее не стало! Но, может быть, я отогреюсь в лучах Вашей любви. Все-таки хорошо быть любимой, без любви и ласки я совсем не могу жить. Меня безгранично любила мама, дорогая моя, незабвенная, милая. Теперь любите Вы, и это – единственное, что еще привязывает меня немного к жизни. Шура говорит, что хорошо было бы мне отдохнуть немного от службы. Но что же я буду делать? Тоска, ведь тоска! Ах, я боюсь заболеть, бо-

юсь сойти с ума... Быть целые дни одной с моими ужасными думами, с моей безграничной тоской... Это страшно. Я хочу попытаться поискать какое-нибудь занятие до мая. Может быть, можно будет устроиться в редакции одной из наших газет. Ах, Вы не одобряете. Вы хотели бы сейчас, сию минуту видеть меня подле себя, но ведь будет столько ненужных расходов и на дорогу, и на все, и как, и где я устроюсь, как поеду в такой холод? А может быть, в квартире, где и холод, и неудобства, я почувствую себя еще хуже, чем дома, как знать? Хотя единственное «тепло», какое я чувствую дома, это тепло моей комнаты.

Когда ложусь спать, я довольна: знаю, что забудусь хоть на несколько часов, но первая мысль, по пробуждении – мысль об этом ужасном, неизбывном горе... Маму редкий день не вижу во сне. После обеда хожу гулять, но какие это тоже грустные, одинокие прогулки. Одна со своими думами, со своим ни на минуту не забываемым горем! Вспоминаю Меллер; если бы она была жива, мне было бы немного легче, не одна бы бродила по улицам, а и брожу-то только для того, чтобы не заболеть, мне необходим воздух.

Вы будете недовольны моим письмом, но не сердитесь за мою нерешительность, милый, дорогой друг! Если бы Вы только знали, как я всего, всего боюсь! Как безгранично тоскую, как мне тяжело!.. Сил нет...

Не прочла ли мое письмо (которое Вы потеряли) Ваша барышня? Смотрите, не очень ей увлекайтесь; пожалуй, полюбуйтесь ее больше, чем меня.

Ах, скорее бы шло время! Скорее бы пролетели эти месяцы. Выдержу ли я так долго? Найду ли, наконец, «тихую пристань»? Завтра же спущу свое письмо в ящик. Бедный, Вы истомились неизвестностью. По крайней мере, узнаете из него, что я живу еще на белом свете, хотя и отвратительно себя чувствую. Целую Вас.

Любящая Вас Маня.

[P.S.] Многое бы я еще порассказала Вам из нашего теперешнего житья-бытья, да в письме всего не напишешь, к тому же – ничего отрадного. Лучше уж рассказать, когда увидимся. Хотелось бы увидеть Вас поскорее, но как это сделать? Если не найду никакого места, то думаю, что придется поехать в Томск. Тяжело обязываться брату. Ничего нет у меня общего ни с братом, ни с сестрой, кроме горя. Но и это мало нас связывает.

№ 194

[Письмо к сестре М. Г. Васильевой].

30 декабря 1910 г.

Томск, Гоголевская, 10

Многоуважаемая
Александра Георгиевна.

Меня беспокоит отсутствие писем Марии Георгиевны, начинаю думать, что она заболела. Не будете ли великодушны, не напишете ли мне хотя бы в двух, трех строках, на открытке, в каком состоянии ее здоровье?

Готовый к услугам

Григ[орий] Потанин.

№ 195

30 декабря 1910 г.

г. Барнаул

Дорогой друг!

Вчера я опустила письмо в почтовый ящик, а сегодня уже раскаиваюсь, что написала под влиянием настроения такое грустное письмо. Вечером мы были в гостях в одном недавно знакомом, но милом семействе, и на душе сделалось как-то спокойнее. Вообще, когда я уйду куда-нибудь из дому, то чувствую себя лучше. Не унывайте, не думайте, что я не стремлюсь Вас увидеть, нет, я полна думы о Вас, вы единственная моя радость и надежда в жизни. И этот бесконечно длинный (в моих глазах) срок – четыре месяца я едва ли выдержу, особенно если не найду места. Я только не знаю, как это сделать, мне как-то тяжело подняться с места, не знаю сама почему. Но иногда мелькает в моем сознании, где-то глубоко-глубоко мысль, что не вечно же так будет; может быть, при совершенно изменившихся условиях я буду снова и весела, и энергична. Ведь Вы меня любите, любите, а разве любовь не высшая радость жизни? Здесь меня гнетут воспоминания, давят, как цепи, но вырвусь же ведь я, уйду, уйду от них с Вами, таким дорогим и безгранично любимым другом, и может быть, все изменится к лучшему. Совсем забыть прошлое я, конечно, не могу, да и не хочу, и не раз еще буду горько и безутешно плакать о прошлом, о его невозвратности, непоправимости, но я хочу, чтобы эти воспоминания сделались не такими острыми, не такими болезненными. Я постараюсь об этом для Вас, для себя. Сейчас я вся полна тоской и раскаянием, что написала Вам это

письмо, но мне было так тяжело, я и не сдержалась. Простите. Я, собственно говоря, не должна отчаиваться, обладая таким сердцем, как Ваше, я не имею на это права и оправданием мне может служить только мое горе. Как бы я хотела видеть Вас сейчас, сию минуту и передать мое раскаяние не письменно, а в живых словах, и обнять Вас и сказать, что, может быть, наступающий год принесет нам и отраду, и счастье.

Ваша Маня.

№ 196

2 января 1911 г.
г. Барнаул

Дорогой друг!

Я и жажду Вашего письма, и жду его с некоторым страхом. Боюсь, Вы будете меня упрекать. Вы так хотите скорее увидеться со мной, я ведь тоже хочу, хочу! Я хочу, чтобы время летело скорее... Но теперь пока... должна же я что-нибудь делать. Вот 31 декабря была в последний раз на службе. Вчера – Новый год, сегодня – воскресенье. Что же буду я делать завтра? 31 декабря я была у Курского. Спрашивала, нельзя ли достать какую-либо работу при новой газете? Пока нет ничего. Да, еще раньше я забегала в редакцию «Алтайской газеты». За последнее время я почти не читала ее; она сделалась какая-то неинтересная. Но мне говорил один знакомый, что там может найтись работа руб[лей] на 30-ть в месяц. Я зашла. Как давно не переступала я этого порога. Работы не оказалось. Но тут я увидела Семенова. Он сказал, что получил письмо от Вас, и что Вы пишете ему, что все порядочные люди ушли из этой газеты. Если Вы так написали, подумала я, то значит, и мне тут делать нечего. Я же в последнее время – повторяю – почти не читала «Алтайки», как я ее называю, но я не пожалела, что тут не нашлось даже простой, черной работы для меня. Меня спрашивали, нет ли у меня стихотворения на Новый год? Я сказала нет. У меня тогда и действительно его не было. Потом, через несколько дней в моей голове сложилось маленькое стихотворение на эту тему, но это было что-то необработанное, туманное. Когда я зашла к Курскому, он спросил меня также: нет ли чего на Новый год? Я ответила: есть, но так – неважная вещь. Он попросил сказать. Я сказала. Ему понравилось или просто захотелось новогоднего стихот[ворения] для новой газеты, но только он пристал ко мне, чтобы я дала. Ну, я теперь сделалась совсем безвольной, – дала, а потом спохватилась, что стихот[ворение] совсем

еще вчерне, и бросилась в типографию; брать назад было уже неловко, я подправила его; и вот оно явилось в 1-м № «Жизни Алтая». Итак, все-таки явилось стихотворение. Может быть, это хороший признак. Ах я не знаю... Я мечусь, как белка в колесе. Думается мне, что вот «Алтайскую газету» мне все-время высылали, а я дала стихотворение в другую газету. Может быть, вовсе не надо было печатать. Вообще, мне не с кем теперь ни о чем посоветоваться. Мамочка была для меня друг и советовалась я с ней обо всем. Теперь буду – с Вами. 31 декабря я ходила и в «окруж[ной] суд». Говорят, нет пока председателя – уехал до 8 или 10 числа. «Подать прошение». Подала, хотя не надеюсь на успех, но отчего не попытаться? Не думайте, что я хочу служить, нет, Боже избави! Желания у меня нет. Но я не хочу обязываться. Я хочу эти 4-е месяца еще сама кормить себя, платить за белье и т.д. Какая проза!

Милый, дорогой, хороший друг мой! Вы должны писать мне часто, иначе я умру с тоски! Я перечитываю Ваши письма и черпаю из них силы и веру в жизнь.

Маня.

[P.S.] Скажите, какая причина, что Вы так написали Семенову? Это важно для меня. Я стеснялась получать газету, ничего в нее не давая; но не давала только потому, что ничего было дать. Разве газета сделалась «непорядочной»?

№ 197

*5 янв[аря] 1911 г.
[Томск], Гогол[евская], 10*

Я уже хотел писать Филиппу Кузьмичу Зобнину и просить его зайти на Пушкинскую и узнать, не возвратилась ли к вам Ваша болезнь. Так долго Вы молчали! Я Вам дал право не писать часто, но я написал три письма и думал, что пришел Ваш черед, но никакого письма не получил. Уверен был, что Вы напишете перед Рождеством, но и тогда не было письма. А вот и праздники прошли и я начал думать, что Вы больны. Каждый день я переживал мучительно. Возвращаясь домой к обеду, первое дело подходил к письменному столу, какая почта? Одни газеты, иногда и письмо, но адрес не Вашей рукой написанный. Что я тут передумал в каком ужасном состоянии я воображал Вас. Елизавета Митрофановна старалась уверить, что это так, ничем, никакой болезнью не вызванное молчание. Но это на меня не действовало. Наконец я начал приучать себя к самому дурному концу. И в то время я придумывал, как бы узнать о Вашем

состоянии, как будто я пришел освобождать осажденный город и придумываю способ завести сношения с осажденным гарнизоном.

Конечно, получив письмо, я обрадовался. Но не так, как следовало бы. Другая была бы радость, если б в письме было решение ехать в Томск, в январе. Опять, значит, ждать! Как это печально! Как неохота откладывать! Я привык ждать, и при моем беспечном характере я еще не такие длинные сроки переживал легко. И на этот раз я спокойно ждал бы мая, если б не боязнь за Вас, за такую больную. Хотелось бы, чтоб с завтрашнего дня Вы были на глазах у меня. Хотелось бы, чтоб я ежедневно, ежечасно и ежеминутно знал, что с Вами, в каком Вы настроении, что Вас беспокоит и чего Вам хочется. А то эта неизвестность! Милая, ведь Вы и сами чувствуете, что эта неизвестность, здоровы ли Вы, меня сильно мучит.

Вы пишете, что начали «сомневаться»! Ну и словечко! Когда я прочел Ваше письмо, у меня точно связки спали с костей и кости начали расходиться в разные стороны. Внутренность здания расшаталась.

На этом месте наступил час, когда я должен был по одному делу уйти из дома, а вернувшись к письменному столу, я нашел новое письмо. Какое чудесное письмо! Лирика в прозе, которая обдала меня радостным светом и внушила надежду, что вновь зазвенят Ваши рифмы. Вы переменили вал в шарманке, и мне уже не хочется доканчивать мысли, которая сидела на кончике пера (Тут опять перерыв. Сейчас принесли I № «Жизни Алтая» с Вашим стихотворением на новый год. Вот и зазвенели рифмы! Поздравляю и жму Вашу руку). Вы верите в мою любовь, но сомневаетесь, будете ли Вы удовлетворены ею. А если Вы захотите другой любви? Тогда Вы можете уйти от меня, а с меня будет и того удовольствия, что я вновь поставил Вас на жизненные рельсы, вдвинул Вашу жизнь в новое, здоровое русло. Мне хочется великодушничать.

Вот Вы и опять успокоили меня, укрепили во мне веру в близкое счастье. Какое счастье любить Вас! Какое счастье любить вообще бескорыстно! Хотелось бы любить Вас, как любила Вас Ваша мама. Целую Ваши руки в благодарность за эти минуты, которые Вы мне создали своим письмом.

Чем же победить Вашу нерешительность? Вы не решаетесь податься с этого опостылевшего Вам гнезда. А здесь Вас ждет теплое участие Елизаветы Митрофановны, потом моих друзей – дом Веры

П[етровны] Соболевой и Ольги Ал[ександровны] Зубашевой. Наконец, я. Напишите, может быть послать Вам денег?

Любящий Вас Г. Потанин.

№ 198

8 янв[аря] 1911 г.
(Томск), Гоголевская, 10

Милая Маня.

Сегодня (8 января) получил Ваше письмо и сегодня же сел писать ответ, но, вероятно, пошлю 10-го. Тогда же переведу Вам 25 рублей, хотя Вы и не хотите обязываться и собираетесь поступить на службу; но как же Вы без денег очутитесь, если не скоро получите место?

Лучше бы Вы сделали, если б поскорее сюда приехали. Иначе результат выйдет печальный – наделаете долгов, из которых трудно будет выбраться. Не долги ли уже Вас задерживают в Барнауле?

В суде – это опять канцелярская работа, притупляющее ум копирование шаблонных предписаний, отношений, рапортов, ведомостей и т.п. А в газете – много ли Вы напишете в барнаульской газете? Общественной жизни в Барнауле мало, поэтому и поводов писать мало. Вот если бы Вы были в Томске, иное дело. Вот была художественная выставка. Вы могли бы написать для газеты – не критические заметки о художествен[ных] произведениях выставленных, для этого есть у газеты профессионалы, – а бесхитростные впечатления обыкновенного посетителя, не лишённого дара поэтических восприятий. Вот таких случаев для впечатлений здесь больше, чем в Барнауле.

Напрасно Вы боитесь, что на первых порах в Томске Вам будет дико, чуждо и одиноко. Мне приходит в голову такой проект. И у В. П. Соболевой, и у О. А. Зубашевой, у каждой есть, кажется, свободная комната. В ней обыкновенно поселяется профессор Малиновский. Но, если он занимает комнату у Зубашевых, то у Соболевых комната пустует. Попрошу, не может ли Вера Петровна или Ольга Александровна принять Вас до весны. А у них Вам было бы интересно и уютно. Особенно у Зубашевой, для первого времени Вы встретили бы атмосферу, наполненную радушием. По крайней мере, экспансивная хозяйка не дала бы Вам минуты почувствовать себя одинокой, безучастно покинутой.

Приезжайте, право, а то я покараю Вас, сказню, влюблюсь в эту девочку, которая ходит ко мне, и останетесь с носом!

Вы правы, мне ужасно хочется поскорее увидеть Вас, и Ваша медлительность пугает меня. Вот поступите, начинаю бояться, в суд, начнете получать по 30 рублей и не захочется в Томск. И оставите меня с носом.

Милая, дорогая Маня. Войдите же в мое положение. Ведь мне хочется поскорее осуществить мою мечту, иметь Вас около себя, в одном городе, если можно, в одном доме. А Вы смотрите прочь от меня... К чему такой каприз, еще четыре месяца пожить на свое жалованье, никому не обязываясь. Ей-богу, этот опыт дорого Вам достанется – только увеличите свои долги. Вот Вы чувствуете себя одинокой без мамы, хотели бы вернуть ее заботы, ее участливость. А и я также мучаюсь своим одиночеством и страсть как хочу видеть на себе Ваши заботы, пользоваться Вашими ласками, согреться Вашим чувством.

Я делаю то же, что и Вы, – перечитываю Ваши письма. Иногда все, а чаще те, в которых ярче выражено Ваше доверие ко мне и которые льстят мне, дают почувствовать, что я владею Вашим сердцем.

Неужели наконец наступит счастье «устраивать Вам тихую пристань?» Это блаженство! Но когда же оно наступит? Нельзя ли поскорее! Господи, какая тут без Вас мучительная скука, какое одиночество, какая пустота! Неужели Вы не можете представить мое положение, вообразить его.

Если не можете решиться поехать с попутчиком, разрешите мне поехать за Вами.

Не помню, какое письмо я писал Семенову. Я решительно не помню. Мне кажется, как будто я вовсе не писал ему письма. Но утверждать, что не писал, не смею. Мои отношения к «Алтайской газете» такие. В ней раньше работали Курский и Шапочников, к которым я всегда относился доброжелательно. Никогда не питал враждебного чувства и к П. В. Орнатскому. А в Звереве, который был другом редакции, всегда видел собственного друга. И вот все эти лица ушли из газеты. Причина та, что на содержание газеты стал оказывать давление г. Шпунтович. Он требовал, чтоб публицисты газеты не вели обличительную борьбу с иностранцами-экспортерами, отстаивавшими положение, при котором они наживались на счет сибирского мужика. Шпунтович боялся, что экспортеры масла откажутся печатать в газете свои объявления, а это был большой

доход, который поддерживал не только газету, но и типографию. Вот и вся причина, почему я симпатизирую «Жизни Алтая», а не «Алтайской газете». Ничего бесчестного я об «Ал[тайской] газ[ете]» не слышал, а могу обвинить ее только в недостатке гражданского мужества или в меркантильной расчетливости. Поэтому появление Вашего имени в газете никакой тени на Ваше имя в моих глазах не бросит.

В следующем письме, которое на днях же напишу, я Вам пришлю материал, из которого Вы можете соорудить корреспонденцию из Томска, которую Вы должны будете поместить в «Жизни Алтая». Самому мне не хочется две, три заметки о здешних делах из состояния белых набросков приводить в приличный порядок. Времени жаль. Может быть, и далее буду присылать подобный материал. Желая, чтобы полученный за эти корреспонденции гонорар пошел Вам на булавки.

Обнимаю мою милую, прелестную Маню, хотя и сержусь на то, что не умел написать более убедительное письмо.

Григ[орий] Потанин.

[P.S.] Не унывайте, не убивайте себя отчаянием и страхами, берегите себя для меня. Помните, что Вы мне нужны для моего счастья, потому что без Вас я несчастный человек..

№ 199

*[Около 9-18 января 1911 г.
Томск, Гоголевская, 10]*

7 января здесь похоронили З. К. Головину, прожившую на свете только 25 лет или немного более. Батюшка служивший обедню, в своей речи над ее гробом, говоря о покаянии, привел текст из Евангелия Матвея: «Царство Божие силою берется». Как кстати было напомнить этот текст над гробом Зинаиды Константиновны. Если под царством Божиим разумеешь радость, доставляемую сознанием, что недаром прожил жизнь, что что-то сделал для улучшения человечества, то про покойную можно сказать, что она всеми силами стремилась к этому царствию Божию. К сожалению, ее физические силы не соответствовали благородным стремлениям ее души; тогда Высших женских курсов в Томске, основанию которых попечитель учебного округа не сочувствовал, еще не было. Университет для женщин был закрыт. З.К. Головина поехала в Петербург на курсы Лесгафта, но вскоре доктора выслали ее на родину. Здесь ее захватило освободительное движение. Последствия: суд, тюрьма, высылка из Томска. Условия тю-

ремной жизни, скитания по чужим городам окончательно расшатали ее здоровье; последние годы она провела в борьбе со своими болезнями, и все-таки до конца не переставала думать о наступлении других, светлых условий для русской жизни и о путях к народному счастью.

Уезжавшие в Петербург профессора начинают возвращаться; приехал Курлов, приехал Базанов. Когда они выехали из Томска, городские слухи объяснили вызов их в Петербург намерением министра Кассо предложить им пост попечителя Западно-Сиб[ирского] учебн[ого] округа. Даже говорили о poste товарища министра. Но вот Курлов вернулся, и ни гу-гу о петербургских разговорах. В городе стали думать, что он отказался от петербургских предложений. И в самом деле, что ему за удовольствие сменить кафедру, которую он любит, на должность попечителя. Занимая три года назад должность ректора, он имел удовольствие узнать, какую славу и какие отношения к окружающей среде может создать стояние при современном государств[енном] режиме на ответственном посту. В городе говорили: профессор, истинный ученый, испытавший, мож[ет] б[ыть] и не раз, наслаждение, которое дается человеку научным открытием хотя бы не мирового значения и связанный узами симпатии со своей аудиторией, умеющей ценить знания профессора, променяет ли эту обстановку на сомнительную славу Мусиных-Пушкиных, Зайончковских, Шварцев и Лаврентьевых. Потом пришло газетное известие о съезде правых профессоров в Петербурге, и упразднились все наши провинциальные соображения и догадки. Оказалось, что у г. Кассо никакого намерения назначить в Томск нового попечителя и не было. Да, наконец, из Петербурга сюда пишут, что профессора Курлов и Базанов были вызваны вовсе не министром Кассо, а членом Государственной Думы Крупенским, которому и приписывается даже вся инициатива созыва съезда правых профессоров.

№ 200

*[Около 9–18 января 1911 г.
Томск]*

Милая моя, золотая моя! Моя, моя и – моя! Как я Вас люблю, Маня! Чем бы это доказать, чтоб это не были только слова? Вдохновленный сознанием, что я владею Вашим сердцем и воодушевляемый мыслью, что мне предстоит завидная задача создавать Вашу «тихую пристань, тихое счастье» или помогать Вам, как Вы раз или два выразились, «устраиваться около меня», я мысленно обнимаю

Вас и мне хочется сказать Вам: Успокойтесь! Не мечитесь, как белка в колесе! Не бойтесь будущего! Оно не страшно. Не забывайте, что подле Вас есть верный, преданный друг. Пусть Ваше прошлое горе превратится в тихую элегию, в поэзию прошлого, которая не мешает насладиться радостями грядущего будущего. Пусть она будет вроде руки, благословляющей Вас на жизнь. Простите мне, если прошлое письмо Вы найдете наполненным грустными мечтами, следами разочарования. Я примирился с своей судьбой, приготовился ждать до блаженной весны (конечно, если Вы не измените своего решения в более благоприятном для меня смысле).

Придумываю объяснения, почему Вы не можете подняться с этого постылого места, которое называется Барнаулом, и примираюсь.

Может быть, Вы думаете, что поездка сейчас в Томск противоречила бы завещанию Вашей мамы? Она мне говорила (то же, вероятно, говорила и Вам): «Пусть Маня поедет с Вами в Алтай. Я примирилась с этим. Может быть, у Вас там что-нибудь выйдет».

Или, может быть, Вас пугает, что на первый раз попадете в Томске в комнату, в которой, кроме тепла от печки, другого не найдете, и Вы находите лучшим посидеть до весны в барнаульском холоде, чтобы потом сразу в теплую, теплую шубку.

Не тоскуйте, не плачьте, не расшатывайте своих нервов, не портите глаза.

Иногда мне рисуется, что Ваша мама смотрит на меня из своего нереального мира. Она видит мою любовь к Вам (видит так хорошо, полно, как не в состоянии была видеть реальными глазами) и одобряет меня, благодарит и благословляет. И такие представления действительно ободряют меня. Я рвусь отличиться перед ней своей преданностью Вам.

Елиз[авета] Митр[офановна] получила письмо от В.Н. Реутовской; В.Н. очень жалеет Вас: «Как она, бедная, переносит горе. Ведь она так любила свою маму».

Вам потому особенно тяжело, что мама не приучила Вас к самостоятельной жизни. Она приучила Вас к беззаботной жизни. Вы всегда имели в ней покровителя, попечителя и советника. Где мне заметить ее? Но все-таки попытаюсь хоть отчасти быть Вашей мамой!

Г. П.[отанин].

[P.S.] Прилагаемые строки исправьте, придайте им литературный порядок и отдайте в «Жизнь». Буду и вперед присылать подобные материалы, т.е. томские новости. Гонорар берите себе. Буду пи-

сать, не применяясь к цензуре. Это уж Вы сами делаете, советуясь с редакцией «Жизни». Получаете ли «Сиб[ирскую] жизнь»? Получили ли 25 рублей? Перечитал сейчас всю пачку Ваших писем нынешней зимы. То и дело встречается фраза: «Как хотела бы, чтоб Вы были сейчас около меня сию минуту». Нетерпеливо Вам хочется видеть меня, но кажется, еще нетерпеливее жду благодетельного свидания. Надеюсь, что не будете бранить меня за то, что я послал Вам денег. Ведь я теперь имею, кажется, право делать это? Мысль, что Вы, может быть, сидите без дров, что Вы мерзнете, что Вы безрезультатно ищите занять денег – бросает меня в дрожь!

№ 201

[Без даты.

*Рукой Потанина подписано:
"Штемп. Б[арнаул], 13 янв. 911"]*

Милый, дорогой друг мой!

Я принесла Вам огорчение своим письмом, но мне самой сделалось так тяжело и больно за Вас, что в догонку за этим письмом я отправила другое. Я надеюсь, что Вы теперь спокойны. Я люблю Вас по-прежнему, безгранично люблю, тоскую о Вас и только и жду Ваших писем, только и живу ими. Настроение у меня, правда, очень тяжелое, но это тоска о маме и непривычка быть без службы, но я стараюсь бороться с этой тоской насколько могу, постараюсь жить мыслью о нашем свидании, надеждой на лучшую жизнь. Только бы не заболеть! Вот самая страшная мысль! Я стараюсь больше гулять, чтобы не быть дома одной, очень тяжело быть одной в почти пустом доме. Есть у нас теперь квартиранты – муж с женой. Его никогда не видим, а с ней нет ничего общего, совсем неразвитая особа, ничего не читает, ничем не интересуется. Были еще в одной комнате квартиранты, тоже муж с женой, но вчера они съехали, не стали жить из-за собаки: не могли ее выносить.

Скорее бы шло время! Мне кажется, оно так медленно тянется!.. Подала я прошение в окружной суд, но не надеюсь на успех: множество прошений и кандидатур. Да и вообще очень трудно найти место. Везде полно, да и поступают только благодаря протекции.

Ах, как бы мне хотелось Вас видеть! Еще три с лишним месяца... Ужасно длинный срок! Я не знаю, чем наполнить свое время... Читаю и гуляю, гуляю и читаю... Гулять хорошо для моего здоровья, но чтение быстро утомляет. А работать, шить, напр[имер], не умею, не могу...

Выпросил у меня Курский для "Жизни Алтая" маленькое сатирическое стихотворение "Романс канцеляриста". Оно было написано как-то на службе за писаньем "описей" (скучнейшая и глупейшая работа!). Я немного сожалею, что поддалась его просьбе и отдала эту безделку. Не находите ли Вы, что "Жизнь Алтая" очень скучная газета, очень сухая?

Мучает меня, все-таки тоска, ужасно мучает! И если долго нет от Вас писем, то я изнемогаю от тревоги и напрасного ожидания. Я так же, как и Вы, нетерпеливо жду почты, и если она не приносит весточки от дорогого и милого друга, то я чувствую разочарование, и жизнь кажется мрачной, мрачной!

Милый, голубчик мой! Когда же наконец мы будем вместе! Будем делить радость и горе, успокаивать друг друга и помогать друг другу в труде.

Обнимаю Вас...

Маня.

P.S. Сию минуту получила №№ "Сибирской жизни" за н[ынешний] г[од]. Благодарю, благодарю!

№ 202

*19 янв[аря] 1911 г.
[Томск], Гоголевская, 10*

Подобно Вам, милая Маня, и я боюсь только одного, как бы до весны Вы не заболели. Но признаки, слава Богу, все утешительные, дающие повод установить благоприятный прогноз. Вы заботитесь о своем здоровье и поставили за правило как можно более гулять. Если начали заботиться о здоровье, следовательно, господствовавшее доселе отрешение от жизни начинает ослабевать. Появляется желание жить. Это искание службы, заработка тоже добрый признак, хотя я одобряю только поиски, желание найти службу, но поступлению на службу не симпатизирую. Наконец, Вы написали стихотворение. Все, все показывает, что Вы противитесь жить, опустив руки, Вы тянетесь к работе, деятельности, к жизни, к здоровью.

А все-таки, не лучше ли бы Вам, не дожидаясь весны, ехать сюда. Как Вы будете еще 3½ месяца бороться со своим удрученным состоянием, бороться одна, без посторонней помощи? В прошлую зиму была мама, была Меллер. А теперь Вы одна. А здесь Ваше сердце очутилось бы окруженным другими любящими сердцами, среди которых одно так переполнено любовью к Вам, так распираемо этой

любовью, что сделалось как бочка. Это сердце – летопись любви к Вам Вашего верного друга; на стенках его написаны копии со всех его писем к Вам, на нем отпечатаны все Ваши письма. Тут и дифирамбы к Вам! Тут и Ваши выговоры, нарванные уши и друг[ие] дисциплинарные меры против вернейшего друга.

Маня, божок мой! Как я Вас люблю! Как мне хочется жить с Вами. Вот я написал статью (это я мечтаю о будущем), прочел Вам; Вы настаиваете на поправке, я сержусь на Вас (человеческая черта), потому что Вы оказываетесь остроумнее меня (Вы ведь остроумная! Помните, как Вы посадили в калошу о[тца] Беликова, богослова?). И тем не менее я усваиваю Вашу мысль своему произведению. Или, вот мы вернулись с концерта, я доволен, что сводил Вас на музыку, что доставил Вам удовольствие, смотрю Вам в глаза и вычитываю там, что Вам музыка продиктовала. И я заставляю Вас изложить Ваше истолкование на бумагу, исправляю, дополняю, или сам излагаю и бегу в редакцию. И т[ак] д[алее]. Неизвестно, где буду кончаться я, где будете Вы кончаться. Взявшись за руки, переплеть наши пальцы, мы пойдем рядом и в один голос будем кричать «Осанна в вышних!» и в один голос будем осыпать проклятиями нечистоплотную музу Арцыбашева, и топтать Пинкертона.

Маня, милый божок мой! Как мне хочется жить с Вами. Подобно Вам я восклицаю: «Когда же наконец мы...» И когда так восклицаю, я чувствую, что в этот момент я очень комичен и похож на оперных артистов, которые топчутся и поют: «Спешим, спешим, скорее, скорее! Бежим немедленно!» Поют и, однако же, остаются на месте.

Я подписался для Вас на «С[ибирскую] ж[изнь]» на 4 месяца по 1 мая.

В прошлом письме я послал Вам материал для пробы. Если Вы найдете для себя удобным переделывать из подобного материала корреспонденции в «Ж[изнь] Алтая», то буду присылать. Фамилию прошу не выставлять.

С нетерпением жду от Вас известия о получении 25 [рублей]. Кстати ли они пришли? Сердитесь или благодарите? Пожалуйста, поблагодарите. Ведь Вас нужно к весне подкармливать, как пчелочку. Мож[ет] б[ыть], 25 маловато? Напишите. Если мой дар будет принят благосклонно, в феврале опять пришлю 25 [рублей].

Старайтесь менее оставаться в одиночестве. Идите в общество, будьте как можно более на людях. Идите в ту милую семью, о которой Вы писали и которой я обязан получением такого славного

письма, которое все было один крик любви. Как можно чаще посещайте эту семью, курорт, эти Рахмановские ключи или озеро Шира в пределах Барнаула.

Обнимаю милую Маню.

Г[ригорий] П[отанин].

№ 203

*[Около 21-23 января 1911 г.
Барнаул]*

Милый друг, я очень тронута Вашей заботой обо мне, о том, что Вы представили себе, как это я буду без денег и прислали мне «подкрепление» в 25 руб[лей]. Не знаю, как Вас благодарить... Мне даже совестно... Когда же и как я с Вами "расплачусь?" Я сказала об этом сестре. Она так гневно на меня обрушилась и говорит: «Как тебе не стыдно брать от чужого человека!» Должно быть я сделала большие глаза, я растерялась от ее крика, но ответила: «Я же не просила, да и какой же он чужой человек, он близкий и родной мне человек». Вот все, что я ей сказала. Может быть, и мама не одобрила бы моих поступков, не знаю... Но для меня гораздо легче обзывать Вас, чем брату, а ведь он родной мне...

Друг мой, я сама так бы хотела быть поскорее с Вами, что и передать не могу; может быть, мне было бы легче, а то у меня такие нестерпимые приступы тоски о маме, что я буквально места не могу найти себе. Куда идти в такие минуты? Брат и сестра сами нуждаются в утешении, а чужие люди по временам только раздражают. Но много причин удерживает меня сейчас от поездки в Томск. Вы пишете, что остановиться можно у Соболевых или Зубашевых. Знаете ли вы, что мои костюмы пришли в страшный упадок, я в последнее время (не только со смерти мамы, но даже с прошлой весны) совершенно о них не заботилась, у меня нет самых необходимых вещей и куда же я такая обтрепанная явлюсь в профессорский дом? Мне будет стыдно прислуги. Надо постепенно сделать все необходимое. Не думайте, что это – моя прихоть или что я хочу роскошничать. Нет, это нужно, и я сделаю все по возможности просто и скромно, а то даже Шура говорит: "Куда же ты поедешь, когда у тебя ничего нет?" Мне неловко в этом признаваться, но должна же я писать Вам правду. Что касается долгов, то их уж не так много. Самые крупные: в одно место должна 18, в другое 15 руб[лей]. Да еще вчера узнала от бывшей сослуживицы, что с меня требуют в Главном Управлении ссуду, которой осталось еще 15 руб[лей] за два месяца январь и фев-

раль. Я не думала, что, уволив меня, начнут требовать ссуду. Разумеется, я уплатила бы ее сполна, если бы дослужила до февраля. А теперь должна буду отдать, иначе взыщут с поручителя, это будет некрасиво, чем виноват он, что меня уволили? Ну и мое начальство хорошо, нечего сказать, само же не дало дослужить до срока уплаты, а ссуду требует! По выходе со службы я получила 24 р[убля] 50 коп[еек] жалованья, 16 р[ублей] наградных и еще 42 р[убля] остатков и 2 р[убля] 30 к[опеек] канцелярских. Из них отдала 10 р[ублей] долгу и 10 руб[лей] за обед и еще за раз[ные] мелочи: стирку белья, молоко и т.д., купила сажень дров в 5 руб[лей]. Фу, скучно перечислять! Ну словом, я не совсем без денег, у меня осталось еще кое-что из того, что Вы давали мне осенью. Но меня ужасала мысль, что только начни тратить, не зарабатывая, – и все живо вылетит. Теперь, получив от Вас, мне легче отдать ссуду. От обеда же я отказалась и ем дома, но обед у нас очень плохой, особенно эти дни, как раз с начала января, не было прислуги и ели один суп-водицу, очень плохо сделанный, да и вообще наш стол всегда мясной, а мясо плохо принимает мой желудок, я уже чувствую недомоганье, и жалко, что пришлось расстаться с простым, но разнообразным столом, который я брала в частном доме, где самой хозяйке запрещено мясо, а потому оно появлялось только изредка и то прекрасно урубленным. Если буду иметь возможность, начну опять столоваться у Васильевых.

Потом, я писала ведь Вам, что для поездки придется заводить зимние вещи, без которых теперь уже можно обойтись, зимы немного остается. Иначе – просто разоренье: надо покупать шаль, валенки и т.д. А дорога? Все ведь это лишний расход. Боже мой! Неужели же в эти три с половиной месяца еще случится что-либо тяжелое?! Заболеете Вы или я? Неужели еще мало страданий! Я уже изнемогаю под их тяжестью... Но я соберу все свои нравственные силы, чтобы быть здоровой, чтобы дожидаться Вас. Хотя трудно... хотя иногда тяжело нестерпимо...

Вам ехать за мной не следует совсем. Простудитесь (вспомните Ваше горло), и я никогда этого себе не прощу. Если бы я решилась ехать, то в середине февраля поедет в Томск Гранский, он поедет в повозке (значит, без перекладки и теплее, чем в кошевке) и по казенной надобности. Но... Вы не знаете, что такое Гранский... это такой ловелас, что с ним ехать, пожалуй, немного жутко...

Ну вот, мой друг, я, кажется, все написала, что хотела. Скучное, прозаическое письмо! Хотите, чтобы я все-таки ехала в феврале? Немного ведь уже остается ждать до мая.

Что же касается места, то кажется, ничего не предвидится. Куда ни сунешься – все занято! В суде мне сказали понаведаться 10 февраля, но – масса прошений! Работы тоже масса, сидят больше 6-ти часов в день, не вставая со стула, не пьют даже чаю. Не под силу уже мне так сидеть, хотя необходимость может заставить.

Милый друг! Не сердитесь, что все раздумываю да откладываю. Если бы не все эти скучные соображения, перелетела бы к Вам сейчас же и сидела бы близко к Вам и у Вас искала бы хоть минуты забвения своей бесконечной печали о милой маме.

Ваша Маня.

№ 204

25 января 1911 г.
[Барнаул]

Дорогой друг!

Разве Вы не получили письма, в котором я Вас "поблагодарила" за присланные 25? Не скрою, что мне было и совестно их получить (я ведь не заработала их) и в то же время приятно, что Вы позаботились обо мне. За присланный материал для газетной статьи тоже благодарю. Я тотчас же принялась за работу. Но, к сожалению, это дело не выгорело, да и в будущем, кажется, нельзя рассчитывать на успех. Я прочла статью в редакции, ее прослушал Шерр (очевидно, он заведует этим делом), похвалил изложение и оставил. Но сказал, что такие корреспонденции редакция может получать бесплатно, т.к. много таких предложений, и что важно иметь такие сообщения прямо с места. Словом, на след[ующий] раз, когда я пришла узнать о результате, то Шерр сказал, что эта вещь напечатана быть не может; главная причина та, что известие запоздало, об этом уже было напечатано в "Сиб[ирской] жизни" и др[угих] газетах, потом, – что надо было выставить хоть один факт из жизни покойной Головиной, указывающий на ее полезную для ближних деятельность, что иначе выходит голословно; относительно Евангельского текста, что он уже приводился в печати, в таком же освещении; на самом же деле речь батюшки по содержанию была несимпатична, он говорил в том смысле, что если человек при жизни не примирился с церковью, то после смерти он не может рассчитывать на прощение и т.д. Относи-

тельно же вызова профессоров Шерр (он только что вернулся из Томска) сказал, что они действительно вызывались с целью предложения предполагаемого томской публикой назначения; еще заметил какую-то неточность относительно Курлова, ну, словом, нашел неудобным для печати, а главная причина все же – сказал – запоздание. Между тем, я на другой же день, по получении от Вас, сделала эту работу и снесла в редакцию. Жаль, что вышло неудачно. Я была бы занята такими работами, да и заработала бы что-нибудь. Хотя я и борюсь с своим удрученным состоянием, но это для меня очень трудно... Бывают целые дни, в которые буквально не нахожу себе места от безысходной тоски... Стараюсь не плакать (берегу глаза), но, кажется, что сердце разрывается на части от муки, от невозможности исправить прошлое, вернуть. 21 января был день именин мамы. Боже, какую пытку я пережила! 23 января - полгода со дня смерти. Были у обедни на горе (кладбище). Все эти заупокойные напевы, вид могилы, засыпанной снегом... Боже, как тяжело!.. Нервы у меня опять разгулялись и начинают управлять мной, а не я ими... Выдержу ли... не знаю! Занятий нет. Читаю и гуляю... Тоска!.. Приходится дома сидеть одной... Иногда Гамлет поднимет вой... Можете представить это положение?! Скорее бы увидиться. Я считаю дни: 6 дней января, 28 февр[аля], 31 марта и 30 апреля. Итого – 95 дней. Но ведь и Вы приедете не 1 мая, значит, еще несколько дней. Долго!

Все-таки написала нов[ое] стих[отворение] "У камина", но, переписывая для печати, пропустила целое четверостишие. И лень было идти снова и добавлять.

Милый, простите за грустное письмо. Нежно обнимаю Вас и благодарю за все, за все!

Маня.

№ 205

27 янв[аря] 1911 г.
[Томск], Гоголевск[ая], 10

Милая, ласковая Маня!

Отвечаю на Ваше «прозаическое письмо». Вы называете его прозаическим, а я прочел его и нашел, что тряпицы тоже имеют свою поэзию. Вы стыдитесь своих бедных тряпочек, стыдно будет перед прислугой. Как это общечеловечно. Все стыдятся, не стыдятся этого только перед любимым человеком. У любимого или любящего не только не мелькнет на лице язвительной складки, но от такого признания разольется в сердце нежное чувство, что со мной и случи-

лось. И так захотелось одевать Маню, что взял бы сам иголку и начал шить горжетки и шемизетки, если б умел шить.

Скучно, однако, канителить о деньгах, а не отвяжешься. Вот Вы меня ужасно обрадовали, назвав меня родным, а все по случаю тех же денег. Назвали родным перед сестрой. Ведь это новое повышение по службе! (или вернее – по любви?). Я почувствовал себя ближе прежнего к моим «высшим сферам», т.е. к Вам. Но зачем тут же сейчас фраза: «Мне даже совестно! Когда же я с Вами расплачусь?» Эти фразы показывают, что Вы еще не так приблизили меня к себе, как еще можно приблизить. Неужели Вы так и не перестанете разбираться, что Ваше, что мое? Можно ли говорить о долге в положении, которое создано между нами? Вы меня любите, значит я Вам должен. А я Вас люблю, Вы мне должны. А кто кому больше таким образом задолжал, как разберешь? Может быть, я Вам так неоплатно задолжал, что все, что делаю, и десятой доли долга не выплачивает.

Ехать ли Вам в феврале? Решение этого вопроса разумнее предоставить Вам, потому что Вы лучше знаете состояние Ваших нервов, выстоят ли они до мая. Я смотрю на Ваше переселение в Томск как на меру, которая оздоровительно подействует на Ваши больные нервы, и потому думаю, что чем ранее Вы оставите Барнаул, тем лучше. Но если выздоровление идет правильно и к маю ожидается значительное их укрепление, можно, пожалуй, возложить упование на природу и подождать мая. Судя по Вашим письмам, Вы становитесь все здоровее. В том виде, при котором я Вас оставил, Вы бы не могли писать такие письма, как те, что я получил в последнее время. В них замечается иногда энергия, а иногда даже игривость. Ах, как бы я желал увидеть Вас такою здоровою, как в то лето, как мы с Вами плыли по Оби на пароходе!

Я Вас не буду ждать сюда 10 февраля; думаю, на основании Вашего письма, что Ваши соображения склонятся в пользу решения не ехать. Но все-таки буду переживать день, в который Вы должны приехать, если сядете в повозку 10 ф[евраля], с большим волнением. А вдруг в половине февраля в Томске! Ведь это какой бы праздник был для меня! Был не уверен, что Вы приедете, или даже был твердо уверен, что Вы не приедете и вдруг Вы приехали. Какая гордость для меня! Ведь этим подтвердилось бы Ваши уверения в письмах, что Вы стремитесь ко мне так же, как я к Вам! С каким благоговением я приму Вас на свою теплую грудь!

Милая, любящая Маня, пишите теперь почаще. Теперь, кажется, Вы можете писать более часто, чем два раза в месяц. Если нет настроения, то хоть открытку в две строки, что здоровы. Десять дней нет от Вас писем, я еще терплю, спокоен; но пройдет 10 дней, затем в течение пяти я начинаю волноваться, но когда 15 дней пройдут и письма нет, я теряю терпение, прихожу в волнение и не могу прогнать мысль, что что-то случилось дурное.

Слава Богу, уже не 3½ месяца, а только 3 месяца ждать. Вы делаете усилие, чтобы протерпеть эти три месяца, и я тоже сделаю. Стисну зубы, сожму кулаки, умерщвлю свои нервы, застыну и буду ждать 1 мая или первого дня навигации. Дорогая, мне нужно непременно излить доброту из своего сердца, а я не хочу излить ее на кого-либо, кроме Вас. Сделался ужасный скаред. С неохотой раскрываю кошелек и вынимаю бумажку. Берегу, хочу побольше сберечь к тому моменту, когда Вы будете подле меня, и мы будем расходовать их вместе.

Обнимаю и целую.

Г[ригорий] Потанин.

[P.S.] Вы сомневаетесь, одобрила ли Ваша мама, что Вы приняли мои деньги. Однако я ведь давал и при маме, и, хотя, может быть, она стеснялась, а все-таки сильно не протестовала, потому что чувствовала, что решение этого вопроса – это прежде всего наше дело, т.е. мое и Ваше. И, кажется, при Вас сказала, когда шел разговор о поездке в Спирино: «Теперь мы можем спокойно ехать. Мы теперь богаты». И улыбнулась при этом. Как мне было приятно это услышать. Как будто меня записали в состав семьи Васильевых!

Но Ваша [мама] все-таки это не Вы. Во всяком случае, она не может быть мне так близка, как Вы. И она чувствовала, а потому я для нее был более чужой, чем Вам. И она чувствовала себя не в праве брать мои деньги. Но ведь как бы в конце концов вышло, если б она осталась на свете, это неизвестно. Если б начали свою жизнь вместе при ее жизни, я думаю, что она вмешалась бы в нашу кассу и стала бы в ней распоряжаться, так как увидела бы, что оба мы непрактичны, а я был бы этому рад. Ведь я и прежде уважал маму моей Мани, а ведь в будущем это уважение только бы росло.

Пожалуйста, пишите подробно, как Вы восстанавливаете свой костюм. Сколько Вы купили чулков, сколько носовых платков, из какого материала, в какую цену. Хотя я не люблю статистики и арифметики, но арифметика из уст Мани для меня звучит, как музыка. И о

чулках, и о ботинках буду с величайшим удовольствием читать. Пишите же, милая, хорошая, безгранично любимая!

№ 206

30 янва[ря] 1911 г.
[Томск], Гоголевская, 10

Дорогая Маня.

Я получил Ваше письмо с изложением распоряжений Шерра и письмо Александры Георгиевны, и вот в моей голове все мои решения перерешились. Я уже приучил себя терпеливо ждать мая, но теперь хочу настаивать, чтоб Вы ехали как можно скорее в Томск. Вы в постоянной тоске, занятия для «Жизни Алтая», по-видимому, будут Вас только раздражать (Шерр здесь составил себе репутацию крайне раздражительного человека), до мая еще далеко, а потому приезжайте в Томск. Я дал письмо Александры Георгиевны прочесть Елизавете Митрофановне, и мы решили звать Вас сюда. На первые дни Вы останетесь у Елизаветы Митрофановны; этот этап нужен для того, чтобы не было большого скачка в перемене обстановки; дом Елиз[аветы] Митрофановны для Вас родной. Затем я уступлю Вам свою комнату, но я буду Вас оставлять только на ночь и только на то время среди дня, когда Вы захотите остаться одни. На ночь я буду уходить на особую квартиру неподалеку, в соседнем квартале, где у меня будет только кровать и постельное белье. Чай пить и утренний, и вечерний и обедать будем вместе, в семье Рязановых. Милая моя, славная, согласитесь, наконец, оставить Барнаул! Я буду по большей части с Вами. Я буду писать свои статьи за одним столиком, Вы за другим. В неделю раза два или даже три будем ходить к Елиз[авете] Митрофановне, будем посещать Веру П[етровну] Соболеву, Ольгу Ал[ександровну] Зубашеву, m-me Вейнберг. Изредка буду провожать Вас на заседания ученых обществ, на концерты и пр[очее]. Милая, снизойдите милостиво на мою просьбу. Мне хочется, чтобы Вы как можно скорее были около меня, чтобы можно было мне осуществлять свои заботы о Вас. Вы не выдержите трех месяцев пытки, и мне придется раскаиваться, что я сразу не встал на решительную почву. Белья шить в Барнауле не нужно, обшиваться будете в Томске. Купите только дорожное теплое платье, причем не скупитесь. Валенки и шуба не лишни будут и в Томске. С Гранским ехать не советую. Он Вас будет раздражать, будете сердиться, а это Вам вредно. Подыщите какого-нибудь спокойного спутника, который в дороге бережно обходился [бы] с Вашими нервами.

Письмо, ответ на мое денежное, получил. Благодарю за то, что не отвергли деньги. В феврале пошлю опять. Нужно, чтоб по крайней мере думы о деньгах не беспокоили бы Вас. А если Вам «совестно», п[отому] ч[то] Вы их «не заработали», то это показывает, что Вы еще меня не вполне признаете «своим». Это значит, что Вы еще не чувствуете своей «власти» надо мной, что Вы моя царица; что если Вы устроите мне страдание, причините боль, и это ничего.

А мне хотелось бы, чтоб Вы чувствовали.

Да нет, Вы и чувствуете свою власть, не правда ли?

Пожалуйста, сейчас же ответьте на это письмо.

Сейчас бегу к Зубашевой поговорить насчет 13 февр[аля], что предпринимается в этот день торжество в честь высшего женск[ого] образования, а потому писание письма к Ал[ександре] Г[еоргие]вне откладываю до вечера. Сейчас опускаю письмо к Вам в ящик, а А[лександр]е Г[еоргиев]не опущу завтра.

Благодарю за нежные объятия и жду, что Вы привезете их сюда.

Г. Потанин.

[P.S.] Как хочется поскорее Вас обнять!

№ 207

*5 февр[аля] 1911 г.
[Томск], Гоголевская, 10*

Сажусь за письменный стол, чтобы наслаждаться, то есть писать письмо Вам, ласковая моя Маня.

Во-первых, срок настал писать, последнее мое письмо к Вам я отправил 31 января. Во-вторых, одно обстоятельство создало вихрь приятных воспоминаний.

В Петербурге, когда я жил на Итальянской, незадолго до Вашего приезда, я познакомился с одной молодой дамой, женой томского приказчика, приехавшей учиться на акушерских курсах. Муж отпустил молоденькую жену в Петербург учиться и высылал ей аккуратно деньги. Этот поступок молодого человека привел меня в восхищение. Дама чрезвычайно экспансивная; чувство в ней не держится в сокровенности, появилось и сейчас же обнаруживается. Понравился ей человек, сейчас бросается к нему на шею и целует, женщина ли это, или мужчина, все равно. Муж должен был знать, что очень рискует и все-таки не встал поперек желанию жены. Много ли таких мужей в сословии, стоящем выше приказничьего мира? Я понял, что судьба избрала меня в опекуны этого союза, и я с доблестью испол-

нил возложенную на меня миссию. Я боялся, чтобы какой-нибудь мошенник не злоупотребил бы необычайной экспансивностью дамы, и надеялся, что уважение к ее мужу, которое я питал и демонстрировал, будет для нее нравственной опорой. Так мы прожили два года. Потом она уехала в Сибирь; муж ее перешел из Томска на службу в Иркутск, и она очутилась в Иркутске. А я тоже очутился в Иркутске и тут познакомился с великодушным ее мужем. Какое наслаждение я испытывал в сознании исполнения своего долга, чистоты своих побуждений.

Она бывала у меня и унесла экземпляр «Песен сибирячки» с надписью Вашей руки. Уезжая из Иркутска, я не имел времени взять мою книжку у нее. Нынешней зимой, т.е. через десять лет, она вернула мне книжку и прислала письмо. На днях я послал ей письмо и благодарил за возвращение книги, очень дорогой для меня по надписи на ней. Можете представить, в каком повышенном состоянии я писал ей письмо. Я еще раз благословил святую роль, которая выпала мне в этом эпизоде.

Книжка лежит теперь на моем столе, и я смотрю и припоминаю один за другим моменты моих встреч с Вами в Петербурге от Вашего первого вторжения в мою квартиру до знаменитой Вашей фразы: «увезите меня!» Как давно было отдано это приказание и как долго не наступало его исполнение. Неужели и в этом мае я не увезу Вас от Гамлета и «гамлетовщины» в долину «тихого счастья»? Какое сомнение! Я мечтаю ни более, ни менее, как привести Вас в давно желанную Вами «тихую пристань». Сумею ли я создать Ваше счастье? Наполнить Вашу жизнь? Сделать ее содержательною, занимательною? Найдете ли Вы во мне неиссякаемую изобретательность? Вечную молодость? И что Вы мне принесете, что готовите?

В «Ж[изни] А[лтая]» видел Ваше стихотворение «Без матери», но «У камина» не нашел. Должно быть, не все номера дошли до меня.

Как я обрадуюсь, когда вновь увижу Вас! Иногда мне делается скучно на земле. Так и захочется, чтоб возле меня очутилось теплое сердце. И так захочется прикурнуться к нему и получить ласку.

Обнимаю Вас! Целую Вас! Снова обнимаю! Снова целую!
Милая моя, нежная, хорошая моя! Просто прелесть!

Г[ригорий] П[отанин].

[P.S.] Вы рветесь ко мне? Ах, как это меня бодрит и волнует!

6 февраля 1911 г.
[Барнаул]

Дорогой друг!

Только собралась ответить на Ваше письмо, как получила другое. Что такое могла написать Шура, что заставило Вас "перерешить все решения"? Боитесь, чтобы я не заболела? Но я пока еще неплохо себя чувствую. Правда, иногда приступы тоски невыносимы, но я стараюсь поддержать здоровье прогулками. Вы смутили меня своим письмом. Перспектива увидеть поскорее Вас и переменить обстановку соблазнительна. Но, с другой стороны, много очень будет хлопот со всем этим и Вам и мне. Вас я стесню, придется Вам всякий вечер перекочевывать на другую квартиру. Лизочку стесню, у ней и так много народу в доме, а тут придется еще для меня уделить место. Ей я, конечно, очень благодарна за предложение остановиться у ней на первое время. Такая она добрая, милая, моя дорогая Лизочка! Трудно мне все-таки подняться. Времени уж немного осталось до мая (положим, два с лишним месяца!). Главное – у меня такая апатия! Надо приняться за то и за другое. Только на днях я унесла несколько пар своих чулок, чтобы их надвязали. И это едва собралась сделать. Надо все-таки хлопотать о многом, даже если и белье шить в Томске. Потом, – с кем ехать? Где найду я такого спутника, какого Вы советуете приискать? Гранский – это все-таки самый подходящий спутник. Ваше письмо взволновало меня и заставило призадуматься. Уехать от всей этой гнетущей обстановки – это так хорошо! Но сколько хлопот, возни... Холод. Дорога до Новониколаевска, говорят, ужасна; из ухаба в ухаб. Но все-таки прежде всего надо позаботиться о разных необходимых вещах. Я примусь за это, постараюсь побороть свою апатию и, если устрою все, что надо и найду попутчика – приеду. Однако, сказать наверно приеду все же не могу. Тоска меня мучает, все валится из рук. Пишу немного, отдаю в «Жизнь Алтая». Отказ Шерра не раздражил, а только опечалил меня немного. А вот дома есть вещи, которые меня раздражают. Я сдерживаюсь и молчу. Боюсь заговорить, чтобы не повредить себе. Решила переносить молча, пока могу.

В некоторых отношениях лучше, что не служу, только – тоска, но головные боли бывают у меня теперь реже, чем в прошлую зиму. Тогда у меня каждый день болела голова, а теперь только тогда, ко-

гда взволнуюсь чем-нибудь. Но для этого достаточно и самого маленького волнения.

Как мне тяжело огорчать Вас отказом! Если бы сейчас я могла сесть и ехать, поверьте, я бы это сделала. А то – того нет, другого, все надо сделать, устроить. Не сердитесь, милый, дорогой! Обнимаю, пока на бумаге. Но время идет, и реальные объятия теперь ближе, чем были раньше.

Любящая Вас Маня.

№ 209

12 февраля 1911 г.

[Барнаул]

Дорогой друг!

Какую радость приносят мне всегда Ваши письма! Как приятно сознание, что есть человек, который любит меня, который постоянно думает обо мне. Где бы я ни была, дома ли, в гостях, на улице, – у меня перед глазами всегда двое самых близких и дорогих для меня людей – Вы и мама. Одной уже нет, другой отсутствует, а я все-таки одна. Я писала уже Вам, что считаю дни, остающиеся до нашей встречи, я хочу, чтобы время летело скорее! Когда ухожу из дома, бываю у кого-нибудь, – мне все-таки легче, хотя очень часто мои мысли далеки от места, где нахожусь, и от людей, которые меня окружают. Особенно часто я нигде не бываю, но чаще всего – у Поповых. Я очень доверчива к людям, мне думается: если я сама не обманываю людей, зачем им меня обманывать? Может быть, я и ошибаюсь, но эта семья кажется мне такой интеллигентной и симпатичной. Особенно сама т-те Попова. Мы встречали ее у нас осенью. Она так ласкова всегда со мной. Вчера она сказала мне: "Я чувствую, что Вам тяжелее всех, что Вы в семье более всех одиноки. Ваши сестра и брат такие практичные, они заняты всякими житейскими мелочами, и это отвлекает их от горя. Вы же совсем другая". Я сказала ей, что это нехорошо, что я не могу отдаваться также практической жизни. А она ответила: "С Вас этого нельзя и требовать. Человек не виноват, что родился таким, а не другим. У Вас свое занятие – ваша поэзия. Это не всем дается. А сколько наслаждения приносит она другим". (Софье Александровне очень нравятся мои стихи). Когда же мы заговорили о маме, я не могла удержать слез, то она встала со стула, подошла ко мне, обняла и начала целовать меня в лицо, в шею, как мамочка... Да, она права! Я страшно одинока, потому-то я

и жду не дождусь Вас! У меня настоящая потребность иметь около себя близкого человека, делиться с ним своим душевным миром. У сестры этой потребности нет. Она замкнута в себе. А брат очень осуждает такую потребность. Вот иногда думаешь поговорить с ними, да так и останешься при желании, знаешь, что или не поймут, или осудят тебя – и идешь к чужим людям, где встречаешь участие и ласку. С[офья] Алекс[андровна] – Ваша союзница. Она все уговаривает меня уехать в Томск. Она говорит: «Для Вас необходимо нужно. Вот увидите, как вы встряхнетесь. Голубчик, Вам нельзя здесь оставаться. Вы все время одна да одна, с своими думами. Все в той же обстановке. Это нехорошо». Но я говорю: «Теперь уж недолго ждать». Я постараюсь владеть собой, я соберу все свое мужество. Всего тяжелее просыпаться по утрам: минутное забвение – сон – окончилось, и возвращаешься к ужасной действительности.

Недавно Гранский дал мне работу. Я взяла. Но потом пожалела. Переписка была ужасно спешная и трудная: масса таблиц и мелких цифр. Я сидела за ней, не вставая с места, два дня и два вечера, часов до 11, 12-ти и переутомилась. Это отозвалось на моих нервах. Больше не буду брать такой спешной работы. Заработала 4 рубля. На третий день пришлось еще считывать ее с посланным от Гранского, что тоже заняло время от начала 11-го до 2-х часов дня. И как раз во время считки получилось Ваше письмо. Вот испытание! Надо читать, а письмо лежит на столе нераспечатанным. Наконец, мы утомились, я и молодой человек, и решили сделать передышку. Этим временем я воспользовалась, чтобы прочесть милое письмо.

Сегодня была в суде. Председатель еще не возвратился. Знаете, откровенно говоря, мне не особенно хочется садиться опять за канцелярский труд. Он для меня вреден, и я согласна с Вами, что вы одобряете только искание, а не поступление на службу. Я, впрочем, немного заработала и без нее. Кроме работы Гранскому получила в редакции «Жизни Алтая» за 4 стихотворения и маленький рассказ в прозе 9 рублей. (Впрочем, это с января по вчерашнее число февраля). Пишу-то я мало. Не пишется как-то... Стихотворение «У камин» переписываю для Вас.

Камин потухает... Как пламя металось,
Как ярко горело оно.
Как наши желанья, искало и рвалось,
Мятежною силой полно...

То резвою змейкой к дровам припадало,
То ввысь подымалось столбом...
Оно согревало, оно освещало
Недолго, но ярко кругом...

(Пропущенное четверостишие)

За пламенем мысль неотступно следила,
Сливаясь с красивой игрой,
И память в минувшие дни уходила,
С тревогой, с безумной тоской...

Камин потухает... Так гаснут желанья,
Бессильные жизнь изменить...
Но вспомним – не вечны тоска и страданья,
И будем бороться и жить!

Быть может, и мы мимолетно осветим
Измученным жизненный путь,
Горячею лаской на ласку ответим,
Согреем усталую грудь...

Камин потухает... Несутся мгновенья
И падают в вечность... Огни
Пылают и гаснут ... как наши стремленья,
Как жизни короткие дни!..

Сначала эту вещицу я написала в прозе. Потом начали складываться в голове рифмованные строки. Я нашла последнюю форму более подходящей к содержанию. Обнимаю Вас и целую. Остается только 2 с лишним месяца.

Маня.

[P.S.] Ваши статьи я всегда прочитываю в "Сибирской жизни". Больше всего мне нравится (давно уже напечатанная) "Фальсификация общественного мнения". Это – прелесть! Шерр просит Вас дать что-нибудь для "Жизни Алтая".

№ 210

*13 февр[аля] 1911 г.
[Томск], Гоголевская, 10*

Милая Маня, еще третьего дня хотел примоститься к письменному столу, чтоб написать Вам письмо, но ни третьего дня, ни вчера

это мне не удалось. Помешали. А вчера почта принесла мне Ваше милое письмо. Прочел и поликовал. Прежде всего, я доволен, что Вы чувствуете себя «неплохо» (понимаю, что это относится к физическому здоровью), что головные боли не бывают каждый день, как в прошлую зиму. Подчиняюсь и решаюсь ждать до мая. Если боюсь чего, так только того, что Вы заболаете. Берегите себя. Не лишите меня счастья, мечтать о котором я привык и которого жду с мучительным нетерпением. Вы обсуждаете свое положение, принимаете меры, избегаете поводов к раздражению, собираетесь взять себя в руки. Полагаюсь на Ваше благоразумие и надеюсь, что Вы победите свою болезненную апатию. Поживем еще, милая Маня, немного на свете; так хорошо на поверхности нашей планеты. Тепло, светло, цветы, поэзия, «песни сибирячки», «тихая пристань» и «реальные объятия». Ей-богу, хорошо, Маня. Ну ее, эту апатию! Она пройдет, непременно пройдет. Вы должны жить; Вы не пустая женщина; у Вас есть большие запросы к жизни, Вы отзывчивы на высокие задачи, Вы женщина с содержанием, и это Вас спасет.

Я тоже мученик апатии, но моя апатия из другого источника. У меня нет Гамлета, а есть изящная, живая и умная хозяйка квартиры, нет стен, глядящих осиротело, а шесть окон, через которые в комнату вливается шесть толстых струй света и радости. Но Ваше отсутствие деморализует, развращает меня. Я обленился, ничего не хочется делать, не тянет к работе. Все откладываю до свидания с Вами. Надо писать, а нет охоты, есть только желание видеть Маню и жить подле Мани. «Сначала успокоение, а потом реформы»; сначала Маня, а потом уже и писанье, и публицистика, и общественная деятельность, и все, что угодно. Ведь как я провожу время? Утром рано приносят «Сиб[ирскую] ж[изнь]». Читаю ее сплошь, без пропусков. Это займет все время до завтрака, после которого бегу в город по делам, иногда места в три, одно после другого. Возвращаюсь к обеду в 4 часа; после обеда сумерки, читать и писать темно, да и нет расположения. От скуки ложусь спать; иногда засыпаю, иногда так поваляюсь. Вечером куда-нибудь на собрание или заседание. Изредка с насильем, «взявши себя в руки» усаживаюсь за писанье в «Сиб[ирскую] ж[изнь]». Но вот, наприм[ер], понедельник газеты нет, что делать? Да и в другое время, наприм[ер], иногда после обеда сон не приходит. А работать лень. И вот в эти минуты мной невольно и неизбежно овладевают мечты о Вас. Начинаю строить фантазии, например, как я приеду в Барнаул; вот я на Пушкинской, в доме. Официальный

поцелуй, ряд разных осведомлений и, наконец, Вы, давно замечая, чего я жду, ведете меня в сад, в закоулочек, с которым у меня связаны многочисленные воспоминания, в котором мы совершали литургию нашей любви. Вот и живу в этом фантастическом мире. На столе бумага и перо, приготовлено все, чтобы писать статью; в другое бы время как было бы интересно исполнить задуманную работу, а тут не хочу; интереснее рисовать картинки – «Маня в саду», «Маня на диване» и т.п. А ведь это все «объятия пока на бумаге». Они разжигают желание создавать все новые и новые картины, и сколько их не строй, они не удовлетворяют. Я думаю, что только реализация этих бумажных представлений создаст хорошую погоду; туман сядет, лазурь прояснится, и станет легко работать. А этот реактив, который произведет в растворе осадок и сделает жидкость прозрачною, – Маня.

Как бы влить в Вас силу, каким бы крепким напитком напоить Вас, чтобы Вы выдержали остающиеся два с половиною месяца? Если Бог будет милостив и даст Вам возможность без дурных инцидентов дожидаться мая, жизнь наша, и Ваша, и моя, обновится. Когда мы устроимся вместе, у меня буден не будет, все семь дней в неделе будут воскресенья, а Вы приобретете во мне не бумажного, как было доселе, а реального друга, к которому будете обращаться во всех жизненных невзгодах. Я люблю представлять себе, как Вы будете обращаться ко мне со своими тайнами. Милый чулок продырявился. Вы идете к своему Пантелеймону-целителю, показываете, и он охотно совершает чудо – отверстия на чулке как не бывало и даже сам чулок – был черный – становится красным; кофточка от многократной стирки потеряла жизнерадостный вид; Вы несете ее мне, я взмахнул в воздухе волшебной бумажкой, и где была смерть, зацвели цветы.

Знаете, Вам покажется странным, что меня тронуло Ваше сообщение, что Вы отнесли два чулка надвязать. На меня и прежде всегда такие мелочи в письмах производили какое-то утешительное, умиротворяющее действие. Тут чувствуешь жизнь, тут пахнет жизнью. Пожалуйста, сообщайте подробно, что Вы заказали, что собираетесь сшить, сколько чулок, сорочек, кофт и тому подобное. Когда мы будем вместе, мы еще побеседуем на тему «о фламандской школы пестром соре». Мне хочется написать апологию болота. О болоте всегда думается, как о мертвечине, о гнили, о затхлом мире. А мне кажется, между болотами есть разные; есть здоровые болота.

Со следующей почтой я переведу Вам на почтовые марки 25 [рублей]. Начните собираться, обшиваться и т. п. Это займет Ваш ум и Ваши руки и ноги и отвлечет Ваши мысли к жизненным темам. Имейте в виду, что каждое Ваше действие в этом направлении доставит удовольствие Вашему томскому другу, потому что все это шаги, ведущие Вас на теплую грудь Вашего друга. Затем подробно, до мелочей описываете это в своих письмах, что Вы вот то-то надвязали, то-то починили, то-то сшили, то-то прикупили; буду читать это с увлечением, как роман Тургенева или как стихи Гейне. Во-первых, этакой отчет увеличит близость между нами. Ведь мы все-таки еще не вплотную близки друг другу. Какая же это близость, когда я еще не знаю, сколько у Вас сорочек, чулок, кофт? Я постоянно замечал, что когда женщина дойдет до известной стадии короткости с мужчиной, она забирает в свое ведение его гардероб, или, по крайней мере, засовывает в него свою руку. Мужчина этого не делает, он собственноручно не шьет для своей подруги, но и для него составляет удовольствие мысленно пришить кружево к ее сорочке. Как я весело ходил за Вами по томским магазинам, когда мы покупали зимнюю шляпу á la воронье гнездо. Мне ужасно хочется доставлять Вам тепло, свет, удовольствия, цветы, музыку и расположение к творчеству стихами. Бог возложил мне на руки маленькую Маню, и я ему благодарен!

Во-вторых, если Вы будете мне описывать, как Вы обшиваетесь и как это обшивание подвигается вперед, для меня май сделается более осязательным, приближение его, дыхание его хотя и с расстояния 2½ месяцев станет ощутительнее.

Я люблю Вас, милая Маня! Очень люблю! Хотя грузно сижу в креслах, но душой, всеми ее силами рвусь к Вам. Как мне захотелось сейчас поцеловать Вас и обнять, вот сейчас поцеловать, сию минуту! Какая Вы славная, добрая! Вы простили мне, или вернее снисходительно взглянули на мои недостатки, мои пороки; простили мою чувственность, мою звериную натуру! Бесконечно добрая и милая! Под моей сатирической внешностью, под ключьями козлиной шерсти Вы своим чутким сердцем нашли что-то, что может Вам нравиться, что Вы можете взять под свое покровительство и эксплуатировать, и, милый и могущественный педагог, Вы кладете свою хорошенькую головку мне на плечо, веря в могучую силу своей души – обуздать мои дурные наклонности.

План мой сделать Вас своим барнаульским отголоском не удался. Ну, подождем мая. Тогда, может быть, это наладится при моем личном свидании с редакцией «Ж[изни] А[лтая]». Затеять переписку по этому поводу не хочется. А между тем, я думаю, что Зверев, Курский и Зобнин должны, рассудив, пожалеть, что Шерр так не дальновиден. Что томские профессоры ездили по приглашению Крупенского, это теперь несомненно. Казанский, одесский академик, опровергает это в своей брошюре, но для меня это опровержение служит лучшим подтверждением. Мне Шерр отказал в корреспондировании (или в доставлении материалов для корреспонденции, что все равно), и что же? Нашла что ли редакция лучшего корреспондента? А есть о чем писать из Томска в Барнаул. Базанова студенты освистали, Розину наговорили целую Белуху горьких истин, очень было стыдно ему выслушать заслуженное поучение от юношей, от детей.

У меня завелись журфиксы (пятницы) для молодых литераторов. Собираются Гребенщиков, Шишков, Корнилов (якут), Крутовский (секретарь «С[ибирской] жизни»), Прохоров (художник, ученик Репина), Анохин (собиратель монгольских и тюркских вокальных мотивов) и Адрианов. На двух вечерах были прочитаны: 1) рассказ Шишкова «В гостях у Боженьки» и 2) «Месь шамана» – рассказ из якутской жизни, написанный якутом Корниловым.

Целую пока на бумаге в ожидании в будущем обещанных «реальных объятий». Еще раз повторяю: Люблю мою бедную, но милую Маню, хорошую, добрую, ласковую! И, Боже мой, какую милую, милую!

Весь Ваш, сильно любящий

Г. Потанин.

[P.S.] Тепло ли Вам, мой милый друг, на моем плече (хотя это только на бумаге)?

№ 211

*18 фев[аля] 1911 г.
[Томск], Гоголевская, 10*

Милая моя, получил Ваше новое письмо, но вчера, в четверг, не имел времени сесть за письменный стол; утром я должен был сходить за Ушайку на блины к одной знакомой модистке, которая еще на той неделе меня пригласила; а вечер провел на танцевальном вечере по приглашению моей Раечки. Сегодня (18 фев[аля]) утром я был не способен писать по случаю каких-то болей в желудке; все утро мог переносить боли только лежа; от обеда отказался, выпил

только два стакана чая, и вот теперь легче; боль все еще чувствуется, но уже не такая, и я могу сидеть, наклонившись над столом.

Я не ждал от Вас так скоро письма и тем более обрадовался, получив его. Значит, Вы теперь получили способность к письменной работе. Это для меня во многих отношениях радостно. Значит, я могу просить Вас, не пугаясь, что заставляю Вас принуждать себя, писать теперь почаще. Скоро начнется ростепель и замедление в почте; придется переживать мучительную пытку разных подозрений, тревожных догадок и пр[очего]; одно спасение – почаще писать. Во вторых, чем чаще буду получать Ваши письма, тем более буду верить, что Ваше здоровье крепнет. На это крепчение указывает и тон Вашего письма, в котором меньше грустных нот, чем в прежних. И стихотворение «У камина» на то же указывает. Оно бодрое, славное. Беру Вас под руку и подхватываю Вашу песнь: «Будем бороться и жить! Быть может, и мы... горячею лаской на ласку ответим, согреем усталую грудь!» Хорошая моя Маня! Как Ваши письма разжигают во мне желание жить. Мне хочется, ах, как хочется жить с Вами, близко, близко! Будем, Маня, жить! Будем входить в интересы друг друга, как материальные, так и духовные и, как я писал Вам в прошлом письме, будем в один голос, вместе ликовать и петь: осанна! И вместе грустить и петь: Ave Maria! Мне это стихотворение очень понравилось; в нем есть искреннее движение. Стихотворение «Без матери» на меня не произвело впечатления; оно написано умом, а не сердцем, и к тому же это повторение мысли стихотворения «Без любви». Приписываю это тому, что Вы написали его еще тогда, когда боль сердца была еще очень остра и когда делиться своим горем с равнодушной публикой не бывает желания, кажется профанацией чувства. Но я думаю, что Вы еще напишете о маме что-нибудь задушевное, когда попадете наконец в «тихую пристань».

Конечно, Вы получили мое открытое письмо на купоне. Как Вам понравилась моя наглость? В одной строчке там написано: «милая М...я!» Сердитесь? Но никак не мог удержаться от этого озорства. Захотелось в подражание Гейне написать на небе: Агнесса, я люблю тебя!

Как подвигаются Ваши сборы? В последнем письме ни слова из этой области. Чулки, конечно, подвязаны, но в каком положении удовлетворение других нужд? Пожалуйста, пишите. Это меня интересует. Это меня успокоит; я буду знать, что Вы собираетесь со мной в Алтай. Мы ведь поедем – не правда ли? – тотчас, как приеду в Барна-

ул, а отсюда я постараюсь выехать с первыми пароходами. Правда, в Алтае еще будет холодно, дождливо, да нам-то что? Будем сидеть в избе, в тепле и в тишине. Неужели Вам со мной будет скучно? Постараюсь быть изобретательным в разговоре. А мне с Вами не будет скучно, если Вы и молчать будете. Да нет, Вы не будете молчать. Я надеюсь найти Вас нынешней весной не такую, какую я нашел Вас весной и осенью 1910 г., а такую, какую видел летом 1909 г. (на «Гуллете»). Конечно, Вы будете досадовать, что нельзя будет сразу же пойти гулять в горы; придется подождать теплых дней. Но Вам нужно как можно скорее, при первой же возможности уехать от Гамлета.

Я счастлив, доволен, удовлетворен, чувствую себя сытым и настроен благодушно. У меня есть Маня, которая рвется ко мне, и я этим счастлив. Может быть, и доживем до радостного свидания и обнимем друг друга. Берегите себя, воздерживайтесь от раздражения, чаще ходите к Поповым. Я рад, что у Вас нашелся этот теплый уголок, и очень доволен, что т-те Попова «моя союзница». До глубины души благодарен ей, что она сочувствует моему плану увезти Вас из Барнаула.

Я думал, что мне не удастся сегодня дописать письмо. Ведь сегодня пятница, ждал гостей – беллетристов, но никто не пришел, кроме Крутовского; он скоро ушел, я остался один и вот кончаю письмо.

Как будто и близко, но в то же время и ох! как далеко до славного мая! Неужели доживем, неужели я буду обнимать Вас, смотреть в Ваши добрые глаза, следить, как набегает улыбка на Ваши губы. Мысленно обнимаю и целую Вас, милая, славная!

Г[ригорий] П[отанин].

№ 212

19 февраля 1911 г.

[Барнаул]

Милый друг!

Я рада Вашим письмам, я благодарна Вам за то, что Вы мне часто пишете. Но когда жизнерадостность звучит в них, когда будущность об руку со мной рисуется в Ваших глазах такой светлой, мне думается: найдет ли он то, что думает найти? Я кажусь Вам содержательной, кажусь здоровой. Относительно первого – не знаю. Относительно второго – это условно. Голова, правда, не болит, но как болит душа!.. Вам кажется, что на "этой планете" и светло, и тепло,

и хорошо. Мне этого не кажется. Я разучилась улыбаться. Что-то умерло во мне со смертью мамы и не воскреснет. Я, как цветок со сломанным стебельком, он уже не поднимет головку. Можно его подвязать, но это будет искусственно. Я думаю, что жизнерадостность не возвратится ко мне никогда. Я довольна бываю не тогда, когда бодрствую, а когда отхожу ко сну: вот, думается, забудусь на несколько часов; ведь в другое время мне не удастся забыться ни на мгновенье. Ужасный гнет лежит на душе, и нет сил сбросить его, эта тоска, как давит она, как мучит! Моя душевная рана не затягивается нисколько; она так же свежа, так же болит, как и раньше, нет, даже сильнее; теперь, с наступлением теплых дней, мне стало еще тяжелее, не знаю, почему это так? А хотелось бы забыться! Как хотелось бы! Может ли вылечить время? Перемена обстановки? Ведь я совсем больна душой... Я хожу, ем, читаю, разговариваю, но все это, как автомат. Ничто не захватывает, не увлекает меня. Даже стихи. Я равнодушно беру номер газеты. Смотрю, нет ли ошибок – и только; меня не радует, как прежде, что мое стих[отворение] напечатано, что оно нравится другим. Я думаю – "мама его не увидит"... Если мне страшно тяжело, я утешаю себя мыслью: "я тоже умру, скорее бы..." Вот видите, какое у меня настроение. С апатией мне бороться ужасно трудно. Эти несколько пар чулок... Мне стоило большого усилия воли собрать их и унести к чулочнице. С меня уже буквально сваливается верхняя черная юбка, я ношу ее больше полугода, не снимая. Подол обился, я подшила и опять ношу, но на ней уже дырочки, она протерлась и расползается; нижняя – тоже износилась. Я и не думаю заказывать себе других. Прежде мне доставляло удовольствие сделать новую юбку, чтобы она была красива, хорошо облегла мою фигуру, а теперь?.. Теперь для меня – тяжелый труд идти к портнице, выбирать фасон, мерить и т. д. Вы говорите – «это жизнь». Значит, во мне нет воли к жизни. Неужели это всегда так будет?..

Вы пишете, что Шерр отказал Вам в корреспондировании. Но ведь я не сказала, что Вы прислали мне материал. Следовательно, редакции осталось неизвестным, кто был корреспондент, а участвовать в газете Вас приглашают. Но газета не интересная. Она плохо идет. «Алтайская» интереснее. Напр[имер], на 19 февраля она дала в добавочном листе характеристики: кн[ягини] Елены Павловны, Радищева, Малютина и Герцена, а «Жизнь Алтая» – ничего подобного. Вы прочтете там мое стих[отворение] на 19-е. В четверостишии:

Он поражен... Он верил и не верил,
Что не во сне свободу увидал,
Что властелин пред ним не лицемерил,
Его душой лукаво не играл.

Пришлось поступиться словом "властелин", опасным, по выражению редактора, в цензурном отношении и заменить его мало выразительными словами: яркий день.

Ну, друг мой, пишите мне чаще, как можно чаще. Читая Ваши письма, я переживаю светлые минуты. Нежно обнимаю Вас. Любящая Вас

Маня.

P.S. Когда я соберусь шить себе то и другое, буду писать Вам, если это доставляет Вам удовольствие. Простите минорный тон моего письма. Может быть, это эгоистично, но мне необходимо делиться своим горем, слишком тяжело нести его одной!

Благодарю Вас за обещанные 25. Благодарю за Ваши заботы обо мне. Шура просила написать Вам, что ответить на Ваше письмо пока не может, у ней спешная работа на службе, и она сидит за ней целые дни.

№ 213

23 февраля 1911 г.
[Барнаул]

Голубчик мой! Я не выходила сегодня из дому, пока не дождалась почтальона: я чувствовала, что он принесет Ваше письмо. Хотела сама писать, но подумала: "Нет, получу, тогда и напишу, может быть, понадобится ответить на что-нибудь". Вы больны? Хотя и пишете, что – лучше, но меня это известие встревожило. Вы должны скорее, скорее написать, как Вы себя чувствуете? Я не успокоюсь до тех пор, пока не узнаю, что Вы совсем, совсем здоровы. А Вы все-таки не бережетесь: не садитесь бы уж за письмо, не наклонялись над столом, раз Вам надо лежать, и только лежание могло успокоить боли. Пишите же поскорее, как себя чувствуете, но пишите правду. 25 получила, очень благодарю. А за содержание открытого письма... подставляйте уши! Разве можно так писать на открытке?! Мне и приятно было читать и в то же время я поражена была Вашей откровенностью, если б можно было забыть, что это – открытка!

Милый друг, Вашей денежной поддержкой Вы избавляете меня от необходимости сидеть в канцелярии. Спасибо... Положим, я была

сегодня в суде, видела председателя. Он так любезен со мной и почти обещал мне место, но... в апреле. Много ли придется тогда прослужить? Впрочем, он сказал: "а может быть и раньше". Сказал, что ему обещана прибавка денежных средств на канцелярию, по рассмотрении этого вопроса в Гос[ударственной] Думе. Первые его слова были, когда он увидел меня: "Я не забыл о вас". Это удивительно: у него такая масса прошений! А может быть, он всем говорит то же самое... как знать. Сказал, что известит меня через Николая Васильева (двоюродного брата). "Значит, Вы мне не отказываете?" – сказала я. "Нет, нет, как только увеличат средства". И спросил, какую работу я хотела бы исполнять. Удивительно! Это – обещание, не правда ли? А между тем секретарь председателя сказал мне накануне, что отказы всем просителям, как мужчинам, так и дамам, "так и сыплются". Я не буду особенно огорчена, если и не поступлю. Вредно мне сидеть, не разгибаясь, целыми часами. Последствия этого сиденья я и теперь чувствую, хотя и не служу, так что перспектива службы не особенно для меня привлекательна.

Относительно стихотворений вполне согласна с Вашим мнением. "У камина" было написано раньше, чем "Без тебя". Последнее меня тоже не удовлетворило. Я не нахожу еще слов для выражения своего горя. Да и найду ли? Слова бессильны и шаблонны. Ни одно из них не выразит того, что чувствую... И верно, что это стихотворение похоже на "Без любви". Я сама так думала. Наши мысли на этот раз совершенно одинаковы.

Друг мой, мое настроение то поднимается, то падает. Иногда до такой степени остра моя тоска, так сильна боль моего горя, что мне буквально хочется кричать, как от сильной, нестерпимой физической боли, тогда я иду на воздух... Становится как будто легче чуть, чуть... Возвращаюсь домой – опять то же... Я плачу, плачу бесконечно безутешными и, увы, бессильными слезами! Ах, скорее бы вырваться! Скорее бы изменить что-нибудь! Боюсь – не выдержу! Ужасно боюсь заболеть... В такие минуты думается: "Скорей бы в Томск. Еще не поздно уехать..." Но тотчас приходит другая мысль: "Много ли уже ждать? Ехать сейчас – это возня. Надо тащить с собой и зимнее, и весеннее платье, а там – опять в Барнаул. Лишняя трата денег... Нет смысла. Надо терпеть..." Но мои нервы не в хорошем состоянии. Тоска ужасная, и все, все раздражает, каждый громкий звук. Вчера сидела в комнате у новой квартирантки. Вскоре встала, чтобы уйти. "Куда вы, останьтесь, посидите. Зачем уходите?"

Мне пришлось сознаться, что я не могла выносить громкого тиканья ее будильника. Она тотчас схватила его и положила на кровать, звук смягчился и... я осталась. После обеда была в гостях. Завели граммофон – я расплакалась. Вот видите... страшно боюсь, чтобы не захворать. Я борюсь, насколько могу, но есть такие вещи, которые мне вредят, против этого уж я ничего не могу сделать... Гамлет, конечно. Потом, вот сегодня утром в 7-м часу (в начале 7-го) я еще крепко спала, вдруг меня разбудил сильный стук, я испугалась и вскочила. Оказывается, Шура распорядилась затоплять рано печи и, вероятно, проходя по коридору, горничная уронила полено. Да и, вообще, она ходит, как медведь. А тут доставала дрова, стучала уличной дверью, которая рядом с моей комнатой. И я больше, конечно, не могла заснуть. Это – мелочь, может быть, но я чувствую себя скверно; не выпалась (это для меня теперь – главное), раздражаюсь на все... Не знаю, что будет дальше. Если это будет повторяться каждый день, или, вообще, часто, то несомненно я заболела. Я уж сказала сегодня Шурке: "Для тебя печи дороже моего здоровья".

За последнее мое письмо к Вам я упрекаю себя. Собственно говоря, не надо писать тогда, когда очень тяжело на душе; настроение невольно целиком выливается на бумагу, а это может Вас огорчить, встревожить. Вот скверно, что у меня апатия. Надо сделать то, другое, а я не могу. Не могу взять себя в руки... Все еще ничего не сделала, кроме чулок... Да, и близко и далеко до мая! Но говорят, пароходы пойдут нынче рано. Говорят, – на Пасхе... Впрочем, рано поедете – пожалуй, простудитесь. Я уже думаю о том, что весенняя распутица внесет беспорядок в нашу переписку. Как это будет досадно. Но я ведь часто пишу, дорогой мой? Не правда ли? Я пишу всякий раз, как только могу взять перо в руки, всякий раз, как только захочется поговорить с Вами.

Целую и обнимаю...

Маня.

[P.S.] Долги понемногу уплачиваю, остается все меньше и меньше. Новых не делаю. Вчера отнесла в уплату десять рублей.

№ 214

27 фев[аля] 1911 г.
[Томск], Гоголевская, 10

Маня, милая, славная! Благодарю Вас за то, что стараетесь сделать нашу переписку правильной, не мешкаете с ответом, хотя это

Вам трудно. Я рассчитывал, что 24 февраля получу от Вас письмо и действительно получил. Оно было послано Вами до получения 25 [рублей]. Но Вы должны еще получить от меня купон при посылке 25 [рублей] и потом еще письмо.

Письмо Ваше грустное-прегрустное. Но Вы, пожалуйста, не смущайтесь, пишите, не задумываясь, что поступаете эгоистично. Такие излияния грусти приносят Вам облегчение – и хорошо. А мне от этого вреда не будет. Ведь я так богат жизнью, так полнокровен, «так одет беспечно» и «так весел бесконечно», что всякое грустное писание перенесу и переварю. Правда, меня смущает вопрос, неужели я так бессилен? Неужели все мои признания, все, что я делаю для Вас и что обещаю сделать, все это бессильно принести Вам облегчение и исцеление? Неужели Вас не заинтересует то, что меня интересует, и Вы не сольете свои интересы с моими? Но эти сомнения мелькнут – и мимо! Я верю в неисчерпаемость жизни, которая клоочет во мне, и верится, что Вы вблизи меня воскреснете. А впрочем, может быть, и вправду во мне не обретается такой целительной силы, которую я в себе предполагаю. Может быть, когда будем вместе, я покажусь Вам скучным-прескучным. Согласен с тем, что в этой терапии в качестве целительной силы был бы более уместным человек, более подходящий по возрасту, в котором было бы побольше крови с молоком, который был бы не только «одет беспечно», но и «как яблочко румян». Но я должен закончить свою миссию. Уезду в Алтай, и там Вы нагуляете и физического здоровья, и душевного спокойствия; может быть, к осени грусть Ваша ослабнет и сменится только ощущением, что Ваш теперешний друг лишний для Вас. Тогда я должен буду уйти. Я сознаю, что я должен так поступить, но поступлю ли так великодушно, не знаю. Ведь во мне много этой животности!

Вот видите, какие и мне приходят грустные мысли на ум.

Автоматическое отношение к миру идей и к литературной работе было и у меня в первое полугодие после смерти моей жены, а может быть, и дольше. И так же, как Вы, я чувствовал, что это от того, что я потерял советника и друга. Как крепостной труд неинтересен для крестьянина, так была неинтересна литературная работа для меня. Я чувствовал, что работаю для прогресса, но необходимость прогресса признаю умом, но не чувствую, как прежде, сердцем. Какая же связь между прогрессом и бывшим моим советником и другом, не пойму. Вы мне написали, что прочитали с удовольствием мою статью о Высших женских курсах. И я чувствую теперь, что автома-

тизм у меня прошел. Надеюсь, что и у Вас пройдет. От этой надежды мне становится теплее и уж не так грустно, как во время первых строк этого письма.

Но оставим эту грустную почву. Окунемся в жизнь! Очень это хорошо, что Вы заговорили об юбках. Как я дошел до этой страницы, я повеселел, разгладил морщины и почувствовал улыбку на лице. Маня, которая мне веет из Ваших писем и которая глядит из рамок на комод, меня не удовлетворяет; я тоскую о реальной Мане. Но реальная Маня еще на расстоянии 2 месяцев, а пока нужно довольствоваться «Маней на бумаге». Но и тут, если заговоришь о чулках и юбках, жизнью более запахнет. «Юбка облегает фигуру», – разве эту фразу Вы не выхватили из самой действительности? На рапирах буду драться с тем, кто будет утверждать, что эта фраза не создана самой жизнью. Пожалуйста, пишите подробно, сколько аршин купили материи, какой, какие оборки, какие кружева, буфы, фижмы, пуговицы, все, все. Я вхожу во вкус так не справедливо опороченного и осмеиваемого «дамского тряпья». Мир, в котором чулки и юбки молчат, скучный мир, мир отвлеченностей, теней, туманов, призраков. Чувствуешь себя не на земле, а на Олимпе, да и не на Олимпе, где болтают пьяненькие боги, а на горе Синае или на Фаворе. Пишите о чулках и юбках, это меня сразу спускает со скучного неба на веселую землю, где тоже живут и танцуют ангелы, которые гораздо интереснее тех, которые юбок не носят. Чем больше Вы будете писать в своих письмах об этих милых тряпочках, тем мне будет лучше, тем более я буду верить, что я не брошен в замогильном мире, а живу на милой земле.

Все, что до сих пор было написано, было написано 24 февраля; тут вдруг я слег в постель, заболело горло, но я вызвал доктора и, пролежав два дня, сегодня встал к письменному столу. Поэтому мне не удалось на Ваше письмо ответить немедленно.

Юбки – это эстетика. Тут самое главное, как «облегает». А вот важны чулки и ботинки. Я простудился потому, что ходил в войлочных калошах без пят, на каблук намерзал лед и это отозвалось на горло. Поэтому советую обратить побольше внимания на обувь. Чулки надвязываются, а ботинки как? Напишите с тою же обстоятельностью и увлекательностью, как о юбках, и о ботинках, перечислите все дырочки и что нужно предпринять. Или что уже предпринято. Хватает ли Вам 25 [рублей]? В половине марта еще пришло.

Обнимаю и целую мою милую Маню.

Г. Потанин.

То была ничтожная, пустячная болезнь, которая на другой же день совершенно прошла, и не следовало бы об ней писать. И не написал бы, если б знал, что это Вас так взволнует. Вторая болезнь, простуда или инфлюенция, посерьезнее, но я сразу же встретил ее с сальпирином во рту и немедленно укротил. Сегодня я уже совершенно бодр, жизнедеятелен и воинствен и пролежал всего только два дня. Лежал и даже лежа принимал гостей. По пятницам балетристы томские устраивают в моей квартире вечера; и в эту последнюю пятницу (это был первый день моей лежки) ко мне пришли гости; Шишков читал свой рассказ «Ванька Хлюст». Шишков чистойшей воды «бытовик». Это отнюдь не модернист, который силится одно сделать – выворотить перед читателем всю свою душу и вне ее мира не видит и не знает. У Шишкова «лица» литератора совсем не видно; его вещи – это равнодушное зеркало, отражающее обыденную жизнь, но зеркало отлично отшлифованное, всякое пятнышко, всякая пушинка видны. Три персонажа: старик-старожил, бродяга В[анька] Хлюст и внучек старика. Эти лица великолепно, выпукло обрисованы: развинченный бродяга, сбившийся с пути, наскокивает на деревенского старика со своими раздирающими его душу вопросами и натывает на твердокаменные правила, установленные деревенской философией. Я живо представлял себе этого деревенского моралиста, хлопчущего около костра в лесу, около котелка с похлебкой, подкладывающего смолья в огонь, и – замечательно – воображение подсовывало мне популярную во всей России, симпатичную фигуру; костер, разожженный в сибирской тайге, освещал предо мной высокую фигуру Льва Толстого.

В субботу и утром, и вечером были гости; утром адвокатура, Головачев и Вологодский, вечером Крутовский и одна дама, и я при даме лежал. Но в воскресенье я уже почти весь день был на ногах, обедал и чай пил в общей компании, а вечером меня посетили супруги Вейнберги и опять Крутовский. В субботу температура у меня была 38, а сегодня 36. Остались только легкий кашель, легкий насморк и почему-то сонливость, которая мешает писать письмо, поэтому пишу отдельными приступами. Сегодня вечером придет Крутовский с петербургскими новостями; он сегодня в 4 часа обедает у Зубашева, который сегодня в ночь должен был приехать. А завтра у

меня в квартире заседание совета Общества изучения Сибири. Болель у меня не прошла окончательно, но спешу Вас известить, что опасного ничего нет. Не тревожьтесь. А как только выйду из дому в город, тотчас напишу.

Уши подставляю с готовностью, но с условием, когда Вы будете их карать, я буду целовать Ваши руки. Повторения, обещаю Вам, не будет; я доволен и одним разом. Теперь опубликовано на весь мир, что я Вас люблю. Я чувствую себя после этого превосходно, как будто я посрамил какого-то врага, ставшего поперек дороги к моему счастью; хожу, как завоеватель. Теперь весь свет знает, что Вы «милая» и что Вы «М...я»!

Пугает меня, что осталось два месяца и Вы боитесь, что не выдержите. Я начинаю упрекать себя, что я не поступил решительнее. Не поехал сам в Барнаул зимой.

Как же быть?

Попробуйте усерднее заняться чулками и юбками. Я больше и больше вхожу во вкус этой материи. У Вас иногда вырывается крик: «Фу, как это скучно!» И я не любил прежде разговоры, почему стоит аршин, но теперь для меня в этом русло жизни. Я люблю жизнь и мне занятно читать о гривенничках, двугривенных или о вершках, миллиметрах и пр[очем]. Ведь весь вопрос – взять себя в руки. С нетерпением буду ждать Ваших писем. «Писем, писем!» – кричит моя душа.

Дописываю письмо сегодня. Завтра, 1 марта, письмо будет опущено в ящик. Обвиваю своими руками Вашу шею.

Г. Потанин.

[P.S.] В половине марта пришлю новые 25 рублей. Я против' опущения в суд.

Меня не бойтесь огорчать своими грустными письмами; конечно, я реагирую на Вашу грусть, но я толстокожий, и мне ничего не делается. Слишком я «одет беспечно». Пожалуйста, пишите, не стесняясь, и в грустную минуту преимущественно. Это облегчит груз Вашей души. А обо мне ведайте, что я жду не дождусь времени, когда буду в состоянии показать Вам, как я Вас люблю. А это все впереди (теперь уже не в далеком «впереди»).

Я думаю, что Ваше настроение изменится, когда Вы увидите перед собой этого отчаянно беспечного буржуа; один вид его заставит Вас сразу догадаться, что Вы стали ногой на прочную, устойчивую каменную плиту, что Вы наконец у «тихой пристани».

Правильным течением нашей переписки я вполне доволен. Но, главным образом, от перерыва пострадаете Вы, поэтому постараюсь чаще писать Вам.

№ 216

*[Март 1911 г.
Барнаул]*

[Приписка к письму от 3 марта, которое, вероятно, не сохранилось].

Так грустно мне посылать Вам это письмо! Хотелось бы написать решительный ответ, но не могу... Сегодня мне вообще ужасно грустно!.. И голова болит... Не знаю, выдержат ли мои нервы? Но я займусь приготовлениями. Если даже не раньше мая увидимся, все-таки пора подумать обо всем, взять себя в руки.

Не сердитесь на меня очень, не огорчайтесь, дорогой мой! Пишите. Как долго нет от Вас писем, то чего-чего я не передумаю, каких только ужасов не представляю себе!

День становится все длиннее, солнышно светит уже по-весеннему... Я живу только Вашими письмами, только надеждой на наше свидание.

Ваша Маня.

№ 217

*5 марта 1911 г.
[Томск], Гоголевская, 10*

Я рассчитываю получить от Вас, дорогая Маня, письмо около 10 марта. Если я возьмусь за перо, чтоб писать Вам, только после получения Вашего письма, для Вас будет длинен срок ждать до 15 марта. Поэтому сегодня 5 марта я сажусь за письмо, которое Вы получите 10-го.

Май приближается, но маем не пахнет. Зима крепится. Из моих окон видна улица, на которой дорога еще нисколько не почернела. И признаков ожидаемой черноты нет. Не тает. А все-таки приходится задумываться и тревожиться. Тревожат разные страхи. Мне нужно сделать две работы, написать статейку об алтайских фотографиях Томашкевича и выставить цитаты в моей работе о Соломоне. Успею ли к 1 мая? Конечно, это меня не задержит, но уезжать, не сделав этих работ, не хочется.

Выезд из заваленного снегами Томска в Барнаул для меня все равно, что возвращение путешественника из полярной экспедиции. Ведь это возвращение в тепло и в жизнь, а я начинаю побаиваться.

Во время моей болезни около меня [была] Антигона, которая ухаживала за мной. Вдруг не нахожу платка возле себя; оказывается, она спровадила [его] в склад грязного белья; слишком грязен! Вдруг куда-то девалось полотенце. То же самое. На книжке обложка грязная. Сволокла и отправила в таз с помоями. На столе всегда у меня валяется тряпочка для вытирания перьев. На ней чернильные пятна, грязь. Опять в таз с помоями. Это было какое-то министерство мероприятий, направленных к установлению чистоты, к оздоровлению воздуха, устранению дурных запахов, одним словом, задача состояла в том, чтоб сделать, чтобы не было заметно, что тут больной человек. Чтобы вид был красивый, здоровый, приятный. Когда она удалялась, я на досуге обдумывал, что источником удаляемых этим министром безобразий являлся я. Я был в своем роде Гамлет. И вот приходил вопрос, не выйдет ли так, что Вы, убегая от Гамлета, попадете к другому «Гамлету»?

Но главный страх – это чтоб Вы не захворали. Помните, в прошлую весну как мы с Вами считали дни до мая, по крайней мере, я. Я знал, вставая с постели, сколько осталось написать писем в Барнаул и сколько получить. Ждали с нетерпением мая, наконец, дождались и – какой сюрприз? Если иначе нас не обидит судьба, это будет для меня необыкновенный праздник. Очень хотелось бы обнять Вас в мае здоровой, по крайней мере, сравнительно, и если не жизнерадостной, не жаждущей даже жизни, то, по крайней мере, не отга́лкивающей жизнь от себя.

Я дни провожу на ногах или у письменного стола, но еще после болезни ни разу не выходил на улицу. И не выйду, пока последний след кашля не пройдет. Буду беречь себя для мая. И Вам советую усиленно беречься. Не очень раздражаться, но и не делать над собой большого насилия. Надо до некоторой степени давать выход главному чувству. А то, если шибко сдерживаться, может случиться нежелательный взрыв.

Не стесняйтесь давать в письмах выход грустным чувствам. Для меня это культурно. Как получу Ваше такое письмо, так чувствую в душе какой-то подъем, желание подвига.

Я иду к Вам навстречу с полной решимостью, потому что вижу в Вас мое счастье. Как Вы? Хотелось бы, чтоб Вы верили, что если Вы

не найдете около меня счастья, то, по крайней мере, удобство, мир и спокойствие.

Целую милую мою Маню и крепко-крепко обнимаю.

Г. Потанин.

№ 218

8 марта 1911 г.

[Томск], Гоголевская, 10

Время, лети скорее!

Из Вашего письма.

Ох, как хорошо получать такие письма, как Ваше последнее. Если б Вы знали, как хорошо-то! Милая, прелестная моя девочка, обнимаю Вас и целую с намерением зацеловать до смерти! Я ждал Вашего письма только 10 марта и вдруг получаю седьмого. Я обрадовался, и как не обрадоваться? Всегда рады бывают неожиданному подарку или письму, а тут еще какое письмо. По комнате разлился аромат Вашей души. Что это за аромат? Я сравнил бы его в реальном мире с ароматом сибирского ириса, «лузика» по-барнаульски. Если Вы слышали этот запах, то Вы признаете за мной способность чувствовать прелесть целомудрия.

Какое удовольствие читать в Вашем письме, что Вы мечтаете о «тихой пристани», именно о пристани, которую я собираюсь устроить для Вас; Вы верите в эту пристань и жаждете поскорее бросить в ней свой якорь. Неужели я Вас обману и не создам Вам «тихой пристани»? Ведь как я желаю это сделать! Где же препятствия? Вы меня однажды предупредили, что я могу обмануться в Вас и не найти в Вас ангела. Я и не отрицаю, что за ангелом, может быть, есть и чертенок, но не даром же я занимался изучением шаманства. Я научился обходиться с чертиками, подкупать и ублажать, умамливать их. Я буду любить чертенка, как и ангелочка!

Благодарю Вас и не знаю, как выразить свой восторг от того, что Вы называете меня «самым близким» к Вам человеком. Я чувствую, что я к Вам самый близкий не только потому, что Вы меня называете таким, но и по Вашим поступкам. С такими жалобами и такими признаниями о своих огорчениях, с какими Вы обращались ко мне, действительно обращаются только к «самому близкому человеку». Ведь все, что между нами произошло, все, чем мы поделились друг с другом, сделало нас «родными» друг другу. У меня тоже нет ни мужчины, ни женщины ближе ко мне, чем Вы. И уйти от Вас? Да никогда!

Это немыслимо! Будем отныне вместе! Будем жить в нашей «тихой пристани» и устраивать ее, я для Вас, Вы для меня. Когда Вы писали свое стихотворение, думали ли Вы, что эти два магических словечка «тихая пристань» положат к Вашим ногам русского глупого путешественника. А я, когда перелистывал Вашу тетрадку впервые, когда стихотворение еще не было в печати, – как только эти два словечка попали мне на глаза, сейчас же испытал на себе их магическое действие. Сейчас же я почувствовал легкий прелестный девственный запах барнаульского «лузика».

Воздерживаться от писания о снедающей Вас тоске не нужно. Не делайте этого. Конечно, я не могу не погрустить, коли Вы грустите, но я вынослив, мои нервы – не Ваши, это ремни. Погрущу, пока читаю Ваше письмо, а потом беспечность и жизнерадостность преодолеют. А для Вас такое излияние полезно. Да и какой же я близкий буду, если Вы будете не говорить мне всего, что у Вас просится вон.

Что же касается до денег, то тут уже совсем вышло не ладно. Вы думаете, что я в дырявых калошах ходил потому, что деньги отослал Вам и сам остался без денег. У меня подкопилось в кармане до 400 р[ублей], и когда Вы упрекаете себя, не на Вас ли лежит вина за мою простуду, мне становится стыдно. Мне стыдно, что, может быть, я мало посылаю Вам. Но я скаредничаю потому, что мне хочется по более привезти в Барнаул. Ведь теперь все мое – Ваше. Не так ли?

Я пришел в восхищение, встретив в Вашем письме слова: «пойду сегодня в магазин». Ведь это, другой скажет, какая скучная проза, а вот подите. Для меня эти слова – чудесная музыка, святая поэзия! Прочитал и мысленно начал помогать Вам идти по Б[ольшой] Тобольской улице в магазин Морозова. Да здравствует нижний лифчик! Да здравствует верхняя черная юбка! Это жизнь, это возрождение! Пожалуйста, напишите, сколько чего купили, по какой цене и какой эффект рассчитываете этими своими новыми оболочками произвести на своего утешенного вполне и опьяненного нежными словами друга, который энергически Вас целует и обнимает.

Г. Потанин.

[P.S.] Еще ни разу не выходил из дому. Вчера думал, что сегодня, 8 марта, выйду к Вейнбергу и на собрание Общества изучения Сибири, но так как погода ветреная, не решился выйти, хотя и чувствую себя совершенно окрепшим. Завтра мне некуда идти, потому просижу дома, но в пятницу непременно выйду на собрание Литерат[урно]-артист[ического] кружка. Будьте спокойны; буду беречь-

ся. Еще бы не беречься. Ведь если не поберегусь, захвораю. Ведь тогда ау! моя милая Маня. Если не разрушится, то отсрочится милое свидание, а я этого, видит небо и знает солнце, не хочу, не хочу!

Очень рад, что эта приписочка дает мне повод еще раз поцеловать милую девочку!

№ 219

12 марта 1911 г.

[Барнаул]

Дорогой друг! На этот раз я немного затянула ответ и отвечаю сразу на два письма. Причина – мое тяжелое настроение, мешающее писать, но не буду о нем рассказывать – сами знаете. Вам лучше, этому я рада. Вы почти здоровы. У нас – весна; дорога почернела давно. Иногда очень тепло, а иногда погода весьма неприветлива; вот эти три дня был такой резкий пронизывающий ветер, такой холод! Приходилось быть на воздухе очень мало. Надоедает холодная длинная зима, иногда мне хочется пожить в теплом климате. Думается, что там и люди мягче, конечно, это – одна фантазия!

Вас мучают разные страхи? Меня тоже. Но я изнервничалась... Думаю, только бы дотянуть до Вашего приезда! Однако Вы, пожалуй, бросите все дела, все неоконченные работы и поспешите ко мне. Нет, Вы кончайте все, чтобы спокойно уехать. К тому же, если выедете рано, можете простудиться. Вы не одобряете поступления в суд; меня тоже несколько не влечет опостылевшая и вредная служба. Ах, как я хочу быть здоровой! Что бы сделать для этого? Не знаю... Я гуляю, стараюсь по возможности не волноваться, но... или обстоятельства складываются так, что все меня волнует, или мои больные нервы реагируют на всякий пустяк, но только я бледнею и худею и раздражаюсь на все... и тоскую, тоскую!..

Отдала сшить верхнюю черную юбку. Юбки носят узенькие, и мне пришлось купить всего 4 с половиной аршина. Но юбка будет выходная (мне не в чем выйти в гости) и надо было положить на нее хоть скромную отделку. Материя стоит 1 р[убль] 10 к[опеек] аршин. (Пишу потому, что Вы просили писать об этом), но она двойной ширины, значит, не очень дорого. Вообще, я стараюсь сделать все как можно экономнее, но работа стоит дорого (3 р[убля] 50 к[опеек]), и я боюсь, что выйдет много денег. Купила на нижнюю юбку черной шерстяной материи. Но, право, друг мой, я думаю, Вам скучно об этом читать. И меня все это мало интересует. Делаю, потому что нужно, потому что не в чем выйти в люди – вот и все. Напишу луч-

ше о том, как мне хочется жить другой жизнью, тихой, спокойной... Как хочется ответить на Вашу любовь глубокой и нежной любовью и устроить жизнь так, чтобы и Вам было спокойно и хорошо. А я боюсь, что я такая непрактичная, не знающая толчков обыденной, прозаической жизни, и Вам будет со мной много хлопот и забот!

Вы простите мне такое короткое письмо, не правда ли? Но у меня нет настроения.

Как Ваше здоровье? Вот это главное. Пишите, совсем ли поправились? Обнимаю Вас, милый, хороший мой!

Маня.

№ 220

18 марта 1911 г.

[Барнаул]

Дорогой друг!

Получила и благодарю. Рада, что Вы здоровы. Как хочу видеть Вас, как хочу! Вы спрашиваете, как я себя веду? Что сказать? Голова не болит, но нервы... Меня все время мучает тоска и страх... всего боюсь... Представьте, вчера получаю записку – зовут на службу в окружной суд. Я удивилась и взволновалась, я не ждала этого. Просилась еще в январе, когда потеряла свою службу, а теперь и не надеялась поступить, да и не желала. Времени остается уже мало до нашего свидания. Я принялась было заниматься тем, чтобы сшить себе все нужное, а тут вдруг – на службу! Однако что делать? Ведь просилась, как же сразу откажусь? Пришлось сегодня идти. А вчера брат позвал гостей, спать легла в два часа, а к 9-ти утра надо быть в суде! Пошла, однако. Не понравилось. Работы масса, по ногам холод, и не позволяют даже пить чай, я не привыкла с девяти и почти до 4-х часов (нельзя уйти, пока не ушел председатель) быть голодом. Ну, словом, не знаю, как быть? Отказаться сразу неловко, а боюсь, как бы, если даже и месяц прослужу, не надорвать последних силенок. Приходило в голову, что и Вы недовольны будете, если поступлю. Увижу – будет не под силу, так откажусь, но надо несколько времени походить. Писала для начала плохо, ошибалась. Меня все время мучает нервный страх.

Милый мой, если бы Вы знали, как я изволновалась! Покоя, покоя хочется мне!.. Почему его нет? Я так хочу здоровья и покоя!.. Видеть Вас поскорее!.. Подле Вас я надеюсь найти покой, милый, хороший, любимый мой!

Пишите поскорее. Крепко обнимаю, целую...

Маня.

19 марта 1911 г.
[Томск], Гоголевская, 10

Милая Маня, вчера получил Ваше второе мартовское письмо, которое Вы писали два дня 12 и 13 марта. Первое мартовское было Вами написано 3 марта. Промежуток 10 дней. Я так и предполагал, что Вы напишете через десять дней, и ждал от Вас письма 17-го, но оно пришло только 18 вследствие, вероятно, испорченной дороги. Хотя я ждал Вашего письма терпеливо и не смущался промедлением, но под конец все-таки начал пугаться и вставать по утрам с постели с чувством приговоренного к казни. Но 18-го я получил все-таки письмо, и как я доволен, весел. Хотя Вы и жалуетесь на отсутствие здоровья, но и то слава Богу, что Вам не хуже. Вы употребляете усилия, чтобы дотянуть до мая. Старайтесь и тянитесь. Вот приеду, положу Вашу головку себе на грудь и Вы поплачете немного о Вашей милой маме, а я буду гладить Вашу головку и целовать Ваше темя. Неужели Вам не будет тепло на моей груди?

Когда Вы получите это мое письмо, до нашего свидания останется один месяц. Настанет чудный день, который я не могу себе представлять без волнения. Я вижу исстрадавшуюся женщину, которая меня нетерпеливо ждет, которая видит во мне свою «тихую пристань», которая ждет меня, чтобы высказать все, что накопело на ее душе.

Вы уговариваете меня не выезжать, не докончив работы. Но одну работу я уже почти кончил: пересмотрел фотографические снимки Алтая Томашкевича, рассортировал их на группы, сделал заметки. Остается только сделать свод заметок, и делу конец. На это потребуется много два дня самой ленивой работы. Другая работа – проверка цитат в статье о Соломоне и снабжение их указанием страниц – работа более кропотливая, но, во-1-х, впереди еще целый месяц, во-2-х, эту работу я буду делать с большим удовольствием, а потому она пойдет скоро, не буду лениться. Нет, я не задержусь в Томске. Очень мне хочется поскорее очутиться в Ваших теплых объятиях!

Одна учительница пишет мне, что из барнаульск[ого] уезда собирается группа учительниц и учениц поехать в Анос. А отсюда собирается туда же группа курсисток, которые намерены заниматься там гербаризированием.

У Агнессы Рудольфовны умерла мать. Семья распалась. Отец уехал к дочери в Новониколаевск жить, а Агнесса Рудольфовна переехала в дом Елизаветы Митрофановны. Она заняла ту дальнюю комнату, где была прежде спальня Елиз[аветы] Митрофановны. Зала будет общая; в ней поставлен рояль, на котором будет упражняться Володя. Я видел осиротевшую Агнессу Рудольфовну. Она переживает острый период сомнений: зачем так много обстановочных вещей, зачем эта привязанность к безделушкам, нужна ли культура? Конечно, это не нормальное настроение. Я видел ее осиротевшей. Всегда она была хорошо одета, но она вышла в какой-то старой черной блузе. Наплевать ей теперь на весь остальной мир. Я думаю, однако, что она скорее овладеет собой, чем Вы, возродится и вернется к нормальной жизни.

Я боялся, что Вы только помажете меня по губам, пообещаете купить материи на лифик и юбку, но обещания не исполните. И очень обрадовался, когда прочитал, что материал действительно куплен и что шьется не только верхняя, но и нижняя юбка. Подробности, которые Вы сообщаете, для меня вовсе не скучны. Они были бы скучны, если б дело шло о юбках женщины, которая меня не интересует. Но ведь это юбки милой для меня женщины. Это особенные юбки. Во-1-х, поддержать юбки любимой женщины для человека, любящего ее, наслаждение. А главное, во-2-х, юбки, чулки, лифик, блузки – все ведь целительные средства, противоядия, средства возрождения, возвращения к деятельной жизни. Ничего так не желаю, как того, чтоб Вы вновь заинтересовались этими благодетельными тряпочками. Дороговизной или большими расходами не смущаетесь. Делаете так, чтоб было красиво, с шиком. Я буду любоваться Вами. Или Вы не желаете пощеголять ради моего удовольствия? Напишите, сколько намерены сделать блузок? И какого цвета – это главное. Вы должны помнить, что я не равнодушен был к Вашим блузкам. Делайте так, чтоб все было готово к моему приезду, чтоб в Барнауле не мешкать. Нужно купить тикку на матрац, сшить мешок, который можно было бы в Аносе набить соломой. Вам придется в Аносе жить спартанкой. А если Вам это невозможно, то куплю Вам по приезду в Барнаул складной, свертывающийся тюфяк.

Пожалуйста, как можно более думайте об этой культурной обстановке. Не думайте, что это все касается только Ваших личных удобств, а потому Вы вправе об этом и не думать совсем. Нет, это касается и меня. Мне хочется, чтобы мне было приятно смотреть на

Маню, чтобы мой взгляд без задоринки скользил по складкам Вашего платья; хочется, чтобы Маня и на других производила чарующее впечатление.

Милая моя, прелестная! Вы хотели бы создать и для меня «тихую пристань». Пожалуйста, милая, устройте! Мне тоже очень хочется «тихой пристани» и именно около Вас. Хорошо было бы мне приютиться около Вашего нежного сердца.

У меня тоже было время сомнений в жизни и культуре. Но вот я ожил. Мне снова захотелось жить для других, работать, создавать около себя полезный труд и деятельную жизнь, плодить и усложнять обстановку, ставить памятники; захотелось жить для Мани и шить юбки и блузки. Я с удовольствием представляю себе аноскую жизнь. Вокруг нас будет молодежь, жизнь будет кипеть, курсистки будут лазать по горам, копать растения, засушивать, определять их по Крылову.

Всю надежду возлагаю на блузки и юбки. Если они вплотную захватят Ваши помыслы, то «тихая пристань» для нас обеспечена. Сначала блузки и юбки, а потом нужно позаботиться об их помещении; комод, гардероб, умывальник, наконец, письменный стол, а на нем нужно поставить чернильницу, пресс-папье, а на стенах повесить несколько картин в золотых рамах.

Потом коллекция книг, Гете и Шиллер и, наконец, потребность собственного творчества. Вон Драверта вдохновила якутская мерзлота (в Якутской области все подземные ключи в оледенелом состоянии), и он написал целый ворох стихотворений, который с следующей почтой Вы получите. Так неужели у Вас не проявится Ваше дарование при виде алтайских красот?

Вы меня не известили еще о получении мартовских 25 [рублей]. При них на купоне несколько строк.

Напишите сколько у Вас свободных денег, которые Вы можете употребить на обшивание; сколько Вы намерены издержать на обшивание? И сколько Вам не хватит? Если не хватит, то в апреле я pošлю Вам больше, чем обыкновенно.

Я совершенно здоров. На вечере Лит[ературно]-арт[истического] кружка сидел скромно, дисциплинированный легким лихорадочным состоянием, думал, что на другой день буду жаловаться на горло, но обошлось благополучно. Шишков великолепно читал свой рассказ; всем понравился. Просидев потом один день дома, я целый день провел на Бульварной, обедал у Вейнбергов, был в университете у

Сапожникова, потом у Елиз[аветы] М[итрофановны], где видел осиротевшую Агн[ессу] Руд[ольфовну], а вечер на заседании совета Об[ществ]а изуч[ения] Сибири. Домой вернулся к 10 час[ам], пешком, и так как был в резиновых калошах, то ноги замерзли. На другой день был совершенно здоров; в среду был на журфиксах у Федоровых (с 9 ч[асов] до 12 $\frac{1}{4}$ ч[аса]), был на дворе пронзительный ветер. Но я ничего. Вчера в пятницу у меня было собрание сибирских беллетристов. Гребенщи[ков] читал свой рассказ «Настасья». Сегодня намечал кое-куда выйти, но захотел написать Вам письмо. Скоро распутица, нужно чаще писать. Смотрю в окна; полотно дороги безукоризненной белизны. Весна медлит, но на душе спокойно – впереди объятия Мани. Как Вы меня любите, как нежны Ваши последние ласки! А я-то как Вас люблю! Обнимаю.

Г[ригорий] П[отанин].

№ 222

25 марта 1911 г.
[Барнаул]

Милый друг! День или два назад, придя со службы, увидела Ваше письмо. Я была в суде уже шесть раз. Утомительно, но время летит незаметно. Нельзя сосредоточиться на своих мыслях ни на минуту, приходится с головой уходить в дело, отдавать ему все внимание, чтобы избежать ошибок. Для себя остается мало времени; пока приедешь домой, пообедаешь, смотришь уже 5-ть час[ов] вечера, а магазины только до 6-ти открыты. Все приходится теперь самой делать, обо всем заботиться. Бывало, советуешься обо всем с мамой, она во всем помогает. Вы не можете себе представить, как я непрактична в жизни. Будет Вам со мной хлопот! Вы хотите, чтобы все было готово к Вашему приезду. Я постараюсь... Хотя я не могу хорошенько сообразить, что да что собственно надо? Юбку мне сшили плохо. Не думайте, что я такая взыскательная: это находят и другие дамы. Я же теперь пока ко всему довольно равнодушна, потому не настаивала на перешивке, а в прежнее время возмущалась бы отсутствием изящества. Милый мой! Вам хотелось бы, чтобы я производила и на других "чарующее" впечатление. Постараюсь для Вас опять полюбить наряды, много помогают они женским чарам! Вы спрашиваете, сколько предполагаю я издержать на обшиванье? Это трудно сообразить вперед. Я очень экономничала до сих пор; вернее сказать, ничего не шила себе из туалетов. Теперь начинаю делать. Выходная юбка го-

това, надо сшить еще простую, для каждого дня, коротенькую. Белье только начала делать. Сшила пока всего одну перемену. Конечно, надо сделать еще, чтобы всего было хотя полдюжины. Купила нарядную белую батистовую блузку к Пасхе, хорошенькую, в прошивках. Стоит недорого – 3 р[убля] 74 к[опейки]. За одну работу берут почти столько. А тут, по крайней мере, не возиться с примеркой. И все-таки у меня есть еще деньги руб[лей] 30 на туалеты. Справлюсь как-нибудь. Не знаю, сколько дадут в суде жалованья, если прослужу месяц. Не определено еще. Да не знаю, смогу ли еще прослужить. Сегодня утром почувствовала упадок сил. Теперь – ничего.

Да, я еще купила себе пару мелких калош, но только тогда, когда суконные продырявились до того, что я пришла из суда домой с мокрыми каблуками, а калоши сохли два дня. Хотела купить черную весеннюю шляпу, но пожалела денег и осталась со старой; она, правда, не траурная – темного цвета бордо, но траур не выражается наружно, в моей душе – самый глубокий траур.

Милый друг! Если бы Вы видели, что представляет из себя наш сад! Он завален песком, развалинами старого флигеля. Брат хочет строить новый. С 5-ти часов утра стучат топоры... Двор завален лесом. Все изменилось... Сломалась прежняя жизнь... Что-то даст новая? Нет для нас с Вами уютного уголка. Везде – рабочие. Везде – неуютно. Что-то будет дальше? Я не знаю, куда девать свои вещи, когда поеду. Ничего не знаю... Но Вы поможете мне разобраться во всем...

Любящая Вас Маня.

[P.S.] Тику на мешок куплю, спрошу у няни сколько надо и отдам ей сшить.

№ 223

*25 марта, вечер [1911 г.
Барнаул]*

Только что опустила письмо в ящик, а между тем хочется еще поговорить с Вами. Была вечером у Васильевых, частью по делу, частью в гостях. Дома тоска невыносимая... Сегодня (праздник) меня особенно мучают приступы тоски. Если можете приехать раньше, то это конечно лучше. Только бы не простудились. Очень мне грустно... Страшно тяжело смотреть и на развалины перед домом, захочу ли я жить? Полюблю ли я когда-нибудь жизнь? Но нет, не надо грустных мыслей. Не надо высказывать их Вам. Счастье, что есть чело-

век, который меня любит, которому не все равно (как всем остальным), что бы со мной ни случилось, – здорова ли я, жива ли даже...

Видеть Вас мне очень хочется... Теперь меня мучает мысль, что Вы будете недовольны моим поступлением в суд. Но ведь не надолго. Брошу все и уеду с Вами...

Ах! Скучно... Скучно!.. Чем бы рассеять тоску?.. Сейчас лягу спать... Забуду на время свое горе. Буду думать о Вас... Надеяться, что новые впечатления притупят боль моего горя.

Милый мой, обнимаю Вас... Скоро ведь увидимся?..

У нас весна... Снег тает... тает... тепло...

Ваша Маня.

№ 224

26 марта 1911 г.

[Томск], Гоголевская, 10

Милая Маня.

Разумеется, я недоволен тем, что Вы поступили на службу. Когда Вы в своих письмах описываете свою тоску, когда в них встречаются такие фразы, как «я бледнею и хуюею», конечно, у меня в сердце барабаны бьют тревогу, но вскоре я говорю себе: вот я приеду в Барнаул, я обогрею мою Маню, утешу, освобожу от гамлетовщины, и станюлюсь спокойнее; и такие письма только углубляют мою любовь, делают ее менее эгоистичной. Но известие о Вашем поступлении на службу пугает меня. Оно демонстрирует передо мной возможность конфликта между судом и Алтаем. Вам надо сначала хорошенько укрепить здоровье, и потом уже можно думать о службе. И меня обижает, что Вы не хотите принять моих предложений, пока не выздоровели, пожить на мои средства. Меня утешает, впрочем, что Вы неохотно пошли на службу. Признаю, что Вам неловко было сразу отказаться; ошибку сделали, что начали проситься на службу. Надеюсь, что Вы не будете долго оставаться и что, как только я явлюсь в Барнаул, Вы будете свободны, чтобы ехать в Алтай.

Впрочем, одна строчка в Вашем письме доставила мне удовольствие. Вы высказываете боязнь, что известие о Вашем поступлении на службу огорчит меня. Тут я почувствовал, что Вы достаточно изучили меня, знаете, какую Вы ценность представляете для меня, знаете мою самую дорогую мечту и знаете, что можете нанести ей смертельный удар. Точно Вы осветили мое сердце рентгеновскими лучами, высмотрели все его уголки и коридоры и знаете, что все они

сплошь наполнены одним содержанием – Маней. Вы верно взвесили меру моей любви.

Вот и у нас дорога почернела. 23 числа резко погода изменилась. Утром было $\frac{1}{2}^{\circ}$ тепла; бегут ручьи. Я получил Ваше письмо 23-го, но удалось засесть за письмо только утром 26-го, когда в доме все еще спят. Я наедине с Вами. Остается один месяц, и это так меня успокаивает, что я становлюсь беспечен и так отдаюсь литературным и общественным занятиям, что иногда тревожит сомнение, не будет ли принято это увлечение за забвение о Мане. Но ведь это усиленное занятие имеет в основе желание ликвидировать томские дела, чтобы к 1 мая быть свободным. Томашкевича кончил. Принялся за «Соломона» и уже 20 страниц просмотрел. Страницы цитированных мест выставил, а всех страниц в моей статье около 300.

Третьего дня моя хозяйка принимала у себя гостей. Я уступил ей свою комнату, но сам был приглашен участвовать. Критиковали последнее произведение Олигера «Праздник весны». Новая утопия о будущем человеческого общества или верите – о будущей человеческой личности. На меня общество это произвело хорошее впечатление. Все это отличные ораторы, хотя и молодые, а главное, эти ораторы смотрят серьезно на свои разговоры, видят в них полезное для них дело, ищут в них уяснения своих сомнений и запросов. Это не то, что речи профессоров в Лит[ературно]-арт[истическом] кружке, которые говорят по вопросу дня, а сами думают о недоконченной диссертации, которая осталась дома на письменном столе.

Вчера у меня была своя «пятница». Гребенщиков читал хорошенький рассказец «Грешник». Этот грешник, деревенский мальчик, совершил ужасное преступление, на катушке на масленице прокатив сверстницу, поповскую дочь Маню, поцеловал ее, как это установлено деревенским обычаем, и хочет смыть свой грех покаянием на духу. Шишков прочел отрывок из деревенской жизни, рисующий превосходно политическое пробуждение деревни после 1905 г[ода].

Получили ли Драверта? На днях пошлю Вам «Киргиза».

Обнимаю и целую! Чувствую, как эти финальные слова бледнеют ввиду приблизившихся реальных объятий!

Г[ригорий] П[отанин].

№ 225

31 марта 1911 г.
[Барнаул]

Дорогой друг!

Все эти дни собираюсь написать Вам, но то то помешает, то другое. Теперь дни летят незаметно. На службе масса работы. Сидишь

там с 9 до 4-х, потом – обед, потом или к нам зайдет кто-нибудь, или самой надо пойти по делу, а там – вечер; вечером же мне трудно писать: ужасно устают глаза от письменной работы, которая идет с утра без перерыва больше 6-ти часов. Работа пока довольно разнообразная, каждый день приходится делать что-нибудь новое. Я чувствую себя ничего, только сильно утомляюсь, но утешаю себя мыслью, что это недолго продлится, я не могла бы так усиленно заниматься долго: не хватило бы здоровья.

Почта не ходит, нет ни писем от Вас, ни "Сиб[ирской] жизни". Я беспокоилась бы, если бы приходила только газета и не было бы писем от Вас. Но нет газеты – значит нет почты.

Получила Драверта. Благодарю. Стихи недурны, но я не понимаю, как можно воспевать "мерзлоту", моя поэзия застывает от холода, ей нужно тепло и солнечный свет и ласка. Теперь пока мой литературный труд в загоне. Есть у меня кусочек прозы, но некогда даже снести его в редакцию, так как она открыта с 10 до часу, а я в это время строчу повестки, протоколы, определения и т[ак] далее. Но все это не долго, не долго! Я рада, что в будущем для меня служба не обязательна, я мечтаю о том, чтобы отдаться литературному труду, это без сравнения интереснее! Мы будем вместе работать.

Скоро увидимся. До свидания, милый, хороший мой друг! Когда-то дойдет до Вас это письмо? Пожалуй, будете беспокоиться, если оно долго протащится до Томска, а раньше никак не удалось написать.

Обнимаю. Маня.

№ 226

3 апреля 1911 г.

[Томск], Гоголевская, 10

Как Вы меня любите и как я верю Вам, милая моя девочка, Вы уже теперь не такая хорошенькая, цветущая, как несколько лет назад, как на Вашей петербургской карточке, но я эту устарелую, пострадавшую Маню люблю теперь так, как никогда не любил прежнюю прехорошенькую Маню. Превжняя никогда мне не писала таких милых писем, как, например, эти два последние благовещенские письма. Да и как не верить? Тут такие слова, которые вылетают из уст только любящего друга. «Как хочу Вас видеть, как хочу!» Я нет, нет, да и выну из ящика письменного стола письмо, где эти слова, смотрю на них подолгу и, вероятно, бессмысленным взором, потому

что в это время все мое внимание обращено внутрь меня, сосредоточено на том, что происходит в моем польщенном сердце, где шевелится что-то приятное, и радость, и гордость. Я смотрю на эти слова и думаю, ведь это то же самое желание, которое и меня обуревает, и мне завидно, что я не сумел его так сильно выразить, как это у Вас вышло. И я хочу Вас видеть, стихийно хочу, но скажу, у меня так не выходит, а у Вас и просто сказано, а сколько чувства чувствуется. Да это и естественно, Вы ведь поэт. А у Вас еще иногда в письмах замечается сомнение, можете ли Вы доставить своему другу счастье? Счастье, которое Вы ему принесете, можно измерять только тоннами, как вместимость кораблей. Что я за счастливец в мире – меня любит поэтесса. Друг мой щедро обливает меня своим чувством. Милая, милая! Поскорее бы в Барнаул, обнять Вас, прижать к своему сердцу и застыть! Нет, «застыть» не дает понятия о мере любви. Хотелось бы распахнуть свое сердце, развить его в широкую панораму, чтобы все его тайники были открыты и чтобы Вы смотрели и видели, как оно сплошь занято любовью к Вам.

Со службой Вашей в Суде примиряюсь под двумя условиями. 1 – Вы не должны обременять себя через силу, до упадка сил, не нужно утомляться; 2 – служить не больше месяца. Ваша фраза: «Ведь это ненадолго. Брошу все и уеду с Вами!» совершенно меня успокоила. Верю Вам, что Вы решили доставить мне это счастье, но все-таки одолевает страх, а вдруг какое-нибудь препятствие, – и не удастся начать новую жизнь, новый период наших отношений, период, эпиграфом к которому можно будет поставить эти милые слова из Вашего письма: «Будет Вам со мной хлопот!» Я восчувствовал этот эпиграф, как следует. При поверхностном взгляде эти слова могут быть приняты только за милую кокетливую угрозу, но я догадался, что это программа того остатка моей жизни, которой будет мне предоставлен моей судьбой. Вы возлагаете на меня хлопоты и заботы о милой барнаулочке. Мне бы хотелось сделать так, чтобы Ваша мама с того света смотрела на нашу жизнь, радовалась бы, видя, как за ее непрактичной дочкой ухаживает ее друг, создалась бы, как были неосновательны ее сомнения в этом друге ее дочери, и приятно улыбалась бы в тех случаях, когда ее дочка милостиво журит своего друга за то, что в нужный момент он плохо об ней позаботился; например, не позаботился вовремя надвязать чулки.

Перейдем в мир чулок! Что это за радостный, обладающий светом и теплом мир! Благодарю Вас, милая, что Вы послушно исполняете

мою просьбу писать о юбках и кофтах. На этот раз Ваше письмо обильно этим материалом. Тут и о белой пасхальной блузе, и о белье, и о шляпе, и о калошах, а о юбках даже в двух местах. Вы, пожалуй, не поверите мне, что я перечитал эти строки с интересом. Теперь у меня интерес к этим милым тряпочкам большой. Не сами по себе они привлекают мое внимание; я потому интересуюсь ими, что их будет носить Маня. Ведь только мертвые не нуждаются в чулках и юбках. Интересоваться этими прозаическими вещами, кофтами, башмаками, блузами, тарелками, кастрюлями, – значит жить. Давайте руку! Будем, моя милая, дорогая девочка, жить, будем шить юбки, надвязывать чулки, мыть кофты, починять их, класть заплатки и т.д., и т.д.

«Уютный уголок» разрушился? Надо примириться с тем, что на развалинах старой жизни возникает новая. Не забудем, что «уютность» создается не стенами, а людьми, которые сидят на скамейке между этими стенами. Я думаю, надеюсь, что мы заведем новый уютный уголок! Вы, кажется, сомневаетесь в этом. В Вашем письме встречаются такие слова: «Захочу ли я жить?», «Полюблю ли я когда-нибудь жизнь?». Это убийственно пессимистично. Меня это тревожит. Это значит, что у Вас нет уверенности, чтобы я наполнил Вашу жизнь, чтобы со мной Вам было нескучно. Неужели и в Аносе Вы будете беспрестанно говорить: ах, как скучно! И будете только ждать ночи, чтобы поскорее ткнуться в постель и поскорее заснуть? Но Вы находите счастье в том, что есть человек, который Вас любит, и это поддерживает во мне надежду, что мы будем счастливы.

Томашкевича давно кончил. Третьего дня кончил и работу над «Соломоном», о котором можно выразиться: «прострочил», как говорят швеи. Я выставлял страницы тех цитат, которые вставлены в рукопись. Теперь я совершенно свободен. Я ужасно боялся, что вдруг с берега пронесется свисток, а я не готов. Но теперь я могу спокойно ждать. Задержка может произойти только от моей нерасторопности. Нужно будет решить, куда свалить мою мебель. Нужно будет уложить книги в ящики, распорядиться насчет корреспонденции, которая будет получаться на мое имя на почте, получить пенсию в казначействе, которой накопилось за четыре месяца.

Дороги у нас почернели. Через Томь переходят с опасностью. Ждут, что в конце Страстной [недели] или на Святой река тронется. Постараюсь как можно менее мешкать в Томске. Перед отъездом придется много бегать, а между тем улицы грязны, тропочки еще не протоптаны. Это очень удручает. Прежде, если я шел по тротуару

один, я всегда думал о Вас, теперь думаешь, как бы не провалиться в рыхлый снег или не попасть в воду.

Вы тоже, когда остаетесь наедине, когда идете спать, думаете обо мне. Что же такое Вы обо мне думаете? Какие добродетели мне приписываете? Что же такое от меня Вы ждете? Ах, как бы мне хотелось, чтобы Вы во мне не обманулись, чтобы я оказался именно тем, чем бы хотели Вы, чтобы я был.

У Вас теперь выставка Гуркина, если не ошибаюсь. Может быть, Вы встретитесь с ним? Я уже писал ему, не могу ли я в Аносе поселиться у него. И получил от него письмо, в котором он приглашает меня приехать к нему. Но я не писал ему, что я поеду с Вами.

Пришел гость и прервал мое писанье часа на три, если не более, и ушел только в половине 12-го, так что и я сейчас буду ложиться в постель и стану думать о Вас... Обнимаю милую девочку!

Г. Потанин.

[P.S.] Не знаю, почему-то чернила расплываются и потому почерк письма некрасивый. Целый день шел дождь, может быть в квартире сделалось сыро, оттого?

№ 227

7 апреля 1911 г.
[Барнаул]

Дорогой друг!

Почта не ходит, нет весточки от Вас, но я надеюсь, что Вы здоровы, что все хорошо. Поздравляю Вас с наступающим праздником. Для меня в нын[ешнем] году праздника Пасхи нет... без мамы какой же праздник!

Служу. Чувствую себя ничего. Дела много в суде, и думать о чем-либо постороннем во время занятий положительно нет времени. Пожалуй, хорошо, что я поступила. Надо протянуть эту службу до 1 мая, так как мне выдали жалованье и наградные – 31 р[убль] 32 к[опейки], а потому уйти раньше неловко. Итак, еще 15 дней, потому что со среды пасхальной недели также идут занятия. Думаю, что это письмо Вы еще получите. У нас совсем тепло. На днях, вероятно, пройдет река. Вы писали, что с первыми пароходами приедете, поэтому не знаю, писать ли еще? Не тревожьтесь, если и не будет писем. Я чувствую себя не худо.

Много думаю о Вас, о будущем. Сегодня всю ночь видела Вас во сне. Здоровы ли Вы, милый, дорогой мой? Скорее бы получить от

Вас весточку! Когда я дома, тоска положительно душит меня. Отдохнуть бы от всей муки этой зимы...

Не могу больше писать, не пишется... Обнимаю Вас крепко, крепко...

Маня.

№ 228

*9 апр[еля] 1911 г.
[Томск], Гоголевская, 10*

Милая Маничка!

Тороплюсь душой в Барнаул, крылышки у сердца трепыхаются, а пароход не свистит и ноги мои топчутся на месте. Впрочем, ликвидация томской жизни подвигается. Был у глазного доктора, зрение у меня сильно ослабело, и я подумал, что нужно переменить очки. Пошел к Лобанову. Он выбирал, выбирал очки, оставил меня при старых стеклах. Оказалось, для такого старья, как мои глаза, наука, искусство и техника XX века еще не изобрели очков. Посоветовал только читать газеты и книги с большой лупой. В детстве я видал много таких стариков, лысых, беззубых, отвратительных своею старостью, которые читали газету, держа над нею лупу величиною с шаманский бубен. Они всегда мне были гадки. Я почему-то думал, что это все взяточники или казнокрады, крючкотворы.

Был и у зубного врача. Тут меня посадили на эшафот; справа встал палач-доктор; впереди я вижу урну с целым набором каких-то металлических орудий, вроде орудий пыток, которые ставятся перед входом в китайский ямын. Справа около меня круглое провалище, ваза с темно-вишневым, может быть правильнее – с темно-красными стенками. Я думаю, что палач бросает сюда отрубленную голову. Палач вооружился щипцами и с остервенением вырвал у меня четыре зуба и сказал, что в четверг на Святой [неделе] пытка еще должна продолжиться. Я молча претерпел истязания и ни единым словом не выдал свое революционное сердце. Я ушел, оставив доктора в приятном заблуждении, что мой «Соломон» написан в самом строгом ортодоксальном тоне. На Фоминой [неделе], однако, я буду владеть новым набором зубов и, следовательно, могу сесть на пароход.

Дольше всего меня задержит портной. Я заказал себе новое платье. Ведь как же? Маня будет в хорошенькой пасхальной блузке и в новой юбке. Как я приду к ней в засаленном спортучишке с облуплен-

ными пуговицами? Портной сказал, что платье будет готово только к 22 апреля. И если не запьет, а у него есть тот грех, то 22 апр[еля] дальний срок моего пребывания в Томске.

На руках еще две задачи: устройство общего собрания Общества изучения Сибири с докладом Анохина о шаманстве, но тут главный устроитель Адрианов, а я только помогаю ему. Это будет в начале Фоминой [недели]. Да если что, то я не буду дожидаться, уеду. Это не задержит меня. Другое – устройство вечера Литерат[урно]-артист[ического] кружка. Он предполагается в конце Святой [недели]. Значит, еще менее задержит.

Наконец, вопрос о помещении на лето моего имущества разрешается тоже благополучно. Хозяйка моя оставляет квартиру на лето и следующую зиму за собой, и в квартире оставляет свои вещи. В квартире будет жить ее знакомая. И я свои вещи оставляю в той же квартире, сложив свои книги в ящики. Нужно только купить или сделать ящики. Это сделаю в начале Фоминой [недели].

Вы видите, насколько для моей природы возможно, борюсь со своей неповоротливостью, чтобы выехать из Томска как можно скорее. Меня подстегивает Ваша фраза, чем скорее я приеду, тем лучше. Ведь Вы ждете меня? Ваши письма многими своими местами убедили меня, что Вы ждете меня. Как это весело сознавать, что есть милое существо, которое нетерпеливо тебя ждет. И мне самому ох как хочется бухнуться в Ваши объятия, почувствовать на своей шее обвившиеся руки дорогого друга! Наш «уютный уголок» захламощен. Теряюсь в догадках, куда Вы поведете меня, чтобы там позволить мне доставить себе то маленькое удовольствие, которого я так горячо желаю, нетерпеливо жду. Не скучайте и не тоскуйте, милый друг! Скоро, скоро я буду подле Вас, близко, близко, и мы заживем общей литературной и сердечной жизнью. Приближается конец нашим нереальным объятиям. Вы положите на меня свою головку (это моя любимая мечта, любимое представление), а я буду целовать Вашу шею и Вам будет так тепло, тепло и уютно, а на сердце так будет спокойно. И мы оба будем счастливы! Не правда ли? Не я один буду счастлив, а и Вы будете счастливы! Разве не находите? Ну хоть до известной степени.

Г. Потанин, который Вас очень, очень любит.

[P.S.] Как только откроется на Святой [неделе] почтовая контора, пришлю 25 [рублей] обычные.

№ 229

9 апреля 1911 г.
г. Барнаул

После порядочного перерыва из-за распутицы получила Ваше письмо, милый, дорогой, друг мой! Я так была рада.

Спешу успокоить Вас: не бойтесь конфликта между судом и Алтаем, в суде я не задержусь. Считаю себя обязанной прослужить там до 1-го, но никак не дольше. Плохо, что эта служба отнимает много времени, и я прихожу домой такая усталая, что ни за что не хочется встать. Таким образом, у меня не все готово к поездке, и Вам придется немного пожить в Барнауле. Не хмурьтесь! Я за это лишний раз Вас поцелую. Вы пишете, что я «обижаю» Вас тем, что не хочу принять «предложения пожить пока на Ваши средства». Как «не хочу»? Сколько раз уже я пользовалась Вашей материальной поддержкой, принимая ее с благодарностью. Теперь явилась возможность заработать самой, но, повторяю, я отказалась бы, если бы не вышло некрасиво - просить места и не взять, когда его дали. Не думаю, чтобы уж очень утомили меня эти 15 дней (за вычетом праздников) работы. А потом расстанусь со службой и с Барнаулом. Как хотелось бы забыться, отдохнуть душой!

Вчера нас напугал пожар. Горело здание старой казармы. Хорошо, что ветер был не в нашу сторону, а то не спастись бы нашему дому, тем более, что у нас идет постройка; везде щепки и стружки.

Ну, до свиданья! Обнимаю...

Маня.

№ 230

17 апр[еля] 1911 г.
[Томск], Гоголевская, 10

Милая Маня.

Получил Ваше последнее мартовское и первое апрельское письмо. В них нет слов: скука, тоска, которыми пестрили предыдущие письма. После мартовского письма еще можно было сомневаться в изменении самочувствия; можно было думать, что Вы воздерживаетесь (чего, собственно, вовсе не требовалось). Но апрельское письмо ясно свидетельствует, что служба благотворно подействовала на Вас. Я реагирую на это двояко. В сказках описывается часто картинка: старушка или старичок взглянет налево – засмеется, взглянет направо – заплачет. Вот и я, взгляну на это дело с одной стороны – ра-

дуюсь, что Вы стали ближе к старой норме жизни, ликую, что в Вас проснулся прежний чиновник, бюрократ; с другой стороны взгляну – начинаю трепетать: а ну, да как Вы с головой уйдете в канцелярщину, она покажется ароматичнее долин Алтая; я приеду и опять «здравствуй, – женившись, да не с кем спать». Да нет, думаю, вдохновенная жрица поэзии не может превратиться в «кувшинное рыло». Надеюсь, что как только я приеду в Барнаул, Вы порвете с канцелярией и придете в мои тесные объятия, и мы поедем в Алтай.

Эта Пасха мне показалась длинной-предлинной. Тут надо собираться, а нельзя; магазины закрыты, мастерские не работают. Эта невозможность двинуть вперед сборы в дорогу ужасно меня раздражала. Я сердился на праздник и готов был на рискованные решения. Книги все еще лежат на полках и дразнят меня. Решился рискнуть. Хочу так и оставить их на полках и бежать, и бежать в Барнаул, подобно тому, как раз уже сделал, бросил их в Иркутске, когда убежал от Фарафоновой по направлению к ласковой, милой Мане, к этому нежному существу. Сегодня последний день праздника. Завтра первые будни. Завтра с утра побегу по делам. Деятельность Лит[ературно]-арт[истического] кружка закончилась; третьего дня был последний вечер, очень удачный. Вчера у меня была последняя пятница. Гребеншиков прочел свой рассказ из киргизской жизни. В следующую субботу – последнее собрание Общества изучения Сибири; Анохин читает доклад о шаманских представлениях о мире. Хотелось бы после этого доклада тотчас же сесть на паром.

Хочется идти на пролом, ломать все препятствия, которые на пути в Барнаул ставит мачеха-судьба. А что, если мой портной запьет запоем и задержит меня? Чем чувствительнее эти препоны на пути в Барнаул, тем сильнее жажда быть подле Вас и держать Вашу руку в своей руке. Как хочется ласкать Вас за то, что Вы единственная живущая женщина, которая мне пишет такие полные любви письма, как Ваши последние. Ведь нет другой женщины, которая ждала бы моего приезда с таким нетерпением. Нет другой женщины, которая бы видела меня целую ночь во сне. Мое сердце не терпит пустоты. Оно хочет и ищет любви. Как я благодарен Вам, милая Маня, что Вы влюбились меня в себя. Вы мне создали жизнь. Еду в Барнаул за своим счастьем. Любимый сюжет в сказках – поездка за талисманом, который приносит счастье. Этот талисман представляется иногда в виде драгоценного камня, иногда в виде пера, вроде пера Жар-птицы, иногда в виде печени царя. «Луч солнца», который издалека жжет. Я

еду в Барнаул за сердцем милой Мани, которое грело и пекло меня на моем холодном севере.

Беру в свои тесные объятия вдохновенную жрицу и целую.

Поцелуй – это точка в конце письма. А как не хочется кончать. Любовь не любит точки. Точка поставлена, а хочется еще нагородить кучу нежных выражений и ласковых слов.

Г[ригорий] П[отанин].

[P.S.] Послезавтра узнаю, здоров ли портной, и в среду напишу еще письмо.

№ 231

21 апр[еля] 1911 г.

[Томск], Гоголевская, 10

Новые очки куплены, обе челюсти вставлены, пиджак сшит и принесен. Теперь уже ничто не задерживает, и я назначил отъезд во вторник, 26 апреля (один из пароходов Фуксмана). Значит, через 5 дней в 6-й сажусь на пароход; эти пять дней мне нужны, чтобы сделать кое-какие распоряжения, покупки и пр[очее]. К 1-му мая надеюсь быть в Барнауле, 1-го мая я буду уже целовать Вас и обнимать.

Чувство высокой волной душит мое горло. Хотелось бы писать и писать, но нет времени. Надо бежать и еще обделывать дела. Уж Вы сами, пожалуйста, придумывайте себе всевозможные нежные эпитеты: милая, чудесная, прелестная, очаровательная!

Чувствую себя величайшим счастливецем!

Г. Потанин.

[P.S.] Долго в Барнауле не хочется оставаться. Нельзя ли потопить Ваших швей?

№ 232

24 апр[еля] 1911 г.

[Томск], Гоголевская, 10

Милая Маня.

Я записался на фуксмановский пароход «Владимир», который отходит отсюда 26 апреля во вторник.

Странно, еду за счастьем, а мне что-то грустно. Оттого ли, что книги бросаю на полках, не уложив в ящики; страшно, как бы не растерялись? Оттого ли, что мучит неизвестность, окажусь ли я настоящим Вашим покровителем, умеющим нести и выполнять эту миссию? Или беспокоит вопрос, как встретит мой поступок общест-

венное мнение? Не произойдет ли верненское землетрясение, когда на небе будет написано: «Агнесса, я тебя люблю!»? В этом последнем пункте я, кажется, подошел к истине. То, что я несу Вам, – только сотая, тысячная доля того, что Вы мне даете, что я ожидаю от Вас. Во мне борются эгоизм с голосом, взывающим к справедливости. Хотелось бы равенства в чувстве!

Я волнуюсь. Одно самочувствие сменяется другим. Вдруг грустные мысли внезапно исчезают под наплывом громадной радости. Через шесть дней Вы будете стоять передо мною, живая, реальная!

Милая, милая! Слова недостаточны, только поцелуй может передать, как я Вас люблю, как я Вам благодарен и в каком неоплатном долгу я себя сознаю пред Вами.

Через шесть дней я буду слышать Ваш голос!

Г. Потанин.

№ 233

*27 апр[еля] 1911 г.
[Томск], Гоголевская, 10*

Милая Маня, не знаю, дойдет ли это письмо до Вас хотя бы за два, за три часа до нашего свидания. Контора Фуксмана сначала назначила отход «Владимира» из Томска во вторник, потом перенесла на среду, а затем на четверг в 6 час[ов] вечера, так что я не успею в Барнаул 1-го мая.

Странно! Я любил иногда пускать в ход свое воображение, представлять Вас перед собою, выдумывал разговоры с Вами. Теперь иногда обращаюсь к своему воображению, но оно отказывается работать. Вера в свидание парализовала его. Не могу вызвать Ваш образ. Как будто оно сознает, что оно ничего не стоит пред живой, реальной Маней.

Целую и обнимаю.

Г. Потанин.

№ 234

*8 мая 1912 г.
[Томск]*

Милая Маня.

Живу пока без особенной тревоги; чувствую только некоторую убыль в жизни. Значительно уменьшилось содержание жизни, которым твое присутствие наполняло нашу квартиру. Надеюсь, что ты благополучно доберешься до Барнаула и сейчас же напишешь мне.

На другой день после твоего отъезда, т.е. 5-го почтальон принес письмо от Шуры и в тот же день меня посетил Вячеслав Петров[ич].

Реутовский, который уже не первую неделю в Томске, но не заходил к нам потому, что у него разболелись зубы. Он проживет здесь еще с месяц, а может быть и два, и надеется увидеть тебя. Очень хвалит твой гладкий стиль, говорит, приятно читать. Этот отзыв у меня вызвал новую теорию о влиянии сухого сибирского климата на выработку ласкового ритма и грациозной эквилибристики фразы (Ее ль слова, еще ли чьи?). Ср[авни] Вяткин, у которого тоже безукоризненная версификация, и Тачалов, глухой, а какой изобретатель ритма.

5 мая у меня собрались Шишков и коммуна полностью; 6-го я был на заседании редакционной комиссии по сборнику «Город Томск», и оттуда ко мне зашли Крутовский, Адрианов, Шипицын, а потом подошла В. А. Новомберская; просидели до 12 часов ночи. Шипицын рвал и метал против Крутовского за то, что поместил стоны Илиодора, который литераторов называет сволочью, стервятниками, приглашает илиодоровцев бить литераторов в морду и пр[очее].

В. Ал. [Новомберская] подает прошение о разрешении ей издавать в Томске газету «Жизнь Сибири».

Обручев уехал секретно. Только четыре человека изловили его на вокзале. Боголеповы доживают последние дни.

Соболевы (Мих[аил] Ник[олаевич] и Вера Петр[овна]) еще не уехали. Он получает кафедру в Харькове, так что на будущую зиму их не будет в Томске.

Какой разгон людей! Даже страшно становится.

Анна Ильинична сама передала мне, без моего напоминания, 10 р[ублей], остальные два заплатит потом. Сегодня надеюсь уплатить 9 рублей Рукавишникову.

Антигона ничего, не фамильярничает. Таня ставит самовар и варит суп, как умеет, – не важно.

Из фонда 25 рублей получил. Передал наверх 4 р[убля] на дрова.

Передай привет мой Шуре.

Обнимаю тебя крепко, целую и буду ждать письма. Дней через пять напишу новое письмо. Вчера завтракал у Боголеповых, обедал у Зубашевых; сегодня иду к Вейнбергу, а завтра обедаю у Новомберской.

Любящий Г. Потанин.

15 мая 1912 г.

[Томск], Дан[иловский переулк], 9

Вот уже 10 дней, дорогая, как ты уехала, пора бы получить известие, как ты доехала до Барнаула, а между тем письма от тебя нет. Пожалуйста, напиши, как ты ехала, с какими приключениями, и как живешь в Барнауле.

Я здесь по вечерам сильно скучаю без тебя, как до брака. Тоска усугубляется надвигающимися тучами над нашим общественным горизонтом. Мамай произвел настоящее опустошение в здешней интеллигенции. Уезжают отсюда Соболев и Боголепов; по всей вероятности, уедет и Малиновский. Либеральная партия в университетском совете сразу теряет три голоса. Горное отделение института лишилось трех прекрасных профессоров: Обручева, Янишевского и Казанского. Кижнеру приказано подать в отставку – тоже очень хороший человек, прекрасный человек и отличный преподаватель. Из судебного круга должны оставить Томск Гаттенбергер – лучший мировой судья и член суда Шаблиновский. Адрианову придется искать места в другом городе; Ольга Александровна насаждает на мужа, чтобы переезжал в Россию; остается один Сапожников, который уже купил себе земельку на берегу Черн[ого] моря.

Бейлину в Тов[ариществе] печати[ого] дела высказали порицание за то, что не сумел избежать штрафований, и он отказался от редактирования «С[ибирской] ж[изни]» и даже будто бы вышел из пайщиков Тов[арище]ства.

Был у меня Щеглов, приходил прощаться и взять твоего «Арья Бало», но ты мне не оставила ничего. Поэтому мы условились, что он приедет в Крым и доставит свой адрес, и тогда мы вышлем ему «Арья Бало» в Крым. Назад он поедет через Москву и там закажет клише.

Ну, слава Богу, я заплатил Рукавишникову 9 рублей. Теперь осталось только 12 рублей.

Приходил В.И. Анучин; хочет, отправив жену в Красноярск, сам поселиться в одной из их комнат, сдаваемых квартирантам.

Антигона шлет привет. Она вчера была в поле с Верой А. Федоровой и привезла букет полевых цветов. А я вчера (воскресенье) был вечером у М. Е. Вейнберг на собрании курсисток; были Шатилов, Шишков, Аркадина, Титов; Адрианов читал свои статейки о Батенькове, о Бакунине и других.

Хотел бы помочь тебе в обработке «Арья Бало», но тоже, не имея под рукою твоего стихотворения, а главное, не видя тебя самое перед собою, не возбуждаюсь к работе.

Я кончил описание поездки на алтайскую свадьбу и буду просить, чтоб поместили ее до 1 июня, чтоб газета с этой статьей пришла в Чемал, когда там уже будут дачники.

«Томск» неизвестно, когда выйдет. Задерживает Шипицын. У него головные боли. Жалко смотреть на него. Он ходит осторожно, точно голова его сосуд с жидкостью, которую он боится расплескать.

Здорова ли ты? Пиши, пожалуйста, подробно. Привет Александре Георгиевне. Будь здорова, целую и обнимаю.

Г[ригорий] П[отанин].

№ 236

19 мая 1912 г.

[Томск], Даниловский [перулок], 9

Что это, право, Маня, ты не пишешь? Уже 15 дней, как ты из Томска. Неужели письма теряются на почте? Я начинаю серьезно беспокоиться, не заболела ли ты по приезду в Барнаул? Или другое что случилось?

Вчера завтракал у Вячеслава Степановича. Он проживет в Томске, кажется, до половины июля.

Соболев М. Н. уехал в Петербург делать операцию, так как хирург вскоре должен уехать за границу, а В. П. Соболева за ним сейчас ехать не могла, потому что дочери ее должны держать экзамен, которые продолжатся довольно долго. Она осталась в Томске до осени и будет жить не на даче, а в городе, в собственном доме.

Анохин 20 мая уезжает в Алтай и будет жить в Аскате, в 4 верстах ниже Аноса. Он поместил в нашей зале свое пианино и проиграл монгольск[ую] песню, которую мы привыкли называть «Тоской по родине».

Щеглов уже уехал в Крым; 1-го июня уезжают в Крым, в Олеиз – Ек[атерина] Н[иколаевна] Рязанова, О. И. Платонова и Антон[ина] Алекс[андровна] Воронина.

В понедельник, т.е. послезавтра, уезжает в Петербург, а потом в Ригу Надежда Игнатьевна Калнынь. Всев[олод] Мих[айлович] писал ей две открытки, жалуется, что в Красноярске такой холод, что он живет пока в городе, на дачу ехать боится. Вернется не ранее 10 июня.

Пиши же, пожалуйста.

Не целую тебя, потому что не пишешь, а потому превращаешься в мифическое существо, а потому боюсь, как будто поцелую не реальное нечто, а воздух.

Прохоров уехал в Уймон в Алтае 15 мая. В день отъезда заходил ко мне проститься и взять письмо к уймонскому крестьянину Чернову, но не застал меня дома. Я весь день был на Бульварной – обедал у Веры Петровны, заходил к Елиз[авете] Митр[офановне] (не застал ее, видел только сыновей) и обедал у Марьи Евгеньевны.

Скучаю без тебя! Здорова ли ты? Твое молчание беспокоит меня. Не знаю, что подумать. Уж не уехала ли ты к брату на работы?

Твой Г[ригорий] П[отанин].

№ 237

20 мая 1912 г.

[Томск]

Куда ты потерялась, моя милая? Ничего не придумую, чтобы объяснить твое молчание. Посылаю это письмо с Андреем Викторовичем, с которым часто виделся последние дни.

Твой Г. Потанин.

№ 238

29 мая 1912 г.

[Томск], Данилов[ский переулок] 9

Милая! Получил твое письмо, написанное «кровью и соком нервов» и не успел ответить на него, получил второе. Тут влило так много соку нервов, что я в значительной мере пережил и перечувствовал то, что тебе досталось от Томика. Да будет свята память о бедном животном в моем благодарном ему сердце. Томик показал мне твое нежное сердце. Мне было жаль его, но в то же время я испытывал удовольствие от твоих демонстраций чувства, и как я желал, чтобы Томик выздоровел и был бы таким образом вознагражден за его миссию, которую он искупал своими страданиями. Я кое-кому рассказывал о твоем письме, но решил не показывать его. Кое-кто, пожалуй, отнесется к твоему чувству неуважительно. Одно исключение допустил бы – для Веры Петровны.

До получения твоего письма я очень беспокоился о тебе, но вот приехал Курский и сказал, что ты здорова и весела, а потом я получил письмо от Анохина, который в восторге от цветущего сада на Пушкинской улице и от процветающей в нем семьи. Он пишет, что подобно алтайскому богатырю, который в сказках, облагодетельст-

вованный радушным приемом в ханском дворце, удаляется из него с таким бешеным подъемом духа, что проходя через двери, независимо от собственного желания, уносит на своих плечах двери дворца, и он, выскочив, если не из рая, то во всяком случае из цветущего сада, нечаянно унес на себе целый куст сирени.

Я очень рад, что ты здорова и весела, и хотел бы очень, чтобы твой отдых продолжался как можно долее, но не могу скрыть, что это не совпадает с моими интересами. Мне без тебя тоскливо. Утром я выхожу из дому, погода отличная, славословишь солнце, как бога, но вечером настроение меняется. Жить мне уже немного, а ты своей барнаульской поездкой еще более сократила срок нашей жизни вместе, в которой я нахожу свою отраду. Ты соблазняешься поездкой в Алтай, но ведь нет денег, да и «Соломона» начали набирать. Ты говоришь, оставить библиотеку на Анучина. А ведь я страдаю, когда он сидит в столовой. Он беспрестанно вытаскивает то одну, то другую книгу и вновь всовывает. По моей библиотеке, по всей распространился лунный миф о рассечении ее пополам. Каждая книга в ней распалась на две половины. И вот дрожишь – вынул человек одну половину, а куда поставил ее он? Может быть, на сажень от другой половины.

Отчего ты так нерешительно пишешь? Не пишешь определенно, сколько послать денег и к какому сроку. Мне хотелось бы видеть тебя поскорее и перейти к нормальной обстановке. Боюсь, что с Антигоной я скоро вконец соскучусь.

«Соломона» я на другой же день после твоего отъезда понес Зубашеву, но он сказал, что типография занята книгой Сапожникова и какой-то работой Гудкова, но что с 1-го июня машина освободится. И действительно, на днях ко мне прислали за рукописью, и я сдал 40 страниц. Сегодня жду, согласно обещанию, набор в гранках для корректуры.

У меня не взяты деньги за статью в «Справочнике». Я хотел не брать раньше, пока книга не выйдет в продажу. Но завтра постараюсь взять и pošлю тебе рублей двадцать в расчете, что ты приедешь не одна, а привезешь и Шуру.

Целую, крепко целую.

Г. Потанин.

№ 239

22 мая 1913 г.
Томск

Дорогой мой, как-то ты едешь, как себя чувствуешь? Вчера мне не пришлось уехать в деревню, так как никто оттуда за мной не приезжал. Сегодня приехал хозяин квартиры и сказал, что вчера не явился оттого, что в Протопоповой был сильный дождь и даже град. Итак, еду сегодня через час или немного позднее. (Сейчас 9 часов утра). Вчера приходил Маркелович помочь мне уложить вещи на телегу, но так как его помощь не понадобилась, то обещал прийти сегодня. Вчера же была я в редакции «Сиб[ирской] жизни» и просила Алек[сандра] Вас[ильевича] Адрианова получать всю корреспонденцию, адресованную на мое имя. Он обещал. Сказала ему также насчет «Сиб[ирской] жизни», что ты хотел попросить, чтобы я получала ее в летние месяцы. (Ты позабыл ему это сказать?) Он тоже обещал. Подала заявление о перемене своего адреса в Почтовую контору. Получила еще вчера письмо от Шуры. Она пишет, что охотно воспользовалась бы предложением поехать со мной в деревню, если бы оно не запоздало, а теперь уже нельзя, но, может быть, мы увидимся, когда она поедет осенью в Тобольск.

Вот и все новости за вчерашний день. Обо мне, пожалуйста, не беспокойся, я чувствую себя хорошо. Только бы ты был здоров, бодр и спокоен. Слушайся, ради Бога, всех советов Антонины Александровны, если она попросит тебя одеться потеплее, отдохнуть, когда утомишься, и тому подобное. Обещай мне это. Обеим твоим милым спутницам передай мой искренний привет. Тебя, мой хороший, крепко-крепко обнимаю и горячо целую.

Шура просит передать тебе ее привет и пожелание полного успеха в предстоящей работе. Пиши поскорее (но не сам, попроси Ан[тонину] Александровну). Жду весточки!

Павлу Борисовичу и его жене передай мой привет.

Горячо любящая тебя Маня.

№ 240

24 мая 1913 г.
д. Протопопова

Дорогой Григорий Николаевич!

Ты просил написать тебе, после того, как я переночую одну ночь в Протопоповой. Я переночевала здесь две ночи; хозяин квартиры толь-

ко завтра (в субботу) поедет в город и свезет мое письмо. Застанет ли тебя то, которое я послала в Омск? Я писала его в день отъезда (22) и сообщила, что намерена выехать из города через час. Но так не пришлось из-за Танкреда. Несмотря на то, что я не смогла выпустить его из дома и следила за ним насколько могла, он все-таки вырвался и явился только к 4 часам. Пришлось ждать его, а у нас все уже было уложено, даже и воз с багажом. Этот воз пришлось отправить вперед, так как телега, сильно нагруженная, должна была тащиться медленно. В 4 часа тронулись и мы и нагнали свою кладь неподалеку от деревни. Последние дни была плохая погода, хотя и с перерывами, шел дождь, а сегодня хороший день, солнышко светит. Дачников или еще очень мало, или нет, потому что их не видно.

Вчера под вечер приезжал кажется Семен Маркович с кем-то другим и останавливался в доме, который против моей квартиры. Пиши о себе поскорее. Как ты? Здоров ли? Хорошо ли вы едете? Когда-то еще дойдет до меня весточка о тебе?! Только, пожалуйста, не сам пиши. Побереги свое зрение. Мне кажется, что о себе я пока ничего больше не могу сообщить. Я здорова. Природа здесь хороша. Бор великолепный. Когда поживу и осмотрюсь, напишу более подробное письмо. Крепко обнимаю и целую тебя и прошу, передай мой привет Антонине Ал[ександровне] и Екатерине Алек[сандровне], а также Алим хану. Очень прошу их всех хорошенько о тебе заботиться.

Твоя Маня.

№ 241

25 мая 1913 г.
Омск

Милая, дорогая Маня.

Сегодня 25 мая, мы садимся на пароход. Третьего дня мы были на общем собрании; оно было назначено еще до нашего приезда, пришлось ждать этого дня, а потом, т.е. вчера, никакой пароход не уходил по Иртышу; только сегодня уходит в 6 час[ов] вечера.

На собрании устроили мне овации. Публики было много. Пришлось мне несколько слов сказать. Потом один горн[ый] инженер сделал доклад об обледенении южного Алтая в древние времена. В заключение собрания пели дуска[?] (киргизский юридический) и киргизский певец. Последний привел в восторг. Это оказался большой артист. Мне очень захотелось продемонстрировать этого талантливого юношу перед томским обществом.

Мы все трое живем в небольшом доме Павла Борисовича. Я помещаюсь в дальней комнате, которая служит кабинетом домовладельца. Мои дамы спят в зале, через которую единственный выход из моего ночлега.

Откармливают как на убой и еще на дорогу снаряжают, даже вареньем. Мало того, Пав[ел] Бор[исович] надаривает мыла какого-то особого, противокомарного, бумаги, конверты, перьев, хотя я говорю ему, что это все у меня есть.

У П[авла] Б[орисовича] две дамы, Лидия Антоновна и ее мать Клавдия Константиновна, урожденные Разгильдеевы, пресимпатичные старушки. Последняя – 88 лет. Мать и дочь, как две капли воды, одна похожа на другую. Жаль, что нет художника, который бы увековечил их на полотне.

Любящий Г. Потанин

[P.S.] Омский поэт Феоктистов поднес мне книжку своих стихов, напечатанных в Омске. Это первые омские рифмы.

№ 242

8 июня 1913 г.

Аул Былкылдак.

[Письмо написано не рукой Потанина.]

Милая Маня!

Надо же было Второвцам затеять свою забастовку в такое время, когда люди разъезжаются из городов, живут в разлуке и больше чем когда-либо нуждаются в правильном кругообороте писем. Еще в Омске я узнал об аресте А. В. [Адрианова] и потому второе письмо адресовал уже на имя А. Н. Шипицына, который в половине лета, однако, хотел куда-то уехать, а потому мне остается одно – пересылать свои письма в редакцию «С[ибирской] ж[изни]» для передачи Потаниной. Буду надеяться, что члены редакции окажутся в достаточной степени галантными. Два твои письма получил, но не знаю, получила ли ты хоть одно мое.

В Каракалах, в лице Марии Григорьевны Копенко, мы нашли такую же добрую душу, как Лидия Антоновна в Омске; она там на дороге принесла кувшин вкусного молока, бисквитный торт, печенье и миску студени, так что в дальнейшем пути, на стоянках в поле мы не терпели недостатка, а даже пировали. Выхав не рано, в полдень, мы до сумерек ехали по безлюдной степи, потом, когда село солнце, увидели впереди аул. В одном из них живет еврейское семейство и, хотя было бы интересно видеть евреев, возвратившихся на лоно ав-

раамово, но так как отца семейства не было дома, то мы остановились ночевать у киргизов из рода Делоиров. На другой день мы к полудню приехали в аул богатого Сырылбая. Это киргизский буфон, старик 68 лет, почитающий миссией смешить и веселить публику своими шутками и дурачествами. Тут нам был предложен пир и потому мы здесь порядочно-таки задержались. Здесь неожиданно мы нашли проживающего на даче молодого просвещенного киргиза, учителя учительской семинарии в Семипалатинске; он приехал с визитом вместе с женой, его повели в юрту, в которой валялся я, а его жену в другую юрту, в которой угощали и занимали моих спутниц, так что мне не удалось поговорить с образованной киргизкой, увидел я ее только при прощании и очень пожалел, что мало видел ее. В золотых очках, курсистка да и только, или даже молоденькая профессорша. Кроме того, мы тут увидели гимназиста киргиза в мундире и гимназистку – превосходное киргизское личико в ореоле ярко-красной широкополой шляпы. Чудеса двадцатого века!

От этого аула оставалось до Былкылдака двенадцать верст, куда мы доехали в тот же день. Вот мы живем здесь пятый день. Ан[тонина] Алекс[андровна] усердно рисует; увековечила акварелью былкылдаковскую кровать, зарисовывает орнаменты, теперь у ней собрание до двадцати штук. Екатер[ина] А[лександровна] ездит на верблюдах и лошадях, изучает солончаки и собрала уже такой гербарий, что он высовывается из юрты в верхнее дымовое отверстие. Они меня пристыдили – я мечтал показать молодому поколению, как следует трудиться, а между тем все эти пять дней все время валялся на кровати и спал. Впрочем, и у меня записано три сказки: вариант Полифема, вариант бурятской сказки о сестре, воскрешающей убитого брата, и, главное, новый киргизский вариант сказки об Эртюстуке.

Целую, твой Г. Потанин.

№ 243

13 июня 1913 г.

Былкылдак

Несколько дней назад в наш аул приехал г[осподин] Акпаев, образованный киргиз, кончивший курс на юридическом факультете, имеющий здесь большую адвокатскую практику, либерал, в 1905 г. был сослан, теперь кончивший срок ссылки и вернувшийся в свой родной аул, который стоит всего в 10 [верстах] севернее нашего. В его ауле проводит дачное время учитель семипалатинской учи-

т[ельской] семинарии г. Кульжанов, киргиз Тургайской области. Женатый на киргизке в золотых очках, которая кончила прогимназию, и кончила не номинально, а вынесла из этой школы хороший духовный запас и симпатичные взгляды на общественные нужды и на европейское просвещение. Г[осподин] Акпаев приезжал пригласить нас переселиться в его аул. Было решено всей компанией переехать 15 июня.

Г[осподин] Акпаев уехал, обремененный поручениями Антонины Александровны купить в Каркаралах для нас муки, яиц, картофеля и пр[очего], а также опустить в почтовый ящик наши письма. И я воспользовался этим случаем, чтобы описать тебе свои первые былькылдакские впечатления. Но вчера мы получили печальное известие, что у г[осподина] Акпаева умерла старшая дочка, 5-летняя девочка, по-видимому, от скарлатины, и он просит нас отложить временно нашу перекочевку.

Г[осподин] Акпаев обещал зайти на почту и получить письма, адресованные нам, но он отсрочил свою поездку в город, поэтому мне приходится несколько дней подождать, когда поедет на ярмарку Эрмеков. Он поедет завтра, в Каркаралах будет через два [дня], потом поедет еще далее, до Куяндова, след[овательно], еще день, да на ярмарке проведет дня два, три; на обратный путь три дня, следовательно, я получу твое письмо, если оно найдется на почте, не ранее как через 9 дней. А так как мы уже две недели, как из Каркаралов, то $12 + 9 = 21$ день мы не будем иметь известий о тебе.

Меня очень беспокоит это отсутствие известий о тебе, здорова ли ты? Даю тебе зарок не разлучаться с тобой на такой длинный срок. Чувствую упрек совести, что так надолго уехал от тебя, зная хорошо, как подозрительно твое здоровье.

Последний номер «Сиб[ирской] ж[изни]» от 23 мая, и я не знаю, Адрианов на свободе или нет. Посылаю просто в редакцию.

Меня посещают здешние влиятельные люди. Приезжал Смахан, брат Алихана Букай-ханова и обещает увезти меня в свой аул, который отсюда на юг еще около 100 в[ерст], а другой брат – Касымхан сейчас живет у нас и спит в одной юрте со мной.

Потом посетили меня Хасен Биджанов и Нарманмет, зимующие на берегу Балхаша у его южного конца. Последний – большой знаток киргиз[ской] старины и поэт.

Моя добыча постепенно увеличивается. Крупных сказок записано именно: 1) Ерь-Төстөк (в двух вариантах), 2) киргизский Полифем,

3) сестра Шаная, 4) три мудрых царевича и 5) легенда о св[ятом] Хазрен-Али, в которой есть два мотива из были о Святогоре.

Обнимаю и целую.

Г. Потанин.

№ 244

26 июня 1913 г.

Былькылдак

Милая Маня.

Получил вчера еще одно твое письмо без даты. На почтовом штемпеле 25 мая; вчера было 25 июня, следовательно, письмо дошло до Былькылдака ровно [за] месяц (от Антигоны получил письмо от 5 июня). Десять дней назад Эрмеков поехал на ярмарку; мы с ним послали свои письма. И я в том числе. Алимхан вернулся 25, через десять дней и привез нам письма: от тебя одно, от Раисы М., от Шишкова и Антигоны и газету «С[ибирская] ж[изнь]» с 25 мая по 9 июня. Письма выдали не все; на некоторых адрес был написан так, что почта потребовала от нас предъявления особой доверенности. Сегодня мы посылаем Дурмэнчжяна в Каркаралы специально за невыданными письмами. Алимхан привез из Каркаралов от Агнии Лукиничны ковриги черного хлеба, пшеничную булку, великолепную, сдобную, вроде кулича с шафраном и десяток редисок. И мы теперь пируем. А то пили чай с киргизскими баурсаками, которые сделаны как будто из ремней. М-те Бибиш, байбиче нашего аула, превосходно делает катык, т.е. варенец. Просто пальчики оближешь! Я, как хан одной алтайской сказки, уношу чашу с катыком в отдельную юрту, подальше от завистливых глаз и там наедине ем. Еще у нее бывает очень [вкусно] приготовленный чай. Вероятно, молоко ее коровы выходящее из ряда вкусное. Но остальное все нам не по вкусу. Месяц прожили и не поели каймаку. Все, что нам приносили под названием каймака, было чем-то вроде растопленной сальной свечки и нисколько не напоминало деликатный алтайский каймак. Кымыз превосходный, но я не пью его – устраивает забастовки в желудке.

О тебе думаю часто. Погода здесь холодная, а главное весь июнь не прерывались холодные ветра; я ужасно мерз и думал, хорошо, что ты не поехала. Тебе здесь было бы неудобно. Потом часто мне приходил в голову вопрос, как-то ты с Федоровой ладишь.

Относительно квартиры решай сама; я буду всяким решением доволен. Если устроимся на тех же условиях, как в Даниловском, на ту же цену, и будет хорошо. Но вот не знаю, как же быть, если ты

ныне соберешься на курсы. Как же я с квартирой большой и с квартирантами?

Сказок записано 20. Я до известной степени доволен.

Любящий тебя и крепко обнимающий и целующий.

Григорий Потанин.

[P.S.] В тюрьме или на свободе Ал[ександр] В[асильевич] Адрианов? Кто тебе доставляет письма из Томска?

№ 245

*[Июнь 1913 г.
Протопопово]*

Милый, дорогой мой!

Получила от тебя два письма. Ты пишешь о «комических» приключениях с тобой. Но эти «комические» приключения были для тебя не совсем-то приятны. В оторвавшихся пуговицах чесучового сюртука вижу свою вину: надо было осмотреть и прикрепить их лучше. Воображаю, как ты волновался и тогда, когда подумал, что потерял 70 рублей! Большое спасибо Алим-хану и Ек[атерине] Александровне за то, что они так наперерыв о тебе заботятся. О том, как приняли тебя в Омске, я с удовольствием прочла в «Утре Сибири». Номер газеты получила от Лаптевых, с которыми познакомилась. Бываю у них, у Евдокии Леонтьевны Сазановой (той учительницы, которая хотела вместе со мной снять дачу), она поселилась с сестрой m-те Лаптевой у Семена Марковича, – вот пока и все знакомые, но для деревни этого, пожалуй, и довольно. Здесь, в Протопоповой, хорошо, бор чудесный, хотя в нем приходится очень воевать с комарами, мошками и клещами; невольно вспоминаешь Анос, где можно наслаждаться природой без этого добавления. Но все-таки хорошо. Особенно нравится мне на горе, где лес разнообразнее и кроме кедров растут и ели, пихты и лиственницы. Плотину прорвало, и вода из Ушайки уходит, но, вероятно, крестьяне запрудят снова, так как постройка купален и катанье в лодках по реке, которыми пользуются дачники, их прямая выгода. Часто ли ты думаешь обо мне? А я постоянно думаю о тебе и, хотела бы промолчать, но не могу, – скучаю о тебе. Пусто так без тебя и одиноко, ужасно недостает твоего присутствия! Позавчера получила письмо от Шуры. Она очень зовет меня поехать в половине июля с ней вместе в Тобольск к дяде Андруше, пишет, что, пожалуй, он умрет, не увидевшись с нами, как не собрался повидаться с милой нашей мамой, что дорога вдвоем будет

стоять дешевле (руб[лей] 25). Но я от этого предложения, конечно, откажусь. Во-первых, незачем тратить лишние деньги (здесь ведь тоже придется отдать 25 рублей за лето), а во-вторых, все опытные люди говорят, что в половине июля надо обязательно нанять квартиру, иначе все порядочные будут разобраны, и со дня найма придется уже платить. Я стараюсь тратить как можно меньше, экономлю деньги. Но здесь далеко не все можно достать. Молоко покупаю дешево, беру для себя через день по крынке, 5 копеек крынка, но ни мяса, ни творогу, ни сметаны здесь нет, потому что все молоко увозят в четвертях для продажи в город. И вот я беру еще через день или два по две крынки и ставлю на творог и сметану. Получается не особенно много, но зато выгодно и свежий творог. Яйца тоже сначала брала у хозяйки, а теперь она не продает, говорит, у самой мало. Тоже приходится брать в городе. Может, после Троицы опять будет продавать. Прости за скучную хозяйственную прозу. Насчет квартиры обязательно напиши мне: брать ли с половины июля и в какую цену, назначать такую, какую нельзя превысить, так я и буду поступать. По временам у меня мелькает мысль, та... соблазнительная мысль о курсах... Но ты ведь сказал, во-первых, что «не нынче», а... во-вторых... я не могу и представить себе разлуки с тобой!.. Очень хочется получать вести от тебя почаще! Ну, целую крепко, крепко, обнимаю тебя. Пиши, как дела по собиранию сказок?

Твоя Маня.

[P.S.] Сидит у меня Семен Маркович и просит передать тебе привет.

Пиши. Твоим спутникам мой глубокий поклон.

№ 246

9 июля 1913 г.

Каркаралы

[Написано не рукой Г. Потанина]

Седьмого я приехал в Каркаралы; возвращаюсь в Томск через Семипалатинск. Завтра, 10-го июля, выезжаю из Каркаралов в аул Хасеня Акпаева; он везет меня в своем тарантасе. Мои спутницы едут в крытой повозке тоже в аул Хасеня. Завтра мы расстаемся с нашим былкылдакским хозяином Алимханом, он возвращается домой.

В ауле Хасеня проживу, вероятно, дня три. Ант[онина] Александр[дровна] двинется далее одна до Семипалат[инска] в архиерейской повозке. Она рассчитывает 15-го июля застать всю партию, во главе которой стоит Крылов, и тут она увидится со своим мужем и

остальную часть лета будет ездить с ним, а я вдвоем с Екате[р]иной] Алексан[др]овой] от Хасеня поеду в Семип[олитинск] на протяжных и надеюсь в самых первых числах августа быть в Томске.

Целую!

[Рукой Потанина] Григ[орий] Потанин.

№ 247

2 августа 1914 г.
г. Новониколаевск

Дорогой Григорий Николаевич.

Едем хорошо, только медленно подвигаемся вперед. Здоров ли ты? Очень заботит, как ты себя чувствуешь? Что – Настя? Надо бы было дать ей денег, чтобы она купила простого холста на кухонные полотенца (коп[еек] по 15 или 13 за аршин) аршина по два с половиной, пусть сделает хоть еще два полотенца, а то у ней осталось всего одно. Как Танкред? Кормите его досыта. Пишу, сидя за письменным столом двоюродного брата Шуры. Часа в два выедем из Новониколаевска и только в понедельник дотащимся до Барнаула. [Зачеркнуто слово *Томска*, вместо него написано *Барнаула*.]

Видишь, вместо Барнаула написала Томск. Все мои думы в Томске, с тобой! Целую крепко. Наши кланяются. До свиданья, дорогой мой! Думаю пробыть в Барнауле недолго.

М. Потанина.

[P.S.] Дал ли ты Насте 10 руб[лей]? Привет всем знакомым.

№ 248

3 августа 1914 г.
Григорию Николаевичу Потанину,
Ефремовский взвоз, д. Самохвалова, кв. № 3

Дорогой Григорий Николаевич!

Подъезжаем к Камню. Здорова. Надоело плыть. Завтра, вероятно, дотащимся до Барнаула. Думаю о Томске, о тебе. Постараюсь вернуться скоро. Целую. Шура и Всеволод шлют привет.

М. Потанина.

№ 249

4 августа 1914 г.
[Барнаул]

Дорогой Григорий Николаевич!

Сегодня приехали в Барнаул. Здорова. Дядю, к счастью, застали, он хотел уже уезжать, если бы пришлось прождать еще дня два, но

отпуск у него взят до 10-го сентября. Не подумай, однако, что и я столько же времени пробуду здесь! Целую крепко. Жду письма. Здоров ли ты? Все ли у нас благополучно?

М. Потанина.

[P.S.] Наши кланяются. Привет Эмилии Констан[тиновне].

№ 250

7 августа 1914 г.

Барнаул

Дорогой Григорий Николаевич!

Большое, большое спасибо тебе за письмо. Я довольна, что тебя не гнетет такая тоска, как в Петуховой. А мне почему-то хочется скорее, скорее в Томск. Это не нравится, видимо, Всеволоду, что меня тянет в Томск, и вообще меня не пускают, но у меня здесь слишком много грустных воспоминаний! Говорят, только два парохода возят пассажиров до Томска: «Россия» и «Любимец», остальные доходят только до Новониколаевска, а ехать по железной дороге связано с большими неудобствами. Письмо посылаю с Иннокентием Ивановичем. Что это сделалось с Танкредом? Отчего он урчит и хватает за руку? Раньше у него не было такой привычки. Боюсь, как бы он тебя не укусил. Избаловали вы его!

Плохо пишу, перо скверное. Целую тебя и хочу, очень хочу поскорее увидеть. Знакомым, Эмилии Константиновне – привет. Наши кланяются!

М. Потанина.

[P.S.] Собственно здесь, в Барнауле, я живу третьи сутки, но, прикладывая к этому времени проведенное в дороге, нахожу, что прошла целая вечность!

№ 251

9 августа 1914 г.

Томск

[Не рукой Потанина]

Милая Маня!

На военном театре с Настей все состоит в прежнем положении. Танкред опять потерял медаль; куплена новая; колечко прочно обмотано шнурком. Еще раз я завтракал у Софии Фридриховны. Был пирог с морковью, отличавшийся теми же достоинствами, как и пирог с капустой, т.е. морковь потонула в международной начинке пирога так же, как в предыдущем пироге потерялась капуста.

Нашу квартиру посетил Вячеслав Степанович. Просил написать тебе, что жалеет, что не застал тебя и что ему не удалось выслушать твои новые произведения. Я сказал ему, что у тебя их и нет, но это, кажется, неправда. Говоря это, я имел в виду только одно нынешнее лето.

Вера Николаевна в Барнауле, и ты, вероятно, с нею виделась.

Завтра – воскресенье, а Вячеслав Степанович хотел к этому воскресенью уже ехать из Томска. С Верой Николаевной соединиться в Новониколаевске.

Была у меня Хариесса Александровна Алкова. Переехала сюда совсем, искать здесь место. Хотела еще раз прийти 15 августа.

Заходила ко мне поэтесса Ольга С. Собирается издать сборник своих стихотворений. На днях уезжает в Петербург.

Лаптевы приехали. Александр Николаевич подходил к нашему дому, ему показалось, что квартира пустая, и он не зашел, а между тем, я уже был в Томске. Его взяли в армию, зачислили доктором в полк, который стоит в Омске, и он уже туда уехал. Все это мне сообщила Клавдия Александровна, которая вчера заходила ко мне утром.

В России все поезда переполнены солдатами. Для частных пассажиров места нет; публика едет на крышах вагонов. Как-то ты преодолеешь предстоящее дорожное неудобство? Перед выездом из Барнаула, пожалуйста, напиши о дне выезда и напиши, когда тебя ждать в Томске.

Видел Крекнина. Шкатулку от него не взял, потому что у меня некуда ее запереть.

Елизавета Петровна Макушина прожила в Алтае только 8 дней. При первом известии о войне пустилась в Томск и приехала больною. Теперь лежит в постели.

[Рукой Потанина] Буду нетерпеливо ждать дальнейших известий от тебя. Обнимаю и целую. Будь здорова! О доме ничего не пишешь; заключаю, погром его не постиг. Застанет ли тебя это письмо? Как хотелось бы, чтобы ты возвратилась бодрою, в поэтическом настрое.

Эмилия К[онстантиновна] шлет привет. Скоро она оставит Томск.

Г[ригорий] П[отанин].

[P.S.] Я познакомился с ее отцом, пил у него вечерний чай.

[Приписка в начале письма по поводу размазанного чернильного пятна].

Эту «печать дара Духа Святого» сделал я, а не Эм[илия] К[онстантиновна]. Не подумай, пожалуйста, на нее.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ¹

А

- Агнесса Рудольфовна см. Фридман А.Р.
Агния Дмитриевна (Агния Евгеньевна) см. Васильева А.Е.
Адрианов Александр Васильевич (1854–1920), этнограф, археолог, публицист 8, 251, 351, 380, 385, 390, 392, 394, 396
Азадовский Марк Константинович (1888–1954), историк литературы, этнограф, библиограф 5
Александр Иванович см. Козлов А.И.
Александр Македонский (356–323 до н.э.), царь Македонии, полководец 245
Александра Георгиевна (Шура, Шурка) см. Васильева А.Г.
Александра Семеновна см. Воронина А.С.
Александра Федоровна, знакомая Г.Н. Потанина 130, 251
Алихан Букай-хан 394
Алим хан 391, 395, 396, 397,
Алкова Хариесса Александровна 400
Акпаев Хасен, юрист, киргизский знакомый Г.Н. Потанина 393–394, 397, 398
Алтайский Борис, секретарь газеты “Барнаульский листок” 153, 154, 247, 248, 255, 257, 264, 265, 267, 270, 272
Альбин Николаевич см. Недзвецкий А.Н.
Андерсен Ханс Кристиан (1805–1875), датский писатель 106
Андреевская Ольга Митрофановна, учительница, посетительница журфиксов Потанина 69
Андреевская [Теодора, урожд. Загорская?], пианистка 151
Андрей, Андрей Викторович, двоюродный брат М.Г. Васильевой 292, 388
Анна Сергеевна см. Васильева А.С.
Анохин Андрей Викторович (1874–1931), этнограф, композитор, музыковед 243, 251, 280, 282, 351, 380, 387, 388
Антигона, прислуга в доме Г.Н. Потанина 385, 386, 395
Антонина Александровна см. Воронина А.А.
Анучин Василий Иванович (1875–1941), этнограф, писатель 24, 196, 197, 200, 204, 207, 386, 389

¹ Имена аннотированы применительно к указанному времени. В указатель не включены имена из легенд, сказок и литературных произведений.

Анчаров Михаил, барнаульский поэт 219, 220, 222, 223, 247, 264, 271
Аренский Антон Степанович (1861–1906), русский композитор 201
Аркадина (Аркадьина) Н., поэтесса, сотрудничала в журнале “Сибирский студент” 386
Аронова Инна Владимировна (1873–?) томская художница, входила в состав учредителей Томского общества любителей художеств 8
Арцыбашев Михаил Петрович (1878–1927), писатель 308–309, 334

Б

Базанов Иван Александрович (1867–1943), юрист; в 1900–1913 профессор (с 1909 ректор) Томского университета 71, 276, 330, 351
Базанова Лидия Павловна (1864–1916), художница, преподавала рисование в женской гимназии О.В. Миркович, жена И.А. Базанова 8, 71, 142, 185, 187, 245, 316
Бакай Николай Никитич (1862–1927), историк-архивист, заведовал окружным Томским архивом 5
Бакунин Михаил Александрович (1814–1876), один из идеологов русского народничества 386
Балин, житель Эликмонара 57
Бальмонт Константин Дмитриевич (1847–1942), поэт-символист 26, 193
Батеньков Гавриил Степанович (1793–1863), инженер, архитектор, декабрист 82, 386
Бейлин Михаил Рафаилович, редактор “Сибирская мысль”, сотрудник газеты “Сибирская жизнь”, увлекался музицированием 193, 386
Беликов Дмитрий Никанорович (1852–1932), профессор по кафедре богословия Томского университета 334
Беневоленский, священник 68
Березовская Юлия Евгеньевна, двоюродная сестра М.Г. Васильевой 230
Беренштам Владимир Вильямович (1870–?), юрист, публицист, упомянут в связи с событием 22 апреля 1901 г. в Петербурге 26
Беренштам Михаил Вильямович, юрист, упомянут в связи с событием 22 апреля 1901 г. в Петербурге 26
Бересневич Екатерина Ивановна (?–1935), член Томского общества любителей художеств 96
Бетховен Людвиг ван (1770–1827), немецкий композитор 201, 207, 312
Беспалова, учительница, посетительница журффиксов Потанина 69
Бибиш, жительница киргизского аула 395
Биджанов Хасен, знакомый киргиз Г.Н. Потанина 394
Бове, родственница И.С. Козлова 282
Богданович Ангел, упомянут в связи с событием 22 апреля 1901 г. в Петербурге 26
Боголепов Михаил Иванович (1879–1945), юрист; в 1903–1912 сотрудник (с 1910 профессор) Томского университета 215, 385, 386
Борисенко 224

Боровков Тимофей Демьянович (?–1932), врач томской пересыльной тюрьмы, личный доктор Г.Н. Потанина 140

Брагинская Роза, упомянута в связи с событием 22 апреля 1901 г. в Петербурге 27

Бражников Павел Николаевич (?– 1914), ревизор акцизного управления, член совета Томского литературно-музыкально-драматического общества 193, 196, 208, 221, 319

В

Валериан Евгеньевич, родственник М.Г. Васильевой 13, 21, 49

Валь фон, упомянут в связи с его проездом в Иркутск 72, 74–75

Ваня см. Козлов И.И.

Васильев Всеволод Георгиевич, брат М.Г. Васильевой 68, 389

Васильева Агния Евгеньевна, мать М.Г. Васильевой [Потанин в первых письмах называл ее Агния Дмитриевна] 45, 48, 66, 73, 77, 79, 90, 164, 281, 340

Васильева Александра Георгиевна (Шура, Шурка), сестра М.Г. Васильевой 164, 283, 293, 298, 299, 308, 321, 323, 335, 341, 342, 355, 357, 385, 389, 390, 396, 398

Васильева Анна Сергеевна, знакомая Е.М. Козловой 60, 90.

Васильева Мария Георгиевна (1863–1943), сибирская поэтесса, с 1911 жена Г.Н. Потанина.

Ватсон, присяжный поверенный 49

Ватсон Мария Валентиновна (1848–1932), писательница 17, 27

Вейнберг Борис Петрович (1871–1942), физик; в 1909–1924 профессор Томского университета и Томского технологического института 4, 5, 197, 269, 365

Вейнберг Мария Евгеньевна, жена Б.П. Вейнберга 341, 386, 388

Вейнберги 269, 279, 280, 360, 370

Вейсман Р.Л., юрист, публицист 77

Вера Николаевна см. Реутовская В.Н.

Вера Петровна см. Соболева В.П.

Верещагин, упомянут в связи с событием 22 апреля 1901 г. в Петербурге 27

Виктория, подброшенная девочка 110–113

Виленин Николай Максимович (псевд. Минский, 1855–1937), русский писатель, зачинатель символизма 265

Вилькс Джон (1727–1797), английский публицист, политик 238

Витковская, владелица типографии в Иркутске, вероятно, жена Н.И. Витковского 37

Вознесенская, знакомая Потанина, посетительница его журфиксов 67, 69

Вологодский Петр Васильевич (1863–1925), юрист, публицист; в 1907 депутат 2-й Государственной Думы 13, 50, 261, 360

Володя см. Козлов В.И.

Воложанина Калерия Всеволодовна, учительница 69

Воронина Александра Семеновна, знакомая М.Г. Васильевой 195, 198, 205, 206, 207, 209, 213, 218

Воронина (Воронина-Уткина) Антонина Александровна (1884–1974) художница, преподавала в частной гимназии О.В. Миркович в Томске 207, 267, 268, 269, 279, 280, 291, 282, 387, 390, 391, 393, 394, 397

Воронина Екатерина Александровна, сестра А.А. Ворониной 391, 393, 396, 398

Всеволод Георгиевич см. Васильев В.Г.

Выдрина, знакомая М.Г. Васильевой в Белоярске 165

Вяткин Георгий Андреевич (1885–1941), писатель 137, 143, 146, 151, 156, 175, 181, 193, 195, 202, 210, 211, 220, 243, 272, 385

Вячеслав Степанович см. Реутовский В.С.

Г

Гавронский И.П. один из авторов статьи “Торговля и промышленность”, помещенной в сборник “Г. Томск” 224

Гайдн Франц Иосиф (1732–1809), австрийский композитор 224

Галина 226

Гаршин Всеволод Михайлович (1855–1888), русский писатель 224

Гаряев Александр Львович, статский советник, делопроизводитель в Главном управлении Алтайского округа, начальник М.Г. Васильевой 199

Гаттенбергер Александр Николаевич, статский советник, томский мировой судья 386

Гейне Генрих (1797–1856), немецкий поэт, публицист 45, 143, 144, 173, 178, 209, 213, 352

Герцен Александр Иванович (1812–1870), русский писатель 70, 354

Гете Иоган Вольфганг (1749–1832), немецкий писатель, поэт 143, 178, 370

Гингулова, пианистка 69

Гоголь Николай Васильевич (1809–1852), русский писатель 261

Головачев Александр Михайлович (ок. 1861–1926), юрист, публицист 79

Головачев Дмитрий Михайлович (1866–1914), экономист, публицист 16

Головачев Петр Михайлович (1862–1913), историк, публицист; в 1905–1908 и 1913 редактор журнала “Сибирские вопросы” 16, 19, 22, 32, 69, 360

Головина [Зинаида Константиновна? 1882?–1911], студентка петербургских курсов физической культуры Лесгафта 329–330, 337

Гондатти Маргарита Мечиславовна, жена Н.Л. Гондатти 249

Гондатти Николай Львович (1860–1946), этнограф; в 1908–1909 томский губернатор 249

Городецкий Сергей Митрофанович (1884–1967), русский поэт 265

Горький Алексей Максимович (1868–1936), русский писатель 77, 235

Горюшин, упомянут в связи с событием 22 апреля 1901 г. в Петербурге 26

Грамматикати Иван Николаевич (1858–1917), гинеколог; в 1891–1910 профессор Томского университета 275

Гранский Владимир Адрианович, специалист по сельскому хозяйству в г. Барнауле 336, 341, 346

Гребенщиков Георгий Дмитриевич (1883–1964), писатель; в 1908–1909 редактор газеты “Омское слово”, в 1909 секретарь редакции журнала “Молодая

Сибирь”, в 1910 член редакции журнала “Сибирская повесть”, в 1912–1913 редактор газеты “Жизнь Алтая” 351, 371, 382

Грехова И.В., учительница немецкого языка в торговой школе 68, 70

Григорьев Александр Васильевич, секретарь Русского Географического общества 33

Гудков Павел Павлович (1881–1955), профессор геологии Томского технологического института 389

Гуляев Степан Иванович (1805–1888), историк, этнограф, геолог 82

Гуркин Григорий Иванович (псевд. Чорос; 1870–1937), художник 46, 188, 211, 251, 253, 254, 256, 258, 267, 269, 278, 378

Гуркина Мария Григорьевна, дочь Г. Гуркина 259

Гэйер Генрих (в обиходе Генрих Францевич), немецкий художник, скульптор 71, 72, 106

Д

Денике Борис Петрович (1885–1941), искусствовед, в 1919–1920 гг. профессор Томского университета 5

Диккенс Чарльз (1812–1870), английский писатель 262

Диксон, упомянут в связи с событием 22 апреля 1901 г. в Петербурге 27

Диль Э.В. 5

Дмитрисв П.М., библиотекарь Института исследования Сибири 6

Драверт Петр Людовикович (1879–1945), минералог, писатель 370, 374, 375

Дурмэнчжян 395

Е

Елена Павловна, великая княгиня 354

Елизавета Митрофановна (Лиза, Лизочка) см. Козлова Е.М.

Епанчинцев, поэт, печатался в журнале “Сибирская повесть” 263

Эрмеков см. Эрмеков

Ефимов Николай Иванович (1882–?), профессор, в 1931 г. был директором Фундаментальной библиотеки Томского университета 7

З

Зайцев Борис Константинович (1881–1972), писатель 244

Зайцев Федор, поэт [?] 214, 218

Зверев Дмитрий Иванович (1862–1924), статистик, главный управляющий Алтайского округа, председатель Алтайского подотдела ИРГО 13, 14, 27, 328

Зволянский, директор департамента полиции Петербурга, упомянут в связи с событием 22 апреля 1901 г. в Петербурге 26

Зобнин Филипп Кузьмич (1868–1930), этнограф, метеоролог, публицист 236, 238, 248, 250, 264, 325

Зубашев Ефим Лукьянович (1860–1928), химик, публицист; в 1899–1909 профессор (по 1907 директор) Томского технологического института, в 1901–1912 руководитель томского отделения Русского технического общества, в 1906–1910 гласный Томской городской думы 60, 140

Зубашева Ольга Александровна (1863–1922), член Томского общества любителей художеств; активно участвовала в организации Сибирских высших женских курсов, жена Е.Л. Зубашева 60, 67, 193, 196, 327, 341, 342
Зубашевы 335, 385

И

Иван Савельевич см. Козлов И.С.

Иванов Иосиф Алексеевич (1872– ?) беллетрист, поэт и критик 154, 245, 263

К

Казанский Петр Александрович, в 1903–1907, 1910–1911 старший лаборант кафедры палеонтологии Томского университета 386

Казанцев Иннокентий Петрович, в 1897–1901 издатель и редактор газеты “Байкал”, совладелец типографии в Иркутске, в которой печаталась газета “Восточное обозрение” 35, 36

Калинников Василий Сергеевич (1866–1900/1901), русский композитор 197
Калмыкова, упомянута в связи с событием 22 апреля 1901 г. в Петербурге 27

Калнынь Надежда Игнатьевна 387

Капустина Августина Степановна (урожд. Попова) (1863–1941), художница 71

Карпова Наталья Петровна, учительница в частной женской гимназии О.В. Миркович в Томске 84

Карташов Николай Иванович (1867–1943), инженер-путеец; в 1903–1930 профессор (в 1906–1909 декан механического отделения, в 1911–1916 директор) Томского технологического института 196

Кассо Лев Аристидович (1865–1914), министр народного просвещения (1910–1914) 330

Касымхай, брат Алихана Букай-хана 394

Кащенко Николай Феофанович (1855–1935), анатом, зоолог; в 1889–1912 профессор и заведующий зоологическим музеем (в 1894–1895 ректор) Томского университета 71

Кижнер Николай Матвеевич (1867–1935), химик; в 1901–1912 [?] профессор Томского технологического института 386

Киселев Иван Гаврилович, житель Онгудая 162

Киттинг, англичанин, снимал комнату в доме Е.М. Козловой 316

Климентова 71

Кобычев Александр Александрович, издатель 13, 16, 21, 22, 23, 26, 27–28, 49, 103

Коваль С.Ф., иркутский исследователь жизни и деятельности Г.Н. Потанина 4

Козлов Александр Иванович, сын Козловых 246, 295, 315

Козлов Владимир Иванович, сын Козловых 186, 192, 195, 200, 202, 203

Козлов Иван Иванович, сын Козловых 186, 189, 233, 246, 259–260, 311

Козлов Иван Савельевич (?–1910), томский купец, комиссионер-золотопромышленник 125, 140, 150, 185, 228, 266, 273, 278

Козлов Петр Кузьмич (1863–1935), исследователь Центральной Азии 3

Козлова Елизавета Митрофановна, общий друг М.Г. Васильевой и Г.Н. Потанина, жена И.С. Козлова 24, 31, 33, 37, 38, 48, 59, 65–71, 73, 76, 80, 81, 83–85, 90, 91, 95, 96, 98, 111, 116, 117, 125, 128, 133, 137, 138, 140–142, 147, 150, 165, 179, 184, 186, 189, 192–193, 195, 203, 223, 226, 228–231, 233, 237, 246, 250, 260, 266, 285, 286, 289, 290, 297, 309, 311, 312, 315–316, 325, 326, 331, 341, 369, 371, 388

Козловы И.С. и Е.М. 209, 251

Коломенкина, упомянута в связи с событием 22 апреля 1901 г. в Петербурге 27

Кольцов Алексей Васильевич (1809–1842), русский поэт 194, 196, 199

Комиссаржевская Вера Федоровна (1864–1910), русская актриса 261

Копенко Мария Григорьевна, жительница Каракалы 392

Корнилов, якут, знакомый Г.Н. Потанина 351

Короленко Владимир Галактионович (1853–1921), писатель; в 1895–1918 редактор журнала “Русское богатство” 17, 77

Костюрина Мария Николаевна (1853– ок. 1920), этнограф, редактор-издатель газеты “Сибирский листок” (Тобольск) 17

Котарбинский 274

Котляров, студент 282

Кочаровская А., сотрудничала в газете “Восточное обозрение” 200, 208

Кранихфельд, упомянут в связи с событием 22 апреля 1901 г. в Петербурге 27

Крекин Григорий Яковлевич, беллетрист, сотрудничал в томских периодических изданиях 400

Круковский, сотрудник типографии Тиле в Петербурге 12

Крупенский 350

Крутовский Владимир Михайлович (1856–1938), врач, публицист, заведующий Красноярского подотдела Русского географического общества 8, 32, 37, 44, 46

Крутовский Всеволод Михайлович (1864–1945), ботаник, публицист; в 1905 редактор газеты “Сибирская жизнь” 269, 279, 351, 353, 360, 385, 387

Крутовская Лидия Симоновна, жена В.М. Крутовского 33, 38

Крылов Порфирий Никитич (1850–1931), профессор Томского университета по кафедре фармации и фармакогнозии, основатель Гербария и Ботанического сада 397

Кулябко Алексей Александрович (1866–1930), физиолог; в 1903–1924 профессор (в 1912–1913 заведующий зоологическим музеем) Томского университета 276

Кулябко-Корецкий Николай Григорьевич (1846–1931), земский статистик, с 1897–1900 секретарь Имп. Вольного экономического общества, редактор его трудов 65, 67, 70

Курлов Михаил Георгиевич (1859–1932), терапевт; в 1890–1929 профессор (в 1903–1906 ректор) Томского университета 57, 276, 330, 338

Курлова Александра Алексеевна (урожд. Ермолина; 1858–1939), хирург; жена М.Г. Курлова 51–52, 57

Курловы 67

Курский Михаил Онисифорович (ок. 1850 – ок. 1920), публицист 175, 248, 250, 324, 328, 333, 388

Кухтерин, томский купец, упомянут в связи с приездом в Томск фон Валя в 1903 г. 75

Кухтерина, упомянута в связи с приобретением картины Гуркина “Хан-Алтай” 267

Л

Лаврентьев Леонид Иванович (?–1914), с 1900 г. попечитель Западно-Сибирского учебного округа 276, 330

Лаптев Александр Николаевич, врач 400

Лаптевы 396

Лашкова Людмила Аполлоновна 258, 263

Левин Николай Петрович (ок. 1855 – ок. 1904), ботаник; преподаватель естествознания в Троицкосавской женской гимназии, сотрудничал в газете “Восточное обозрение” 38, 39

Левицкий Антон Адамович, фотограф 15, 206

Легра Жюль (в обиходе Юлий Антонович, 1866–1939), французский славист, этнограф 42

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841), русский поэт 143

Лесгафт Петр Францевич (1837–1909), русский педагог, анатом и врач 27, 249

Лесевич Владимир Викторович (1837–1905), русский философ, упомянут в связи с событием 22 апреля 1901 г. в Петербурге 27

Лидия Антоновна (урожденная Разгильдеева), жительница Омска, жена Павла Борисовича 392

Лндия Савельевна, сестра И.С. Козлова 315, 320

Лиза (Лизочка) см. Козлова Е.М.

Лобанов Сергей Викторович (1870–1930), профессор Томского университета по кафедре офтальмологии 379

Людмила Аполлоновна см. Лашкова Л.А.

М

Майков Аполлон Николаевич (1821–1897), русский поэт 238

Макарий (Михаил Андреевич Невский, 1835–1922), с 1891 епископ Томский и Барнаульский, с 1906 архиепископ, в 1912–1917 митрополит Московский и Коломенский 276

Маклеон см. Маклеонов П.А.

Маклсонов Петр Андреевич, студент-медик Томского университета 75

Макушин Алексей Иванович, врач, брат П.И. Макушина 242

Макушин Петр Иванович (1844–1926), издатель, деятель в области книжно-го дела Сибири, общественный деятель, сибирский просветитель 5, 17, 32, 53, 70, 75, 77, 79, 221

Макушина Елизавета Петровна (1878–1963), заведовала Публичной библиотекой П.И. Макушина, дочь П.И. Макушина 78, 400

Малиновский Иоаникий Алексеевич (1868–1932), юрист, историк; в 1898–1913 профессор кафедры истории русского права Томского университета, в 1905–1910 соредактор газеты “Сибирская жизнь” 67, 71, 156, 259, 269, 311, 327, 386

Малютин Сергей Васильевич (1859–1937), художник 354

Малыгина, художница, ученица Г. Гуркина 282

Манассеин Вячеслав Авксентьевич (1841–1901), терапевт, профессор Военно-медицинской академии, редактор журнала “Врач” 144

Марья Алекс[?], вероятно, снимала комнату у Е.М. Козловой 228

Марья Евгеньевна см. Вейнберг М.Е.

Марья Федоровна, знакомая Г.Н. Потанина 130

Марья Фердинандовна, подруга Е.М. Козловой 229

Медлин Яков Соломонович, музыкант, скрипач, директор музыкальной школы Ф.Н. Тютрюмовой 69, 71, 193–194, 196

Меллер, знакомая М.Г. Васильевой 208, 223, 264, 322, 333

Мендельсон Николай Михайлович (1872–1934), филолог, этнограф 11, 16

Мендельсон Якоб Людвиг Феликс (1809–1847), немецкий композитор, дирижер 207, 313

Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866–1941), писатель, литературовед, философ 77

Мешковская(ая) Валерия, поэтесса 202, 203

Миклашевский, генерал, упомянут в связи с событием 22 апреля 1901 г. в Петербурге 27

Миклашевский, инспектор страхового общества, родственник Потанина, женат на племяннице покойной жены Г.Н. Потанина – А.В. Потаниной 40

Милютин Александр Иванович (1865–?), главный библиотекарь Фундаментальной библиотеки Томского университета 5, 7

Минский см. Виленкин Н.М.

Миркович Ольга Васильевна, с 1902 начальница томской частной женской гимназии 84

Миролюбов Виктор Сергеевич, издатель “Журнала для всех” 13, 15, 17

Миролюбов Николай Федорович (?–1910), чиновник по судебным делам, работал в Главном управлении Алтайского округа 104, 271–272

Мирская, жена священника 69

Михайлов, студент педагогического факультета Томского университета 7

Михайловский Николай Георгиевич (псевд. Н. Гарин; 1852–1906), русский писатель 13

Михайловский Иосиф Викентьевич (1867–1921), профессор-юрист Имп. Томского университета 224

Мокиевская Мария Ивановна, томская художница 8, 187

Монин В.А., сибирский поэт 162, 177

Моцарт Вольфганг Амадей (1756–1791), австрийский композитор 221
Муратов Владимир Александрович (1867–1916), профессор по кафедре нервных и душевных болезней Имп. Томского университета 285
Муринов, упомянут в связи с событием 22 апреля 1901 г. в Петербурге 26
Мутер Рихард (1860–?), немецкий писатель, профессор истории искусств 228, 281
Мякотин, упомянут в связи с событием 22 апреля 1901 г. в Петербурге 26

Н

Надсон Семен Яковлевич (1862–1887), русский поэт 17
Нагнибеда Василий Яковлевич (1878–?), экономист-статистик 5
Нарманмет, поэт, знаток киргизской старины 394
Наумов Николай Иванович (1838–1901), писатель-народник 82, 187
Наумова-Широких Вера Николаевна (1877–1955), преподаватель и директор библиотеки Томского университета (1922–1929, 1932–1938, 1942–1955 гг.), дочь Н.И. Наумова 7
Недзвецкий Альбин Николаевич (1850–?), врач 73, 251
Некрасов Николай Виссарионович (1879–1940), инженер-путеец; в 1902–1907 профессор Томского технологического института, в 1905, 1908–1917 депутат Государственной Думы 282
Никифоров, переводчик 282
Николин Яков Иванович (1873–?) профессор кафедры архитектуры Томского технологического института 200
Никулин, профессор [Потанин, вероятно, ошибся в фамилии] см. Николин Я.И.
Никулин Андрей Осипович (1878–1945), барнаульский художник 151
Новомбергская В.Ал., жена профессора Томского университета Н.Я. Новомбергского 385
Нолькен Карл Станиславович, генерал-майор, томский губернатор с 1906–1908 гг. 275, 313

О

Обручев Владимир Афанасьевич (1863–1956), геолог, писатель; в 1901–1912 профессор Томского технологического института, декан горного и химического отделений 3, 267, 385, 386
Окулич, мать и дочь, посетительницы журфиксов Потанина 69
Олигер Николай Фридрихович (псевд. Н. Степняк; 1882–1919), писатель 69, 72, 374
Ольга Александровна см. Зубашева О.А.
Ольга С., поэтесса 155, 202, 400
Омулевский (псевд.) см. Федоров И.В.
Оржешко Викентий Флорентинович (1876–?), архитектор; секретарь правления Томского общества любителей художеств 267

- Орлов, знакомый М.Г. Васильевой 208
Орнатский Петр Васильевич, публицист, редактор газеты “Барнаульский листок” 191, 237, 328
Островский Александр Николаевич (1823–1886), русский драматург 145

П

- Павел Борисович, владелец дома, в котором Г.Н. Потанин останавливался в Омске 392
Павлов, автор курса церковного права 289
Пантелеева, упомянута в связи с событием 22 апреля 1901 г. в Петербурге 27
Паншин, упомянут в письме Г.Н. Потанина 202
Паньшин П.П., барнаульский литератор 219, 222, 247
Певцов Михаил Васильевич (1843–1902), русский путешественник, исследователь Центральной Азии 3
Педашенко Мария Ивановна, художница 187
Першин Дмитрий Петрович (псевд. Д. Даурский; 1853 – после 1927), писатель, монголовед, чиновник Иркутского акцизного управления 17
Петр Васильевич см. Орнатский П.В.
Петр Петрович, знакомый Е.М. Козловой 60
Петров А., поэт 250, 263
Петрушквич, упоминание о его статье в “Праве” 108
Пешехонов Александр Васильевич (1867–1933), русский политический деятель 27, 108
Платонова (Кетлер) Ольга И. 387
Плаксин Матвей Георгиевич, преподаватель по классу скрипки в музыкальных классах Томского отделения Имп. Русского музыкального общества 154, 193, 196
По Эдгар Аллан (1809–1849), американский писатель 272
Подвинцева Лидия Петровна, подруга Е.М. Козловой 229, 233, 251
Попов Иван Иванович (1862–1942), писатель; в 1894–1906 редактор-издатель газет: “Восточное обозрение” и “Сибирское обозрение” 17, 30, 35
Попова Вера Александровна (урожд. Лушинкова; 1863–1927), в 1894–1898 секретарь редакции газеты “Восточное обозрение”, жена И.И. Попова 11, 13, 17
Попова Ольга Николаевна (1848–1907), писательница, книгоиздатель 12, 13, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 33, 49
Попова Софья Александровна, знакомая М.Г. Васильевой 345–346, 353
Порфирий Николаевич см. Соболев П.Н.
Посохин Владимир Михайлович, управляющий книжным магазином П.И. Макушина в Иркутске 34
Поссе Константин Александрович (1847–1928), математик 26, 313
Потанина Александра Викторовна (урожд. Лаврская; 1843–1893), этнограф, писательница, первая жена Г.Н. Потанина
Пржевальский Николай Михайлович (1839–1888), географ, исследователь Центральной Азии 3

- Просвиркина Софья Константиновна (1881–1971), томская художница 268
Проскурякова Екатерина Васильевна, снимала квартиру вместе с Г.Н. Потаниным по адресу: Бульварная, 7. 69, 112–113
Прохоров Семен Маркович (1873–1948), художник, ученик И.Е. Репина, в 1910–1913 жил и работал в Томске 351, 388
Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837), русский писатель, поэт 143, 257→

Р

- Радищев Александр Николаевич (1749–1802), писатель 354
Разгильдеева Клавдия Константиновна, жительница Омска 392
Раечка (Раичка), знакомая маленькая девочка Г.Н. Потанина 146, 186, 351
Ракачинский см. Рокачевский З.А.
Раков, студент педагогического факультета Томского университета 7
Рахманинов Сергей Васильевич (1873–1943), русский композитор 197
Рейснер Михаил Андреевич (1868–1928), политэконом, публицист; в 1898–1903 профессор Томского университета 68, 71, 75
Реутовская Вера Николаевна, знакомая Е.М. Козловой 331, 400
Реутовский Вячеслав Степанович [Потанин ошибся, правильно отчество Степанович], горный инженер Алтайского округа 385, 387, 400
Римский-Корсаков Николай Андреевич (1844–1908), русский композитор 197
Розин Николай Николаевич (1871–1919), юрист; в 1900–1912 профессор (с 1911 декан юридического факультета) Томского университета 194, 351
Рокачевский Захарий Алексеевич (1861–1932), художник 71
Ромоданов, литератор [?] 248
Рубакин Николай Александрович (1862–1946), русский книговед и писатель 27
Рубенс Питер Пауль (1577–1640), фламандский живописец 280
Рукавишников П.Н., томский купец 385, 386
Рыбалкин Михаил Петрович (1854–?), с 1906 преподаватель, а в 1909–1911 профессор по кафедре цветной металлургии Томского технологического института 196, 229
Рязанов Александр Васильевич (1867–?), врач-терапевт, Потанин снимал у них квартиру 289
Рязанова Екатерина Николаевна, преподавательница женской гимназии, жена А.В. Рязанова 289, 387

С

- Саатан, шаманка 282
Сабина, упомянута в связи с событием 22 апреля 1901 г. в Петербурге 26
Сазанова Евдокия Леонтьевна, учительница в Томске 396
Самохвалова Александра Макаровна, жительница Томска 71, 84
Самохвалова Ольга Макаровна, жительница Томска 156
Самохваловы 11

Сапожников Василий Васильевич (1861–1924), ботаник; с 1893 профессор (в 1906–1909, 1917–1918 ректор) Томского университета 4, 81, 164, 234, 249, 251, 256, 258, 259, 263, 266, 267, 272, 275–276, 371, 386, 389

Седельников Александр Никитич (1879–1919), исследователь Южного Алтая 8

Семен Маркович 396

Семенов, барнаульский литератор 265, 325, 328

Семенов Виктор Федорович (1871–?) лаборант по кафедре ботаники Томского технологического института, секретарь Томского общества изучения Сибири 202

Семенов-Тянь-Шанский Петр Петрович (1870–1914), географ, статистик, общественный деятель 3

Сен-Санс Камиль (1835–1929), французский композитор, пианист 221

Серошевский Вацлав Леопольдович (1858–1945), писатель, этнограф 30, 58

Сизиков, знакомый М.Г. Васильевой 208

Славнин Порфирий Порфильевич (1878–?), журналист-краевед 7

Смахан, брат Алихана Букай-хана 394

Смирнов Алексей Ефимович (1859–1910), гистолог, публицист; с 1895 профессор Томского университета 275–276, 313

Смолин Виктор Федорович, беллетрист, археолог, в 1912–1922 преподавал в Томском университете 5

Соболев, прокурор Омской судебной палаты, брат М.Н. и П.Н. Соболевых 74

Соболев Михаил Николаевич (1869–1945), политэконом; в 1899–1912 профессор Томского университета, в 1905–1910 соредатор газеты “Сибирская жизнь” 140, 207, 386

Соболев Порфирий Николаевич, заведующий землеустройством Алтайского округа, брат М.Н. Соболева 60, 79, 96, 103, 109, 180, 200, 234, 240, 242, 244, 248, 259, 387

Соболева Вера Петровна, председатель Томского литературно-артистического кружка, жена М.Н. Соболева 184, 193, 196, 199, 200–201, 202, 205, 207, 208, 210, 211, 214, 221, 224, 248, 249, 261, 327, 341, 387, 388

Соболевы 335, 385

Сокольников, доктор, якут 66

Соловкин, студент 73

Сологуб Федор Кузьмич (Тетерников; 1863–1927), писатель 237–238, 243

Софья Фридриховна 399, 400

Степняк Николай см. Олигер Н.Ф.

Столыпин Петр Аркадьевич (1862–1911), русский государственный деятель 158

Стукачева, знакомая Л.П. Подвицовой 233–234

Суворов, автор курса церковного права 289

Судаков Александр Иванович (1851–1914), врач-гигиенист; в 1890–1903 профессор (в 1894–1903 ректор) Томского университета 68, 75

Сырылбай, знакомый Г.Н. Потанина 393

Т

- Татьяна Кондратьевна, знакомая Е.М. Козловой 229
Тачалов Иван Иванович (1879–1929), поэт, писатель 211, 246, 247, 385
Тиблен Ольга Николаевна, издательница 11, 12, 17, 21
Титов 386
Толстой Лев Николаевич (1828–1910), граф; писатель 32, 312, 360
Томашкевич Иван Робертович, томский фотограф 143, 362, 368, 374, 377
Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883), писатель 158, 167
Тюменцева Ольга Гавриловна (1889–1950), томская художница 190, 194, 269
Тютрюмова Фефания Николаевна, пианистка, содержала музыкальную школу 156–157, 196, 197, 201
Тютчев Федор Иванович (1803–1873), русский поэт 173

У

- Усов Михаил Антонович (1883–1939), геолог, профессор Томского технологического института 4
Усова И., ученица барнаульской частной гимназии Буткевич 220

Ф

- Фарафонтова Таисия Михайловна (1880 – ок. 1930), писательница, этнограф фольклорист, биограф Н.М. Ядринцева 30, 40–41, 43, 88, 118, 382
Федоров Адольф Федорович, директор Томского реального училища 371
Федорова, знакомая М.Г. Васильевой-Потаниной 395
Федоровский Петр Федорович (1864– ?), архитектор, художник 269
Феокистов Николай Васильевич (1884–1949), омский поэт, писатель 392
Франк Сезар (1822–1890), французский композитор 201, 208
Фридман Агисса Рудольфовна, учительница немецкого языка в частном мужском учебном заведении г. Томска, знакомая Е.М. Козловой 72, 369

Х

- Хангалов Матвей Николаевич (1858–1918), бурятский просветитель, этнограф и фольклорист 70

Ц

- Цезарь Гай Юлий (102 или 100–44 до н.э.), полководец 303
Цветков Василий Алексеевич, директор музыкальных классов, руководитель хора 142, 193, 194, 196

Ч

Чадов Сергей Дмитриевич (1879–?), студент 1-го курса юридического факультета Томского университета в 1902/03 г. 68

Чайковский Петр Ильич (1840–1893), русский композитор 262

Чернов, крестьянин в Уймоне 388

Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889), писатель, литературный критик

Чехов Антон Павлович ((1860–1904), русский писатель 77, 261–262

Чуковский Корней Иванович (1882–1969), русский писатель 223

Ш

Шабликовский Николай Николаевич, член окружного суда в Томске 386

Шапочников, работал в “Алтайской газете” 328

Шатилов Михаил Бонифатьевич (1882 – не ранее 1933), юрист, историк; в 1914–1916 редактор-издатель журнала “Сибирский студент” 185, 186, 188, 196, 386

Шаховской Василий Александрович, князь, тайный советник 36

Швецов Сергей Порфирьевич (1858–1930), этнограф, экономист; [в 1880–?] в 1903 редактор газеты “Сибирский вестник”, глава общества любителей исследования Алтая 69, 81, 116

Швецов, молодой барнаульский поэт 219, 223, 270

Шерр Николай Борисович, заведующий редакцией газеты “Жизнь Алтая” 337–338, 341, 344, 347, 351, 354

Шиллер Иоганн Фридрих (1759–1805), немецкий поэт, драматург 370

Шипицын Александр Николаевич (ок. 1867–1921), публицист, сотрудник газеты “Сибирская жизнь” 5, 215, 385, 387, 392

Шницлер Артур (1862–1931), австрийский драматург, писатель 196

Шишков Вячеслав Яковлевич (1873–1945), писатель, инженер 351, 360, 370, 386, 395

Шольн, юрист из Красноярска 77

Шопен Фридерик (1810–1849), польский композитор, пианист 156, 261, 312

Шпунтович 328–329

Штехер, доктор упомянут в связи с беспорядками в Томске в марте 1903 г. 74

Штильке Василий Константинович (1843–1908), публицист, общественный деятель, депутат 3-й Государственной Думы 13, 14, 48, 219

Шуберт Франц (1797–1828), австрийский композитор 221

Шубкин, молодой барнаульский поэт 247, 265

Шура. Шурка см. Васильева А.Г.

Щ

Щеглов Михаил Михайлович (1885–1955), художник, публицист; преподаватель 1-го Сибирского коммерческого училища 245

Э

Эллизен Лидия. подруга детства Г.Н. Потанина 64

Эмилия Константиновна 399

Эрмеков (Ермеков) Алимхан, знакомый киргиз 395

Я

Ядринцев Николай Михайлович (1842–1894), публицист, видный общественный деятель 8

Ядринцева Лидия Николаевна (в замужестве Доброва; 1884–1942), этнограф, дочь Н.М. Ядринцева 30

Ядрышников, певец, бас 201

Якубович Петр Филиппович (1860–1911), поэт, писатель 17

Янишевский Михаил Эрастович (1871–1949), геолог, палеонтолог; в 1902–1911 профессор Томского технологического института 386

ОГЛАВЛЕНИЕ

Эпистолярное наследие великого сибиряка (В.А. Есипова, В.П. Зиновьев, Г.И. Колосова).....	3
Переписка Г.Н. Потанина с М.Г. Васильевой.....	11
Именной указатель.....	401

Научное издание

Серия «Сибирский архив». Т. 2

Г.Н. ПОТАНИН, М.Г. ВАСИЛЬЕВА
«Мне хочется служить Вам, одеть Вас своей любовью»
Переписка

Редактор *В.Г. Лихачева*
Технический редактор *Р.М. Подгорбунская*
Компьютерная верстка *Г.П. Орлова*

Лицензия ИД № 04617 от 24.04.01. Подписано в печать 10.05.2004.
Формат 60x84^{1/16}. Бумага офсетная №1. Печать офсетная. Гарнитура «Таймс»
Усл. печ. л. 24,4; уч.-изд. л.24,94; печ.л. 26,125. Тираж 1000 экз. Заказ № 1243.

ФГУП «Издательство ТГУ», 634029, г. Томск, ул. Никитина, 4
ОГУП «Асиновская типография», г. Асино, ул. Проектная, 22

Museas Mame

и сѣ собственн. му

маша и проножа

Задумантас

М. Лу, ком

но еднѣ

он